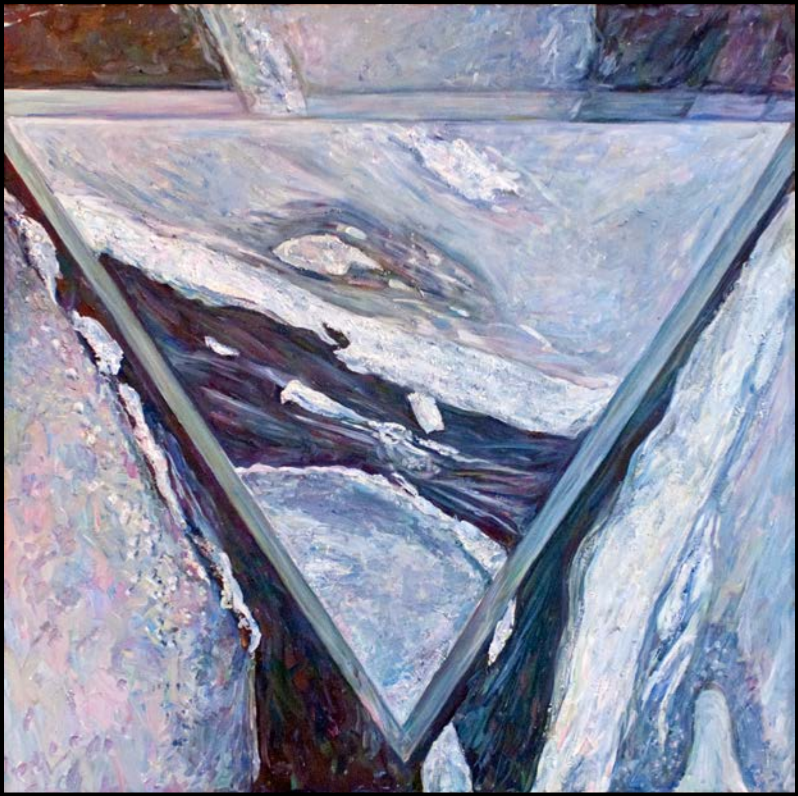
ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №2 | 2013

16+



Вода
आपः
2012

Огонь
अग्नौ
2013

Ольга Лебедь

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №2 | 2013

В номере

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Юрий Машуков
3 «Молчи» по-китайски

Мо Янь
5 Литературное образование в современном Китае

Д*и*Н РЕВЮ

Михаил Придворов
8 Кошкина книга

Уилфред Оуэн
116 Поэмы

Ирлан Хугаев
199 Созерцание Абакума

Д*и*Н ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир Чагин
9 В дни великих шумов ратных…

Вячеслав Миронов
34 Босния

Д*и*Н СТИХИ

Ольга Гуляева
46 Самолётики в красных штанах

Анатолий Третьяков
155 Любви волненье

Игорь Селезнёв
157 Река и радость

Валерий Скобло
158 Там, за Вьюном

Наталья Ахпашева
160 Подкидыш во времени этом

Виктор Куллэ
185 Не с теми, кто в теме…

Сергей Тенятников
187 Я был за горизонтом

Варвара Юшманова
189 Оберег

Александр Орлов
191 Нескучный сад

Д*и*Н ПАМЯТЬ

Пётр Коваленко
47 В последний миг

Александр Астраханцев
49 Памяти Г. М. Шлёнской

Лев Ленчик
55 Стихи разлуки

Марина Саввиных
57 Всё—впереди!

Анатолий Чмыхало
58 Когда…

Илья Тюрин
59 Моё Рождество

Марина Кудимова
63 Взгляд в небеса отцов

Д*и*Н МЕМУАРЫ

Сергей Есин
66 Из дневника 2012 года

Раиса Валеева
101 Записки

ДиН поэма

Анатолий Вершинский
117 Князь Александр Ярославич на пути в Каракорум

Андрей Расторгуев
119 Левантийская лествица

ДиН роман

Николай Переяслов
121 Ветер с Востока

ДиН проза

Марина Эшли
162 Родионов

ДиН юмор

Борис Аверьянов
177 Не пропадём!

Клуб читателей

Владимир Замышляев
178 Литературные персоны грата

ДиН антология

Валентин Берестов
192 Круговая порука

ДиН школа

Елена Тимченко
193 С детьми согласна!

195 ДиН авторы

ДиН галерея

Ольга Лебедь—выпускница Красноярского государственного художественного института (творческая мастерская А. А. Покровского). В фотошколе А. А. Снеткова прошла курс обучения творческой фотографии. Член Союза художников России и философского общества г. Красноярска.

Это художник со своим сформировавшимся творческим почерком, её работы—не только заметное явление на художественных выставках, многие из них отмечены дипломами и благодарственными письмами Союза художников России и Российской академии художеств.

Юрий Машуков

«Молчи» по-китайски

Мо Янь—лауреат Нобелевской премии по литературе

Азиатский дух витал над интригой предстоящего объявления очередного лауреата Нобелевской премии по литературе. Постоянно обсуждалось две кандидатуры: известный всему миру японец Харуки Мураками и не менее прославленный китайский писатель Мо Янь. Окончательный выбор остался за последней кандидатурой.

Чем же руководствовался Нобелевский комитет, присуждая премию Мо Яню?

Как считают многие, Нобелевская премия—признание того, чего нельзя не признать. Мо Янь довольно известен в мире, его перевели более чем на десять языков. К сожалению, он популярен на Западе, но неизвестен в России. Вообще, с переводами китайских писателей на русский язык возникла большая проблема. На волне «культурной революции» китайская литература служила сугубо пропагандистским целям; естественно, что она перестала переводиться. Но сейчас, спустя тридцать лет после начала реформ, китайскими писателями создано много замечательных произведений. Можно перечислить нескольких авторов, которые в недалёком будущем могут претендовать на место в мировой литературе: это Су Тун, Би Фэйюй, Юй Хуа.

Сегодня этот список возглавил нобелевский лауреат, писатель мирового уровня—Мо Янь. Жизнелюб, гуманист, он в своём творчестве выходит за границы Китая и исповедует универсальные человеческие ценности, которые кто-то из святых отцов назвал именами Господа Бога,—свет, добро, истину и любовь.

Но сегодня недостаток китайской литературы мирового уровня в России начинает интенсивно заполняться. Освещение в СМИ победы Мо Яня пробудило активный интерес к его творчеству, что обещает сенсационные прибыли в книжных магазинах. Поэтому в ближайшие месяцы в магазинах Петербурга и Москвы появятся два романа китайского нобелевского лауреата.

Кто такой новый литературный «Нобель» из Китая, о котором мы так мало знаем?

Когда-то великий русский поэт Фёдор Тютчев писал: «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои…» Прилежный ученик великой русской литературы, китайский писатель Гуань Мое, с молодости, по примеру Тютчева, взял себе псевдоним «Молчи», что по-китайски звучит Мо Янь.

Сегодня он почётный доктор филологии Открытого университета Гонконга, заместитель председателя Ассоциации писателей Китая. Он родился 5 марта 1955 года в уезде Гаоми провинции Шаньдун.

«Культурная революция» в Китае наложила отпечаток и на будущем писателе, которому пришлось оставить школу и мысль об образовании и пойти на работу у себя в селении.

В 1976 году он добровольно пошёл на службу в Народно-освободительную армию Китая (НОАК), где прошёл путь от командира отделения, сотрудника службы безопасности до политрука.

В 1981 году он опубликовал свои первые произведения: «Дождь весенней ночью», «Сухая река», «Осенние воды», «Народная музыка».

Известность к писателю пришла в 1986 году, когда вышел его роман «Красный гаолян». По этому произведению в 1987 году режиссёр Чжан Имоу снял свой знаменитый фильм с одноимённым названием. В 2000 году еженедельник «Asiaweek» включил «Красный гаолян» в перечень ста лучших китайских романов XX века.

В 1986 году Мо Янь окончил факультет литературы Института искусств НОАК. В 1991 году, завершив учёбу в аспирантуре Литературного института Лу Синя Пекинского педагогического университета, получил степень магистра в области литературы и искусства.

В 1997 году он уволился из армии, начал работать в газете «Цзяньча жибао», писать сценарии для кино и телевидения.

Сегодня на счету у Мо Яня одиннадцать романов и более семидесяти коротких рассказов. Самые известные из них—романы «Большая грудь, широкий зад», «Сандаловая казнь», «41 выстрел», «Усталость жизни и смерти», «Страна вина», сборник эссе «Говори, Мо Янь!» в трёх томах.

Последний роман Мо Яня, «Лягушка», посвящённый проблеме рождаемости в Китае, опубликован в 2009 году. Мо Янь—автор сценариев фильмов «Красный гаолян» (1987), «Счастье на час» (2000), «Девушка Нуань» (2003), снятых по его произведениям.

Мы подготовили небольшую подборку цитат из его интервью для русскоязычного сайта «Восточное полушарие» (февраль 2010 года). Россия очень много значит для Мо Яня. Для китайцев старшего поколения Россия и русская литература, как вы понимаете, нечто особенное: когда они росли, огромная помощь и «великая дружба» между КНР и СССР были не просто словами. Вот что он написал для русских читателей на этом сайте:

«Летом 1996 года я побывал в небольшом российском городе рядом с китайским пограничным городом Маньчжоули. Тогдашнее впечатление не сравнить с представлением о России, которое осталось у меня от чтения русской литературы. В 2007 году я был в Москве, принимал участие в книжной выставке—и вот тогда-то и ощутил всю ширь и величие России. Россия—это безграничные просторы, удаль и размах, но есть в ней и тонкая, мягкая красота».

«В детстве я прочитал в школьном учебнике моего старшего брата «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина, потом прочёл «Детство» Горького. Конечно, как и вся китайская молодёжь того времени, читал «Как закалялась сталь». Мой любимый русский писатель—Шолохов, а его «Тихий Дон» оказал на меня как писателя очень большое влияние».

«Русским читателям пришёлся по душе роман „Мастер и Маргарита“ Булгакова, поэтому уверен, что они примут и мою „Страну вина“».

«За последние тридцать лет китайская литература добилась блестящих успехов. Помимо произведений других авторов, вехами в её развитии являются и мои произведения—„Семья красного гаоляна“, „Большая грудь, широкий зад“, „Страна вина“, „Колесо жизни и смерти“».

В нашем очень кратком эссе следует отметить, что Мо Янь—очень китайский писатель. Со всеми особенностями восприятия, присущими любому китайцу и не всегда понятными человеку, мало знакомому с Китаем.

Сегодня Мо Янь стал очень популярным и известным человеком во всём мире, а в Китае он стал главным брендом китайской культуры. По его произведениям снимаются новые фильмы, пишутся оперы и ставятся балеты. И наша российская литература не осталась в стороне и выпускает в свет сразу несколько его романов одновременно, переведённых на русский язык.

Но в Красноярске наше внимание привлекла последняя публицистическая работа Мо Яня, написанная им задолго до присуждения Нобелевской премии. Она посвящена проблемам литературы и языка в Китае, где он излагает свой взгляд на их роль в новом Китае. Текст этой публикации был получен нами прямо из Пекина, перевод сделан одним из старейших красноярских переводчиков-китаистов—Ниной Фёдоровной Панкратовой, литературная обработка сделана мною, автором данного материала.

Мо Янь

Литературное образование в современном Китае

Недавно несколько изданий пекинской печати начали клеймить литературное образование Китая и современную филологию, речь идёт о грамматике и литературе китайского языка *(ред. пер.)*. Слово «клеймить» звучит, по-видимому, слишком жёстко, применим более мягкое — «дискуссия». Дискуссия вызвала очень широкую реакцию. В печати появилось много гневных статей, можно сказать, с многочисленными и путаными мнениями. Они привлекли внимание разных инстанций, которые заинтересованы в решении этой проблемы.

Я — писатель, не получивший полного школьного образования, потому что во время «великой культурной революции» был изгнан из начальной школы как выходец из крестьян-середняков, который осмелился противостоять учителям из банды главарей хунвэйбинов. Потом, прослужив несколько лет в армии, издав несколько литературных произведений, я смог поступить в Военную академию искусств. Таким образом, я ни одного дня не сидел в классах средней школы и не знаю методики обучения китайскому языкознанию в средней школе. Но у меня есть дочь, которая сейчас учится в средней школе, и она постоянно обращается ко мне с вопросами грамматики китайского языка. Она, вероятно, считает, что для её отца, ставшего писателем, ответить на них не представляет особого труда. Но, выслушав её, я ни разу не смог дать ей точного ответа. В самом деле, я говорил ей то, что я думаю по этому поводу, но потом отсылал её за окончательным ответом к её учителю и просил придерживаться его мнения как профессионала в преподавании.

Моя неуверенность вытекает из того, что я не проходил полного курса обучения в средней школе и в глубине души ощущаю некоторый комплекс неполноценности. Но, прочитав статьи, написанные теми, кто это смог сделать, и теми, кто обучает языку сегодня, я понял, что мы находимся примерно в равных условиях. Это меня более-менее успокоило.

Внимательно прочитав все дискуссионные статьи, а также поверхностно пролистав учебник дочери по языку, я понял, что наше современное обучение, начиная от выбора учебника до цели обучения, представляет собой огромную систему, почивающую сегодня на лаврах, которую сложно быстро изменять. Во многих статьях звучит критика в адрес учебников, которые не совершенствуются в течение нескольких десятилетий. В действительности учебники являются только материалом для достижения цели в образовании. Каков учебник, такова и цель образования, и наоборот — каковы цели образования, таковы и учебники.

До «великой культурной революции» целью нашего образования было воспитание смены «красных пролетариев», всецело служащих делу революции. После неё, вслед за изменением формы и стиля политики, должно было бы измениться образование, но оно практически осталось старым. А что касается цели образования, то её не могут определять те несколько учёных, которые составляют учебники. Я видел, как люди, пишущие учебники, заикаясь и запинаясь, излагают своё мнение о политике в государстве, и удивился, узнав, что они уходят от упоминания об этом в своих учебниках. Цели образования в нашем государстве носят сильный политический оттенок, и они не отображаются сегодня в учебниках. В период «великой культурной революции» именно такие учебники в корне отвергались, они считались недостаточно «красными» или недостаточно «пролетарскими», и поэтому в тот период изучали только цитаты Председателя Мао.

Я учился в начальной школе пять лет, из них два года нашими учебниками по грамматике китайского языка были сборники цитат Председателя Мао. После того как закончилась «культурная революция», учебники, которыми пользовались до «культурной революции», вновь были признаны хорошими, и их почти полностью восстановили. «Великая культурная революция» отнюдь не вмиг возникла, а разразилась в результате многолетних ошибок, накапливаемых компартией при строительстве государства. Ошибки, совершаемые компартией до «культурной революции», полностью впитались в «старые» учебники. После «культурной революции» компартия непрерывно исправляла свои ошибки, ранее совершённые

ею, однако в учебниках это не нашло должного отражения. Это и стало предметом жёсткого осуждения со стороны многих специалистов. Хотя в учебниках уже не упоминаются слова о «классовой борьбе», но в них сохранилось ещё весьма много революционных произведений.

В нашей литературе давно уже критикуют ту прозу, которая несколько десятков лет господствует в Китае. Это фальшивые произведения, их давно уже никто не читает, однако в учебниках они всё ещё считаются блестящими образцами литературы, упорно заставляя учителя поднимать чужой авторитет, воспитывая пролетарские чувства и вынуждая учеников нашего времени подражать этим лживым и пустым литературным стилям. Возможно, авторы тех произведений действительно всё это чувствовали тогда. Но сегодня те, кто ещё жив, уже так не пишут, и более того, они так же критикуют ошибки компартии, как и другие, так называемые «проблемные», писатели. Они сами едва ли признают сегодня те свои произведения, вошедшие в учебники, на которых проучилось несколько поколений китайцев, самыми лучшими. Им незачем выступать самим против своего же творчества, созданного под руководством «левого мышления». Сегодня их творчество также полно смысла, описаний человеческих чувств, эмоций и отношений между людьми. Поэтому те революционные писатели давно уже превратились в прекрасных бабочек, парящих в мире и говорящих о любви. Однако мы всё ещё вынуждаем наших детей изучать те произведения, которые были написаны ими давно и «скрепя сердце».

На протяжении длительного времени в нашей стране понятия «гуманизм» и «человеческие чувства» носили ярлык мелкобуржуазности и буржуазности. Когда в мире начали писать о чувствах и эротике, то у нас стали часто цитировать слова: «Цзяо Да из купеческого рода не может влюбиться в Линь Мэй-мэй». На самом же деле Лу Синь — не Цзяо Да, и он тоже не осмелится уверенно сказать, что Цзяо Да не может влюбиться в Линь Мэй-мэй. После того как компартия пришла в город, не перечесть, сколько Цзяо Да перевоспиталось, переженилось, взяв в жёны Линь Мэй-мэй. Однако люди не осмеливаются сталкиваться с реальностью и почему-то боятся повернуться лицом к своим чувствам.

Господин Лу Синь через своего героя А-кью (главный герой «Подлинной истории А-кью» Лу Синя. — *Прим. пер.*) вскрыл часть «национального характера» китайца, а своими острыми публицистическими произведениями он разоблачил их лицемерие как характерную особенность. Лицемерие — это когда мы говорим «да», а думаем «нет». И тогда, когда о человеке мы говорим как о человеке, но думаем как о чёрте. Или тогда, когда мы любим красивых, а называем их «стихийным бедствием». Но ещё более страшно то, что наше постоянное лицемерие стало привычкой, заставляющей нас считать его истиной. Мы лжём, говорим неправду, не краснея при этом. Пришло время за всё это расплачиваться.

Моя дочь, обучаясь за рубежом на государственные средства, не хочет возвращаться, а я, однако, беспощадно критикую не вернувшихся студентов. Ясно, что моя дочь за рубежом ведёт красивую жизнь, а я, однако, постоянно критикую разложение капиталистического общества. Ясно, что мы знаем о том, что большинство произведений в учебниках состоит из лживых и пустых слов, в которые не верят даже сами писатели, однако же мы по-прежнему заставляем детей изучать это и принимать их за правду. Ясно, что каждый из нас обладает «патологическими буржуазными чувствами», но мы упорно пытаемся уничтожить это в головах учеников. Авторы некоторых произведений в учебниках явно выражают свои собственные «буржуазные» чувства, но мы упорно хотим привить другим их «пролетарское» толкование.

Однако вернёмся к вопросу о цели образования, той, которой мы, в конце концов, хотим добиться в области литературного языкознания. Она состоит не в том, чтобы научить учащихся излагать красивым языком свои мысли и чувства, а только в том, чтобы разрешить им подражать шаблонам, прописанным в наших учебниках. Мы хотим воспитать смену здравомыслящих людей, избегающих «мелкобуржуазности» в описании чувств. Как бы хотелось, чтобы последующие поколения не были похожими на то, которое сделано по одной матрице. Хотелось бы не бояться воспитывать новаторов в области мышления, мыслящих достойно и по-разному.

Государство стимулирует людей быть новаторами в области естествознания, изобретательства и строительства, однако совсем не поощряет людей стать новаторами в области идеологии; более того, оно запрещает созидание и изобретательство в этой сфере. У государства есть политика в области религии, оно позволяет людям верить в Иисуса Христа, ислам, буддизм и не верить в марксизм. Но в наших школах оно запрещает любые немарксистские воззрения. Поэтому учебники непременно должны быть идеологизированы, обладать сильным политическим оттенком, поэтому и мы должны через обучение в языкознании и литературе достичь цели формирования целостного политического мировоззрения. Поэтому литературное образование должно превратиться в орудие политики. Но сегодня сочинения наших детей превратились в «попугайничество», во многие тысячи глав одинаковых рассказов, написанных одним стилем, выраженных одинаковыми чувствами.

Я прочитал все сочинения, написанные моей дочерью в начальной и средней школе, и не

нашёл в них никаких различий. Напротив, в её дневниковых записях, сделанных в соответствии с указаниями учителей средней школы, множество бесполезного, в то время как у молоденькой девушки должны были бы проявиться масса реальных чувств и немало собственных литературных представлений. Очевидно, что дети тоже знают, что в сочинениях, которые пишутся для учителя, партии или государства, необходимо лгать на словах и в чувствах, иначе ты не поступишь в университет.

Если такие наши методики обучения действительно должны воспитывать следующее поколение, верящее только в марксизм и ни во что другое, так называемую «красную смену», ну тогда—так держать! Но в нашей жизни фактически всё наоборот. Дети в процессе школьного обучения начинают понимать лицемерие нашего литературного обучения, поэтому они учатся таланту не говорить на «человеческом языке». Тем более они не станут говорить на нём, окончив школу и вступив в сложную жизнь нашего общества. Тщательно взвесив всё прочитанное, я понял то, что наши дети получают два стиля обучения, что в каком-то смысле является продолжением древних китайских традиций.

Ученики феодального общества, обучение которых было очень долгим, в качестве одного стиля изучали правила написания обязательных классических 8-частичных сочинений (классические произведения, состоящие из восьми частей), а другим стилем являлся поэтический (стихотворный), на котором они учились писать романы. Писать классические 8-частные сочинения было делом нужным и полезным, связанным с карьерой и личной перспективой, а писать романы в стихотворной форме было делом побочным, которое являлось как бы созерцанием «дикой лисы» (мифический образ перевоплощения человека в животное.—*Прим. пер.*). В «Конфуцианском историческом романе» одна из девушек, обнаружив, что её новобрачный муж умеет писать только стихи и совсем не умеет писать классические 8-частные сочинения, была так потрясена, что потеряла сознание. Это говорит о том, что поэтически настроенных молодых людей девушки не всегда любили. В феодальные времена молодые люди, многократно сдававшие экзамены на чиновничью должность, попадали в двоякую ситуацию. Одни, занявшись литературой, становились знаменитыми, как Пу Сунлин (поэт, 1640–1715.—*Прим. пер.*), и, естественно, теряли возможность получить государственную должность; другие же, сдав экзамены, но оказавшись плохими чиновниками, отстранялись впоследствии от должности и ссылались на край света. Будучи весьма грамотными и оказавшись не у дел, они начинали писать стихи и прозу. Нередко они оставляли после себя больше доброй славы своими поэтическими романами, нежели теми деловыми произведениями, которые им позволили попасть в список высокопоставленных мандаринов.

Мандаринов, сдавших экзамены на цзюйжень (бакалавра) и цзиньши (доктора), были десятки тысяч, но на «млечном пути» истории их имена исчезли, а имя Пу Сунлиня вечно и неувядаемо. Наши дети в один прекрасный день, после того как они поступят в университет, вероятно, также перестанут дальше писать сочинения тем школьным стилем, которому они обучались. Это подобно тому кирпичу, которым стучат в дверь, чтобы открылась, а когда она открывается, то его выбрасывают. В литературном образовании девяностых годов действительно не нужно было тратить столько сил, чтобы помочь учащимся усовершенствовать этот «кирпич». Пусть человек начинает думать о более высоких экзаменах.

Даже если в один прекрасный день в экзаменах высшего и среднего образования произойдут изменения, а учебники по грамматике и литературе вдруг станут удовлетворительными, неужели наши дети непременно тут же улучшат литературные способности и свои человеческие качества? Я думаю, что это не совсем так. Причина заключается в том, что хотя у нас появятся хорошие учебники, хорошие способы сдачи экзаменов, но у нас может не оказаться хороших учителей, которые бы удовлетворяли современным требованиям. Таких учителей, которые могли бы через свой личный опыт и свои рассказы научить учеников тому многому, чего нет в учебниках. А откуда им взяться? Конечно, главным образом—получив образование в пединституте. Однако отличные студенты, окончив пединститут, как правило, не хотят становиться учителями. Необходимо признать, что в нашем обществе самая высокая должность—это должность чиновника. Его зарплата не выше, чем у учителя, но все знают, что чиновники живут не только на зарплату. Они вполне законно пользуются самыми лучшими вещами, даже не став коррупционером и не получая взяток, они могут жить гораздо лучше, чем обычные люди. Обычный человек может остаться без работы, а чиновник—никогда.

Часто можно слышать, что там-то и там-то задержали выплату зарплаты учителям, однако вы никогда не слышали, чтобы задержали зарплату секретарю компартии или председателю уезда. Если учителя средней школы вдруг назначат сельским руководителем, то единственное, чего ему следует бояться, это банкетов и разных торжеств. Но если высокому чиновнику придётся стать учителем, то он, скорее всего, повесится. Перед лицом такой реальности очень трудно гарантировать высокий уровень педагогического коллектива. Но даже если вдруг появятся хорошие учебники, но не будет хороших учителей, прока тоже много не выйдет.

Поэтому я думаю, что революция в нашем литературном образовании очень сложна и запутанна.

Если чиновники захотят быть учителями, не говоря уже о других проблемах языкового образования, то тогда многие наши вопросы решатся сами собой.

Я думаю, что для повышения уровня литературного образования чрезвычайно важно много читать. В условиях, когда современное образование недостаточно финансируется, когда школы не могут тратить деньги на приобретение книг, почему бы нам, как это было до «великой культурной революции», не разделить учебный материал на «языковой» и «литературный»? Когда я в детстве был лишён возможности учиться, то дома я многократно с большой пользой перечитывал учебники по литературе своих старших братьев. Мой первый интерес к книге и первое литературное образование было получено именно из этих учебников по литературе.

Кроме того, я чувствую, что нам не обязательно заставлять учеников средней школы овладевать большим объёмом знаний по грамматике и логике, всё это можно возложить на факультеты китайского языка в университете. Я знаю, что если у кого-то в молодые годы не сформировалось потребности писать, то и за всю свою оставшуюся жизнь он ничего не напишет. Что касается логики языка, то ей можно научиться и в восемьдесят лет; к тому же если много писать, то стоит начать учиться прямо сейчас—игра стоит свеч.

Зачем детям изучать эту сухую логику, грамматику? Для них это пустое занятие. Мы вполне сможем сделать уроки литературы увлекательными, яркими. Фактически большинство людей в течение жизни не использует знания грамматики языка, человек и без этих знаний вполне правильно говорит. Так зачем тратить столько времени на изучение бесполезных для большинства людей вещей? Если бы мы смогли провести такую революцию в средней школе, то это могло бы стать аргументом для увеличения факультетов китайского языка в университетах. А выпускники факультетов китайского языка стали бы больше специализироваться на вопросах грамматики и логики китайского языка, а также занимались бы историей языка и его развитием. Окончив факультет, они смогут обучать китайскому языку китайцев и иностранцев. И уже не будет так, как сейчас, когда одно и то же произведение изучают в начальной, средней и высшей школе. Хочу сравнить изучение языка с игрой на фортепьяно: чтобы научиться играть на фортепьяно, совсем не обязательно знать его строение и уметь его ремонтировать. Это характерно для большинства людей. Точно так же для того, чтобы стать литератором, совсем не обязательно писать книги по грамматике, ибо Люй Шусян, издавший очень много учебников по грамматике языков, не написал ни единого хорошего романа!

ДиН ревю

Михаил Придворов

Кошкина книга

Стихотворения. Издание 3-е, дополненное

Челябинск: Издательство Марины Волковой, 2012.—157 с.

«Через несколько лет сочинительства обнаружил, что у меня накопилось много текстов про кошек. Детские ли стихи, взрослые… Главные действующие лица одни и те же—Мурзики, Барсики и прочие Васьки. Кошек я люблю, они много лет жили у меня дома. Я наблюдал за ними очень долго, пока не научился описывать в стихах их приключения и придумывать разные истории с их участием. Кошки друзей, свои собственные, просто уличные бродяги—очень хорошие персонажи для весёлых и грустных сказок. И вот подумалось: а не собрать ли всё это в большую книгу. Так и родилась „Кошкина книга“».

михаил придворов

Владимир Чагин

В дни великих шумов ратных…

Случай и обстоятельства сводят людей, которым в обычном течении жизни никогда и никоим образом не сойтись, не встретиться.

Так, в Первую мировую войну санитарный поезд №187, курсировавший на Северо-Западном фронте, стал тем местом, где пересеклись жизненные пути многих людей. В том числе—нескольких жителей далёкого Красноярска, одной из дочерей Льва Николаевича Толстого и супруга великой русской поэтессы, тогда ещё, впрочем, не очень известной. И конечно, сотен и даже тысяч других участников военно-санитарных событий тех лет—сестёр милосердия и медбратьев, врачей, лечивших, вывозивших раненых русских солдат и офицеров с мест сражений…

Поезд №187

Поскольку санитарный поезд №187 назван местом действия, стоит дать о нём некоторое представление.

Военно-санитарные поезда, сформированные в самом начале Первой мировой войны, предназначались для эвакуации больных и раненых из районов боевых действий в тыл, в глубь страны. Состояли они из нескольких вагонов-теплушек, в которых размещались раненые солдаты (один из вагонов был офицерским), вагонов для персонала, для перевязочной и операционной, кухни, вагона-склада. Движением поезда руководил его начальник, медицинской частью—старший врач.

Одни поезда подчинялись полевым управлениям армий, другие—военно-окружным управлениям, Главному штабу. По ходу войны дополнительные поезда формировались на средства частных лиц, дворянских, общественных организаций. Всероссийский земский союз, образованный летом 1914 года во главе с князем Г.Е. Львовым, также формировал свои военно-санитарные поезда.

Военно-санитарным поездам покровительствовали императрица Мария Фёдоровна, великие княжны Ольга Николаевна и Анастасия Николаевна. В состав медицинского персонала поездов по собственному желанию нередко зачислялись дамы из высшего общества. Так, в качестве рядовой сестры милосердия одного из поездов работала Ольга Рузская, дочь главнокомандующего армией Северо-Западного фронта генерала Н.В. Рузского. Санитаром Царскосельского военно-санитарного поезда №143 служил поэт Сергей Есенин. Правда, попал он в санитары не по велению долга или каким другим высоким мотивам. В 1916 году на санитарный поезд призывника Есенина постарались устроить его друзья-поэты Николай Клюев и Сергей Городецкий, дабы не послали случаем крестьянского паренька, уже ярко заявившего о себе в поэзии, на передовую…

Санитарный поезд №187 Всероссийского земского союза с октября 1914 года совершал рейсы из Москвы в Белосток и обратно, в Варшаву, Минск, Киев, другие города, с остановками на больших и малых станциях. До начала лета 1916 года поезд №187 совершил более пятидесяти рейсов общей протяжённостью более 67 тысяч километров, вывез двадцать с лишним тысяч раненых. Поезд и в дальнейшем совершал рейсы к линии фронта.

Военно-санитарные поезда расформировали в начале 1918 года, а какие-то из них и ещё раньше. К весне 1917-го армия уже была плохо управляемой, разваливалась, после Февральской революции процесс этот значительно ускорился. Вот эпизод из воспоминаний А.Л. Толстой, находившейся тогда на Западном фронте, в одном из санитарных отрядов:

«Разложение шло быстро. Когда при осмотре войск командир корпуса зашёл в перевязочный отряд, старика никто не встретил. Он стал обходить землянки. Солдаты валялись на койках и на приветствие генерала: «Здорово, санитары!»—не поднимаясь, лениво тянули: «Здравствуйте». А то и вовсе не отвечали. Большевистская пропаганда, как яд, разлагала… Солдаты перестали работать, не чистили лошадей, завели грязь, беспорядок… Да и вообще чувствовалось, что делать на фронте больше нечего. Фактически война кончилась. По всему фронту шло братание, солдаты покидали позиции…»

Осенью 1917 года Всероссийский земский союз вынужден был свернуть свою работу на Западном фронте. Тогда же, вероятно, был расформирован и санитарный поезд №187.

Марии Александровне Абакумовой-Саввиных, о которой речь впереди, довелось работать в поезде №187 в лучшие, если можно так сказать, времена Первой мировой войны—в первые её года

полтора. И кровь лилась, и бомбы бросали германцы с аэропланов на санитарный поезд, и газами травили — казалось, что это самые тяжкие несчастья и беды, какие могут быть. Но разрушительнее всех бомб и снарядов оказалось то, что было названо разложением русской армии: падение дисциплины, анархия, хамство и неподчинение солдат офицерам, предательство, по сути, в своих рядах.

Сибирские красавицы

С лёгкой руки Василия Сурикова название одного из написанных им портретов — «Сибирская красавица» — прочно закрепилось за моделью этого портрета Екатериной Рачковской, жительницей Красноярска, супругой врача П. И. Рачковского. Рачковская была отмечена той особенной красотой, которой, как считается, наделены сибирячки: с портрета смотрит на нас женщина розовощёкая, крепкая, с весёлыми, смеющимися глазами.

С сестёр Абакумовых, Анны и Марии, никто, к сожалению, живописных портретов не писал. Но, судя по сохранившимся фотографиям, и Анну, и Марию можно было смело отнести к первым красноярским красавицам начала XX столетия. Красота их была несколько иной, нежели та, которой отличалась «сибирская красавица», — назовём её «европейской»: тонкие черты лица, точёные талии…

Семья Абакумовых жила на приисках в Северо-Енисейском округе, потом переселилась в Енисейск, где её глава Александр Михайлович служил управляющим одного из речных пароходств. Из Енисейска перебралась в Красноярск. Были у Александра Михайловича и Александры Александровны Абакумовых три дочери и сын.

Сын, Пётр Александрович Абакумов, родился в 1877 году. Окончил Казанский ветеринарный институт, курсы бактериологии в Петербурге. В Красноярске работал врачом-ветеринаром, заведовал Пастеровской станцией и оспенно-вакцинным отделением. В Енисейской губернии он стал первым профессионально образованным ветеринарным врачом. В начале 1930-х его арестовали по подозрению в контрреволюционной деятельности, осудили, но ненадолго. Потом опять арестовали, добавили серьёзных статей и в 1938 году расстреляли.

Старшая дочь Абакумовых Анна, 1868 года рождения, в двадцать лет вышла замуж за врача Иннокентия Ивановича Кускова. Семью И. И. и А. А. Кусковых в Красноярске хорошо знали. Иннокентий Иванович, помимо врачебной практики, занимался общественной деятельностью. Анна Александровна тоже была известной общественницей: председательствовала в Синельниковском благотворительном обществе, после начала Первой мировой войны участвовала в Комитете беженцев, Дамском комитете Союза городов. С годами Анна Александровна погрузнела, обрела степенность губернской дамы крепкого достатка. В молодости же была стройна, мила, чрезвычайно, как уже отмечалось, привлекательна! Жаль, что в эти годы не встретил Анну Василий Суриков или другой хороший живописец, Валентин Серов, например, писавший светских красавиц. А может быть, и Модильяни какой (бывала же она, как и многие обеспеченные жители Красноярска, за границей, в Европе) — сообразно типу её женской красоты… И Иннокентий Иванович, и Анна Александровна прожили недолгие, в общем, жизни, умерли в шестьдесят или около того лет. Он — в 1920 году, она — в 1928-м.

О самой младшей дочери Абакумовых ничего не известно, есть лишь фото, на котором все три сестры изображены вместе.

Но вот о средней дочери, Марии, сказать есть что. И рассказ о ней можно было бы начать со слов её близкой подруги — Александры Толстой, дочери Льва Толстого. В своей книге воспоминаний «Дочь» Толстая пишет: «Облик нашего старшего врача Марии Александровны Саввиных совсем не подходил в моём представлении к её профессии. Она была очень красива…» Впрочем, лучше по порядку.

С Александрой Толстой в одном купе

Итак, Мария Абакумова — Абакумова-Саввиных, как она писала свою фамилию, выйдя замуж за одного из известных красноярских золотопромышленников.

Андрей Андреевич Саввиных был старше Марии на двадцать лет, для него это был второй брак. О таких людях говорят: сделал себя сам. Сын сельского писаря, он начал работать в двенадцать лет в конторе золотопромышленной компании, занимался самообразованием. В восемнадцать лет уже служил бухгалтером главной конторы компании и управляющим одного из приисков. С двадцати двух лет золотопромышленным делом занимался самостоятельно, в конце концов выбился в купцы первой гильдии. Состоял гласным городской Думы, немало денег тратил на благотворительность — открытие народного университета в Красноярске, начальные школы, стипендии учащимся, помощь бедноте и т. д. Слыл любителем театрального искусства, был известен как хороший шахматист… Его двое сыновей и дочь от первого брака были уже взрослыми людьми, когда Андрей Андреевич женился на Марии Абакумовой. Но брак этот длился недолго: в феврале 1911 года А. А. Саввиных скоропостижно скончался… В этом браке, как и во всяком другом, где разница возраста супругов — в целое поколение, есть некая тайна. Но в данном случае средствами документального жанра её не разгадать — информации, скажем так, недостаточно.

Глядя на красноярских красавиц сестёр Абакумовых, Анну (левое фото) и Марию, невольно вспоминаешь строки из Александра Блока: «Дыша духами и туманами…», «Девичий стан, шелками схваченный…»

В «Памятной книжке Енисейской губернии на 1911 год» (к этому времени М. А. Абакумовой-Саввиных тридцать восемь лет, она получила медицинское образование) её фамилия встречается несколько раз. В Красноярской женской гимназии Мария Александровна преподаёт гигиену, к тому же является штатным врачом этого учебного заведения. В рисовальной школе, открывшейся в Красноярске в 1910 году, числится преподавателем анатомии, а в одном из приходских училищ — почётным блюстителем, т. е. тем лицом, что избираются на эту должность из числа состоятельных горожан, обязаны заботиться о материальном положении училища, следить за его учебно-воспитательной частью. Ведёт М. А. Абакумова-Саввиных и врачебную практику по женским болезням (адрес: набережная р. Енисея, собственный дом, во флигеле).

Получается, в кругу коллег, знакомых Марии Абакумовой-Саввиных — «весь Красноярск»! «Весь» — если понимать под этим словом наиболее образованную часть красноярцев, интеллектуально-художественную элиту. В женской гимназии в одни годы с Абакумовой историю и географию преподаёт будущий фольклорист Мария Красноженова, историю — Александр Богданов, богослов, редактор «Енисейских епархиальных ведомостей», словесность — Калерия Козьмина, супруга этнографа Н. Н. Козьмина. Начальницей гимназии была Антонина Константиновна Богенгардт (и рассказ об этой фамилии ещё впереди). Рисовальной школой заведовал архитектор Леонид Чернышёв, а рисование преподавал Дмитрий Каратанов… И всё это фамилии людей известных, оставивших свой след в красноярской истории, культуре. Видывала Мария Александровна и Европу, сохранились её

салонные фото, сделанные в разные годы в Германии, Швейцарии.

В «Памятной книжке Енисейской губернии на 1915 год» М. А. Абакумова-Саввиных (в дальнейшем, для краткости, просто Саввиных) всё так же указана преподавателем, врачом Красноярской женской гимназии. Но это неверно: в 1915 году Мария Александровна не работала в женской гимназии. Начавшаяся Первая мировая война внесла коррективы в мирную жизнь даже далёкой от фронта Сибири. И уже осенью 1914 года М. А. Саввиных была за тысячи вёрст от Красноярска—она находилась на Северо-Западном фронте, в качестве старшего врача санитарного поезда №187 Всероссийского земского союза участвовала в рейсах, выполнявшихся из Москвы в Белосток и обратно.

Её судьба в военные годы прослеживается по воспоминаниям Александры Толстой «Дочь», книге Ю. Хечинова «Крутые дороги Александры Толстой», созданной, как указывает автор, «по материалам архивных источников, обширной переписки Александры Толстой со своими близкими, писем её знакомых, различных документов и воспоминаний». И ещё один немаловажный источник сведений о М. А. Саввиных—множество фотографий, запечатлевших перипетии её военно-санитарной службы.

Но продолжу начатую цитату из книги А. Л. Толстой «Дочь»—описание М. А. Саввиных:

«Правильные черты лица, чёрные брови, карие живые глаза, молодое лицо и… совершенно белые волосы. Мы все уважали и любили её. Она была прекрасным товарищем—весёлая, общительная, но была плохим и неопытным врачом. Пугалась тяжёлых случаев ранения, терялась, когда надо было принять экстренные меры, сделать операцию, чтобы спасти раненого или больного.

Раненых привозили прямо с поля сражения, и бывали тяжёлые случаи ранения в живот, в голову, иногда умирали тут же во время перевязки».

Эти строки Александры Толстой относятся к самым первым месяцам войны, и впереди было ещё немало испытаний, тяжёлых, сложных операций, и Мария Саввиных, конечно, вполне освоилась в непростой обстановке, приобрела необходимый и врачебный, и фронтовой опыт. Но как случилось знакомство Александры Толстой с Марией Саввиных, переросшее в дружбу?

Решение идти сестрой милосердия на фронт Александра Толстая приняла вскоре после начала войны. Окончив краткие курсы медсестёр военного времени, она работала в госпитале Звенигорода. Но вскоре через председателя Всероссийского земского союза графа Г. Е. Львова получила назначение сестрой милосердия на санитарный поезд №187. Куда, в свою очередь, старшим врачом была определена Мария Саввиных.

Мария Александровна Абакумова-Саввиных, старший врач санитарного поезда №187 Всероссийского земского союза. Возможно, снимок сделан в фотоателье одного из польских городов, где останавливался поезд.

И получилось так, что и Александра Толстая, и Мария Саввиных работали на санитарном поезде №187 с его самого первого рейса. Первый рейс—он длился с 6 по 21 (по старому стилю) октября 1914 года; поезд следовал по маршруту Москва—Белосток—Гродно—Вильна—Двинск—Режица—Москва. Медперсонал поезда оказал в этом рейсе помощь 453-м раненым.

«Мой дом—вагон,—писала Толстая в одном из писем сестре Татьяне в Ясную Поляну.—И я уже привыкла к нему, и мне тут хорошо. И сколько времени я тут проживу, куда закинет ещё судьба—ничего не знаю. Два дня усиленно готовим поезд. Санитары-меннониты (представители сектантского течения в протестантстве, которые освобождались от воинской повинности, использовались на альтернативных службах.—*В. Ч.*) моют вагоны для раненых, мы, сёстры, готовим материал для перевязок».

Александра Толстая делила с Марией Саввиных одно купе. На стене у вагонного окна она прикрепила портрет отца, Льва Толстого.

М. А. Саввиных, А. Л. Толстая и брат милосердия итальянец Эмилио Феррарис на перроне Белостока. 10 октября 1914 г.

Из книги Ю. Хечинова «Крутые дороги Александры Толстой»:

«Эмилио Феррарис, получивший университетское образование, приехал из Италии в Москву и работал преподавателем итальянского языка в консерватории. С начала войны пошел добровольцем-санитаром и был причислен в 187-й санитарный поезд. Александре Львовне он несколько раз попадался на глаза. Ей очень нравилось наблюдать за ним, как он энергично, весело и всегда мурлыча под нос какую-нибудь неаполитанскую песенку, выполнял любую работу. Он был красив: высокий, статный, стройный. Тонкие черты лица, осанка и манеры не позволяли сомневаться в его благородном происхождении. Он ей определённо нравился».

В течение октября — ноября 1914 года санитарный поезд №187 сделал несколько рейсов в Восточную Пруссию, к городам Граево, Лык, к передовой.

«Мы сейчас едем на тяжёлую, трудную, полную лишений работу, — писала Толстая в Ясную Поляну, — но весь наш персонал бодр, и все мы едем с радостью. Только Бог знает теперь, когда придётся вернуться. Посмотри на карту, куда мы едем. Если всё будет благополучно, наш поезд будет, вероятно, следовать за нашими войсками, подбирая раненых…»

Впечатления от увиденного отразились в статье Александры Толстой «Месяц в санитарном поезде Всероссийского земского союза», опубликованной в газете «Русские ведомости». Она писала об ужасных разрушениях в городах, где проходили боевые действия, разорённых сёлах, встречах с русскими солдатами, офицерами, работе санитаров под гром орудий… Санитарный поезд подбирал не только раненых русской армии, но и германцев. Так, пишет Толстая, «в Осовце погрузили в поезд ещё 74 солдата, среди них 39 пленных, тяжело раненых германцев, некоторым по 15 и 16 лет. Между прочим, один меня спросил: неужели все русские такие хорошие, как те доктора и сёстры, которые за ним ухаживают? Я спросила его: „Почему это вас удивляет?“ — „Нам говорило наше начальство, что все русские злые и что нас замучают, если мы попадём в плен“».

С конца октября в течение месяца с небольшим поезд №187 вывез с передовой, оказал помощь более двум тысячам раненых воинов. Получается, что среди них было немало попавших в плен солдат германской армии. Но для санитаров, медсестёр, врачей раненый — это прежде всего человек, которому нужно помочь, независимо от того, свой он или чужой.[1]

В конце ноября 1914 года поезду №187, прибывшему в Москву после очередного рейса, предстояло особое испытание. Император Николай II пожелал ознакомиться с состоянием санитарных поездов, и персонал 187-го должен был в короткое время полностью развернуть полевой госпиталь на местности, продемонстрировать свою работу.

Смотр проводился на Ходынском поле. Несмотря на волнение, санитары, железнодорожная прислуга работали слаженно. В течение часа они развернул полевой госпиталь, операционную палатку, перевязочную, питательный пункт, в котором повара успели даже приготовить горячий обед! Все работы происходили на глазах у Николая II, приехавшего с супругой и дочерьми,

1. К слову, в 1914 году в России рассматривался высочайше одобренный проект нового закона о военнопленных. В него, в частности, входили такие пункты:

«Признавая военнопленных законными защитниками своего отечества, положение предписывает обращаться с ними человеколюбиво…

Собственность военнопленных, за исключением оружия, лошадей и военных бумаг, остаётся неприкосновенною…

Военнопленные могут быть освобождаемы на честное слово, но не могут быть принуждаемы к даче его…

Военнопленные могут быть привлекаемы к казённым и общественным работам сообразно с их чином и способностями, за исключением офицеров; работы не должны быть изнурительными…

Перевозятся военнопленные по железным дорогам на общем основании: генералы и адмиралы, по возможности, в вагонах первого класса, штаб и обер-офицеры во втором классе…»

Ну просто не закон о военнопленных, а правила хорошего тона для добропорядочных джентльменов!

В перевязочной. Вторая слева— М. А. Саввиных.

в окружении многочисленной свиты, представителей Общества Красного Креста, Всероссийского земского союза.

Работой персонала поезда Николай II остался доволен, выразив благодарность присутствовавшему здесь же председателю ВЗС князю Г. Е. Львову. О смотре на Ходынском поле с участием Николая II сообщили московские газеты, а иллюстрированный журнал «Искры» дал групповое фото всего персонала поезда №187. В центре фото, среди медсестёр, врачей,—М. А. Саввиных, здесь же и А. Л. Толстая.

Вскоре после прошедшего смотра А. Л. Толстая оставила поезд №187: открылся Турецкий фронт, и она была зачислена сестрой милосердия в срочно организованный Всероссийским земским союзом крупный полевой врачебно-питательный отряд. Тифлис, Игдыр, Каракилис, уничтоженный войной турецкий город Ван… Александра Толстая наяву увидела здесь все ужасы войны, о чём рассказала впоследствии в своих воспоминаниях.

Её командировка на Кавказ длилась почти год. В ноябре 1915 года Александра Толстая получает новое назначение—она отправляется на Западный фронт в должности уполномоченного Всероссийского земского союза. В маленьких городках организовывает приюты, столовые, школы для детей. Ей, приобретшей немалый опыт в военно-санитарном деле, поручается организовать большой подвижной санитарный отряд Всероссийского земского союза. В отряде—восемь врачей, около тридцати сестёр милосердия, хозяйственный персонал, санитарный транспорт. Толстая забрала в отряд часть медперсонала, работавшего с ней на Кавказском фронте, в детских столовых.

Пригласила она и М. А. Саввиных, продолжавшую свою прежнюю работу на санитарном поезде №187. К этому времени (весна 1916 года) свои рейсы поезд совершал уже на железных дорогах от Москвы к Орлу, Брянску, Минску, Полоцку. Мария Александровна приглашение приняла. Договорившись с руководством своего поезда, перешла на должность младшего врача в 8-й санитарный транспортный отряд А. Л. Толстой. Отряд базировался в основном в Минске, выдвигаясь постоянно к линии фронта; три его летучки колесили между передовой и тылом, собирая раненых, оказывая им первую помощь.

Отношения Александры Толстой и Марии Саввиных становятся всё более тёплыми, дружескими. Во время коротких отпусков, когда Толстая навещала родных в Ясной Поляне, с собой она брала и Марию Саввиных, которая познакомилась с сестрой Александры Татьяной, с матерью Софьей Андреевной, вдовой Льва Толстого. Потом, в письмах Толстой с фронта в Ясную Поляну, Мария Саввиных, случалось, делала приписки: «Шлю сердечный привет милой, уважаемой Татьяне Львовне. Могу засвидетельствовать, что сестра Ваша мечется как белка в колесе. Организаторская жизнь очень интересна, я рада, что попала в Минск в такой период. Надеюсь, что у Александры Львовны хватит сил и энергии поставить дело хорошо…» В другом письме сестре сама Александра Толстая приписывает: «Тебе шлют привет Мария Александровна и Дмитрий Васильевич (Никитин, старший

М. А. Саввиных, медсёстры и санитары — судя по всему, ребята крепкие.

врач отряда, работавший в своё время в Ясной Поляне. — *В. Ч.*). Хорошо, дружно и интересно работается с такими людьми, как они, да и вообще как весь персонал отряда. Но многие не выдерживают этого нервного напряжения, в котором мы постоянно находимся, и с грустью нас покидают…»

Между прочим, может показаться, что санитарная жизнь на колёсах — достаточно спокойная. Это не передовая, страданий, крови вокруг много, но проливают её воины, а на долю врачей, медсестёр приходятся, главным образом, моральные переживания, нервное напряжение… Не передовая — но и врачи, и санитары кровь проливали тоже. Так, в расположение одной из летучек отряда немецкий аэроплан сбросил бомбу. Была тяжело ранена одна из медсестёр, вскоре она умерла. Тогда же немцы обстреляли батареи русской артиллерии, рядом с которыми расположилась одна из летучек. Снаряды рвались, летели осколки… А потом стали разрываться снаряды, начинённые газом с запахом вишни — цианистый калий!

«Уже не слышно было раздельных разрывов снарядов, всё смешалось в сплошной гул, — писала А. Л. Толстая в воспоминаниях. — Дрожала земля, дрожало всё кругом.

Весь блиндаж заполнили ранеными. Стоны, крики! Врачи и сёстры лихорадочно работали, перевязывали раненых… Бой длился несколько часов. Санитары на носилках подносили раненых. Командир полка сорвал маску, чтобы отдавать приказания, и умер от отравления газами. Некоторые из нас тоже пострадали».

А в следующий раз русские позиции накрыло смертоносным газом от неудачной газовой атаки, предпринятой своими же войсками в ответ на многочисленные атаки немецкие… «Пишу только два слова, потому что ужасно мало времени, и расстроена я очень, — в письме сестре сообщала Толстая об этом случае. — Сейчас все везут двуколки с отравленными нашими же собственными газами. Во дворе стоны, кашель. Тяжело. Вообще, за последние дни счастье немного изменило нам…»

10 октября 1916 года вышел приказ по 2-му Кавказскому армейскому корпусу (с весны 1916 года корпус вёл бои на Западном фронте в районе Молодечно, на Вильненском направлении), в котором, в частности, говорилось:

«…Лазарет графини Толстой за время пребывания его в районе корпуса своей образцовой работой постоянно оказывал ценные услуги частям вверенного мне корпуса. Особенно доблестна была работа всего персонала лазарета во время произведённой неприятелем газовой атаки в ночь с 19-го на 20-е июля сего года на фронте Гренадерской дивизии, когда часть его быстро, с большим рвением устремилась к передовым позициям для оказания помощи пострадавшим на месте и для быстрого вывоза их, другая же часть принимала доставленных в лазарет газоотравленных и оказывала им необходимую, своевременную помощь.

За столь выдающуюся и полезную деятельность считаю долгом службы выразить свою глубокую благодарность всему персоналу лазарета во главе с графиней А. Л. Толстой и врачам: старшему — Д. В. Никитину и младшим — Е. Г. Чаадаевой и М. А. Саввиных.

Командир корпуса, генерал от артиллерии Мехмандаров».

В конце 1916 года А. Л. Толстая всё чаще стала испытывать недомогание, перешедшее вскоре в болезнь. Давала о себе знать тропическая лихорадка, которой она переболела на Турецком фронте. В Минске её надолго положили в лазарет. Всё это время Мария Саввиных старалась почаще быть с нею рядом. Болезнь Толстой совпала с началом смутного времени в стране. Наступал 1917 год…

«Уже в 1916 году в воздухе чувствовалась большая напряжённость, — писала А. Л. Толстая. — В больших городах начались забастовки. Пропало обычное русское добродушие, в воздухе висела скверная брань, люди толкались, отвечали неохотно и грубо на вопросы… Где-то что-то назревало большое, неизвестное, страшное, страшнее войны…» Падала дисциплина и в санитарном отряде А. Л. Толстой: «Особенно плохо было во второй летучке. Начальник ничего не мог сделать с командой. Отказывались работать, грубили. Был даже случай отказа передвинуться на новое место по приказу начальника дивизии».

В деревнях мужики громили усадьбы. Ясная Поляна ещё держалась именем Толстого, но и там начались бесчинства, грабежи. «У нас в Ясной бабы и дети три или четыре дня грабили яблочный сад и унесли все яблоки. Более 1000 пудов, — писала Александре Львовне сестра. — Отвратительно было видеть это разнузданное, жадное, ругающееся, торопящееся стадо, бабье. Было по несколько сот баб зараз, а мы все только поглядывали и молчали…»

В начале осени 1917 года А. Л. Толстая передала руководство отрядом новому уполномоченному и выехала в Ясную Поляну.

А что же М. А. Саввиных? Вероятно, вскоре после отъезда Толстой и она покинула отряд, который уже и сам по себе стал разваливаться. Есть её фотография, на которой она проставила дату: «Красноярск, 13.v.1918».

До весны 1918-го она ещё могла попасть в свой город, поезда худо-бедно ходили. Но это уже был совсем другой Красноярск, нежели тот, который она покидала в 1914 году. В городе правил исполком, шла национализация, многие предприятия в городе были отобраны у их владельцев. На Воскресенской улице, у перекрёстка, где наискосок друг от друга находились гадаловские магазины (уже, впрочем, национализированные), висела растяжка с её новым названием: «Улица Советской республики».

В своей кожаной куртке, какие выдавали в начале войны всем санитарам, медсёстрам и врачам санитарного поезда, Саввиных вполне сошла бы за представительницу новой власти, комиссаршу. Таких комиссарш, а больше комиссаров, она могла видеть на широко отмечавшемся в городе празднике 1 Мая 1918-го, во главе колонн, на трибуне… Но пройдёт всего лишь полтора месяца, и власть в городе переменится, комиссары побегут на кораблях на север, прихватив из банков и городских складов всё, что можно было увезти…

А в январе 1920 года власть в городе опять станет советской, и теперь уже навсегда, как это представлялось долгие годы…

Как жила Мария Александровна в Гражданскую войну? Где жила? Двухэтажный деревянный дом семьи Саввиных на углу улицы Гостинской и переулка Дубенского (дом сохранился доныне) был национализирован. Но, может быть, Марии Александровне оставили в нём комнату, какой-то угол? Как бы то ни было, Гражданскую войну она пережила в Красноярске, и из заметки, напечатанной в одном из местных периодических изданий, следует, что в ноябре 1922 года М. А. Саввиных состоит преподавателем новой девятилетней общеобразовательной городской школы. А в «Справочнике по г. Красноярску на 1923 год» её имя можно найти в списке врачей (детские и внутренние болезни).

Но уже в том же 1923 году она уезжает из Красноярска в Ясную Поляну. В ноябре 1923-го, в день памяти Л. Н. Толстого, в Ясной Поляне открывается школа, построенная на пожертвования американской организации «Джойнт». При школе создаётся амбулатория, для которой получены оборудование, хирургические инструменты, лекарства. Вероятно, с самого открытия яснополянской школьной амбулатории заведовать ею стала М. А. Саввиных. Её связь с Александрой Львовной не терялась и после работы в санитарных поездах, а с открытием школы и амбулатории Толстая, надо думать, пригласила подругу переехать на работу в Ясную Поляну.

В опубликованных воспоминаниях яснополянского старожила, учившегося в этой школе в 1920-е годы, Николая Цветкова, есть упоминание о враче Марии Александровне Абакумовой. Цветков пишет, что вместе с Александрой Львовной Толстой и другими преподавателями она ходила с детьми «на прогулку или на каток на Среднем пруду».

В 1929 году Александра Львовна Толстая покидает и Ясную Поляну, и советскую Россию, уезжает по приглашению читать лекции о Л. Н. Толстом в Японию. На родину она уже никогда не вернётся. Истинные причины её отъезда — в невыносимых, гнетущих условиях работы, которые стали постепенно складываться в Ясной Поляне. В книге воспоминаний «Дочь», создававшейся в эмиграции, она пишет о «злостных придирках коммунистов», бесконечных ревизиях в школах и музее, проводившихся местными властями, введении в школах антирелигиозной пропаганды, бесчинствах полуграмотных партийцев, насилии с коллективизацией в селе и т. д.

Что оставалось делать Марии Александровне после отъезда Толстой из Ясной Поляны? Из воспоминаний Толстой о Ясной Поляне 1920-х годов картина жизни в имении предстаёт тягостная, и вряд ли гнетущая обстановка, да ещё в отсутствие Александры Львовны, могла быть ей по нраву…

Как долго жила и работала в Ясной Поляне Мария Александровна? «К сожалению, мы не располагаем точными датами пребывания М. А. Абакумовой-Саввиных в Ясной Поляне», — такой неутешительный ответ на свой запрос я получил от научного сотрудника музея-заповедника Аллы Кураковой. Но при этом она рекомендовала мне (и спасибо ей за это!) обратиться к человеку, который может располагать какой-то информацией по интересующей меня теме.

Этот человек — Наталья Григорьевна Жиркевич-Подлесских. Она внучка Александра Владимировича Жиркевича, «литератора, военного юриста, коллекционера», как его аттестует биографический словарь «Русские писатели», и я не могу не сказать о нём, хотя бы очень коротко.

А. В. Жиркевич (1857–1927) писал прозу и стихи, печатался в журналах, издавал книги. Человек разносторонних интересов, он собрал выдающиеся коллекции — автографов, рукописей, предметов старины, старинного оружия и орудий пыток (29 пудов!), которые были подарены или переданы им в различные музеи Петербурга и других городов. В его собрании картин и графики русских и зарубежных художников, которую он фактически подарил музею Симбирска, были произведения К. П. Брюллова, И. К. Айвазовского, И. Е. Репина…

Да и самого Жиркевича Репин рисовал четырежды!

А. В. Жиркевич общался со многими выдающимися государственными и общественными деятелями России, писателями, поэтами, художниками. В дневнике, который он вёл в 1880–1925 годы,— имена Л. Н. Толстого, А. А. Фета, И. А. Гончарова, Н. С. Лескова, А. П. Чехова, И. К. Айвазовского и В. В. Верещагина, П. А. Столыпина… Дневник огромен, отрывки из него начинали публиковаться ещё в 1930-е годы.

А последние четверть века изучением рукописей А. В. Жиркевича, подготовкой их к печати занимается Наталья Григорьевна Жиркевич-Полесских. Профессия Натальи Григорьевны — преподаватель музыки, у неё множество учеников, с благодарностью вспоминающих её уроки. Но работа над рукописями деда стала для Натальи Григорьевны ещё одним главным делом жизни.

В 2009 году в Туле вышел 800-страничный том А. В. Жиркевича «Встречи с Толстым. Дневники. Письма». Н. Г. Жиркевич-Подлесских подготовила его, составила, сопроводила вступительной статьёй и примечаниями. Предисловие к книге написал литературовед Валентин Курбатов. Эта работа Натальи Григорьевны была удостоена Всероссийской Горьковской премии в номинации «Мои университеты» — за сохранение и приобщение к культурному наследию уникальных литературных материалов.

Личность А. В. Жиркевича необыкновенно интересна, его дневник представляет огромную историко-культурную ценность! Погрузиться в него можно с головой и надолго!.. Но — более всего ныне меня интересует М. А. Саввиных: где она жила после Ясной Поляны? когда умерла?

Из общения с Натальей Григорьевной выяснилось, что она была хорошо знакома с Надеждой Иннокентьевной Кусковой, дочерью И. И. и А. А. Кусковых, племянницей Марии Александровны. Надежда Иннокентьевна ещё до революции училась в Петербурге (вероятно, на знаменитых Бестужевских женских курсах), в советское время работала в Москве преподавателем в школе для глухонемых. Наталья Григорьевна познакомилась с нею в 1963 году, и это знакомство, переросшее в дружбу, несмотря на большую разницу в возрасте, продолжалось до самой смерти Надежды Иннокентьевны в 1979 году. Жила Надежда Иннокентьевна в коммунальной квартире в центре Москвы, на улице Щусева, а незадолго до смерти — в доме для престарелых. Навещавшей её Наталье Григорьевне она рассказывала историю своей семьи. От неё Наталья Григорьевна и узнала о Марии Александровне Саввиных, её военно-санитарной эпопее, дружбе с Александрой Толстой, жизненных обстоятельствах…

В книге О. П. Аржаных «Что в имени тебе моём…», посвящённой описанию Троицкого кладбища в Красноярске, достаточно подробно описаны семейные захоронения Абакумовых и Кусковых. Но могилу М. А. Абакумовой-Саввиных Ольга Павловна Аржаных, знающая как никто другой этот исторический некрополь, отыскать не смогла. И теперь, после всего, что могла сообщить Наталья Григорьевна, понятно почему.

…Из Ясной Поляны Мария Александровна возвратилась, вероятно, в Красноярск, но ненадолго. В 1928 году умирает её сестра Анна Александровна Кускова. Всё меньше остаётся людей, всего того, что связывает Саввиных с городом на Енисее. Её племянница Надежда Кускова живёт и работает в Москве. Уезжает в Москву и Мария Александровна. Обо всех обстоятельствах и причинах этого отъезда, как и о том, где жила и работала Мария Александровна в Москве, наверное, уже не узнать. А умерла Мария Александровна Саввиных в 1935 году; похоронена она на Ваганьковском кладбище.

К Надежде Кусковой после смерти Марии Александровны и перешло всё её небогатое наследство: большая, ручной работы, аптечка, шкафчик для лекарств (ныне они хранятся у Натальи Григорьевны), а ещё альбомы с фотографиями.

Надежда Иннокентьевна Кускова не была замужем, и так сложилось, что в последние годы её жизни самым близким для неё человеком в Москве стала Наталья Григорьевна Жиркевич-Подлесских. Она и взяла на себя все тяготы по организации похорон Надежды Иннокентьевны, когда та умерла. Похоронена Н. И. Кускова была там же, где и М. А. Саввиных, на Ваганьковском кладбище, рядом с её могилой. Домашний архив Н. И. Кусковой (а это, прежде всего, семейные фотографии, а также альбомы с фото, принадлежавшие М. А. Саввиных) перешёл к Наталье Григорьевне. Большую часть этого архива она вскоре передала дальним родственникам Н. И. Кусковой в Красноярск. Фотографии, связанные с участием М. А. Саввиных в санитарном поезде № 187, жизнью и бытом поезда,— в музей-усадьбу «Ясная Поляна».

Вот, собственно, и всё о жизни Марии Абакумовой-Саввиных, которая с самого начала Первой мировой войны стала её непосредственной участницей в качестве врача, встретилась и подружилась с Александрой Львовной Толстой, немало лет проработала с нею рядом в санитарном поезде, а потом в Ясной Поляне, родовой усадьбе Толстых…

…Фотографии, в отличие от рукописей, которые всё-таки легко сжечь, не очень хорошо горят. Но зато желтеют, теряют изображение, коробятся, становятся хрупкими, ломаются. Наконец, безымянные, не подписанные, они просто-напросто становятся никому не нужными, исчезают

в мусорных контейнерах. Умерли те, кому были дороги эти фото, кто мог хоть что-то рассказать об изображённых на них людях. А для потомков эти люди — никто и совсем не интересны…

Что делать? Как спасти свой фотоархив? — а погибнуть он может в любой семье, это — увы! — хорошо известно. Для начала хотя бы подписать каждую фотографию, привести в порядок, разместить в альбоме, чтобы рука не поднялась выбросить. Пусть лежат, а там, глядишь, в каком-то отдалённом будущем внук или правнук заинтересуется ими, откроет их для себя, заглянет в прошлое своей семьи, а может, и не только своей…

В истории о санитарном поезде №187 фотографии, запечатлевшие персонал поезда в работе и на отдыхе, раненых солдат, другие реалии санитарно-поездной жизни, занимают особое место. Можно сказать, с них и начала раскручиваться эта история. И потому далее — необходимый рассказ о том, как и каким образом они оказались в Красноярске. Нет, эти фото не из архива Саввиных, хотя, вероятно, многие из них печатались с одних негативов. Они из другого семейного архива, и тут открывается ещё одна красноярская страница в истории санитарного поезда №187.

Альбомы с фотографиями

В 1995–1996 годах в газете «Красноярский комсомолец», которая тогда ещё выходила, я вёл страницу, которая называлась «Кунсткамера» и была посвящена краеведению. Страница выходила один-два раза в месяц; для неё я старательно подготавливал архивные публикации, писал короткие рецензии на новые краеведческие книги, собирал отовсюду всяческую любопытную информацию в тему и т. д.; каждая страница содержала довольно много иллюстраций. Иные материалы тех страниц интересны, думается, и сегодня.

Самый первый выпуск «Кунсткамеры» вышел с фотографией Николая Ауэрбаха, красноярского краеведа, археолога 1920-х годов, человека многообразных гуманитарных талантов. Спустя несколько дней в редакции газеты мне передали номер телефона: кто-то звонил по поводу одного из материалов в «Кунсткамере», просил с ним связаться. Звонившим оказался сын Николая Ауэрбаха, Константин Николаевич Ауэрбах. Вскоре я встретился с ним у него дома.

Первым делом Константин Николаевич попрекнул меня за ошибку, допущенную в подписи к фотографии, но, в общем, был благодарен за публикацию. Тогда, в 1990-х, после многих лет забвения Николая Ауэрбаха, в газетах, в научных сборниках начинали появляться материалы о нём, и Константин Николаевич был рад любому из них.

Квартира, в которой К. Н. жил с семьёю, была на первом этаже стандартной пятиэтажки, довольно далеко от центра города. Обстановка тоже была стандартно-советская: сервант с чешским хрусталём, чайным сервизом, диван-кровать, полированные книжные полки… Однако же некоторые предметы настораживали: то фарфоровая кружечка с явно дореволюционным рисунком, то потемневшие от времени кожаные корешки нескольких книжек по соседству с Шолоховым и Шишковым, то какие-то другие мелочи указывали на некий исторический подтекст этого обычного жилища.

Пенсионер Константин Николаевич (до выхода на пенсию работал топографом, лесоустроителем) занимался садоводством, любил цветы, разводил, кажется, и голубей, а в зимнее время хаживал в городскую библиотеку на заседания краеведов, таких же, главным образом, пенсионеров, где выступал иногда с рассказами о семействе Ауэрбахов, о котором и в самом деле было что рассказать.

Не стану повествовать о предках К. Н. — ни об отце его, археологе Николае Константиновиче Ауэрбахе, ни о деде Константине Ивановиче Ауэрбахе, возглавлявшем в городе золотосплавочную лабораторию, гласном городской Думы, ни о родственнике Александре Андреевиче Ауэрбахе, горном инженере, предпринимателе, которого Валентин Пикуль сделал героем своего рассказа «Ртутный король России». О них давно и много всего написано, и найти эти публикации особого труда не составит. Скажу лишь, что большой архив Н. К. Ауэрбаха, включавший его рукописи, переписку с учёными, археологами 1920-х годов, сохранённый и в 1930-е, и в 1940-е годы (как был сохранён — отдельная история, о которой тоже рассказывалось), ко времени моего знакомства с К. Н. уже давно (с начала 1970-х) находился в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР в новосибирском Академгородке, переданный туда вдовой Н. К. Ауэрбаха. Но материалы, касающиеся непосредственно семьи Ауэрбахов, — письма, фото и проч. — остались, и К. Н. некоторые из них продемонстрировал. По этим материалам, разным источникам К. Н. составлял родословную семейства Ауэрбахов, начиная с конца XVIII века.

Потом я ещё несколько раз приезжал к К. Н. и в какой-то из приездов показал ему родословное древо Ауэрбахов, вычерченное мною на листе ватманской бумаги. Изготовил я его на основе сведений, полученных от К. Н., информации из энциклопедий, других источников, которую удалось собрать. К каждому персонажу древа я подписал ещё и разные краткие о нём сведения. Такое самодельное родословное древо очень К. Н. понравилось, и я ему его вручил, себе оставив ксерокопию. Во время очередного своего выступления на тему Ауэрбахов в истории России и Красноярска К. Н. представил это древо краеведам.

Последний выпуск «Кунсткамеры» вышел в «Красноярском комсомольце» в августе 1996 года, в нём была напечатана фотография Константина

Николаевича. Он был сфотографирован его на фоне книжных полок; фото сопровождал текст под названием «Из рода Ауэрбахов». И невольно получилось так, что первый выпуск краеведческой страницы вышел с фото Н. К. Ауэрбаха, последний — с фотографией К. Н. Ауэрбаха.

В одну из наших встреч К. Н. показал два небольших простеньких альбомчика с наклеенными в них фотографиями и ещё ворохом снимков между страницами. Что это? Фотографии, привезённые Зоей Петровной, матерью К. Н., с Первой мировой войны?

Оказывается, Зоя Петровна Рязанова (Ауэрбах она стала в середине 1920-х, выйдя замуж за Н. К. Ауэрбаха) в самом конце 1914 года окончила по сокращённой программе курсы при Енисейской общине сестёр милосердия Российского Общества Красного Креста. И уже в следующем году в качестве сестры милосердия она попала в штат медперсонала санитарного поезда №187 Всероссийского земского союза. Некоторые фото были коротко подписаны карандашом: «16.v. Вышков», «21.vii. в Лиде» или «20.x. Белосток». В целом же эти фото представляли картину будней санитарного поезда, курсировавшего на Северо-Западном фронте. Известно, что к поезду имели какое-то отношение одна из дочерей Л. Н. Толстого и ещё врач из Красноярска Саввиных. Об этом Константин Николаевич слышал от Зои Петровны, но подробностей не знал.

«Всё собирался отправить в какой-нибудь военно-медицинский музей, — сказал Константин Николаевич, передавая мне фото. — Возьми, посмотри». Кажется, особого интереса эти фотографии у него не вызывали. Мне они тоже показались тогда, в общем-то, заурядными. Санитары и санитарки, раненые. Вот если бы солдаты на передовой, боевые офицеры, фронтовые эпизоды… А кто из врачей на фото — Саввиных и есть ли она на них вообще, представления никакого у меня не было. В то время я и не знал, как она выглядит.

Летом 1999 года Константин Николаевич Ауэрбах скоропостижно скончался по дороге на свою любимую дачу — остановилось сердце. Оборвалась ещё одна нить, связывающая сегодняшний Красноярск с его прошлым…

А альбомчики так и лежали у меня, и всё руки до них не доходили. Правда, время от времени фамилия М. А. Саввиных встречалась в тех или иных материалах по истории города. Но о её участии в санитарном поезде информация была самая приблизительная. И исходила она не из печатных источников, а от Веры Борисовны Смирновой (1914–2007), внучки красноярского городского головы П. С. Смирнова, едва ли не до самых последних лет своей долгой жизни доставлявшей краеведам разнообразные сведения о старом Красноярске и его жителях.

Медсестра санитарного поезда №187 Зоя Рязанова. По свидетельству знавших её людей, характером обладала строптивым.

Так, в книге П. Н. Мешалкина «Женщины Красноярья (на рубеже xix–xx веков)», писавшейся в середине 1990-х (вышла в 2005 году, уже после смерти историка), со слов В. Б. Смирновой сообщалось, что одна из «первых врачей-сибирячек» М. А. Саввиных будто бы «в 20-х годах уехала в Ясную Поляну к дочери Л. Н. Толстого Александре Львовне, там занималась врачебным делом и помогала ей в музейном строительстве. При каких обстоятельствах сибирячке довелось познакомиться с дочерью писателя? Возможно, во время Первой мировой войны по делам Красного Креста (спасение раненых с передовых позиций)».

В 2007 году вышла книга Тамары Комаровой «Тем, кто в забвенье брошен был судьбой… Енисейская губерния в годы Первой мировой войны» — первая на эту тему. В ней говорится о благотворительной деятельности в годы войны А. А. Кусковой, но, к сожалению, ничего не сказано о М. А. Саввиных, её сестре, находившейся в это время на Северо-Западном фронте.

Между тем об участии М. А. Саввиных в работе санитарного поезда Всероссийского земского союза, её знакомстве и дружбе с А. Л. Толстой можно было прочесть в уже изданных воспоминаниях

Фото на память рядом с поездом. В центре — М. А. Саввиных.

А. Л. Толстой «Дочь» (1992, 2000), в биографическом романе Ю. Хечинова «Крутые дороги Александры Толстой» (2000). Но эти книги не попали, вероятно, в своё время в поле зрения красноярских исследователей.

Для меня, впрочем, знакомство с этими книгами тоже произошло не сразу. Когда же это случилось, то в книге Ю. Хечинова, среди прочих, я наткнулся на фотографии, сопровождавшиеся подписями: «Врач санитарного поезда Мария Александровна Саввиных с санитарами», «Сестра милосердия Александра Толстая перед отъездом на Северо-Западный фронт». Обе в кожаных куртках, с повязками Красного Креста на рукавах — вот, оказывается, как они выглядели! Они же — на общем фото персонала 187-го санитарного поезда. И тот момент, когда я впервые увидел эти фотографии, стал «моментом истины»: так ведь эти женщины в кожаных куртках, Саввиных и Толстая, есть и на фотографиях в ауэрбаховских альбомах!

В один из альбомов, следует сказать, были вложены три листа плотной, нестандартного формата бумаги. На первом листе каллиграфическим почерком выведено: «Рейсы, сделанные санитарным поездом В. З. С. №187». И далее тем же каллиграфическим почерком перечислялись рейсы — с первого, выполненного в октябре 1914 года по маршруту Москва — Белосток — Москва, до пятьдесят седьмого, выполненного в июне 1916-го по маршруту Москва — Киев — Курск. По каждому из рейсов указывались промежуточные станции, где поезд останавливался, протяжённость рейса в вёрстах, а также число раненых, вывезенных поездом. Например: «9 рейс, 25–30/XI/1914 г. Москва — Варшава, 365 чел., 1224 версты».

Таким образом, фотографии из альбомов, частью подписанные, частью атрибутированные по описаниям рейсов санитарного поезда №187, а также сама информация о рейсах, воспоминания Александры Толстой и документальное повествование Ю. Хечинова, информация, полученная впоследствии от Натальи Григорьевны Жиркевич-Подлесских и почерпнутая из различных красноярских источников, — всё это и стало основой для рассказа о М. А. Саввиных, её пребывании на Северо-Западном фронте, отношениях с А. Л. Толстой и т. д. Рассказа, с которого и началось это повествование.

И казалось мне, что содержание ауэрбаховских альбомов как источника сведений на этом полностью исчерпано. Но это было не так!

Одна из фотографий, вложенная в один из альбомов, была большого размера, приблизительно формата А4, хорошего качества. Это было коллективное фото персонала поезда №187. Судя по тиснению в правом нижнем углу, оно выполнено

Персонал санитарного поезда №187. В центре—начальник поезда (в погонах подпоручика), старший врач М. А. Саввиных, медсестра Зоя Рязанова (шестая справа), санитар прапорщик Сергей Эфрон (третий справа). Фото конца весны—начала лета 1915 г.

фотографией «Модерн» польского города Седлеца (около 90 километров от Варшавы)—там санитарный поезд останавливался поздней весной—в начале лета 1915 года.

Персонал поезда разместился перед фотографом в пять рядов на пространстве между железнодорожными путями, рядом со своим 187-м санитарным. Несколько человек в железнодорожной форме, санитары числом тридцать пять человек, в среднем ряду—медсёстры, среди которых нетрудно узнать и Зою Рязанову. Здесь же, в центре, руководство—начальник поезда (с погонами подпоручика), М. А. Саввиных и три прапорщика. Останавливало на себе внимание лицо одного из прапорщиков, сидевшего третьим справа, какое-то одухотворённое, что ли. Причём, в отличие от всех снимавшихся, он смотрел не в объектив фотоаппарата, а в сторону, так, что лицо его получилось чётко в профиль. И казалось, что смотрит он, не сводя глаз, на сибирскую нашу красавицу Марию Саввиных. Ну влюбился парень, с кем не бывает.

Но каково же было моё изумление, когда я узнал, что парень этот—не кто иной, как Сергей Эфрон!

С Сергеем Эфроном в одном поезде

Признаюсь: большим поклонником поэзии Марины Цветаевой никогда не был, есть другие поэты её эпохи, стихи которых более близки. И альбом «Марина Цветаева. Фотолетопись жизни поэта» (М., Эллис Лак, 2000) попал в мои руки довольно случайно, спустя десяток с лишним лет после его выхода из печати. Альбом составили известные цветаеведы А. Саакянц и Л. Мнухин. В альбоме около 750 иллюстраций: сама Марина Цветаева в разные годы жизни, её семья, близкие, изображения тех мест, где она жила. В предисловии сообщается, что альбом, главным образом, «создан на основе уникального собрания Льва Мнухина, собиравшего долгие годы фотографии, автографы, книги, рисунки, редкие открытки и другие материалы».

И вот на страницах 92–93 этого альбома обнаружил вдруг я фотографию—ещё один «момент истины»!—давно и хорошо мне знакомую по ауэрбаховским альбомам! Ту самую—большого формата, на которой заснят весь персонал санитарного поезда. Подпись к ней гласила: «Санитарный поезд. Третий справа сидит Сергей Эфрон. 1915 г.»! Ну конечно! Это лицо с огромными грустными глазами—конечно, это он! Здесь же, на другом фото,—Сергей Эфрон в белом халате, с одним из санитаров, рядом с поездом. И оно тоже было мне знакомо по ауэрбаховским альбомам! Но кто ж знал, что это Сергей Эфрон?!

Сергей Эфрон — санитар.

В дверях остановившегося поезда.

Санитар и санитар, только грустный какой-то. И уже под новым углом зрения несколько раз пересмотрел фотографии в альбомах. И выяснилось: и на этом фото есть Сергей Эфрон, и на том, и на другом!

Фотографий, на которых так или иначе присутствует Сергей Эфрон, насчиталось больше двух десятков. Качества они разного. Одни чёткие, другие размытые, на одних Сергей Эфрон на переднем плане, на других его можно разглядеть где-то в заднем ряду. Многие фотографии в одном из альбомов — небольшие квадратики, фотографы обычно называют их «контрольками». Но качество этих «контролек» неплохое, их можно сканировать, увеличить до вполне приличного размера.

Оставив на время альбомы, обратимся к литературе, источникам: что известно о санитарной службе Сергея Эфрона на поезде № 187 «в эти дни великих шумов ратных», как писал поэт Максимилиан Волошин о начавшейся мировой войне?

А известно, в общем, немало.

В марте 1915 года Сергей Эфрон, ранее получавший отсрочку от службы, поскольку учился в Московском университете, поступил братом милосердия на один из санитарных поездов Всероссийского земского союза. В отличие от рядовых братьев милосердия, он носит погоны прапорщика (студент как-никак университета), а в качестве личного оружия — шашку в ножнах у пояса. К этому времени Сергей Эфрон был женат на Марине Цветаевой; их дочери Але — два с половиной года. Поездом, на который он попал, как можно догадаться, оказался тот самый — № 187!

Сергей Эфрон прослужил на нём всего несколько месяцев — с марта по июль 1915-го. И так совпало, что значительная часть снимков в ауэрбаховских альбомах относится к этому времени.

Вот Сергей Эфрон стоит рядом с поездом, вот сидит в открытых дверях вагона, здесь — в открытом вагонном окне, здесь — у большой санитарной палатки с медсёстрами и санитарами, а тут — во время прогулки у какой-то станции… Некоторые фото подписаны — указана станция, где оно было сделано, иногда и дата. Среди тех, с кем сфотографирован Сергей Эфрон, есть и Мария Саввиных, и Зоя Рязанова. Конечно, на них нет Александры Толстой. Но её и не могло быть — Александра Толстая работала сестрой милосердия поезда № 187 осенью, до начала зимы 1914 года. Нет и в её воспоминаниях упоминаний о Сергее Эфроне. Впрочем, этого могло не быть и по другой причине. Кто такой Сергей Эфрон в то время? Всего лишь недоучившийся студент, санитар, женат, жена пишет стихи, печатается, ну так и что?

Опубликованы письма Сергея Эфрона с его санитарной службы сёстрам Вере и Елизавете. В письмах немного подробностей, поскольку вся корреспонденция подвергалась цензуре. Вот он пишет Елизавете в одном из июльских писем: «Сейчас у нас кошмарный рейс. Подробности потом… Ты даже не можешь себе представить десятой доли этого кошмара». В другом письме сообщает сестре Вере: «Предыдущий рейс был исключительно интересным — мы подвозили раненых из Жирардова и Теремна».

Согласно упоминавшемуся списку «рейсов, сделанных санитарным поездом В. З. С. № 187», это, вероятно, был рейс № 33 Варшава — Москва, начавшийся 14 июня. В этом рейсе поезд вывез 415 раненых.

Вот отрывок из ещё одного, раннего, от 3 апреля, письма Елизавете:

«Сегодня я с двумя товарищами по поезду отправился на велосипеде по окрестностям Седлеца. Захотелось пить. Зашли в маленький домик у дороги и у старой-старой польки, которая сидела

Сергей Эфрон и двое его товарищей после (или до) велосипедной прогулки на станции Седлец, о которой он рассказал в письме сестре Елизавете. Во втором ряду крайняя справа — Зоя Рязанова.

в кухне, попросили воды. Увидав нас, она засуетилась и пригласила нас в парадные комнаты. Там нас встретила молодая полька с милым грустным лицом. Когда мы пили, она смотрела на нас, и ей, видимо, хотелось заговорить. Наконец она решилась и обратилась ко мне:
— А почему пан такой мизерный? Пан ранен?
— Нет, я здоров.
— Нет, нет, пан такой скучный (я просто устал) и мизерный (по-русски это звучит обидно, а по-польски совсем иначе). Пану нужно больше кушать, пить молока и яйца.

Мы скоро вышли. И вот я не офицер и не ранен, а её слова подействовали на меня необычайно сильно. Будь я действительно раненым офицером, мне бы они всю душу перевернули».

Отрывок этот интересен ещё и тем, что к нему в качестве иллюстрации нашлась фотография. На фото: рядом с поездом — группа санитаров и сестёр милосердия (среди которых и Зоя Рязанова); впереди — Сергей Эфрон и ещё те «двое товарищей», о которых он пишет в письме, с велосипедами. Фото подписано: «4 апреля, Седлец». «Мизерный» на польском — худой, осунувшийся, болезненный. Эфрон на большинстве снимков таким и выглядит.

«Мизерный» — услышанное от польки это слово ему, студенту-филологу, понравилось, он вставил его в одно из последующих своих писем: «Меня страшно тянет на войну солдатом или офицером, и был момент, когда я чуть было не ушёл, и ушёл бы, если бы не был пропущен на два дня срок для поступления в военную школу. Невыносимо неловко мне от моего мизерного братства — но на моём пути столько неразрешимых трудностей».

На станциях, где останавливался поезд, в свободные от работы часы персонал поезда небольшими группами отправлялся на прогулки по окрестностям. В этих прогулках, судя по фотографиям, обычно участвовала и Мария Саввиных. Медсестёр сопровождали мужчины — один-два санитара, прапорщики с пристёгнутыми к поясу шашками (мало ли что — идёт война!). На одном из таких фото — сёстры милосердия на траве на опушке леса, перед ними полулежат с задумчивым видом Мария Саввиных и Сергей Эфрон. На другом — медсёстры, санитары, Мария Саввиных, Сергей Эфрон, погружённый в свои думы.

Но не могли же Сергей Эфрон и Мария Саввиных бродить молча по окрестностям станции. О чём-то ведь они говорили…

«Сергей, — могла, например, спросить Эфрона Мария Саввиных (она была старше его лет на двадцать, обращалась, наверное, по имени), — вы часто невеселы. Что-то стряслось?»

«Нет, нет, что вы! — мог ответить Сергей Эфрон. — Всё хорошо. Это так… Не обращайте внимания».

«А семья ваша как? Вы ведь женаты?»

«Да, женат. Марина с дочерью сейчас, должно быть, уже на юге, в Крыму. И я, честно говоря, немножко беспокоюсь за них».

«Ну вот и понятна причина вашей озабоченности! Хотя — что беспокоиться? В Крыму всегда хорошо, даже теперь».

«Как сказать… Где сейчас спокойно? Война ведь…»

«А я вам скажу где — в Сибири более-менее спокойно, оттуда до войны далеко».

«Наверное… А почему в Сибири?»

Мария Александровна Саввиных, Сергей Эфрон и сёстры милосердия на опушке леса во время одной из прогулок.

«Потому что знаю её. Я ведь оттуда, с тех краёв».

«Интересно как! Никогда в Сибири не был, не имею о ней никакого представления».

«Сибирь как Сибирь, тоже люди живут. Некоторые довольно известны. Суриков, например. Он наш, из Красноярска».

«Суриков? Вот здорово! Нам с Мариной о нём Макс рассказывал».

«Макс—это кто?»

«Макс Волошин. Поэт, художник. Наш друг, живёт в Крыму, ходит, как древний грек, в хитоне… Марина с Алей к нему поехали. У него дом в Коктебеле. Макс встречался с Суриковым, собирается, кажется, книгу о нём писать».

«А мне, кстати, тоже доводилось с Василием Ивановичем встречаться. В Красноярске им очень гордятся…»

«Никогда бы не подумал, что вы из Сибири».

«Почему?»

«Ну-у, не знаю, не похожи. Сибирячки все купчихи, крестьянки или каторжанки, а вы какая-то особенная. Московская, питерская… Столичная, в общем».

«А ведь я, Сергей, и есть купчиха! Мой супруг Андрей Андреевич Саввиных известным в губернии купцом-золотопромышленником был. Неординарный человек, игрою в шахматы очень увлекался, одевался по-европейски… Умер он, а то бы, наверное, ни за что не отпустил меня на этот поезд…»

Вот такой приблизительно диалог мог быть (а мог и не быть) между Сергеем Эфроном и Марией Саввиных, вышедшими прогуляться до отхода поезда на окраину какого-нибудь Вышкова, Тересина или Тлуща.

Знала ли что Саввиных о Марине Цветаевой как поэте? Возможно, Сергей Эфрон что-то и говорил о стихах, книгах Цветаевой (на то время вышло уже три её поэтических сборника). Но, как мне представляется, Мария Саввиных была достаточно далека от поэзии. Да и ведь по-настоящему знаменитой, когда её имя невозможно было не знать, Марина Цветаева стала много-много позже…

Сергей Эфрон у фотоаппарата с треногой. Может быть, фотоаппарат входил в реквизит поезда, и все, кто умел им пользоваться, снимали по очереди?

В качестве прапорщика-санитара Эфрон чувствовал себя, по собственному признанию, «не на своём месте». Его «тянет на войну», и в то же время он испытывает «моменты страшной усталости», когда ему «хочется такого покоя», что «ничего, ничего не нужно, что и война-то уходит на десятый план». Это его состояние усталости, погружённости в собственные мысли и заметно на многих фотографиях.

Вот ещё один любопытный снимок: Сергей Эфрон и один из прапорщиков стоят на железнодорожных путях, Эфрон держит треногу с фотоаппаратом. Получается, что в поезде был не один, а как минимум два фотоаппарата. Поэтому так много снимков, причём очень часто случайных, необязательных. Кстати, и Александра Толстая упоминает об имевшемся у неё фотоаппарате. Помимо фотографий в ауэрбаховских альбомах, альбомах М. А. Саввиных, были, наверное, подобные снимки и у других врачей, сестёр милосердия, санитаров. Где они сейчас, в чьих семьях, в каких музеях хранятся? Да и сохранились ли? Боюсь, что полного и точного ответа на эти вопросы не будет. Но некоторые из таких фотографий публиковались.

Большое фото персонала поезда №187 и снимок Эфрона в белом халате напечатаны, как сказано выше, в фотолетописи жизни Марины Цветаевой. Фрагмент этого большого фото (лицо Эфрона

Театрализованное действо: Сергей Эфрон с саблей на паровозе в образе то ли какого-то предводителя, то ли некоего героя.

в профиль) помещён на обложку книги В. Дядичева и В. Лобыцына «Доброволец двух русских армий», рассказывающей об участии Сергея Эфрона в Первой мировой и Гражданской войнах.

Ещё одно фото (оно есть и в ауэрбаховских альбомах) использовано в оформлении обложки книги Л. Анискович «Сергей Эфрон. Крылатый лев, или… Судите сами», также посвящённой военной службе Эфрона. В объектив фотоаппарата попала некая театрализованная сцена: Эфрон с поднятой обнажённой шашкой на железнодорожной платформе, рядом начальник поезда, указывающий вытянутой рукой вперёд, ниже — сёстры милосердия, развернувшие, как флаг, кусок материи. В одной из сестёр угадывается Зоя Рязанова. Вот бы расспросить её, что это была за сцена, и вообще о жизни и быте санитарного поезда. Но, увы, поезд, как говорится, давно ушёл…

Не узнать уже, как в ауэрбаховские альбомы попали снимки, относящиеся к осени 1914 года. Ведь Зоя Ауэрбах в это время ещё училась на курсах медсестёр в Красноярске. Её и на снимках этого периода нет. Есть М. А. Саввиных, есть А. Л. Толстая, персонал поезда №187, а Зои Рязановой нет, да и не могло быть. Кроме того, под снимками проставлены даты, названия станций — кто их вписал? Зоя Рязанова не могла, не будучи участницей съёмок. Может быть, эти снимки ей передала Мария Александровна, она их и подписала?

И вот ещё: в альбомах Зои Ауэрбах обнаружилась фотография, положившее начало новой, ещё одной, самой, может быть, неожиданной главе в рассказе о санитарном поезде №187.

Белогвардейцы-добровольцы

Красноярский краевед Александр Ульверт как-то спросил, не встречалась ли мне, случаем, какая-либо информация о Богенгардтах. Известно, что начальницей Красноярской женской гимназии была Антонина Константиновна Богенгардт. А в письмах Марины Цветаевой есть тоже какие-то Богенгардты — Всеволод Александрович, Антонина Константиновна, Ольга Николаевна. Фамилия редкая, да и имя-отчество одной из женщин совпадают. И не те самые ли они, красноярские? Правда, адреса цветаевских Богенгардтов — маленький городок в Чехии, Париж…

В красноярских источниках информации о Богенгардтах совсем мало. Отдельные упоминания в разных публикациях. Есть, впрочем, фотография-визитка красноярского гимназиста В. Богенгардта. Он подарил её приятелю, надписав: «Нарождающемуся таланту Борису Смирнову от скромного труженика. В. Богенгардт». Борис Смирнов, сын городского головы Павла Степановича Смирнова, уже в гимназические годы сочинял стихи, чем, наверное, и объясняется иронически-почтительный тон. И ещё на обороте записано полное имя гимназиста: Всеволод Александрович Богенгардт.

Ну никак такие совпадения не могут быть случайными! Несомненно, что адресаты Марины Цветаевой — и Всеволод Александрович, и Антонина Константиновна — те самые, красноярские Богенгардты! Только уж невероятно это очень. Кто такая Марина Цветаева — и кто такие Богенгардты? Что их может объединять?!

Но, словно бы в развитие сюжета, нашёлся ещё один снимок Богенгардта — в ауэрбаховских альбомах! На снимке мужчина в военной форме, с погонами подпоручика, раскуривает папиросу у столика в вагонном купе. Дарственная надпись на обороте: «Незаменимой помощнице ведения «Продуктовой» — Зое от ленивого хозяина 187 поезда. 9 мая 1916 г., ст. Видиборг. В. Богенгардт». Почерк тот же, что и на гимназическом фото десятилетней давности, та же ирония в тексте… Непонятно, что означает слово «Продуктовой»: может быть, Зоя Рязанова, которой подарено фото, была ответственной за приём, выдачу продуктов на поезде? Впрочем, это не столь уж важно.

Получается, что на санитарном поезде №187, помимо Марии Саввиных и Зои Рязановой, работал ещё один красноярец — Всеволод Богенгардт! Его нет на фотографиях ранних, того периода, когда

Красноярские гимназисты поколения 1891–1892 гг.: Всеволод Богенгардт, Борис Смирнов, Николай Ауэрбах. Всё ещё впереди…

сестрой милосердия поезда состояла Александра Толстая, когда санитаром служил Сергей Эфрон,—начальником поезда Богенгардт стал, очевидно, позднее. Его работа в этом качестве не оставила заметных следов, кроме разве что упомянутой фотографии, подаренной Зое Рязановой. Главное в его жизни было потом—участие в рядах Добровольческой армии в боях против большевиков, ранение, эвакуация из Крыма с остатками Русской армии, жизнь в эмиграции…

В своей незаконченной книге «Записки добровольца» Сергей Эфрон рассказывает о боях в Москве в октябре 1917 года, происходивших после большевистского переворота, о создании Добровольческой армии в декабре 1917-го в Новочеркасске.

На московских улицах прапорщик Эфрон с другими такими же вооружёнными офицерами, юнкерами, верными долгу, присяге, пытался хоть как-то противостоять захватывающим город, власть в городе большевикам. Но в один месяц всё было кончено… Иван Бунин, живший в это время в Москве, ходивший по тем же, что и Эфрон, улицам, писал в «Окаянных днях»: «Всем существом понял, что такое вступление скота и зверя победителя в город. «Вобче, безусловно!» Три раза приходили, вели себя нагло… Лица хамов, сразу заполнивших Москву, потрясающе скотски и мерзки…»

Бунин писал свой дневник как очевидец, Эфрон «Записки добровольца»—как непосредственный участник вооружённого сопротивления «хамам», и он не раз был на волосок от гибели. И ещё в его записках есть горькое свидетельство: захват Москвы большевиками происходил, в общем, при полном равнодушии, может быть, лишь раздражённом брюзжании большинства московских обывателей. Кто-то боялся за свою жизнь, кто-то надеялся, что всё само собой пройдёт, кто-то ждал неких казачьих частей с юга, которые наведут порядок…

Уцелевшие и не сдавшиеся на милость победителей-большевиков офицеры, юнкера одиночками, по нескольку человек пробирались на Дон, где собирались силы защитников России. Уехал из Москвы и Сергей Эфрон—вначале в Коктебель, к поэту Максимилиану Волошину, давнему другу семьи. Оттуда, в декабре, Эфрон перебрался в Новочеркасск. Там, на улице Барочной, 39, в бывшем лазарете, велась запись добровольцев в армию, создаваемую генералом М. В. Алексеевым.

Добрался из Москвы до Новочеркасска и Барочной улицы и Всеволод Богенгардт, но на месяц раньше Эфрона, в ноябре 1917-го. И с этой поры, с зарождения Добровольческой армии, их пути будут долго идти рядом.

Но—это мне стало известно, когда тема Богенгардтов начала обрастать подробностями,—Сергей Эфрон и Всеволод Богенгардт были знакомы ещё до войны, в пору их учёбы в Московском университете. И даже (как указано в публикации Д. А. Беляева в сборнике докладов «А. С. Пушкин—М. И. Цветаева. Седьмая цветаевская международная научно-тематическая конференция (9–11 октября 1999)». М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2000) Всеволод Богенгардт был шафером на свадьбе Сергея Эфрона и Марины Цветаевой, состоявшейся, как известно, в январе 1912 года.

И Эфрон, и Богенгардт служили в Офицерском полку генерал-лейтенанта С. Л. Маркова. Есть фотография, на которой Эфрон в погонах Марковского полка, чёрно-белых с одним просветом

Они же по прошествии около десятка лет: подпоручик Всеволод Богенгардт в купе санитарного поезда №187, станция Видиборг, май 1916 г.; прапорщик Борис Смирнов, Красноярск, 1916 г.; рядовой Николай Ауэрбах в октябре 1915 г., «принявший присягу и получивший благодарность начальства за молодцеватый вид», как сообщал он матери Е. П. Ауэрбах в Красноярск.

(символика: цвета траура по России, веры в её возрождение). Такие же погоны носил и Всеволод Богенгардт. Им обоим выпало испытать все тяготы Первого Кубанского, Ледяного, как его ещё называли, похода. В этом походе Богенгардт был тяжело ранен, контужен. Поход завершился в апреле 1918 года, и все его участники были награждены особым «Знаком отличия Первого Кубанского похода» — меч, пересекающий терновый венец. Подобный знак в 1920 году был введён и в армии Колчака; он назывался «За Великий Сибирский поход».

Летом 1918 года Эфрон получил отпуск из армии по болезни и уехал в Коктебель к Волошину, где пробыл до поздней осени. А выздоровевший Всеволод Богенгард участвовал и во Втором Кубанском походе Добровольческой армии, закончившемся с большими потерями. В декабре 1918 года армия вошла в состав Вооружённых Сил Юга России. Подпоручик Всеволод Богенгардт был зачислен в комендантскую команду Первого Офицерского (Марковского) полка, подпоручик Сергей Эфрон — в одну из офицерских рот того же полка. Потом — почти два года сражений, поход на Москву, закончившийся неудачей, и отступление на Кубань, кровопролитные бои, оборона Перекопа и Крыма…

Белая армия потерпела поражение. В начале ноября 1920 года уцелевшим в боях марковцам был отдан приказ грузиться на пароходы в Севастополе, вместе с другими остатками частей Белой армии покинуть российскую землю…

Эвакуированные части Белой армии разметало по разным городам и местностям Малой Азии: Константинополь, Галлиполи, Чаталджи, остров Лемнос… Богенгардт оказался в Константинополе, Эфрон в Галлиполи, потом тоже в Константинополе. Примерно через год — вначале Эфрон, а потом Богенгардт — они уехали в Чехию.

«Мои дорогие Богенгардты!»

Есть в Чехии, в сотне километров от Праги, маленький городок Моравска Тршебова (встречается написание Тржебова, Тшебова). Здесь в 1922 году, на территории бывшего лагеря для русских военнопленных, открылась гимназия для детей беженцев из России. Основана гимназия была в Константинополе, а затем стараниями Международного Красного Креста и с разрешения правительства Чехословакии она была переведена в Моравскую Тршебову вместе со всеми учениками, персоналом и т. д.

В воспоминаниях Ариадны Эфрон есть строки: «…В гимназии работали в качестве воспитателей недавние однополчане отца, супруги Богенгардты. Он — высокий, рыжий, с щеголеватой выправкой, офицер ещё царской армии, она — крупная, громоздкая, с волосами, собранными на затылке в тугой кукиш, с явно черневшими над верхней губой усиками — сестра милосердия, мать-командирша.

На фронте она вы́ходила его после тяжёлых ранений, отучила от водки, отвела от самоубийства, стала его женой. И чтобы жизнь получила оправдание и смысл, оба посвятили её детям-сиротам».

Жену Всеволода Богенгардта звали Ольга Николаевна, она — урождённая графиня Стенбок-Фермор. Старинный графский род Стенбок-Ферморов вёл своё начало с XIII века, происходил из Швеции. Были в этом роду государственные

служащие, дипломаты, генералы. Одна из ветвей укоренилась в Эстляндии, её потомки жили в Санкт-Петербурге, Херсонской губернии. Нашлись сведения о Николае Васильевиче Стенбок-Ферморе, родившемся в Санкт-Петербурге в 1868 году. Граф, чиновник по особым поручениям, крупный помещик, коннозаводчик, он был арестован в августе 1919 года в Москве и вскоре расстрелян как контрреволюционер. Возможно, это отец Ольги Николаевны, но точных данных на этот счёт у меня нет.

Надо полагать, в гимназии супруги Богенгардты начали работать ещё в Константинополе, вместе с нею и перебрались в Чехию. В Тршебове гимназии принадлежали учебные корпуса, хозяйственные постройки, была своя церковь. Целый небольшой городок, в котором жили преподаватели и служащие гимназии. В середине 1922 года (год «философского парохода»—высылки из страны неугодной большевистской власти интеллектуальной элиты), когда из советской России ещё можно было выехать, к сыну в Моравскую Тршебову приехала Антонина Константиновна Богенгардт. В гимназии она стала преподавать французский и немецкий языки (французский язык преподавала и в Красноярской женской гимназии, будучи её начальницей).

Когда А. К. Богенгардт уехала из Красноярска в Москву? В «Памятной книжке Енисейской губернии на 1915 год» она ещё указана начальницей женской гимназии; известно, что в июле 1917-го А. К. Богенгардт участвовала в выборах в Красноярскую городскую Думу. Возможно, из Красноярска она и уехала во времена разгоравшейся революционной смуты. А может быть, прожила здесь все годы революции и войны и к сыну в Чехию в 1922-м отправилась через Москву из Красноярска?

В том же 1922 году к Сергею Эфрону, поступившему в Карлов университет в Праге, из Москвы, через Берлин, с дочерью Алей приехала Марина Цветаева. Здесь, в Чехии, семьи Богенгардтов и Эфронов часто общаются, переписываются.

В шестом томе собрания сочинений Марины Цветаевой (М., Эллис Лак, 2000) опубликованы одиннадцать писем, адресованных ею Богенгардтам—всем вместе или по отдельности Всеволоду, Антонине Константиновне. К ним она обращается как к самым близким людям: «Милые», «Дорогие», «Мои дорогие Богенгардты!». Вот начало одного из этих писем:

«Дорогие Антонина Константиновна, и Ольга Николаевна, и Всеволод Александрович (а Всеволод после всех! Но это не оттого, что я его меньше всех люблю)!

Я люблю вас всех одинаково: всех по-разному и всех одинаково: Антонину Константиновну за вечную молодость сердца, Ольгу Николаевну за весёлое мужество жизни, а Всеволода—просто как милого брата, совсем не смущаясь, хочет ли он такой сестры».

В общем, всё тут сказано—и о том, что это были за люди, Богенгардты, и об отношении к ним Цветаевой.

До середины 1920-х Богенгардты жили в Тршебове, Цветаева с мужем—в Праге, в разных маленьких деревушках в окрестностях чешской столицы. Их дочь Ариадна поступила в русскую гимназию в Тршебове, жила в интернате, и Богенгардты, особенно Антонина Константиновна, опекали её. При всей общей скудности эмигрантского быта, Богенгардтам материально жилось всё ж таки получше, чем Цветаевой с Эфроном, порою бедствовавшим совершенно откровенно. Есть в письмах Цветаевой благодарность за заботу об Але, как часто звали Ариадну, за подарки ей. В одном из писем—благодарность за подарки, сделанные Богенгардтами самой Марине Цветаевой («Ещё раз—нежнейшее спасибо. Платье по мне, только чуть-чуть сузила пояс. А в *то* (здесь и далее курсив в письмах—самой М. Цветаевой.—*В. Ч.*)—сразу влезла!»).

В письме от 29 октября 1923 года Цветаева сообщает Богенгардтам о смерти Пра—так в семье Эфрона—Цветаевой называли Е. О. Волошину, мать Максимилиана Волошина. И можно предположить, что и она, и сам Волошин, и гостеприимный их дом в Коктебеле были знакомы Богенгардтам. Возможно, Всеволод Богенгардт бывал там с Сергеем Эфроном ещё до войны. А может быть, в 1918–1920-е годы, в какие-то из приездов Эфрона с фронта в Коктебель его спутником был Всеволод Богенгардт, и не один, а с медсестрой Ольгой, ставшей его супругой.

В другом письме, адресованном Антонине Константиновне, Цветаева пишет: «Часто мысленно переношусь в Тшебово, вижу маленькую площадь с такими огромными булыжниками, гербы на воротах, пляшущих святых. Вспоминаю наши с Вами прогулки,—помните грибы? И какую-то большую пушистую траву, вроде ковыля». В гостях у Богенгардтов Цветаева и Эфрон бывали не раз, у них они останавливались, когда их дочь сдавала приёмные экзамены в гимназию.

О русской гимназии в Моравском Тршебово написано немало. Однажды её учащиеся (в возрасте от шести до девятнадцати лет), дети русских эмигрантов, получили необычное задание: вспомнить и написать обо всём том, что случилось с ними, их близкими, начиная с 1917 года. На задание отводилось два академических часа. Сочинения учащихся стали основой для изданной в Праге в 1924 году книжечки «Воспоминания 500 русских детей». Вскоре подобные сочинения были написаны учащимися и других русских эмигрантских школ и гимназий. Весь этот огромный материал, обработанный, прокомментированный

В. А. Богенгардт с Георгием (Муром) Эфроном (первый слева), сыновьями Сашей и Сергеем. Париж, 1930-е гг.

педагогами, психологами, вошёл в сборник «Дети эмиграции». Он вышел в Праге в 1925 году, а в 2001 году был переиздан в Москве. В предисловии к сборнику известный историк-богослов В. В. Зеньковский писал, что в воспоминания «невозможно погрузиться без того, чтобы не застонала душа, чтобы не затрепетало сердце от прикосновения к трагедии России»…

То, что испытали дети, то, что происходило на их глазах, можно определить одним словом, которое встречается в их воспоминаниях: жуть. Можно найти в сборнике и такие строки из сочинения одной из гимназисток: «Когда мы вышли из дому, то деревья были разубраны морозом, было всё так грустно и уныло, как будто бы они предчувствовали, что наступают большевики». Потрясающе образное определение случившегося: нашествие большевиков—это стихийное бедствие, от которого нет спасения никому—ни человеку, ни природе…

В гимназическом городке в Тршебово были своя церковь, детский сад и библиотека. Гимназисты могли заниматься спортом, музыкой, ставить спектакли. Вошли в традицию и широко отмечались Дни русской культуры, гимназисты издавали рукописные художественно-литературные журналы. Антонине Константиновне Богенгардт, конечно, очень пригодился в Тршебово её большой педагогический опыт, приобретённый в те времена, когда она преподавала в Красноярской женской гимназии, возглавляла её.

Но—дети вырастали, гимназисты заканчивали учёбу, покидали стены интерната, гимназии. В середине 1930-х русская гимназия в Моравской Тршебове закрылась; её территория была передана военному училищу и высшей школе для подготовки военных специалистов Чехословакии.

В Тршебове Богенгардты прожили и проработали около четырёх лет; в начале 1926 года они уехали во Францию. К этому времени у них родился сын Сергей (в июле 1924 года). А вскоре после приезда в Париж появился на свет второй сын—Александр (в феврале 1926 года); спустя шесть лет, в августе 1932 года, родилась дочь Ольга.

Семья Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, у которых родился сын Георгий (Мур), уехала во Францию немного раньше, в октябре 1925-го. Во Франции, в Париже, как им казалось, есть гораздо больше возможностей заработать денег на жизнь.

Ариадна Эфрон вспоминала: «Много лет спустя, в середине тридцатых годов, на парижской стоянке такси я вдруг увидела в одной из машин рыжую бороду, напомнившую мне детство.—Богенгардт!—Рассеявшаяся было дружба возобновилась. Мы с родителями съездили в богенгардтовский дальний пригород из своего, в маленький домик, в котором вокруг постаревшей, ещё более раздавшейся, но не сдавшейся Ольги Николаевны толпились и копошились приёмыши—которое уже поколение! Трудно, почти невозможно было обеспечивать их существование ненадёжным заработком шофёра, но любовь к обездоленным детям—великая чудотворица. Это были люди большого сердца».

Ариадна Эфрон пишет о середине 1930-х, но связь её родителей с Богенгардтами не прерывалась, продолжалась и во все парижские 1920-е годы. Они встречались, и не раз, вели переписку из своих парижских пригородов. Так, в июне 1929 года Марина Цветаева (всем троим: «Милые Антонина Константиновна, Оля и Всеволод!») пишет: «Да! Не забыла ли я у вас куска своего мундштука (деревянного)—оплакиваю его!» (Как известно, М. Цветаева курила.—*В. Ч.*) И в этом же письме она сообщает о фотографиях, которые посылает Богенгардтам,—на них сняты их сыновья, сам Всеволод Александрович и Мур.

Письма Цветаевой Богенгардтам—дружеские, доверительные. А что же Сергей Эфрон, писал ли он Богенгардтам, и если да, то сохранились ли эти письма? Письма сохранились—в количестве четырнадцати, за 1921–1924 и 1926 годы. Ныне они находятся в Архиве русского зарубежья Дома-музея Марины Цветаевой в Москве. Сообщение главного хранителя Дома-музея Д. А. Беляева о поступлении этих писем в Архив опубликовано в упоминавшемся выше сборнике докладов Седьмой цветаевской международной научно-тематической конференции. Письма готовятся Домом-музеем к публикации. Впервые же отрывки из них были напечатаны В. А. Шнейдер в книге «Быт и бытие Марины Цветаевой», вышедшей в Париже в 1988 году, а в 2000-е годы несколько раз переиздававшейся издательством «Молодая гвардия» в серии «жзл».

Любопытен фрагмент письма Сергея Эфрона Богенгардтам от 8 апреля 1924 года: «Слышал стороной, что вы усиленно думаете об Америке. Боюсь я Америки, и кажется мне, это—последнее средство. Ведь более чем возможно, что через два года, а м. б., и раньше, мы потянемся обратно.

Страшно зарываться так далеко. Разве если поставить себе целью обогащение».

Но Богенгардты уехали не в Америку, а во Францию, а надежды Эфрона на то, что вскоре («через два года») большевистская власть в России падёт, не оправдались. Более того, он сам становится тайным агентом НКВД…

Последние опубликованные в собрании сочинений письма Цветаевой Богенгардтам относятся к 1938–1939 годам. Во Франции она оставалась одна с сыном Георгием. Дочь Ариадна в марте 1937-го выехала в советскую Россию. В октябре того же года и Сергей Эфрон, замешанный в политическом убийстве, срочно, с помощью советской разведки, был вывезен в Москву. Готовилась к отъезду на родину и Марина Цветаева, заканчивала дела, разбирала архивы — куда что.

Всеволоду Богенгардту она обещает книги и прочие вещи, скопившиеся за эмигрантские годы. «У меня для Вас будет много книг (старинных) и кое-какие вещи в хозяйстве. Ближе к делу — напишу и попрошу Вас за ними заехать, м. б., будет печка, м. б. — две, м. б. — три, то есть если Вам нужны — продавать не буду: напишите, пожалуйста! (Печки — стоячие: одна Годэн, другие — вроде)».

Печки эти упоминаются и в другом письме Цветаевой (печки фирмы «Годэн» — печки-буржуйки). Вероятно, в домашнем хозяйстве и семьи Цветаевой, и семьи Богенгардтов, живших в пригородах, они часто использовались, были необходимы.

Ещё из писем Цветаевой Богенгардту:

«Всеволод! Привезу и семейные фотографии — всякие: я как раз буду разбирать. И другие разные реликвии».

«Когда (точный день недели) можете приехать за книгами, вещами и фотографиями? Я наверняка дома только по утрам (до часу)».

И последнее письмо Цветаевой Богенгардтам от 7 июня 1939 года:

«Дорогие Богенгардты!

Прощайте!

Проститься не могла — потому что только в последнюю минуту, доглядывая последнюю записную книжку — нашла ваш адрес. (Дважды писала Вам по старому и никогда не получила ответа).

Спасибо за всё!

Даст Бог — встретимся.

Оставляю Всеволоду свои монеты — и музейный знак моего отца…

Страшно жаль расставаться.

Непременно расскажу С(ерёже), какими вы нам были верными друзьями.

Обнимаю всех вместе — и каждого порознь — желаю здоровья и счастья в детях — и чтобы всем нам встретиться…

Если смогу — напишу. Помнить буду — *всегда*».

В собрании сочинений в комментарии к этому письму говорится, что «свои монеты» — это, по-видимому, дореволюционные монеты, вывезенные Цветаевой на память из России; «музейный знак моего отца» — один из двух нагрудных памятных знаков, учреждённых для членов Комитета по созданию Музея изящных искусств, основателем и первым директором которого был отец Марины Цветаевой И. В. Цветаев.

Через пять дней, 12 июня 1939 года, Марина Цветаева с сыном Муром уехала в Советский Союз. О дальнейших судьбах Марины Цветаевой, Сергея Эфрона, Ариадны Эфрон и Георгия (Мура) хорошо известно.

Ариадна Эфрон 27 августа 1939 года была арестована, осуждена по подозрению в шпионаже, отправлена на восемь лет в мордовские лагеря. Освободилась 27 августа 1947-го. Жила в Рязани (в Москве и ещё 39 городах страны жить ей не разрешалось). В феврале 1949-го была арестована вновь, сослана на вечное поселение в Туруханск. Оказавшись в Красноярске, откуда она должна была отплыть на пароходе до Туруханска, вспомнила ли она о Богенгардтах, некогда живших здесь? А может быть, она и не знала этого. В 1955-м Ариадна Эфрон была реабилитирована, уехала в Москву.

Сергей Эфрон был арестован в октябре 1939 года, расстрелян в 1941 году.

Марина Цветаева покончила жизнь самоубийством 31 августа 1941 года в эвакуации, в Елабуге.

Георгий Эфрон погиб на фронте летом 1944 года, в Белоруссии.

А что Богенгардты?

Уже по той простой причине, что адресованные Богенгардтам письма Марины Цветаевой и Сергея Эфрона были сохранены, полностью или частично опубликованы, можно сделать вывод о том, что семья эта не рассеялась во времени и пространстве, что потомки её хранили семейный архив, понимали его историческую и культурную ценность.

Так что же известно о судьбе этой семьи?

Антонина Константиновна Богенгардт, урождённая Никольская, 1867 года рождения, умерла во Франции в 1948 году.

Всеволод Александрович Богенгардт, 1892 года рождения, работал в Париже водителем такси, умер во Франции в апреле 1961 года.

Ольга Николаевна Богенгардт, урождённая графиня Стенбок-Фермор, 1893 года рождения, умерла в апреле 1967 года в предместье Шелль под Парижем.

Сыновья В. А. и О. Н. Богенгардтов Сергей Всеволодович и Александр Всеволодович, а также их сестра Ольга Всеволодовна (в замужестве Скрябина), проживавшие во Франции, в июле 1999 года передали из семейного архива в дар Дому-музею Марины Цветаевой в Москве письма к Богенгардтам М. И. Цветаевой, С. Я. Эфрона, их дочери А. С. Эфрон, а также некоторые другие материалы.

О дальнейшей судьбе сыновей Богенгардтов, их профессиях, детях, если они были, и т. д. сведений, к сожалению, нет. Дочь Ольга Всеволодовна умерла в октябре 2007 года, похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. Она была замужем за сыном русских эмигрантов А. С. Скрябиным, минералогом, переводчиком, коммерсантом, спортивным и общественным деятелем. Сама же Ольга Всеволодовна работала художником по тканям, затем в меховой компании семьи Скрябиных. Занималась плаванием, греблей, в 1950-е годы входила в сборную команду Российского спортивного общества по волейболу во Франции, была чемпионкой Парижа, вела общественную работу, участвовала в Национальной организации русских скаутов…

Эти сведения почерпнуты из сообщения Д. А. Беляева, опубликованного в сборнике докладов Седьмой цветаевской международной научно-тематической конференции (2000), из трёхтомного биографического словаря «Российское зарубежье во Франции. 1919–2000», подготовленного Домом-музеем Марины Цветаевой и выпущенного издательством «Наука» в 2008–2010 гг. Добавим, что письма Марины Цветаевой к Богенгардтам были опубликованы с комментариями в шестом томе её собрания сочинений ещё раньше, в 1996 году.

Но ни в одной из публикаций ничего не сказано о красноярских корнях семейства Богенгардтов (так же как в соответствующих изданиях — о том, что М. А. Саввиных, врач санитарного поезда № 187, родом из Красноярска). Потому-то, наверное, красноярская эта тема осталась незамеченной для тех, кому она была бы небезынтересна. Первым, кто «заподозрил» Богенгардтов в красноярском происхождении, был уже упоминавшийся Александр Ульверт.

…Как сложились судьбы других персонажей этого повествования?

Александра Львовна Толстая из Японии уехала в Соединённые Штаты, где и прожила долгую жизнь. Создала благотворительный Толстовский фонд, помогавший русским беженцам во всех странах, писала книги. Умерла в девяносто пять лет в 1979 году на своей ферме в деревушке Валлей Коттедж под Нью-Йорком.

Медсестра санитарного поезда № 187 Зоя Рязанова в 1918 году вернулась в Красноярск. В 1925 году, выйдя замуж за Николая Ауэрбаха, стала Зоей Ауэрбах. Умерла в Красноярске в 1973 году. Потомки Н. К. и З. П. Ауэрбахов живут в Красноярске, Красноярском крае. Николай Ауэрбах был, кстати, одного года рождения с Всеволодом Богенгардтом; наверное, и учился с ним в гимназии в одном классе. Осенью 1915 года он проходил военную подготовку в запасном батальоне, но в действующую армию не попал, вероятно, из-за сильной близорукости. Работал во Всероссийском земском союзе на Западном фронте, заведовал перевозкой медикаментов, перевязочных средств. В Красноярск вернулся в начале 1918 года.

Ещё один упоминавшийся здесь красноярский гимназист, Борис Смирнов, был почти ровесник (на год старше) Богенгардта и Ауэрбаха. Когда началась Первая мировая, он, выпускник Томского университета, окончил офицерские курсы и был отправлен на Западный фронт. Несколько раз попадал под газовые атаки немцев, вернулся в Красноярск и в конце концов в начавшуюся Гражданскую войну попал в армию Колчака.

С установлением советской власти начинается его «хождение по мукам» — по лагерям, ссылкам. Но прожил Борис Смирнов долго — девяносто три года! — и умер в 1984 году. Он был талантливым человеком, писал стихи, поэмы, занимался историей Сибири, Красноярска. Но всё это делал для себя, в стол, поскольку жизненный принцип — не высовываться, не светиться лишний раз — был крепко вбит ему советской властью, бесконечными годами заключений и ссылок. И лишь спустя десяток с лишним лет после его смерти кое-какие стихи из его архива были напечатаны в газетах, сборниках…

Знал ли Борис Смирнов хоть что-то о судьбе своего приятеля гимназических лет Всеволода Богенгардта, когда-то, «на заре туманной юности», подарившего ему своё фото с иронической надписью? Наверное, нет. Да и откуда?

Вспоминал ли Всеволод Богенгардт Красноярск, друзей юности? Наверное, да.

Как вспоминаются всем нам те далёкие, ушедшие годы, когда были мы молоды, счастливы, а будущее представлялось таким безоблачным и бесконечным…

ПРИЛОЖЕНИЕ

В. А. Богенгардт

«Железный Степаныч»

Воспоминания о белом генерале Тимановском (1889–1919)

Воспоминания Всеволода Богенгардта о генерале Н. С. Тимановском были напечатаны в журнале «Доброволец» (1938, февраль), выпускавшемся русскими эмигрантами в Париже в 1936–1938 гг. Ныне их текст размещён на нескольких сайтах (например, «Добровольческий корпус», www.dk1868.ru), откуда и взят.

Воспоминания замечательные — чистый, ясный язык, своя интонация… Уместно воспроизвести их и здесь — в продолжение истории о судьбе

Всеволода Богенгардта. Ведь они не только повествуют о генерале Тимановском, но и добавляют черты к образу самого Всеволода Богенгардта — русского офицера, в чём-то напоминающего героев «Белой гвардии» Михаила Булгакова.

Коротко о Н. С. Тимановском: офицер, генерал-майор, участник русско-японской и Первой мировой войн. За храбрость награждён офицерским Георгиевским крестом и Георгиевским оружием. Активный участник Белого движения на юге России. Командир 1-го Офицерского пехотного генерала Маркова полка.

Впервые я увидел Николая Степановича Тимановского в дни зарождения Добровольческой армии. Мы все, явившиеся в Новочеркасск, на Барочную улицу, 36, восхищались «быховцами» и к их числу присоединяли и полковника Тимановского, хотя он и не был в заключении, но его роль охранителя узников была известна. Вокруг его имени уже сложилась легенда, и я жаждал увидеть одного из «самых награждённых», как говорили, полковников русской армии. Знал я немного и его прошлую историю. Выйдя добровольцем (гимназист 6-го класса) на Японскую войну, он получил два Георгия и пулю в спинной хребет. Эвакуированный, лежал в госпитале почти в безнадёжном состоянии. Государь-император обходил тяжело раненых и остановился около молодого вольноопределяющегося.

— Когда вы поправитесь, — спросил государь, — то что намерены делать?

— Служить Вашему Величеству.

Ответ понравился государю, и он приказал принять расходы по лечению на высочайший счёт. Лечился Николай Степанович долго, но железная натура взяла своё, и поправился он настолько, что впоследствии прошёл Офицерскую гимнастическую школу.

Великая война — и подвиги за подвигами в рядах Железной стрелковой дивизии. Мне рассказывали, как Николай Степанович, ещё не оправившись от очередного ранения, повёл батальон 13-го стрелкового полка в атаку против немцев в белой рубахе, опираясь на трость… Вероятно, с этого времени подполковник Тимановский и превратился в «железного Степаныча». Итак — Новочеркасск, Барочная улица; я разговариваю в маленькой комнате с «сэром» Аладьиным и пресловутым матросом Баткиным, удивляясь, отчего он матрос и откуда у него такая развязность, как входят сюда же доктор Г. Д. Родичев и полковник Тимановский. Высокий рост, атлетическое сложение, ясные голубые близорукие глаза за очками и слегка развалистая походка, такая странная для пехотного офицера, — всё говорило о силе и простоте, составлявших такой резкий контраст с поведением Аладьина и Баткина.

Первый поход. Степаныч — помощник генерала Маркова. Сергей Леонидович Марков, всегда скачущий, всегда восхищающий, яркий, огненный, и — невозмутимый, молчаливый, со смешинкой в глазах, всегда пеший — полковник Тимановский. Какие имена. Какие люди! Где всё это?! Во время Первого похода мы Степаныча недостаточно оценили. Да и немудрено, т. к. нами командовал генерал Марков, а рядом с ним все меркли. Но характерно, что из плеяды блестящих офицеров генерал Марков выбрал в помощники себе Тимановского. Штаб генерала Маркова состоял из Степаныча — по оперативной части и Гаврилы (доктор Г. Д. Родичев) — по инспекторской. Всю канцелярию и все суммы полка этот последний носил всегда при себе в сумке через плечо.

Во Втором походе Николай Степанович командовал уже Марковским полком. Славные бои под Кагальницкой, Тихорецкой… Особо памятны славные для Степаныча бои под Кореновской — той самой Кореновской, где столько было пролито крови ещё в Первом походе… Наш полк изнывал от потерь. Наступление наше захлебнулось. Отдельные слабодушные бойцы отходили. Критический момент. Неожиданно в полк прибыло небольшое пополнение кубанцев. Генерал Тимановский наспех построил этих не сбитых ещё в воинскую часть людей, можно сказать — толпу, и повёл в атаку, увлекая вперёд личным примером. Перелом наступил. Мы победили. Мне трудно привести какие-нибудь красочные по внешности эпизоды из боевой службы Николая Степановича, потому что всё у него было так обыденно, просто… Степаныч в бою всегда был спокоен, всё видел, всё знал. Под его взглядом и трус становился храбрым, потому что в его присутствии и выстрелы, и пение пуль — всё это казалось каким-то «домашним» и безопасным… Чего же бояться, когда всё происходит так, как нужно? Полк обходят большевики справа? Вот это хорошо: резервная рота сможет ударить им во фланг, а команда разведчиков их потом атакует и будет рубить…

Моя близость с Николаем Степановичем началась уже в Екатеринодаре, осенью 1918 г., где полк оставлен был на отдых после Второго похода. Почти каждый вечер я обедал в штабе полка. Степаныч, истинно русская душа, очень любил большое общество за столом, хоровое пение и застольную беседу. Любил выпить и пил много, но не пьянел, а только оживлялся. «Градусом» он облегчал свои недомогания от бесчисленных ранений. Всегда радушный хозяин, и за столом у него царило непринуждённое настроение. Нехитрая закуска, «рыженькая» водка, подкрашенная йодом, дружеская беседа. Помню — капитан Салтыков

и доктор Ревякин поют дуэтом «Уж вечер, облаков померкли края»… Тимановский слушает, склонив голову набок. Потом хором затягиваем русские песни. Внезапно, как бывает, водворяется молчание, все затихают; как говорится, «дурак родился». И Степаныч, глядя куда-то вдаль, начинает басом речитатив чернецов из «Бориса Годунова».

В Екатеринодаре влиты были тогда в полк большие пополнения, поэтому, пользуясь отдыхом, велись усиленные строевые занятия. Как бы поздно ни легли, а рано утром полковник Тимановский уже обходит, всё смотрит, бодр и свеж, как огурчик. Начались тяжёлые бои под Армавиром. Находясь в резерве, я соскучился по командиру и пошёл его навестить за курган, на котором он находился денно и нощно, руководя боем. Верхушка кургана уже сбита, и вообще дело было жаркое.

— Здравия желаю, господин полковник!
— Ты чего, Боген?
— Соскучился, господин полковник.
— Врёшь ты. Небось, наливки захотелось. Ну пей, только не всю.

У Степаныча всегда висели на поясе маузер и фляжка с «фельдмаршальской» наливкой, т.е. спирт на красном перце. По поводу этой «наливки» вспоминается мне один случай. Во время Второго похода мы грузились впервые на железную дорогу. Маленькая платформа, ветер, холодище. Степаныч подпрыгивает и подшучивает над окружающими. Подходит полковник Кутепов.

— Что, Александр Павлович, холодно?
— Холодно, Николай Степанович.
— Хотите наливки?
— Конечно.

Степаныч радушно отстёгивает фляжку и угощает. Ёрш… Никогда не забуду ужаса на лице Кутепова (вообще почти не пившего) и весёлого блеска в глазах Тимановского.

Когда ему дали бригаду и генеральский чин, то в сердцах марковцев боролись два чувства — огорчения, что Степаныч уже не наш командир, но и гордости, что он уже бригадный генерал. Вскоре генерал Тимановский был откомандирован для формирования Отдельной Одесской бригады. Попал он в Одессе сразу в очень сложную обстановку — политики, интриг, местных самолюбий. Но нисколько не потерялся, умел быть корректным и строго исполнял порученное ему дело, хотя мы, молодёжь, и будировали и удивлялись, что он безоговорочно подчинялся, как нам казалось, самозваному одесскому начальству. Зато когда греки и французы начали уходить и предоставили нас самим себе, Степаныч сразу стал начальником единовластным и уверенным. Начался отход в Румынию с полусформированной бригадой. Сначала походным порядком, потом на пароходах. В Румынии тоже нелегко ему пришлось. И хотя Тимановский дипломатию разводить не умел, но наше русское достоинство сохранить сумел и категорически отказался на требование румынских властей сдать им оружие.

Из Румынии бригада морем была перекинута в Новороссийск. Вышли на фронт, и очень скоро Степаныч получил 1-ю пехотную дивизию, в которую входил и наш родной Марковский полк (1-й Офицерский). Начались непрерывные бои. Поход на Москву. Я не стратег, конечно, но, на мой взгляд строевого офицера, Тимановский великолепно справлялся с командованием, несмотря на то что дивизия очень разрослась и насчитывала 9 отдельных частей. Вспоминается случай в Белгороде, где довольно долго стоял штаб дивизии. На фронте произошёл прорыв, и в городе стало очень неспокойно. С минуты на минуту ждали, что могут появиться красные, и началась паника. Генерал Тимановский был уверен, что прорыв удастся ликвидировать, но в самом городе войск у него не было, а панику нужно было остановить. Тогда он приказал вызвать на вокзал оркестр 1-го полка, и первые звуки бравурного фанфарного марша произвели успокоение среди жителей, которые поняли, что раз штаб «веселится», то опасности нет. Когда «цветные» полки развёрнуты были в дивизии, Степаныч получил Марковскую дивизию. С нею мы дошли до Орла. Когда началось отступление, особенно сказалась доблесть Тимановского. Он не только не пал духом, но в обстановке поистине трудной и тяжёлой умел удержать его в своих полках и, отступая, продолжал бить большевиков. Ещё из Курска я был командирован в Одессу и при конце Степаныча не присутствовал. Он заболел тифом.

Долго не хотел поддаваться болезни, никто не мог уговорить его эвакуироваться. Лечения не признавал и «лечился» сам — пил спирт и ел снег. Такого «лечения» даже его сердце не выдержало. Возвращаясь из командировки, в Новороссийске я узнал, что наш фронт — на Дону, что Марковская дивизия в последних боях почти вся уничтожена, что генерал Тимановский умер… Впервые за всю Гражданскую войну я почувствовал, как моё сердце замерло и оборвалось… И в моей душе навсегда все эти несчастья слились в одно.

«Доброволец». Париж, февраль 1938 г., с. 4

За помощь в работе над материалом автор выражает искреннюю благодарность:

Н.Г. Жиркевич-Подлесских (г. Москва),

А.В. Ульверту (г. Красноярск),

А. Кураковой, научному сотруднику музея-заповедника «Ясная Поляна»,

Д.А. Беляеву, главному хранителю Дома-музея Марины Цветаевой в Москве.

Фото из архива автора

Вячеслав Миронов

Босния

(Глазами военного юриста, 1996 год,
события подлинные, имена изменены)

1.

Илья Иванов не думал не гадал, что когда-нибудь попадёт за границу. Всё решилось просто и обыденно.

Майор Иванов стал военным юристом в 1993 году, ему присвоили очередное воинское звание «майор» и дали назначение в Генеральный штаб Министерства обороны РФ.

А как попасть в военный институт из провинции с должности командира роты, не имея знакомых в верхах и больших денег? Сложно. Надо поразить приёмную комиссию своими знаниями.

А как зацепиться и остаться в святая святых — Генеральном штабе Министерства обороны РФ, в Москве — большом городе, городе больших возможностей, городе больших соблазнов? Надо учиться. Надо «грызть гранит науки». Через боль, через «не хочу». В далеко не юношеском возрасте это не так просто.

Когда учишься в техническом вузе, от всей души завидуешь тем, кто учится в гуманитарном. Если у «технарей» всё должно быть точно, одно вытекает из другого, всё подчинено железной логике законов природы, то чего, казалось бы проще — сиди себе в гуманитарном вузе и фантазируй. Но когда становишься «гуманитарием», то с тоской вспоминаешь свою первую техническую профессию.

Две трети личного состава группы были из тех, кто или поступил по знакомству, или просто приехал посмотреть Москву. А вот треть была — «пахари». Они понимали, что это шанс изменить свою жизнь, вырваться из гарнизонов, уйти от рутинной жизни казармы.

Диплом Иванов писал на тему организации работы и службы военного юриста в дивизии. Он чтил букву и дух закона и писал, опираясь на эти постулаты.

Накануне защиты диплома случился день рожденья у соседа... Наутро — жуткая головная боль, а неприятный запах изо рта не смог отбить даже коктейль, состоящий из компонентов: жевательная резинка — полпачки, лавровый лист и кофейные зёрна по вкусу. Плюс трясущиеся руки, противный липкий пот — как с похмелья, так и от волнения перед защитой диплома.

Комиссия во главе со старым седым генералом восседала чинно и важно. Когда Иванов подошёл к схемам, развешанным возле доски, то почувствовал, что «выхлоп» перегара от комиссии идёт ещё более сильный, чем от него самого. Следовательно, им так же худо, как и ему. И мысли у всех — лишь о холодной, запотевшей, со стекающими капельками влаги бутылке пива. Поэтому Иванов, дабы не усугублять своё пошатнувшееся здоровье и здоровье комиссии, был краток. Но многие основные положения в докладе Иванова, тем не менее, не очень понравились председателю комиссии.

— Скажите, вы всерьёз думаете, что в случае, когда юрист полагает, что командир дивизии или вышестоящий командир готовит проект приказа, который противоречит существующим правовым нормам, то юрист, подчинённый этому командиру, вправе не визировать его и отказать в издании? Вы это серьёзно? Это ваше внутреннее убеждение, или же это просто исходя из требований схемы и темы дипломной работы?

— Это моё внутреннее убеждение, товарищ генерал!

— Вы понимаете, что тогда будет с армией, когда юрист будет накладывать вето на приказы своего командира?

— Будет правовое государство.

— Хм! — генерал усмехнулся и с интересом посмотрел на Иванова.

На следующий день Иванова вызвали в Правовое управление ГШ МО РФ. Заместитель начальника этого управления входил в состав комиссии, принимавшей участие в приёме дипломной работы у Иванова. И доложил о молодом, перспективном, нетрусливом, грамотном офицере.

Россия и её армия вступали в новое правовое поле. А само названное Управление было заселено старыми кадрами, которые и советское законодательство не знали толком, а про новое уже и говорить нечего. Ну а вторая, тоже многочисленная, рать, окопавшаяся в недрах как всего ГШ, так и Управления, были офицеры, ни черта не соображавшие в юридических и прочих науках, зато прекрасно умевшие интриговать и состоявшие

в родстве со знакомыми высокопоставленных чиновников в погонах и без оных.

Но жизнь диктовала новые условия, и нужны были новые кадры, новая кровь, которая бы работала, пахала за две названные группы. Вот так Иванов и трое его однокашников попали в святая святых, мечту любого военного — Генеральный штаб. По количеству генералов и полковников на один этаж это заведение равнялось двум военным округам.

После службы в Кишинёве командиром радиороты Иванову могло бы показаться, что он попал в рай. Но, как говорится, везде хорошо, где нас нет.

Мелкие интриги, пакости… «Шерстяные» презрительно поглядывали на «пахарей» сверху: мол, ходят по ковровым и мраморным полам плебеи, выскочки.

Но командирская выучка зря не проходит. И Илья скалил зубы, показывая холёным «мальчикам-мажорам», что по уровню знаний, подготовки и профессиональной квалификации сынки генералов и потомки славных маршалов давным-давно отстали от наглой военной «лимиты».

Первым испытанием для Иванова стало написание речи президента РФ Ельцина на День ВВС России. Почему юристы писали? А потому что речь должна быть юридически выверена. На такой день без исторических дат и фамилий не обойтись. А для этого пришлось «нырять» в архивы. Вот так поневоле и становишься вдобавок архивариусом.

После написания черновика речи её согласовывали несколько генералов, включая главкома ВВС, потом передавали в администрацию президента. А там, зная, что у президента не все слова проговариваются с первого раза, заменяли такие на синонимы.

И вот Илья сидит у телевизора и сверяет сказанное президентом в День ВВС со своим черновиком. И заменяет слова, чтобы в следующий раз вставить те, что знакомы и легко выговариваемы президентом.

А потом наступил конец 1994 года, и наш Верховный главнокомандующий, после сорвавшейся авантюры со штурмом Грозного 25 ноября того же года, принял решение: ни больше ни меньше — объявить войну… Чечне.

Объявить войну можно иностранному государству, но уж никак не субъекту хоть и формально, но входящему в состав собственной страны.

Однако авторитет первого президента был непререкаем, военные начали готовить военную фазу, а военные юристы пришли в ужас. И стоило немалых усилий — докладов, многочасовых бесед, подковёрных игр, — чтобы убедить президента отменить своё решение и не объявлять войну субъекту федерации. Но, тем не менее, в недрах администрации родился невнятный и малопонятный указ о проведении контртеррористической операции.

Из-за его малой вразумительности и разночтений и было так много непонятного и мутного во время Первой чеченской кампании. Военные юристы предлагали просто объявить чрезвычайное положение на территории Чеченской Республики. Но администрация президента отмела это предложение. Шло время, Иванову повезло, и он получил в 1996 году квартиру. Военная «лимита» получает в Москве квартиру! За его спиной стали шушукаться. Неслыханно! Как так?! Ведь не получил квартиру сын генерала Д., и без квартиры лейтенант А. — внук того самого маршала Р.! Как же так?! Что творится в Генеральном штабе?! Это же позор! Нарушаются добрые старые традиции, когда «пришельцев» с периферии всю службу гнобили и перед самым выходом на пенсию давали какую-нибудь «хрущобу». Не нравится — убирайся в свой N-ский гарнизон! А тут выскочке, без году неделю прослужившему в ГШ, — и квартиру. Умный? Ну и что? У нас в Генеральном штабе дураков нет! Мы все каждый год медкомиссию проходим, в армии идиотов не держат!

И служил майор Иванов дальше. Правовое управление с каждым годом пополнялось военной «лимитой». И уже сам майор вместе с другими представителями Управления сидел на защите дипломов и высматривал умных, толковых, работящих офицеров, способных работать. И часть старых кадров планомерно заменялась новой военной элитой. Несмотря на молодость, майор Иванов стал уже и на полковничью должность. Квартира есть, полковничий «потолок» есть. Что ещё надо? Служи да служи — и через несколько лет станешь подполковником. А затем и полковником. Москва — город больших возможностей и перспектив!

Но не всё так просто в нашей жизни, тем более в высших армейских структурах…

«Сыночки» имели привычку проходить службу в Международном управлении, а «лимита» в погонах — «под танками». И было расписано на два года вперёд, кто поедет за государственный счёт в командировки в США, Австралию и страны Западной Европы. Естественно, что «беспозвоночные» (то есть за которых «никто не звонил») не стояли в этой очереди и даже не мечтали о заграничной поездке. Каждому своё. Кому бублик, а кому — дырка от бублика.

С 1991 года продолжался этнический конфликт в бывшей Югославии. Сербов — коренную нацию — стали уничтожать в национальных образованиях. В том числе и в Боснии. Те же самые славяне-боснийцы, только мусульмане по вероисповеданию, уничтожали, резали сербов, кто посмел много веков жить на земле Боснии.

Все мировые, и российские в том числе, так называемые «правозащитники» визжали от восторга. Они говорили, что это рост национального

самосознания. А когда правительство Югославии ввело войска на территорию Боснии с целью защитить этнических сербов, то оказалось, что сербы творят геноцид в отношении боснийского населения.

Нечто подобное творилось в Чечне. Когда в период 1991–1994 годов вырезали русских, это было «национальным самосознанием» чеченцев, а вот когда началась контртеррористическая операция—это уже геноцид, кричали «правозащитники». Забавно то, что этот статус сами себе присвоили люди, не имеющие ничего общего с правом, а юриспруденция, наука о праве, для этих «правозащитников»—что та китайская грамота.

И вот когда защитники прав боснийцев начали визжать, брызгая слюной, с телеэкранов о том, что нарушаются права мусульман, то так называемое «мировое сообщество» в лице США повернуло голову и сторону центра Европы. Был хороший повод поставить там свои военные базы, не платя никому ни цента, ну а также лишний раз напомнить всему миру, «кто в доме хозяин».

«Холодная война» окончена, поэтому надо всем ещё раз показать, что США до всего в мире есть дело, тем более в центре Европы.

В славном городе США Дейтоне было подписано соглашение о вводе войск в виде миротворческого контингента на территорию бывшей Югославии для предотвращения кровопролития.

Русских и сербов связывала многовековая дружба. И по происхождению—славяне, и по религии—православные христиане. Во время Второй мировой войны в рядах югославских партизан было немало русских. Вместе строили социалистический строй. И много чего ещё. Сербы говорили так: «Нас, вместе с русскими,—двести миллионов!»

Американцы приглашали принять участие в соглашении в Дейтоне по Югославии, но мы гордо отказались. Но и в стороне оставаться также не могли…

2.

И вот принято решение отправить российских десантников в Боснию. И туда же должен был отправиться военный юрист. И не просто юрист, а специалист по международному праву.

— Все «международники» заняты,—сообщил начальник главного правового управления ГШ майору Иванову,—а потому, Илья Викторович, пакуй чемоданы—и вперёд, на войну.

Стоял 1996 год, Первая чеченская кампания была у всех ещё свежа в памяти. Подписаны Хасавьюртовские соглашения—акт о капитуляции, прошли выборы, первый президент остался первым, но уже на второй срок. А война с мусульманами стояла перед глазами. Полномасштабная партизанская война, отрезанные головы наших пленных солдат, замученные русские, сожжённые дома тех, кто посмел сотрудничать с федеральными властями… И тут на́ тебе—езжай на войну.

— А почему я? Ведь я не специалист по международному праву.

— Вы один из лучших специалистов в нашем Управлении. Ну а также вы, майор, легко обучаетесь, схватываете на лету, разберётесь на месте. На сборы три дня. За это время успеете проконсультироваться и изучить необходимую литературу. Выполняйте!

— Есть!

И вышел майор Иванов из кабинета своего начальника, пошёл готовится к командировке на войну.

Предстояло ему выполнять миротворческую миссию в составе подразделения ВДВ.

Десантники в Боснию были направлены обстрелянные, видавшие многое в жизни и немало повоевавшие. Чего нельзя было сказать про Илью Иванова.

Аэропорт Чкаловский, погрузка, взлёт, полёт, посадка. Выгрузка прошла по всем правилам военного искусства. Охрана, оборона, прикрытие.

Чужая территория, память о недавних боях в Чечне, мышечная память, рефлекторная память, инстинкты работают, адреналин в кровь. Но нет противника. Не было его.

Сербы встречали российских военных цветами, музыкой. Русские пришли защитить их от геноцида. Мусульмане Боснии вырезали сербское население. И русские наконец вошли на территорию бывшей СФРЮ.

В памяти оживали кадры военной кинохроники, когда советские войска входили в освобождённые города Восточной Европы и население их приветствовало.

Хоть и не подписали мы Дейтонские соглашения, но, тем не менее, по указанию президента России русские десантники колонной шли по Центральной Европе. Русские снова в Европе! Наши в городе!

Место дислокации русских десантников было определено заранее—Тузла. Маленький курортный городок. Домики—как на картинке с туристического плаката. Узкие улочки. Две встречные машины не разъедутся. Борта БМД (боевая машина десанта) царапали стены домов на поворотах.

Десантники настороже. Всякое может случиться: и среди нарядно одетой публики может прятаться мусульманский террорист, и снайпер может залечь на крыше. Хоть и радовала картина, но русские были начеку. Улыбка до ушей, но глаза и стволы автоматов шарят по крышам и кричащей публике. Где враг? Где противник? Где? Он мог быть всюду. И тогда пострадают эти милые люди, радующиеся нашим военным, которые спасут их от резни.

Наших встречали плакатами. На многих был изображён православный крест, по концам которого были нарисованы буквы «С». По одной букве на каждый конец креста. Смотрелось несколько непривычно.

Потом Иванов спросил у местных, что именно означают эти буквы «С».

Сербы пояснили, что это девиз: «Сербия спасёт себя сама!» Не верят они особо в помощь России, ну и правильно делают!

Разместилась русская воздушная пехота в десяти километрах от этого чудного городка, в горном мотеле. Война напрочь загубила туристический бизнес. И стоял этот мотель заброшенным. Мародёры кое-что разобрали, утащили. Но это было по мелочи. В основном мотель стоял нетронутый.

И вот наша «небесная пехота» начала осваиваться. На войне как на войне. Блокпосты, окопы в полный профиль, техника в капонирах, маскировка, секреты, посты наблюдения — всё как в Чечне, на войне как на войне. Но многое было непонятно. Непонятно, с кем воевать: никто не стреляет, не атакует. Никто не вырезает мирное население. По сообщениям местных, даже уличные хулиганы перестали буянить. И уже через два дня все десантники удивлённо озирались и спрашивали друг у друга:

— Это что, война? Курорт, да и только!

И ещё было кое-что непонятно. Например, а как применять оружие? У других военных, представляющих страны, подписавшие Дейтонские соглашения, было прописано, как и в каких случаях применять оружие. Была юридическая база, основа. А нам? Находимся на территории чужого государства. Цель? Недопущение кровопролития.

Вот командующий группировкой генерал-майор Х. вызвал майора юстиции Иванова и поставил задачу: разработать положение о порядке применения оружия на территории иностранного государства. Ничего подобного ранее в истории российских Вооружённых сил не было. И пришлось Илье напрячь все свои силы.

Переработал «Устав караульной и гарнизонной службы», «Боевой Устав», «Дейтонские соглашения». Теперь оставалось дело за малым — утвердить. Пришёл к командиру с тремя вариантами.

— Докладывай, майор!

— Вот, — Иванов положил перед генералом пять листов компьютерной распечатки.

Генерал прочитал текст, закурил, потом ещё раз перечитал. Посмотрел на Иванова.

— Толково, хорошо, Илья Викторович!

— Не всё хорошо. Есть большая проблема.

— В чём проблема? — генерал насторожился.

— Надо кому-то подписать, утвердить, чтобы это положение приняло форму полномочного документа.

— Кто должен подписать? — генерал начал понимать, о чём идёт речь; он закурил ещё одну сигарету.

— Президент России.

— Не пойдёт. Пока это пройдёт по всем московским инстанциям и объяснят, что к чему, президенту, то мы с тобой на пенсию уйдём по выслуге лет. Дальше. Кто ещё?

— Министр обороны.

— Этот ничего подписывать не будет, — генерал махнул рукой. — Он резолюции накладывает, синим и красным карандашом. И резолюции-то невнятные, а после того, как просра… Чечню, он вообще только в ведомости за денежное довольствие расписывается. Дальше.

— Вы, товарищ генерал. Но это очень ответственный шаг.

— Ответственный, говоришь? — генерал исподлобья взглянул на Иванова, тот выдержал взгляд. — А моим людям надо применять оружие, чтобы себя защитить и выполнить задачу. Давай, майор, подпишу!

И майор юстиции Иванов подал генерал-майору Х. на подпись «Положение о применении оружия». Подписал генерал быстро и чётко, без тени сомнения на лице. И подпись у него была резкая, чёткая, разборчивая. Теперь наши военные могли применять оружие согласно законному акту.

Два других документа, на которых должны были стоять подписи либо президента, либо министра обороны, майор Иванов уничтожил. Слава Богу, остались в армии генералы, не боящиеся взять на себя ответственность!

3.

Спустя три дня после прибытия на Балканы российские десантники поняли, что той войны, которая была в Чечне, здесь не будет. Поэтому все расслабились. Разве это война? Прогулка по Центральной Европе. И началось!

Первым был приказ — сдать пистолеты. Толку от них в бою мало. Бойцы, пользуясь моментом, повытаскивали из бронежилетов тяжёлые пластины, а также перестали брать с собой оружие.

И вот совместно с начальником штаба майор Иванов поехал на проверку блокпостов. Обычный «уазик». Водитель и начштаба впереди, Иванов — на заднем сиденье.

Вдруг из леса вышли два бородатых мужика, у каждого по АКМу на плече. Это не была сербская полиция. Просто бородачи в разномастном камуфляже и со спаренными магазинами.

Согласно Дейтонским соглашениям, автотранспорт с надписью «KEYFOR» не подлежал остановке и досмотру гражданскими лицами, в этом случае можно было открывать огонь на поражение без предупреждения. А такая надпись у наших имелась — как на капоте, так и по бокам машины. И русский флажок трепетал на ветру.

Дорога пустая, нет ни встречного транспорта, ни попутного. Так что — ни свидетелей, ни помощников. Двое сбоку, наших нет.

— Автомат где? — сквозь зубы спросил НШ у водителя.

— Я его сдал, товарищ подполковник... — пролепестел водитель.

— Убью, козёл! — уже орал на него НШ.

Тем временем бородачи уже вышли на середину дороги, один поднял автомат и приготовился к стрельбе.

— Сбавь скорость! — зашипел начальник штаба.

Бородачи наконец увидели российский триколор и широко заулыбались!

— Русские, сербы — братья! — прокричали они, уступая дорогу и приветственно махая нашим.

Офицеры тоже помахали им в ответ. Отряд самообороны сербского села. У всех отлегло.

— Козёл! — НШ от души дал подзатыльник водителю.

Иванов сделал вид, что ничего не заметил.

После этого инцидента был издан приказ о том, что табельное оружие должно постоянно находиться при военнослужащих. Неоднократно проводились строевые смотры, на которых проверялось и наличие бронепластин в жилетах.

И не зря. Начались обстрелы наших блокпостов. Как правило, это была очередь-другая из леса или же со стороны боснийской деревни.

Десантники отвечали и затем шли по следу. Пару раз находили следы крови и следы волочения тела. Попали, значит. Но здесь не своя территория, поэтому преследовать противника не могли, возвращались назад.

4.

Но не одни русские участвовали в наведении порядка в Югославии, там были и военнослужащие других стран.

В самой Тузле и в её окрестностях обосновались американцы. Это были военные первой бронетанковой дивизии. Командовал ею генерал Нэш.

Наши особисты, разведчики исходили слюной при виде американских военных. Для них это был кладезь информации. Наверное, представители военной контрразведки и РУМО (разведуправление минобороны) США испытывали точно такие же чувства при виде наших десантников.

И вот в расположение к нашим пожаловали американцы. Делегация была многочисленная. Возглавлял её полковник — заместитель Нэша. Были представители всех служб. Спереди и сзади ехали танки «Абрамс», между ними — много «хаммеров». На каждом установлен пулемёт. Пулемётчики крутят стволами, при этом делают такие зверские рожи, что просто диву даёшься, как это их до сих пор не перекосило. У всех на лицах боевая раскраска.

На каждом солдате каска с очками, бронежилет, огромный рюкзак. Рюкзак действительно впечатляет. Немыслимых размеров, в него может спокойно поместиться сидя взрослый человек. Сверху к этому рюкзаку приторочен спальный мешок.

Когда колонна остановилась, американская пехота спешилась и заняла круговую оборону. Такого поворота не ожидал никто из наших.

Наш личный состав был построен. А тут такое! Напряжение нарастало. Чтобы на нас, да ещё на нашей территории, кто-то направлял свои пукалки М-16?!

Кипела русская кровь, требовала разобраться по душам! Но американские военные быстро прочитали всё это на наших лицах, дали команду «Отставить» и построили своих военных. Нелегко им было стоять во всей своей амуниции.

Потом американских офицеров пригласили на совещание.

Наши военные расстарались — столы были накрыты от всей русской души. Не хватало ещё ударить в грязь лицом перед иностранными гостями.

Американцы сначала долго сопротивлялись. У них, оказывается, во время учений или боевых действий действует строгий «сухой закон».

Вот тут-то наши и озадачились. Пить одним не хотелось, а выпить желание было.

Стали через наших и американских переводчиков убеждать, пришлось подключиться и майору юстиции Иванову:

— Вы на своей территории?

— Нет, — отвечали американцы.

— А это значит, что американские законы и приказы здесь не имеют действия. Согласны?

— Да.

— Тогда есть предложение выпить за боевое содружество, как в далёком сорок пятом, когда наши войска встретились на Эльбе!

— Да! — американцы встали и взяли стаканы. — За боевое содружество.

И понеслись тосты! На дармовщинку американцы тоже очень любят выпить!

А тем временем на улице наши бойцы знакомились с американскими солдатами.

Первое, что поразило американских бойцов, — наша БМД. Её загнали на въезде в кустарник. У БМД есть одна особенность: на остановке она может опускаться на днище, тем самым снижается риск поражения. Высота машины уменьшается сантиметров на сорок.

И вот когда американцы увидели, как она поднимается, они словно дети радовались. По их просьбе механик-водитель раз пятнадцать поднимал и опускал корпус БМД.

Это очень напоминало игру с малышами, когда закрывают ладошками лицо и говорят ребёнку: «Ку-ку! А где Лиза? Вот Лиза!» Американцы снимали друг друга по очереди на видеокамеру

и фотографировались. Чему учат в их американской армии?

Перед отправкой в Боснию все бойцы и офицеры-десантники прошли курс изучения 1-й бронетанковой дивизии армии США. Начиная от организационно-штатной структуры этой дивизии до тактико-технических характеристик вооружения и стрелкового оружия. Зачем? Пригодится. Ехали на войну, плюс в памяти ещё оставалось, что американцы совсем недавно были нашими вероятными противниками номер один!

Потом американские солдаты и сержанты рассматривали наши разгрузочные жилеты и так называемые «лифчики». Объяснили им, для чего они предназначены, и дали померить, чтобы они сами оценили удобство нашего снаряжения. Американцы тут же предложили обменять пару наших жилетов на жевательную резинку и сигареты.

Наши бойцы откровенно потешались над ними. Очень уж было похоже на торг между туземцами и колонизаторами. Неужели американцы всерьёз считали нас индейцами, у которых за яркие бусы можно было обменять почти всё?

Показали американцам наши индивидуальные перевязочные пакеты. Американцы оценили их по достоинству и тут же показали свои. Они мало отличались от наших. Но тут пришёл и наш черёд удивляться. У каждого американца были средства женской гигиены. Тампоны, прокладки.

Для чего они нормальным с виду мужикам? Б-е-е-е! Те объяснили, и всё встало на свои места. Это американская «хитрушка». При ранении прокладки очень хорошо впитывают кровь и способствуют её быстрой остановке. Хитрость, конечно, интересная, но чтобы русский десантник носил их у себя в кармане?! Да ни в жизнь!

За время беседы, происходившей как при помощи переводчиков, так и при помощи жестов, наши бойцы очень удивлялись, почему на американцах так много навьючено. И почему за время общения никто из американцев не снял каску, не расстегнул снаряжение, не скинул свои огромные мешки.

Они пояснили: при поступлении в армию США подписали контракт, в котором было оговорено, что если в случае их ранения или смерти на них не будет чего-то из положенного снаряжения, то страховка не выплачивается. О как!

Нашим очень понравились фонарики, что торчали у американцев из карманов бронежилетов. Они были изготовлены в форме буквы «Г». Очень удобно. Но, тем не менее, никто из американцев не захотел расстаться с фонарём, даже в обмен на «разгрузку» или «лифчик».

Напрасно наши уговаривали американцев поменяться. Те лишь улыбались и объясняли, что не могут, их, мол, тогда сильно накажут.

Наши говорили примерно так:

— Да не трусь, братан! Сержанту скажешь, что потерял или что русские украли. Мы же в ваших глазах как дикари. Отвернулся, а тут р-р-раз — злодеи-русские и открутили фонарь. Ну давай, не жмись! А тебе — «лифчик»! А?

Но не повелись американцы на наши просьбы.

И что ещё поразило офицеров и солдат — обилие женщин в американской делегации.

Их было много среди как офицерского, так и сержантского и рядового состава. При том что среди русских десантников не было ни одной женщины.

Наши сразу стали оценивать американок. В основном это были негритянки, латины, азиатки, но была среди них и рыжеволосая красавица с шикарным бюстом, как оказалось впоследствии — ирландка. Даже армейская форма и бронежилет не смогли изуродовать её прелестей.

А с огромным ручным пулемётом управлялась мексиканка. Росточком небольшая, всего около метра пятидесяти пяти. Казалось, что поставь «ручник» на приклад, то он будет одного роста с этой «малявкой».

Русские десантники, как галантные кавалеры, принесли дамам стулья, скамейки: мол, присаживайтесь. Какое там! Американские солдаты женского пола приняли наше радушие и внимание к ним как оскорбление, они шипели, как рассерженные кошки, и поводили оружием. Женские лица, не украшенные косметикой, горели праведным гневом. Тем не менее, пару раз русские пытались хлопнуть дамочек по заду, но их останавливали переводчики. Они объяснили, что всё это может очень плачевно закончиться. Вплоть до международного скандала и тюремного срока. Наши мужики ошалело качали головами. Не всё так хорошо в этой Америке, как показывают по телевизору.

Нашим бойцам стало дурно, когда они узнали, что мужчины и женщины спят вместе в одной казарме, а здесь — в одних палатках, что у американцев нет различия по половому признаку. Это просто убило всех присутствующих наших! В одной казарме с дамами!

И когда шёпотом стали задавать американским мужчинам вопросы на эту тему, помогая себе в объяснении интернациональными жестами: мол, а как вы там?.. — америкосы лишь мотали головами, показывая, что ничего подобного нет и быть не может. М-да, дела!..

После этого американские мужики упали в глазах наших ниже канализации. Больные люди на голову, что с них взять, кроме анализов, и те хреновые будут! С виду — мужики, морды разрисованные, оружием обвешаны, а заглянешь в душу — полные кастраты и импотенты! Это же надо: с бабами в одной казарме спать — и ни-ни! Тьфу!

Встреча закончилась далеко за полночь. Наши офицеры выходили довольные, сигареты в зубах,

куртки расстёгнуты почти до пупа. Никто из наших не был пьян—так, навеселе. Хорошо посидели, попили, песни попели. А вот американцы представляли жалкое зрелище. Почти все американцы были пьяны. Не знаю, как у американцев, а по-русски это называется «в дугу», «в дым».

Кто-то из американцев не мог передвигаться самостоятельно, кто-то спал за столом, некоторых рвало за углом. Самые крепкие, шатаясь, стояли на ногах и на смеси англо-русского объяснялись в вечной дружбе между русскими и американцами. При этом они пьяно махали руками и то били себя кулаком в грудь, то хлопали по плечу ближайшего десантника.

Наши же лишь посмеивались.

— Ладно, ладно, мужик! Гуд, олрайт, хорошо. Россия, Америка—фройндшафт! Иди спать. Гуд бай, тебе, скотина пьяная, проспаться надо! Заходи завтра—опохмелимся!—при этом наши выразительно щёлкали себя по горлу.

— Йес, йес! Олрайт, гоу!—американцы тоже щёлкали себя по горлу.

— Гоу нах хаус,—наши офицеры лишь смеялись и показывали, куда американскому офицеру надо двигаться, махая рукой.—Слышь, боец, как тебя? Джон, наверное,—командир батальона махнул ближайшему американскому солдату.—Гоу сюда. Сюда иди, бестолочь нерусская! Забери своего командира и гоу хаус. Ты меня ферштейн?

Подошедший американский солдат стал отдирать своего офицера от нашего майора. Американец что-то лепетал.

— Ничего, ничего, мужик, ты к нам почаще приезжай, мы тебя и пить научим, и по-русски будешь разговаривать не хуже нас, а потом и не захочешь в свои Штаты возвращаться,—напутствовал его комбат.

Наутро—всё как положено. В семь—подъём, физическая зарядка, во главе личного состава наш генерал и все офицеры, все, кто принимал участие в вечернем мероприятии, посвящённом знакомству с американцами, бежали со своими подразделениями.

За этой картиной изумлёнными глазами наблюдали американские офицеры, прибывшие пригласить наших офицеров на ответный ужин.

Приехавшие американцы не были на вчерашнем мероприятии, и их очень удивило то, что наши спокойно занимались физической подготовкой, как будто вчера ничего не было. Это было выше их понимания, потому что мало кто из американцев сумел выйти из своих палаток.

Они даже поинтересовались, нет ли поблизости другой русской части—может, адресом ошиблись.

Им объяснили, что это мы, те самые, которые принимали вчера их коллег. На вопрос, почему мы в такой отличной форме, в отличие от их сослуживцев, американцам пояснили, что их коллеги просто не умеют пить.

Американцы просили, чтобы мы взяли с собой хоть одну БМД, очень уж им было интересно самим убедиться, что машина действительно поднимается и опускается. Наши пообещали, что обязательно возьмут с собой БМД.

Тут же по команде генерала прибывших американцев завели в палатку, где накрыли стол и пригласили на завтрак. Для их сопровождения выделили трёх офицеров, которые не были задействованы до обеда.

Надо ли говорить о том, что через четыре часа американских офицеров вынесли и погрузили в машины. А также сообщили, что вечером будут у них.

Затем офицеры-десантники, «завтракавшие» с американцами, приняли участие в повседневной жизни русского гарнизона в Боснии.

5.

Вечером группа офицеров отправилась к американцам. Просьбу «товарищей по оружию» не забыли и взяли с собой одну БМД. Памятуя, что у них «сухой закон», взяли с собой немного спиртного. «Немного», конечно, по русским меркам.

Американцы обнесли свои территорию колючей проволокой в виде больших колец. В годы Первой мировой войны подобное сооружение называлось «спиралью Бруно». Как называли, интересно, его американцы?

На самом въезде—автоматический шлагбаум. Они его что, с собой возят?

Выходит американский солдат. Поднимает руку: мол, стой. Стоим.

Наш командир открывает дверцу УАЗа и машет американскому бойцу:

— Ко мне!

Тот, не понимая ни черта по-русски, слышит командные нотки в голосе нашего, подбегает, отдаёт честь. Видит вышитую звезду на погоне, вытягивается стрункой.

— Слышь, солдат, скажи своему командиру, что приехали русские с ответным визитом. Понял? Рус-ски-е!—отчеканил медленно наш генерал.—Иди докладывай! Гоу! Форверст! Пошёл!

Но бойцу уже не надо было никуда бежать. Раздались крики. Это кричали что-то на английском лейтенант и сержант. Оба ехали в маленьком джипе. Каски с белой полосой, на которых было написано: «МР». Военные полицейские.

Шлагбаум поднят. Лейтенант подбежал, вытянулся, отдал честь генералу и на ломаном русском языке произнёс:

— Добро пожаловать! Следите за нашей машиной.

Увидел недоумение во взгляде нашего командира. Понял, что сказал что-то неправильно.

— Идите за моей машиной, езжайте за джипом! — наконец справился с задачей лейтенант американской армии.
— Олрайт, лейтенант! Показывай дорогу.

И мы поехали по американскому военному городку. Территории америкосы, конечно, отхватили побольше, чем у нас. Примерно раза в два. И это при том, что в Тузле дислоцировалась не вся американская дивизия.

На улице было уже холодно, и поразили занятия по физической подготовке, мимо которых проезжал наш кортеж.

В шортах, майках, кроссовках личный состав лежал на бетонных плитах и качал мышцы брюшного пресса, поднимая туловище к согнутым в коленях ногам.

Ветер был холодным, в машинах включили отопительные приборы, а эти — на бетонных плитах.

И женщины с ними. Они также, наравне с мужиками, качали пресс.
— Придурки американские! — заматерился начальник штаба. — Этим же дурочкам ещё рожать надо, а они баб на холодный бетон укладывают! Идиоты!

Через две минуты подъехали к штабу. Там стоял офицерский состав. Многие были с видеокамерами, снимали наш кортеж. Особенно их интересовала БМД. Видимо наслушались вчера о «прыгающем танке», как вечером его обозвали американские солдаты.

Джип с военными полицейскими остановился, остановились и мы. Сначала вышел командир, а за ним остальные.

Приветствия, отдание воинской чести. Машины, сказали, можно оставить здесь. Поступила команда, и механик-водитель БМД «опустил» на днище машину. Американцы зааплодировали.

Потом был товарищеский ужин. Стоит заметить, что стол был гораздо скромнее. В основном — малюсенькие бутербродики. Ну что же, мужики, вы сами напросились! Мы-то можем и рукавом закусить, а вы?

И начали наши офицеры американским офицерам наливать «лошадиные» дозы спиртного. Поначалу те уклонялись: мол, у них «сухой закон».

Какой «сухой закон»?! Войны-то нет. Так это курорт! За дружбу! За боевое братство! Потом взял слово наш генерал, переводчик американский громко переводил:
— Многие годы мы считали друг друга вероятными противниками! Но ситуация изменилась, и мы теперь с вами находимся в одном окопе, участвуем в гуманитарной операции по спасению мирного населения. Так выпьем же за то, чтобы наша миссия завершилась успехом! Перевёл? — последняя фраза уже к переводчику.

Тот кивнул.
— Правильно перевёл? — это уже к нашему переводчику.
— Правильно, — наш кивнул.

С ответным словом выступил заместитель командира американской дивизии. Он также отметил боевое братство. Пока он говорил, наш генерал налил полную стопку водки. И в конце речи протянул ему.

Американскому однозвёздному генералу ничего не оставалось делать, как принять чарку и, чокнувшись с нашим, выпить её до дна. После этого американцы уже пили не стесняясь. Закуски быстро закончились.

Нашим решили устроить экскурсию по базе, пока, как объяснили, в офицерской столовой накроют стол. То-то же!

И вот толпа выпивших офицеров двух армий пошла по военному городку американцев. Начали с посещения солдатских палаток. У нас, конечно, в полевых условиях не выполняется весь «Устав внутренней службы ВС РФ», но, тем не менее, порядок поддерживается. Чего не скажешь про американские палатки. Бардак. Постели неубраны, вещи раскиданы. Фотографии с голыми бабами, вырезанные из журналов, были расклеены во всей палатке. М-да, чего-то мы не понимаем в этой жизни.

А так, в принципе, ничего удивительного русские не обнаружили: тот же военный быт, правда, более обустроенный. Много вольнонаёмного персонала, который обслуживает личный состав. Тут же был гарнизонный универмаг. Поинтересовались, можно ли будет отовариваться наравне с американскими военнослужащими. Разрешили. В местных магазинах многое отсутствовало. А цены у американцев нашим понравились.

Технику американскую рассматривали издалека, ближе не пустили. Нашли что прятать! Танки «Абрамс». Замкомбрига без запинки на английском перечислил все ТТХ и ТТД стоящей техники, включая предполагаемые запасы боеприпасов, укутанные брезентом.

Американцы зааплодировали, но, судя по их лицам, они были не в восторге от наших познаний. Наш генерал тут же блеснул эрудицией и рассказал, как русский химик Менделеев («вы же знаете таблицу Менделеева?») лишь по количеству вагонов с различными компонентами на станции в Париже определил формулу бездымного пороха, которую французы держали в строжайшем секрете.

После этого пирушка перенеслась в офицерскую столовую и закончилась только после того, как закончилась водка.

Возле БМД разогнали толпу американских солдат. Они, прямо как дети, фотографировались с нашими солдатами и всё заставляли механика-водителя поднимать и опускать БМД. Фотографировались в беретах наших десантников, обменивались сувенирами. Наши бойцы, как они потом рассказывали, пытались приударить за

американками, но ничего не получилось. Американские мужики их отговорили от этого необдуманного шага.

После долгого прощания мы отправились на свою базу.

Через два дня майора Иванова вызвал командир и сообщил, что американские военные юристы желают с ним встретиться, познакомиться, обсудить проблемы. Надо ехать, и заодно прихватить финансиста и тыловиков, чтобы сделать кое-какие покупки в американском магазине.

Илья взял с собой три бутылки водки, пару матрёшек, горсть армейских пуговиц, эмблем, значков — они очень понравились американцам. И вместе с тыловиками отравился к американцам на совещание.

Первым делом заехали в магазин. Набрали товара, и финансист вынул американские доллары. Надо подчеркнуть, что на дворе был 1996 год, и США только начали обмен старых долларов на купюры нового образца. А нам только поставили из Москвы около двадцати тысяч этих самых новых долларов.

Но американцы в армейском магазине отказались их принимать, утверждая, что они фальшивые. Наши втолковывали им, что они настоящие. Даже показали плакатик, как надо различать фальшивки. Но те были непреклонны. Да и хрен с вами! Высказали всё, что думаем об их долларах, и вышли. Американцы пообещали связаться с Вашингтоном и выяснить, на самом ли деле была у них денежная реформа по замене старых дензнаков на новые, или же это русские придумали.

Потом юриста провели на встречу с американскими военными юристами. В палатке сидело много народу. Через переводчика Иванов поинтересовался, кто эти люди, и что они делают. Здесь должна проходить встреча с военными юристами. Илья наивно полагал, что их должно быть одиндва человека, не более.

Ему объяснили, что присутствующие — все военные юристы.

— А сколько вас всего? — удивился Иванов.

— Сейчас четырнадцать, а всего по штату — двадцать один, — перевёл толмач.

— Ух ты! А чем вы занимаетесь? У нас в дивизии положен по штату один военный юрист, будь то военное или мирное время, а тут двадцать один юрист!

Они стали объяснять. Вот этот мистер, например, занимается ДТП (дорожно-транспортными происшествиями).

— Чем-чем? — брови у Иванова поползли наверх.

— ДТП, — ещё раз объяснили непонятливому русскому майору. — Если совершается ДТП, то этот американец рисует схему происшествия, расставляет, на каком расстоянии кто и где находился, кто и как двигался.

— Потом он принимает решение, кто прав, кто виноват?

— Ну что вы! Он это передаёт в военный суд. Там принимает решение судья.

— Хорошая у вас служба! — Иванов даже присвистнул от удивления.

— Да что вы! — возразили ему. — Тут вот возникла очень сложная проблема!

— Какая, если не секрет?

— А вот смотрите, — американец развернул бумагу. — Крестьянин пожаловался, что американский военный вертолёт во время посадки зацепил крышу его сарая, и крыша слетела. Теперь он требует сатисфакции, возмещения причинённого ущерба.

— Понятно. А в чём проблема-то?

— А как отразить это на схеме? Как отразить, что крыша была на месте, а потом она упала вот сюда? — американец показал, куда она упала.

— Нарисуй пунктирную линию и стрелкой покажи траекторию падения этой крыши.

Американец почесал голову и попросил показать, как это будет выглядеть.

Иванов нарисовал. Американец и его коллеги смотрели, мучительно о чём-то думали.

Потом представили ещё одного юриста, он оказался ответственным за подписание контрактов на закупку необходимых материалов у местного населения.

— О, вот тут-то ты мне и нужен! — Иванов обрадовался. — Нам надо закупать нефть для котельной. Объясни, как вы это делаете. Какими нормативными актами пользуетесь? Как состыковываете международное право?

— О, это просто! — засуетился американец. — Вот, — он достал бумажку, по размерам не больше квитанции из прачечной. — Здесь мы пишем, кто мы. А тут — кто наш поставщик из местных. А тут — наименование товара и сумму в американских долларах. Внизу подписываемся. Потом мы выдаём ему деньги, он пишет расписку, что получил деньги, а нам поставляет товар.

— Секундочку, мужик, не гони лошадей. А если он вас «кинет»? Объясняю: он возьмёт деньги, а товар не поставит, или товар будет просроченный, бракованный, или ещё чего-нибудь. А тут такая бумажка, в которой ничего не прописано. Что делать будете?

— Такого не может быть! — американец был самоуверен. — Если мы заплатили ему деньги, он нам обязан поставить товар нужного нам качества в назначенный срок.

— А если он возьмёт деньги и растворится, исчезнет? Вы думали об этом? Война вроде бы идёт, полиция не функционирует; просто исчезнет, никто его искать не будет.

— Этого не будет! — американец явно не понимал, что от него хочет этот непонятливый русский.

И так Иванов перезнакомился с остальными. Все также занимались, на взгляд русского военного юриста, ерундой. Визировали приказы командира трое юристов, это сейчас, а так—пять. Остальные были кто на больничном, кто—в отпуске.

Потом он рассказал, чем он сам занимается. У американцев был небольшой шок. Как это один человек может всем этим заниматься?! После этого на Иванова они смотрели как на полубога.

У американцев не принято спрашивать, сколько человек зарабатывает, но специалист такого класса, который в одиночку обслуживает воинскую часть, тем более во время проведения боевых действий, должен быть очень богатым человеком. И поэтому они вежливо поинтересовались, насколько состоятельный тот человек.

Иванов честно сообщил, сколько он получает. У американцев снова был шок. За такие деньги воевать? За такие деньги принимать такие ответственные решения? Сумасшедшие русские!

Когда Илья ехал к американским юристам, рассчитывал, что водки хватит на всех, при условии наличия не более трёх этих самых юристов. Предлагать угоститься всей компании тремя бутылками водки—бессмысленно. Поэтому Илья просто передал коллегам водку и всю фурнитуру и начал откланиваться. Пока расшаркивались друг перед другом, поступило сообщение, что произошло дтп.

Поехал американский военный юрист, Иванов напросился с ним. Хотелось посмотреть, как они работают, и плюс небольшое развлечение в череде армейских будней.

Что делали и делают и в Советской и в Российской армии, если нужна вода? Отправляют двух бойцов на водовозке за водой. И всё.

Как поступают в американской армии? Впереди огромного грузовика, язык не поворачивается назвать его водовозкой, едут два «хаммера» с пулемётами, сзади ещё два. Последний автомобиль отстал и свернул не в тот проулок. В Тузле узкие улочки. И развернуться не было возможности, поэтому водитель прибавил газу, чтобы успеть к водовозному кортежу. Но он перестарался и врезался в головную машину. При этом пулемётчик дал длинную очередь. Хорошо, что никого не зацепил.

Второй автомобиль врезался в первый, водовозка, уклоняясь от столкновения, врезалась в дом, при этом стена дома завалилась. Ну а последний автомобиль врезался в стену другого дома, она тоже обвалилась, но не так сильно, как первая.

Но и этим дело не кончилось. По радиостанции солдаты доложили о происшествии. На помощь и для разбора происшествия выехало три сержанта. Каждый на «хаммере». Пока ехали на выручку попавшим в беду подчинённым, один их сержантов врезался в гражданский автомобиль.

Так что к приезду Иванова и американского юриста на месте дтп царил абсолютный хаос. Пыль, крики, гвалт. Местное население пытается растерзать американцев. Пулемётчики водят длинными стволами своих пулемётов. Сержанты целятся из пистолетов в сторону гражданских.

Вместе с нами приехали военные полицейские. Они быстро и деловито оцепили место происшествия. Все попытки гражданского населения прорваться сквозь оцепление пресекались американскими военными полицейскими жёстко. Били резиновыми палками и прикладами своих знаменитых автоматических винтовок М-16.

Тут же появились журналисты, которым военные копы быстро запретили снимать. Репортажи должны быть о подвигах солдат, а не о том, как они по собственной дурости рушат мирные гражданские дома.

Иванов быстро оценил обстановку, понял, что не стоит светиться рядом с американцами, и быстро ретировался. Нет, друзья по боевому братству, тут нам с вами не по пути!

Ходу в свою бригаду. Ходу!

6.

Через неделю командир американской дивизии Нэш издал приказ, запрещающий наказывать офицеров, появляющихся в нетрезвом состоянии после проведения совещаний с русскими офицерами.

После выхода этого приказа американские офицеры восприняли его как руководство к действию. Пришлось уже нашему командованию ограничить дружеские встречи.

Тем не менее, каждый день наши офицеры бывали в расположении американцев. В основном, посещали американский магазин. Ну и «совещания», конечно…

А спустя два месяца коалиционные силы проводили соревнования среди подразделений спецназа, дислоцированных в бывшей Югославии.

Было подготовлено несколько трасс. «Спецы» не знали маршрут прохождения. Каким именно идти, определили лотереей, потом была жеребьёвка на очерёдность.

Этапы были различные. Ориентирование на местности в дневное и ночное время. Преодоление препятствий, в том числе и водных. Маскировка на местности. Кросс по пересечённой местности. Эвакуация собственного раненого. Рукопашный бой. Стрельба из различных видов оружия. Вождение автотранспорта и бронетехники. И много чего ещё.

Хвалёные американские специалисты пришли к финишу последними. Их обогнали даже бельгийцы. Первыми на финише с максимальным количеством баллов и получасовым отрывом были русские.

Как рассказывали, генерал Нэш был в ярости. Наши «спецы» получили по наградным часам.

Будни продолжались. К нашим продолжали ездить американские военные, а наши ездили к ним.

А потом произошёл небольшой инцидент. Вместе с группой мужчин приехали и двое американок. Одна рядовая, вторая — сержант. Рядовая гораздо симпатичнее, чем сержант.

Конечно, мера красоты вдали от женщин — понятие сугубо условное. Так, например, если женщина крайне некрасива, то через три месяца отсутствия общения с прекрасной половиной человечества самый что ни на есть «крокодил» в мирной жизни для военного — Клаудия Шиффер. Не меньше.

И вот наш боец, околачивающийся возле штаба, узрел прекрасную нимфу в камуфляжной форме, увешанную оружием. И начал к ней подкатываться. Причём английским он владел чуть лучше, чем собачьим языком. То есть практически никак не владел. Но при этом, рассчитывая на своё сногсшибательное обаяние и наглость, решил познакомиться с дамочкой.

Подошёл, то да сё. Улыбается, жевательной резинкой угощает, берет на затылок, куртку пошире развернул, чтобы тельник грязный было видно.

Мадам в ответ тоже зубки скалит.

Наш-то принял всё за чистую монету. Не знал или забыл, что улыбка у всех американцев дежурная, «смайл» называется. И забыл, что ему отцы-командиры и особист говорили. Ударила в голову молодому человеку любовь.

Он дамочку сначала за ручку, потом только хотел приобнять, а она как сирена воздушной тревоги завыла! У-у-у-у-у-у!!!

Тут и понабежали американские военные, наши, кто рядом был, примчались. И началось…

Мадам выдвинула против нашего солдата обвинение в сексуальном домогательстве. А по американским законам это серьёзное обвинение. Очень серьёзное. Майор Иванов пыхтел, сначала подоброму пытаясь договориться с американской стороной. Те упёрлись. Нет, и всё! Под суд подлеца. МИД РФ и США начали обмениваться нотами протеста. Дело пахло международным скандалом.

Тогда Иванов объяснил просто, что свидетелей домогательства не было. Следов этого самого не было. А то, что дамочка орёт, то это ещё ничего не значит!

А бойца Иванов предложил по тихой грусти отправить на Родину — в Россию, и чтобы он дослужил положенный срок до увольнения в запас где-нибудь на высокогорной заставе, куда почту раз в полгода привозят. А спрятать человека при желании в России можно бесследно.

И только его отправили, как через три дня подъезжают к нашему КПП «МР». Военная полиция армии США. С ордером на задержание военнослужащего РФ.

Слава Богу, что отправили бойца, а то как его отдавать американцам-то? Объяснили бывшим вероятным противникам, что, мол, опоздали, ребята, кина не будет, потому что уехал рядовой имярек в Россию, мол, папаша заболел, и вряд ли уже вернётся сюда. И подсказывает чутьё, что никогда в жизни ему не захочется покидать пределы своей Родины.

Американцы расстроились. Можно было устроить хорошее шоу на весь мир.

За всю службу бок о бок с американским контингентом в Боснии у Иванова сложилось мнение об американцах как об очень недалёкой и не очень боеспособной армии.

Они превосходят по техническому оснащению любую армию мира. Но техника техникой, а главное — люди, солдаты. У американцев это — самое слабое звено.

7.

Сербы, или, как они сами себя часто называют, «сербины», — такие же, как русские, славяне, такие же православные христиане. Сербы любили говорить так: «Нас, вместе с русскими, — двести миллионов!»

Для сербов приход русских войск в Боснию — был надеждой, что этнические убийства закончатся.

Отличить визуально, где серб, а где босниец, было трудно даже самим названным нациям. Поэтому во время «зачисток», которые проводили та или другая сторона, поступали просто. Захваченного заставляли снимать штаны и нижнее бельё. Если было проведено обрезание, то сербы стреляли его на месте. Боснийцы поступали точно так же с необрезанными сербами.

Русским военным было сложно разобраться в этих хитросплетениях многовековой межэтнической резни. Да особо и не горели желанием вникать во все тонкости.

Опыт прежних войн на территории бывшего Союза показал, что кругом все виноваты. И хоть русские десантники официально не должны были принимать ни одну из воюющих сторон, неофициально поддерживали сербов.

У сербов закупали то, что было необходимо для жизнедеятельности наших военных. Сербские полицейские неоднократно обращались за помощью. Нередко снабжали информацией о боснийских боевиках, складах оружия, схронах.

Когда произошло первое плотное знакомство с сербами, то выяснилась первая неожиданность.

Как мы с вами выпиваем спиртное? Чокнулись — и пьём. А у сербов несколько иначе. Когда наши офицеры чокнулись рюмками с представителями сербской администрации и поднесли рюмки ко

рту, то с удивлением заметили, что сербы демонстративно поставили свои наполненные сосуды на стол.
— В чём дело? — спросили у сербов.
— Перед тем как выпить, вы не посмотрели нам в глаза, а это значит, что что-то недоброе замыслили против нас, — таков был обескураживающий ответ.

И перед тем, как чокнуться, сербы говорили: «Живиле!» (ударение на последний слог) — смесь двух понятий: «жизнь» и «здоровье».

И пили сербы, как правило, сливовицу — самогон «мощностью» свыше семидесяти градусов. После длительного употребления сливовицы печень начинала сильно болеть.

Чтобы спасти здоровье, наши военные ездили в Хорватию за русской водкой. Для этого надо было с территории Боснии выехать в Сербию, а оттуда уже в Хорватию.

Русские проводили закупки необходимого только у сербов. В том числе и нефти, необходимой для работы котельной. Главным торговым партнёром стал довольно известный сербский коммерсант, назовём его Миша.

Это был огромный мужчина ростом под два метра, весом больше ста десяти килограммов. И это не был висящий жир, а крепкое тело, накачанные мышцы. Миша и по меркам России, и по меркам Сербии был крупным бизнесменом. Несколько ресторанов, компания грузоперевозок, собственный причал, три парохода. На одном, причаленном, у него был офис с очень смазливой секретаршей.

Миша заключал с нашими контракты на поставку всего необходимого и попутно делал подарки. Бесплатно поставил мясо на седьмое ноября. Мы уже давно не праздновали этот праздник, в отличие от сербов. Ну что же, мясо — это хорошо.

Мишу только вот постоянно возмущало, что русские так неохотно пьют сливовицу. И однажды Миша сделал вывод, что все русские — слабаки насчёт выпивки. Это происходило в его офисе. Присутствовали — сам Миша, генерал Х. и майор Иванов. Перед этой роковой фразой выпили уже около литра виски.

Русского генерала эта обидная формулировка задела до глубины души.
— Миша, ты думай, что говоришь-то! — в голосе генерала зазвенел металл.
— Да слабаки вы! — Миша не унимался.

Стоит заметить, что рост у генерала ВДВ был метр семьдесят пять, и вес не более семидесяти.
— Спорим? — генерал завёлся.
— Спорим! На что? — у Миши заблестели глаза.
— На два ящика коньяка. Нет! На ящик коньяка «Готье ХО» и ящик чёрного виски «Чивас»!
— Идёт!

Ударили по рукам.
— Илья! Ты — свидетель и рефери! — генерал кивнул головой, чтобы майор «разбил» рукопожатие.

Миша позвонил, и через минуту принесли коробку виски. Уговор был такой, что закусывать ничем не будут. Только лимонами и сигаретами.
— Так, Миша, будем пить или баловаться? — генерал был настроен по-боевому.
— Будем пить!
— Тогда убери свои мензурки и принеси стаканы.
— Начали! — генерал наполнил стаканы с верхом.
— Живиле!
— Живиле!

Состязание продолжалось уже не первый час. Миша и генерал были прилично пьяны; Илье, чтобы не было скучно судить соревнование, налили стакан виски, и он его тихо посасывал.

В два часа ночи Илья пошёл спать в комнату отдыха Миши. В шесть тридцать Иванова поднял генерал:
— Майор, вставай! Подъём. Нам в часть ехать надо! — генерал бесцеремонно растолкал Иванова.
— Сейчас, — Илья сел на край дивана. — А кто победил?
— А идём спросим у Мишки. Я спать не ложился.

Иванов поднял глаза на генерала. Тот вытирался большим мохнатым полотенцем. Генерал был в плавках, от него валил пар. На дворе стоял декабрь, а он купается! На уже выбритом лице не было ни следа выпитого. Закалка!

Вышли в соседнюю комнату. Там на полу огромной горой лежал Миша. Он натянул на голову клетчатый плед, ноги поджал. Холодно мужику.
— Эй, Миша, вставай! — Илья тронул его за плечо.
— М-м-м! — промычал Миша.
— Вставай, хвастун! Здоровье поправим! — генерал уже разлил виски в три стопки.
— Нет! Не може! — Миша не поднимал головы и стягивал с головы плед.

Илья посмотрел, сколько выпили эти два умельца. Оказалось, что на каждую душу пришлось по два литра виски. И это без закуски! Сильные личности!
— Давай, Миша, опохмелимся, и всё будет хорошо!

После десятиминутных уговоров совместными усилиями Мишу заставили сесть и почти насильно влили в него стопку виски и выпили сами.
— Клин клином вышибают! — крякнул генерал. — Где виски и коньяк? — деловито поинтересовался он у Миши.
— Я распоряжусь. Вечером привезут. Ой, как мне плохо!
— Сам тоже подъезжай, а то как-то не по-человечески получится.
— Ой! Я бросил пить, — Миша держался за голову.

8.

Через неделю к командиру российского спецназа приехал командир роты из так называемого

«Русского батальона». Там сражались добровольцы из России.

Встреча проходила с соблюдением мер конспирации. Командир роты добровольцев рассказал, что у него погиб боец. И надо его останки переправить на Родину—в Россию. Спецназовец доложил генералу Х., тот организовал переброску тела погибшего на Родину.

Американцы пронюхали об этом и раздули скандал. Русские военные поддерживают наёмников! И прочее. В Москву понеслись бумаги, звонки.

Потом раздался телефонный звонок из Москвы, и генералу Х. сообщили, что он должен сдать дела и должность прибывающему ему на смену другому генералу.

А через несколько месяцев майору Иванову сообщили, что у его жены рак. Он написал рапорт, чтобы его немедленно откомандировали к постоянному месту службы. Отказали.

Тогда он подал рапорт об увольнении из рядов ВС РФ.

Этот рапорт удовлетворили. Майора Иванова уволили по пункту о невыполнении условий контракта.

Супруге его, Елене, сделали операцию и спасли жизнь. И слава Богу!

Ольга Гуляева

Самолётики в красных штанах

Был июль, я ещё и не знала, что значит «июль»…
Мы смотрели на самолётики в красных штанах:
Мне какой-то из них огоньками слегка подмигнул—
И взлетел, и была я ошеломлена.

Пал Савелич, в соломенной шляпе и в светлой рубахе из льна,
Был мой дед и диспетчер в аэропорту,
И была я до ужаса удивлена,
Что «здорóво» кричали ему мужики за версту.

Мы прошли по Гастелло, потом по Ромашкина шли.
Я спросила у деда: докуда растут тополя?
И спросила ещё: что, я тоже расту из земли?
Дед ответил, что много чего нарожала земля.

Дед ответил, что есть ещё небо, он раньше летал,
Что корову по небу в другую деревню возил,
Чтоб отстала уже я—за-ради святого Христа:
Чтоб по небу летать—нужен чистый, особый бензин.

Он привёл меня к Лаптевой Тане, и был у них собственный двор,
Сам же с Таниным папой за «шахматой» сел выпивать,
Наказав не ходить за вон тот вон зелёный забор,
Рассказал про траву на дворе, на которой не рубят дрова.

Мы, играя, залезли и в бочки, и в водопровод.
Мокрым было и платье моё, и на нём алфавит.
Мне потом обещали: навеки посадят в комод.
Деда просто ругали—поставили деду на вид.

…А сейчас подмигнула в окошко льняная луна,
И вот хочешь летать… а впрягайся—и так вывози…
…Мы смотрели на самолётики в красных штанах…
…Чтоб по небу летать—нужен чистый, особый бензин.

Пётр Коваленко

В последний миг

Ушёл из жизни, три месяца не дожив до своего 90-летия, старейший поэт Красноярья Пётр Павлович Коваленко, четырежды орденоносец, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны, ушедший на фронт со школьной скамьи и закончивший войну командиром разведроты, четырежды раненный, а после войны 47 лет проработавший на железной дороге, почти всю жизнь проживший на маленькой железнодорожной станции Крутояр. Ветеран труда. Автор 20-ти стихотворных сборников. В. П. Астафьев считал его одним из лучших русских поэтов, писавших о войне.

Редакция «ДиН»

Комбат

Был день как день,
Обычный, фронтовой.
Наш батальон пять раз ходил в атаки,
И кровью пламенели буераки.
И всё же кто-то был ещё живой.
И вновь приказ:
«Взять штурмом высоту!»
Комбат мундштук перекусил зубами:
«Кого я в наступленье поведу?
Высоты не берутся мертвецами!»

Но на войне приказ не обсуждают.
И, стиснув в жёстких пальцах автомат,
Шагнул вперёд…
Ведь смерть не выбирают!
И мы за ним…
Был день черней, чем ад,
Шёл батальон в последнюю атаку…
Вскипели вражьей кровью буераки,
От нашей крови заалел закат.

Команда перед боем

Наденьте каски! Глубже!
До бровей!
И вы солдатской мудрости поверьте:
Спасает каска многих от смертей
И удлиняет путь к бессмертью.

И в жизни нет страшней мгновенья

Когда в атаку поднимаешь
Себя и ратников своих,
Секунду каждую считаешь,
И каждый вздох, и каждый миг.
И в жизни нет страшней мгновенья,
Как встать на бруствер огневой,
Бежать в порыве наступленья
И падать—оземь головой.
И, опершись опять о друга,
Что срежут пулей наповал,
Рвануться в ад свинцовой вьюги
Сквозь миномётный чёрный шквал.
И, оставляя в поле павших
(Да пусть они простят живых!),
Ворваться в укрепленье вражье,
И—нож на нож,
И—штык на штык.
И болью скошенные губы,
И блеск стальных потухших глаз…
Завалы из полуживых и трупов,
Приткнутых к стенкам,
Вмятых в грязь.
А после в блиндаже чужом
Кошмаром грезить рукопашной,
Рот зажимая рукавом,
Рыдать
И звать на помощь павших.

Возвращение

Я помню, как с войны вернулся брат.
Скрипя в пустом подворье костылями,
Видавший виды гвардии солдат,
Он, как ребёнок, громко крикнул: «Мама!»
И замолчал,
И губы прикусил,
И костыли,
Как раненые крылья,
На звонкие ступени уронил,
И рухнул, задыхаясь от бессилья.
И ойкнуло,
И ахнуло село,
И тут, и там взахлёб заголосили:
«Отдышится…»
«В родном углу тепло…»
«Какое счастье Марье привалило!»

• • •

Бывало и такое на войне:
Всего за час до жаркого сраженья
Весь батальон, припав к сырой земле,
Храпел—аж листья падали с деревьев.
Никто не думал,
Что нас ждёт потом,
Каким тяжёлым будет пробужденье.
Им снились сны:
Кому—родимый дом,
Кому—в хлебах родимые деревни.
И улыбались воины во сне,
Как будто снова их качали в зыбках,
И было странно видеть на войне
Не смерть, не раны—
Мирные улыбки.
Жужжали сыто пчёлы в тишине,
Цвёл мак, росой июльскою обрызган.
Спал батальон
Мертвецким сном в траве—
На грани смерти
И на грани жизни.

• • •

Снится пепел деревни,
В рваных ранах большак—
Из кольца окруженья
Всё не вырвусь никак,
Всё сжимаю гранату,
А швырнуть не могу.
Умирают солдаты
На бегу, на бегу.
А меня всё минует,
А меня всё щадит.
Чем за щедрость такую
Буду в жизни платить?
Может, правда в рубашке
Мать меня родила?
Попытать в рукопашной…
Эх, была—не была!
Чёрный пепел деревни,
Кровью залит большак.
Из кольца окруженья
Всё не вырвусь никак.

В последний миг

Вот-вот в атаку…
А сейчас
Впиваюсь в мёрзлый ком
губами.
Ведь, может быть,
в последний раз
Целую землю я,
как маму.

Встреча в разведке

Сошлись нос в нос,
Столкнулись грудью в грудь.
Разведка натолкнулась на разведку.
Не разминуться в поле, не свернуть.
Эх, надо б здесь войне поставить метки!
Без криков,
Без проклятий,
Кто кого…
Душили,
Грызли,
Резали,
Кололи…
И не хватило у зимы снегов
Засыпать лужи крови в бранном поле.

…И до утра я не сомкну глаза:
Маячат мертвецы в кошмаре мглистом,
И льётся из-под лезвия ножа
В дымящий снег струёю кровь фашиста.

Прачка

Она сама в фашистов не стреляла,
В разведку не ходила по ночам.
Она бельё солдатское стирала—
По-бабьи, со слезами пополам.
Простреленное пулями навылет,
Осколками разорвано до швов,
Оно от крови пенилось под мылом,
От вшей кишело в щёлоке котлов.
И день, и ночь,
За годом год бессменно,
Забыв про завтрак,
Сутками, без сна,
Она в судьбе солдат была как верность
И матерей, и милых жён. Одна…
Шёл бой за боем.
И за ношей ношу
Тащили ей через огонь и грязь.
И с рук перчатками слезала кожа
С ногтями вместе
В месяц десять раз.
Вы рук при встрече за спину не прячьте
И в сторону не отводите глаз…
Поклон земной вам, фронтовые прачки,
Что на войне обстирывали нас.

• • •

Зачем обманывать себя?
Мы знаем цену
Сталинским победам.
Кровавей битвы
Не было и нету.
Вновь повторить—
Расколется земля!

Александр Астраханцев

Памяти Г. М. Шлёнской

Кончина Галины Максимовны Шлёнской была для меня неожиданной. Я знал, разумеется, что ей предстоит операция, но расспрашивать о ней подробнее было неловко, а сама она, не осознавая, наверное, её серьёзности, досадовала на неё как на временную помеху, собираясь после неё закончить ещё много недоделанной работы. Я, соответственно, тоже в это поверил. Потом, через несколько дней после операции, я говорил с ней по телефону, спрашивая о состоянии, и голос у неё был довольно бодр и энергичен…

Под впечатлением её кончины я тотчас сел было писать воспоминания о встречах и беседах с ней, пока они ещё живы в памяти, и вдруг понял, что совсем мало её знаю: ведь мы встречались и беседовали всего пять или шесть раз, хотя эти встречи и были насыщенны и содержательны. И только через девять месяцев (знаменательная цифра!) я осмыслил, наконец, своё отношение к её личности и смог начать эти воспоминания.

Я давно был наслышан о ней: живёт, мол, в Красноярске некая умная и образованная дама-литературовед по фамилии Шлёнская, иногда пишущая статьи о современной литературе, но, по уверениям моих старших товарищей-литераторов, слишком уж она высокомерна по отношению к местным писателям, большинство которых будто бы ни во что не ставит, а уважает только своих любимчиков Романа Солнцева и Зория Яхнина, да с некоторых пор ещё Виктора Астафьева.

К тому же однажды, ещё лет пятнадцать назад, один мой товарищ, которому нравилось моё творчество, из озорства, найдя её телефон, позвонил ей и спросил: как она относится к такому-то писателю?—назвав при этом моё имя, и она будто бы коротко ответила ему, что про такого писателя и слышать не слышала. Ну что ж, обойдёмся и мы без литературоведши, спокойно подумал я тогда.

Однако, работая в одной и той же сфере деятельности, словесности, мы с ней неизбежно должны были когда-нибудь столкнуться и познакомиться. И это со временем, конечно же, произошло. Причём сначала знакомство было лишь телефонным.

А началось оно с того, что, по-моему, в 2004 году кто-то позвонил мне с кафедры современной русской литературы Красноярского госуниверситета (ныне—Сибирский федеральный университет), сказал, что на кафедре (которой тогда, по-моему, заведовала Галина Максимовна) готовится сборник воспоминаний о В. П. Астафьеве, и предложил принять в нём участие. Я охотно согласился, благо, воспоминания о нём у меня уже были написаны и даже опубликованы в журнале «Сибирские огни», и я тут же отправил их на кафедру. Через несколько дней мне позвонила сама Галина Максимовна, представилась, поблагодарила за них и сказала, что прочитала их и что они ей очень понравились.

Но когда через некоторое время книга вышла («И открой в себе память. Материалы к биографии В. П. Астафьева», Красноярск, изд-во КГУ, 2005), а я получил её экземпляр и стал просматривать свой текст, то был страшно возмущён тем, как с ним поступили: он был намного сокращён, а некоторые фразы в оставшемся тексте исправлены, да так, что мне было стыдно за такую публикацию,—ведь каждый автор знает собственный текст едва ли не наизусть, мгновенно распознаёт любое чужое вмешательство в него и воспринимает его болезненно: для него это всё равно что раны на собственном теле. Я немедленно позвонил Галине Максимовне и высказал всё своё возмущение этим. Она глубоко извинилась, попыталась объяснить мне, что доверила редактирование текста другому человеку, а самой ей проверить редактуру было недосуг, и пообещала, что намечается второе издание этой книги, в котором мой текст будет полностью восстановлен. И действительно, в 2008 году вышло второе издание книги, к которому никаких претензий у меня уже не было

На презентации этой книги мы с ней познакомились воочию. Это была пожилая, довольно крупная и энергичная женщина с пышной седой причёской, с хорошо поставленным грудным низким голосом и приятным, приветливым лицом. С тех пор, встречаясь изредка, мы с ней мило раскланивались. Только и всего…

Но в начале 2010 года, когда я готовил на конкурс грантов «Книжное Красноярье» свою только что законченную книгу «Портреты. Красноярск, XX век» (сборник мемуарных очерков об известных и не очень известных красноярцах, которых я хорошо знавал и большинство из которых уже ушло из жизни), по условиям гранта мне необходимо было запастись несколькими

литературоведческими рецензиями на книгу, и я рискнул обратиться в том числе и к ней, рассудив так: не съест же она меня, в конце концов,—авось и напишет?

Я позвонил ей; она великодушно согласилась и предложила мне принести свою рукопись ей на дом. И вот я у неё дома.

За те несколько лет, что мы были знакомы, она немного изменилась. Теперь встретила меня в прихожей довольно грузная (не толстая, а именно грузная), ещё более пожилая женщина, тяжело опирающаяся на трость, однако—с теми же пышными седыми волосами и тем же приятным, приветливым лицом. Отдал я ей свою увесистую папку с машинописной рукописью объёмом в пятьсот с лишним страниц и, чтобы излишне не маячить перед глазами, тут же удалился, с некоторым волнением ожидая потом «высочайшей милости» (самому ведь уже за семьдесят, восемь книг за спиной—а всё волнуюсь в таких случаях, как вступающий в литературу юнец)… Но ждать пришлось недолго. К моему удивлению, кажется, уже дня через три (точно не помню) она звонит мне и приглашает прийти за рецензией. И я тотчас же поехал.

Приём на этот раз был совсем иной: она встретила меня с предельной приветливостью, провела в гостиную, усадила в глубокое кресло, затем пошла на кухню и принесла мне чашку собственноручно сваренного кофе (объявив при этом, что растворимого кофе терпеть не может), только после этого села сама, рассмотрела меня внимательно, и мы начали разговор.

Верней, начала его она, а я вначале лишь едва вникал в суть, больше наслаждаясь её абсолютно правильной, культурной речью и красивыми модуляциями её низкого грудного голоса. Как давно я не слышал такой обаятельно культурной женской речи! Пожалуй, со времени учёбы в Литературном институте, когда нам читали лекции несколько московских женщин-интеллектуалок—в том числе, например, широко известная в учёных кругах Аза Алибековна Тахо-Годи (признанный специалист по античной литературе и супруга великого русского философа и мыслителя двадцатого века А. Ф. Лосева).

Мы разговаривали в тот день с Галиной Максимовной часа три, не меньше, причём говорила большей частью она, рассказывая о своём впечатлении от прочтения моей рукописи, практически рассказывая и развивая шире содержание своей рецензии.

Я не стану здесь пересказывать похвалы, которые она расточала тогда в мой адрес по поводу замысла книги и его исполнения. Должен только сказать, что это была рецензия, не предназначенная для публикации в газетах или журналах: в ней не было ни литературного изящества, ни каких-либо стилевых авторских изысков,—то была рецензия «внутренняя», чисто оценочная, предназначенная только для спонсоров и книгоиздателей, с естественной для такой рецензии краткостью и деловой сухостью изложения.

Не скрою: слушать похвалы Галины Максимовны в адрес моей рукописи было приятно, тем более что я никогда не был ими избалован. Но гораздо приятней было слушать, как она разбирала мои тексты, прочитав их очень-очень внимательно и не упустив ничего, отмечая все более или менее интересные детали, зорко примечая все достоинства книги. Но—и недостатки тоже, которые следовало исправить. Я только удивлялся тому, как глубоко она вчиталась в мои тексты и прекрасно поняла их, как вытаскивала на свет Божий их смыслы, не всегда, может быть, даже чётко осмысленные мною самим, и как точно выражала их своими словами. Это был высокопрофессиональный анализ, и я слушал её, образно говоря, открыв рот, проникаясь по отношению к ней огромным уважением и благодарностью,—ещё никто так глубоко и детально не анализировал моего творчества; чувствовалось, каким опытным и высокопрофессиональным литературоведом она была.

Нет, критики и литературоведы замечали мои предыдущие книги и писали на них рецензии, и нередко—хвалебные, но то был или поверхностный разбор, цепляющийся за какие-нибудь мелочи и не сумевший уловить главного,—или то были «размышления по поводу», когда критик, легко отталкиваясь от моих текстов, начинал излагать собственные мысли и фантазии, не имеющие к моим текстам серьёзного отношения…

Тут, в ходе этой первой встречи, выяснилось, что Галина Максимовна и в самом деле не читала ни одной моей книги. Но благодаря тому, что ей понравились мои «Портреты…», я сразу ощутил на себе её огромное доверие ко мне как к человеку душевно близкому, понимающему её с полуслова. Кроме того, как я понял, она—в общем-то, одинокий пожилой человек с узким кругом общения, очень нуждающийся в общении со свежими людьми. Во всяком случае, в дальнейшем она принимала меня всегда с явным удовольствием и при прощании выражала надежду обязательно встретиться снова и «поболтать на свободные темы».

С того времени мы стали регулярно перезваниваться. Она также зазывала меня к себе в гости; я приходил, и в течение двух последующих лет мы с ней с определённой степенью регулярности общались, причём, мне думается, общение это было полезно и интересно обеим сторонам. Нащупывались и общие вкусы и пристрастия. Во всяком случае, я с большим вниманием выслушивал всегда её мнения о русской классической и советской литературе и суждения об отдельных писателях—особенно если её «завести» вопросами.

Она была по-женски восторженно влюблена в русский Серебряный век. Особенно — в поэзию А. Ахматовой. Однажды мне довелось слушать её доклад о творчестве Ахматовой, причём половину двухчасового доклада, в подтверждение своих тезисов, она читала наизусть множество её стихов, и читала прекрасно. Надо сказать, что я не люблю декламации стихов профессиональными артистами, часто — нарочито пафосной, и при этом — не слыша или просто не понимая ни глубокого смысла, ни тончайших авторских интонаций, ни звукописи стихов. Но я был приятно удивлён тем, как читала их Галина Максимовна: негромко, внешне спокойно, при этом точно передавая их внутреннюю энергию и богатые, причудливые их интонации. Чувствовалось, насколько близко и понятно ей творчество знаменитой поэтессы: Галина Максимовна как бы исповедовалась перед слушателями стихами Ахматовой. Надо сказать, что к её стихам я всегда был довольно равнодушен: для меня они были образцом холодного самолюбования, в том числе и в любви, и в драматических, и в трагических ситуациях (произнося это, представляю волну возмущения огромного числа любителей её поэзии!); но после чтения её стихов Галиной Максимовной мне стала намного ближе и понятней и душа ахматовской поэзии, и душа самой Галины Максимовны…

Осенью 2010 года я даже участвовал вместе с ней в одной акции; она тогда уже работала в филиале Санкт-Петербургского университета профсоюзов и пригласила меня выступить совместно с ней перед студентами на вечере памяти Андрея Вознесенского (незадолго до этого мы с ней долго общались на эту тему), и мы эту культурную акцию благополучно совершили: рассказывали о своём понимании поэзии почившего летом того года поэта и читали его стихи, причём в этой акции Галина Максимовна раскрылась передо мной ещё и как знаток и страстная поклонница поэзии «шестидесятников».

О чём она ещё рассказывала при наших встречах? О своей жизни в Праге, в которой ей пришлось жить и работать четыре года, как о самом ярком событии в её жизни. О своих встречах с В. П. Астафьевым и её сложном отношении к его творчеству, о красноярских, новосибирских и вообще сибирских писателях советского времени, с которыми встречалась, изучала и знала их творчество

Она умела рассказывать и любила блеснуть и остроумием, и своими знаниями, причём знания эти были не заёмными — оценки её всегда были оригинальны и интересны; она умела совершенно не по-женски — то есть аналитически, жёстко — оценивать сущность людей и явлений под покровами словесной шелухи или устоявшегося общественного мнения, при этом всё-таки оставаясь женщиной, умевшей страстно любить всё, что ей нравилось, и *изничтожать* едкими сарказмами всё, что не нравилось, так что я начинал понимать, почему её не «праздновали» наши писатели.

Она умела дать краткую и точную собственную оценку писателей, творчество которых знала, в том числе и самых известных, и их место в литературе, независимо от других мнений и оценок, причём критерии её оценок были очень высоки: она сравнивала их с классиками, и сравнения, как правило, бывали отнюдь не в пользу нынешних. Я не всегда соглашался с ней, иногда спорил, считая, что очень уж она строга в оценках, что оценки её слишком академичны; однако в них было и много справедливых упрёков по отношению к современной русской литературе, к её поверхностности, узкому кругозору, неумению глубоко мыслить, к её самомнению и самоуверенности при весьма скромных достоинствах.

При этом, однако, оказалось, что многого из того, что было написано российскими, в том числе и красноярскими, писателями и поэтами, начиная с восьмидесятых годов двадцатого века, она не читала, а о многих из тех, кто пришёл в литературу в этот период, даже не слышала. На то, конечно, были свои веские причины: она, как я уже говорил, четыре года прожила в Праге, а когда вернулась, уже в полном разгаре была сумятица перестройки, когда читали и издавали только ту литературу, что связана с политикой, потом — развал СССР вместе с развалом книгоиздания и ужасающим падением всякого интереса к литературе и культуре вообще… А тут ещё у неё начались проблемы пожилого возраста, проблемы с работой, заработком, с детьми и внуками…

Она сама понимала, что многое в современном литературном процессе ею упущено, с сожалением признавалась в этом, ненавязчиво спрашивала о том или ином событии или нынешнем писателе, просила знакомить её с литературными новинками. И я приносил ей свежие журналы с интересными публикациями, новые заметные книги красноярских и российских писателей и поэтов — время от времени я бывал в Москве и привозил книги, которые не доходили до Красноярска (кстати говоря, красноярские книготорговцы, по моим прикидкам, привозят в Красноярск примерно лишь сотую часть книг, которые издаются в Москве, Петербурге и других культурных центрах России, и заваливают при этом красноярские магазины ужасающей книжно-гламурной дребеденью, ссылаясь на то, что красноярцы серьёзных книг не покупают).

Галина Максимовна жаловалась при этом, что не может выписывать литературных журналов из-за их непомерной дороговизны, и не пользовалась Интернетом — так что, в общем, она вся осталась там, в двадцатом веке, и никак не принимала

современности. Думаю, потому и пришлись ей по душе мои «Портреты…», что книга эта — о прошлом…

Должен с горечью признаться, что я остался перед нею в огромном, неоплатном долгу, и долга этого, видимо, мне уже никогда не отдать.

Дело вот в чём. Однажды (по-моему, это было в середине марта 2012 года, то есть примерно за три месяца до её кончины) она позвонила мне, и у нас состоялся длинный, около двух часов, разговор. Она сказала мне, что давно мечтает написать документально-историческую книгу под рабочим названием «Три судьбы» и много лет готовит для неё материал. Материал этот в основном уже собран, а несколько глав даже опубликовано в виде отдельных статей; правда, многое пока что остаётся у неё в голове; но она чувствует в последнее время, что сил написать эту книгу самой у неё уже не хватит, поэтому она, будучи теперь хорошо знакома со мной и с моими возможностями, просит меня стать соавтором этой книги, с тем, что она предоставит все имеющиеся материалы для неё и наговорит план её и содержание глав, а я должен сделать её письменное изложение и литературную обработку. Причём часть материала для будущей книги хранится в её собственном архиве, часть — в библиотеке Красноярского педуниверситета. Однако, кроме этого материала, я должен ещё поискать дополнительные материалы там, где сама она побывать так и не смогла, — в архивах Минусинска, Новосибирска и Омска. Она делала запросы туда, но вразумительных ответов не получила.

Естественно, я спросил, о чём эта книга, а сам тем временем быстро схватил ручку и придвинул пачку бумаги, чтобы наскоро записать то, что она собралась мне рассказать. Теперь эта пачка исписанной бумаги у меня хранится.

Что же мне поведала Галина Максимовна?

«Три судьбы» должны были стать книгой, воскрешающей память о трёх известных в своё время людях, связанных с Сибирью, с её культурой, и в частности — с Красноярьем и Хакасией, причём история причудливо сплела судьбы этих трёх человек воедино.

Первый из них — крестьянин Донской области Тимофей Михайлович Бондарев (родился около 1820 года, дата смерти точно не установлена; известно лишь, что прожил он восемьдесят с лишним лет), философ-самоучка, автор сочинения «Торжество земледелия, или Трудолюбие и тунеядство», сосланный за создание «секты субботников, или иудствующих» в Сибирь вместе с земляками-крестьянами, членами этой секты. Поселили их на юге Енисейской губернии, в Минусинском уезде (в нынешнем Аскизском районе, который теперь в составе Хакасии), выделили им землю вдали от других поселений — чтобы не смогли вовлечь в секту местное население, и они основали там село, назвав его Обетованным; однако несговорчивые царские чиновники переименовали его в Иудино.

Т. Бондарев написал в Сибири ещё несколько сочинений, которые теперь хранятся в Минусинском музее. А знаменит он тем, что его «Торжество земледелия» было издано в Париже, уже оттуда попало в руки Л. Н. Толстому и произвело на него такое огромное впечатление, что великий писатель начал переписку с крестьянским философом-сибиряком, доказывавшим, что каждый человек обязан заниматься физическим трудом и быть воспитан с этим сознанием. Остаётся открытым вопрос: в какой степени и насколько повлияли один на другого эти две огромных личности?..

Между тем философ-сибиряк был инициатором постройки в селе Иудино школы, в которой сам учил крестьянских детей, а также организовал в селе пожарную дружину и создал оросительную систему для окружающих земель. А завещал он похоронить его во дворе этой школы и вокруг могилы разложить большие камни, на которых собственноручно выбил основные постулаты своего учения.

Вплоть до самой Октябрьской революции многие русские учёные и журналисты писали о нём и изучали его духовное наследие; но после революции память о нём была напрочь утеряна.

Второй из этой «триады» — Иван Евдокимович Ерошин (1894–1965), известный советский сибирский поэт. Знаменит он тем, что на его поэтическую книгу «Песни Алтая» в 1936 году прислал восторженный отзыв знаменитый французский писатель Ромен Роллан.

Родился И. Ерошин в крестьянской семье на Рязанщине, вблизи от есенинских мест, в детстве работал на побегушках в трактирах и у торговцев Москвы и Петербурга, на торфоразработках у Саввы Морозова. В юности сблизился с революционными рабочими. С ранней юности под влиянием С. Есенина начал писать стихи, называл себя его «младшим братом» и даже некоторое время в 1918 году жил с ним в Москве в одной комнате… Кстати, своё первое стихотворение он опубликовал в 1913 году в газете «Правда».

В Гражданскую войну он ушёл добровольцем в Красную Армию, в которой работал газетчиком, вместе с армией попал в Сибирь и был настолько восхищён ею, что остался здесь навсегда. Работал журналистом в сибирских газетах, искал мифическое Беловодье на Алтае, прошёл пешком сотни вёрст по горам и тайге, изучал фольклор малых сибирских народов, жил в Омске, Новосибирске, в Хакасии, бывал в Красноярске.

Вот тут-то — приехав в Хакасию — он и попал в село Иудино! А всего он прожил в Красноярском крае пятнадцать лет, с 1929 по 1944 годы. Учительствовал в школе, основанной Т. Бондаревым, и, наслышанный о нём, начал собирать о нём

сведения, причём всего через четверть века после смерти крестьянского философа собирать эти сведения стоило И. Ерошину огромных усилий. Он пытался, например, разыскать камни-писаницы, оставленные Т. Бондаревым на память своим землякам, но ни одного камня уже в то время найти так и не смог: растащили на погреба, на фундаменты… Кстати, именно благодаря усилиям И. Ерошина село Иудино в середине пятидесятых годов двадцатого века переименовано в Бондарево.

Г. М. Шлёнская опубликовала в журнале «Сибирские огни» (Новосибирск, №8, 2009) большую, блестяще написанную, очень поэтичную статью «„Беловодье“ Ивана Ерошина». В ней Галина Максимовна даёт развёрнутый литературный портрет И. Ерошина, внимательно и скрупулёзно прослеживает его жизненный и творческий путь, особенно — сибирскую его одиссею.

Статья эта была посвящена 115-летию со дня рождения И. Ерошина, причём Г. М. с болью говорит в ней о том, что в 100-летнюю годовщину поэта не опубликовано о нём ни единой строки ни в едином сибирском издании, и горько сетует на короткую память сибиряков, на равнодушие их и нежелание помнить своих носителей культуры.

В этой же статье она рассказывает и о Бондареве, о тесной связи имён Бондарева и Ерошина и о том, что в её личном архиве хранится много собранных ею, но ещё не опубликованных материалов, связанных с именем И. Ерошина: фотографии, его письма, переданные ей его адресатами, другие автографы…

И третье имя из «триады», названное Г. М. Шлёнской, — это имя Георгия Кузьмича Суворова (1919–1944), талантливого поэта, почти вся взрослая жизнь которого связана с Красной Армией и с войной, на ней и погибшего, и, конечно же, не успевшего в полной мере реализовать своё творческое призвание.

Имя Г. Суворова не обделено вниманием: оно часто выплывает во время юбилеев Великой Отечественной войны, особенно когда пишут об «обойме военных поэтов». Тогда публикуются его стихи и статьи о нём, композиторы пишут на его стихи песни… О нём писали такие широко известные советские поэты, как Н. Тихонов, К. Симонов, С. Наровчатов, М. Дудин; а известный современный писатель Ю. Поляков написал даже кандидатскую диссертацию, посвящённую Г. Суворову, и одновременно — повесть о нём «Между двумя мирами (книга о поэте)» (Москва, изд-во «Молодая гвардия», 1988, 96 стр.).

Неоднократно писала и публиковала статьи о Г. Суворове и Г. М. Шлёнская, прослеживая в них его жизненную и творческую судьбу и ведя литературоведческий анализ его поэзии. Но особенно её заинтересовала в его судьбе одна деталь: родился он в Хакасии и закончил в её столице Абакане семилетку; затем, поступив в Абаканское педучилище, в 1938 году, то есть девятнадцатилетним юношей, он переводится на заочное отделение и едет работать учителем в иудинской школе! Там-то он и начал писать стихи, естественно, познакомившись с И. Ерошиным. Может быть, юный Георгий Суворов и ехал в Иудино только затем, чтоб быть рядом с тогда уже известным поэтом, брать у него уроки мастерства, слушать его советы? И, может быть, можно найти в его поэзии следы ерошинского, а через него — и бондаревского влияния?

Вот такую причудливую связь между тремя культурно-знаковыми для Сибири персонажами этой «триады» хотела внимательно проследить Галина Максимовна в своей будущей книге.

Знаю, что каждый литератор, будь то писатель или литературовед, создавая очередное произведение, как правило, руководствуется какой-то основной мыслью, идеей, которая должна накрепко сшить воедино части (или главы) будущего произведения и которая бескомпромиссно завладевает душой автора и становится главным мотором, чтобы довести работу до конца. Поэтому я спросил тогда Галину Максимовну напрямик: на какой главный гвоздь она хочет повесить будущую книгу — что именно заставило её создавать в уме эти «Три судьбы»? И она ответила мне примерно следующее, причём, когда отвечала, в её голосе через телефонную трубку слышались слёзы: однажды, давно уже, будучи в Хакасии, она съездила в Бондарево — посмотреть, что осталось там от знаменитого основателя села, — и была поражена: никто в селе не смог ответить ей, кто такой Тимофей Бондарев. Но ещё больше её поразил такой акт вандализма: на предполагаемом месте его могилы располагался деревянный загаженный сортир! В память о Бондареве оставались тогда только три старых тополя, посаженных когда-то им самим, которых теперь, в 2012 году, уже, наверное, и в помине нет — а стало быть, окончательно стёрлась на земле всякая память о нём. И тогда из её уст вырвались горькие слова: «манкурты» и «манкуртизм»…

Должен сказать, что она частенько произносила это словечко — «манкуртизм», в советское время популярное, а ныне, может быть, не всем понятное, поэтому хочу на всякий случай объяснить его значение. Слово это произведено от слова «манкурт», которое ввёл в оборот советский писатель-киргиз Чингиз Айтматов благодаря роману «И дольше века длится день» (1980). В романе этом есть вводный рассказ о том, как одно из племён-завоевателей Средней Азии, завоёвывая соседние племена, забирало юношей у побеждённых и с помощью садистски жестокой операции уничтожало в их головах всякую память, делая их таким образом послушными рабами и послушными же воинами, которые могли без всякой жалости убивать даже своих соплеменников и родичей.

Этих рабов называли «манкуртами». Это слово—а также производное от него, «манкуртизм»,—было легко подхвачено в позднее советское время: очень уж оно было точным и ёмким для обозначения тех, кто равнодушен к своей Родине и к прошлому своего народа…

Вот это беспамятство сибиряков, полное равнодушие их к своей истории и было главным мотором её желания написать книгу, которую она задумала с того самого времени и много лет собирала к ней материал.

Итак, выложив, как говорится, передо мною карты, Галина Максимовна задала мне прямой, недвусмысленный вопрос: согласен ли я взяться за совместную с ней работу над этой книгой?..

Однако вопрос был слишком серьёзным, чтобы ответить на него походя,—мне надо было всесторонне его взвесить; поэтому я сказал ей: «Можно, я подумаю?»—и когда положил трубку, голова моя тут же начала судорожно искать решение.

Дело в том, что я литератор-прозаик, а проза требует терпения, длительной целенаправленной работы и сосредоточенности; на каждую книгу прозы среднего объёма уходит—и не только у меня—не меньше двух лет жизни. Причём именно в то самое время, когда состоялся этот разговор, я настроился было на новую большую работу. Кроме того—общественная работа, личные дела, дачно-огородные занятия; и тоже уж немолод—всё чаще донимают хвори, а нереализованных планов ещё полным-полно… А с другой-то стороны, Галина Максимовна просит о серьёзной помощи, очень надеясь на меня и прекрасно понимая, что у неё в руках ценнейший материал, который может оказаться нереализованным, причём предлагает работу над интересной, культурно и исторически значимой книгой, которая, если сделать её на высоком качественном уровне, может получить определённый общественный резонанс… И в то же время—хватит ли у меня сил? Ведь если соглашаться на совместную работу, то, как я понял, Галина Максимовна свою основную часть работы уже сделала, а вся предстоящая работа ляжет, главным образом, на меня—а её ещё ой-ой-ой как много!.. А с третьей стороны, опять же, работы я никогда не боялся, и чем её больше—откуда-то и сил больше берётся…

В общем, через час у меня был готов ответ на её вопрос. Я позвонил ей и сказал: согласен, но с одним условием. Условие было такое: мы начнём работать с ней примерно через три с половиной месяца, в начале июня. До этого я должен был закончить или закруглить на неопределённое время свои прочие литературные дела и разделаться с весенними садово-огородными хлопотами; далее, намного раньше нашего с Г. М. разговора я дал обещание в течение апреля и мая участвовать в жюри грандиозного общественного мероприятия—краевого медиафестиваля, или, выражаясь советским языком, краевого смотра сельской самодеятельности, в том числе и смотра литературной самодеятельности сельчан,—и уже читал множество присланных рукописей; наконец, в конце мая я, как руководитель местного отделения Литфонда, намечал выполнить ещё одно хлопотливое мероприятие—организовать установку мемориальной доски, посвящённой Р. Солнцеву.

Галина Максимовна была вполне удовлетворена моим ответом, сказала, что за эти три с небольшим месяца тоже разделается с прочими своими делами, среди которых её больше всего беспокоило проведение в середине мая предстоящего восьмидесятилетнего юбилея, который её немного страшил.

Затем мы с ней даже набросали мысленный план предстоящей совместной работы: всю первую неделю мы должны будем плотно пообщаться на эту тему и наметить план самой книги, причём все, до единого слова, наши беседы я должен буду записать на диктофон. Затем она должна ознакомить меня со всеми архивными материалами, какие у неё есть по этому вопросу; затем обговорим, какие материалы ещё нужно поискать в Новосибирске, Омске и Минусинске, причём, когда я поеду в Минусинск, мне обязательно надо ещё заехать в село Бондарево, в котором сам я, к великому сожалению, никогда не бывал, и посмотреть, что там делается теперь. Кроме того, я должен буду ознакомиться со всем, что уже написано и издано на эту тему,—и, наконец, сесть и начать излагать содержание будущей книги…

А девятнадцатого мая мне сообщили, что её не стало.

Во время её похорон меня не покидала покаянная мысль о нашей вечной беспечности перед лицом смерти и о том, что никогда нельзя ничего откладывать на потом—даже завтрашнего дня у каждого из нас в любой момент может не быть… Ну почему, почему, каялся я, когда она предложила мне делать вместе книгу, я тотчас же не отложил все дела и не примчался к ней с магнитофоном? Ведь за то время, что ей ещё было отпущено, мы бы успели продвинуться далеко вперёд!.. А одному мне эту работу не сделать: нет уже на это ни сил, ни времени!

Однако у меня есть—правда, слабая, едва теплящаяся, но—надежда на то, что, может быть, когда-нибудь кто-то из более молодых и полных ещё не растраченной энергии, прочтя этот мой очерк и познакомившись с мечтой Галины Максимовны создать книгу, примерно названную ею «Три судьбы», вдохновится этой идеей и захочет, образно говоря, подхватить факел, выпавший из её рук. Поэтому я и постарался так тщательно и подробно описать этот наш с ней последний большой разговор.

Лев Ленчик

Стихи разлуки

Памяти Г. М. Шлёнской

● ● ●

Галя, Галя, дорогая,
догорая, словно пень,
перемолвиться мечтаю
я с тобою всякий день.

Ты такая ли, сякая,
я такой или сякой,
мы с тобою иссякаем
в равной мере день-деньской.

Возмутись, взорвись и словом
обожги седую прядь,
только помни, что, в основе,
нам уж нечего терять,

и выигрывать, как в детстве,
и победой щеголять —
никуда теперь не деться,
эпилог — не избежать.

Сколько нам ещё осталось
тех страниц перевернуть!..
Сделай милость, сделай малость:
снизойди ко мне на грудь.

Фигурально ли, реально —
это как уж повезёт:
ты — в краю снегов обвальных,
я — тропических широт.

Далеко мы друг от друга,
ну да разве это в счёт?
Ты — навек моя подруга,
я — навек твой верный чёрт.

Что поделать, эти роли
повязали нас с тобой!
Жизнь прошла от боли к боли.
Нам ли плакать над судьбой?

Улыбнись же, Галя, Галя,
в пух и прах изобличи,
прокричи мне что попало,
только… Только не молчи!

● ● ●

Почитай меня немного, погрусти,
что не так или не этак — пропусти.
Всё же что-то мы испили там с тобой,
всё же вместе шли порукой круговой.

Не забыть и не избыть наш вечный снег,
снег да ветер, пробиравший нас до нег,
и в награду, будто с печки куличи,
наши знойные волшебные ключи.

Ключик — чудо, ключик — терем-теремок,
раз за разом, хоть на час, хоть на денёк,
где бы нас с тобой, совсем сойдя с ума,
прочно прятала проказница-зима.

Погрусти со мной слегка — не труден стих,
память — дура, да добрее нас двоих.
Погрусти со мной — на старости грустней,
всё же много было с нами светлых дней.

Я совсем не помню лета и весны,
помню осень, да и ту в тисках вины.
Что-то тёмное кружилось и плелось,
да умчалось, разлетелось, унеслось.

А осталась только белая зима —
ты, да я, да наша молодость сама.
Почитай меня, со мною погрусти,
окати недобрым словом и — прости.

● ● ●

Отшумели, словно листья на ветру,
отгорели, отзвенели, отмечтали,
всё, что делали, казалось по нутру:
от прозрений до презрений и печалей.

Поделилось время — нет, не пополам,
долю львиную оттяпало былое
и, не ведая почтенья к берегам,
размывает их всё новою волною.

Холодеет. Юг затянут пеленой.
Всё по праву, что по нраву и не очень…
Путь небесный неизвестен. Путь земной
нас теряет, как теряет листья осень.

● ● ●

Я уже на последней странице,
дочитаю — и книгу закрою,
небылица, которая снится,
может быть и игрой, и иглою.

Ветхость шага и ветхозаветность
изб в пространстве немыслимых красок,
наших судеб почти неизвестность —
кто о судьбах тогда заикался?

И не шаг, а прыжок, точно в бездну,
парашютом нам были объятья,
раздражителем — люд нелюбезный,
забытьём — полнота самовластья.

Сочно тают снежинки на лицах,
раскалённых вином и азартом,
я закрыл на последней странице
то, что, может, допишем когда-то.

● ● ●

Если я сквозь землю провалюсь,
на другом конце земного шара
выйду, оптимистом притворюсь
и с тобой до боли обнимусь,
от удачи пьян, как от угара.

И зальётся солнцем всё вокруг,
белый снег вовсю засеребрится,
испытаем радость и испуг
и уйдём, не разнимая рук,
в край, куда летают только птицы.

Там уж обо всём поговорим,
наслаждаясь сном и захолустьем,
разведём костёр — и синий дым
воспарит, отторгнут и гоним,
и, как мим, скривится, тих и грустен.

● ● ●

Погода мерзкая. Туман.
Всё против нас. Мы в шуме, гаме
стареем врозь, а между нами
бурлит бескрайний океан
воды и огненного вала.
Кружась в тенётах карнавала,
не переплыть, не одолеть
земную твердь, грудную клеть
и волю чью-то. Всё в разломе,
в разрыве, в крахе, в суете.
Лишь профиль твой,
как призрак в доме,
мелькнёт — и тает в пустоте.

● ● ●

Иногда мне кажется: приеду,
забреду к тебе на факультет,
позову куда-нибудь к обеду,
дам тебе отпраздновать победу
выстрелом решительного «нет».

Упаду, конечно, тут же рядом,
намертво поверженный. Потом
посмеёмся вместе до упаду,
хороня досаду и браваду
где-нибудь в таверне за углом.

И тогда уж вдрызг сентиментально,
чуть поправ приличия и вкус,
разведём вино слезой хрустальной
нехотя, невольно, машинально,
память теребя, как нитку бус.

Так примерно
каждый день под вечер
грёза, как поэт карандашом,
мне живописует эту встречу,
что-то между музыкой и речью,
с выспренней картечью под плащом.

● ● ●

Конечно же, это эстрада,
отрада на вкус мармелада —
ворваться к тебе листопадом,
нагрянуть грозой озорной,
примчать к тебе музыкой сада,
блеснуть мишурой маскарада —
эстрада всё это, эстрада
и выспренний сон золотой.

Эстрада — обнять тебя градом
огней суматошного града
и мыслью, смешной до упаду,
тоску невзначай оголить,
на миг примириться с эстрадой,
с отрадой на вкус мармелада,
и алую дерзость помады
капелью весны закрепить.

Бессонницей, болью, усладой
слететь и присесть с тобой рядом —
и взглядом, одним только взглядом
касаться, пьянеть и молчать,
и пусть это будет эстрада,
огарок разменного лада,
но если в ней есть и отрада,
то есть и печали печать.

Марина Саввиных

Всё—впереди!

На долю Анатолия Ивановича Чмыхало выпал долгий тернистый жизненный путь. Совсем мальчишкой он стал солдатом Великой Отечественной, был ранен, после войны познал тяготы и радости работы газетчика, играл в театре—оказался талантливым актёром, позже был и прекрасным организатором, руководителем, наставником литературной молодёжи, воспитал детей, которыми может гордиться страна. Но всё же главная заслуга Анатолия Ивановича—его книги. Сегодня, спустя годы и годы после выхода в свет исторических романов Чмыхало, мы понимаем, насколько правда, явленная в них, важна для наших дней. Как никто другой, Анатолий Иванович сумел запечатлеть в масштабных полотнах, не имеющих аналогов в современной литературе, те черты исторического прошлого, которые сформировали исключительный характер сибиряка, может быть, последнее, на что мы ещё надеемся, думая о великом будущем русского народа. Человек страстный, темпераментный, импульсивный, в творчестве он сохранял высокую объективность, цена которой, по большому счёту, постигается нами только теперь, во времена новой смуты, новых испытаний.

Он работал почти до самого конца, до тех пор, пока болезнь не лишила его этой возможности. Работал над формой, создавая удивительную, тонкую и откровенную лирическую прозу; вернулся к стихам, с которых начинал творческий путь в молодости,—и стихи получались яркие, ироничные, иной раз блещущие сатирическим огнём, часто пронизанные чистейшим небесным светом. Его поэзия с годами становилась всё бесстрашнее. Его общественная и человеческая позиция прояснялась для читателей и друзей как позиция убеждённого патриота, свободного и смелого, в самое тяжёлое для отчизны время сохранившего и честь писателя, и преданность идеалам добра, истины, справедливости.

В последних книгах своих Чмыхало часто язвителен, мы слышим голос беспощадного сатирика, остроумного, не взирающего на лица. Но какая же тонкая и печальная самоирония слышится временами в этих стихах, какой прямой и естественный пафос (как же мы привыкли за десятилетия отказа от национальных нравственных ценностей чураться пафоса, прямой и страстной речи!), какая, поистине общечеловеческая, лирическая нота!

Для нас, литераторов следующего поколения, эта нравственная и гражданская стойкость—образец и пример того, как возможно и необходимо исполнять творческий долг перед Родиной и Богом.

Многие сибирские писатели наверняка вспоминают дружеское участие Анатолия Ивановича в их судьбе. На посту руководителя писательской организации, редактора альманаха «Енисей», организатора незабываемых встреч, на которые съезжались творческие люди со всего Советского Союза,—всюду приносила достойные плоды его неуёмная энергия, любовь к жизни, способность понимать и направлять в доброе русло поток мыслей и чувств литературного сообщества, а это во все времена непросто: писатели—народ особый.

Побывав однажды в Красноярском литературном лицее, Анатолий Иванович написал в свежей рукописи: «Лицеистам надо бы знать, что истинное общественное признание творческих личностей является результатом продолжительной и нелёгкой работы, которая многим стоила здоровья и самих жизней. <…>Чем способнее личность, тем больше и сплоченней противостоящая ей армия завистников и лжецов, тем больше всяческой грязи выливается на талант всезнающими современниками. А талант, к сожалению, разоружён. Он не способен тратить огонь своей души на схватку с заведомыми прохвостами и негодяями. Он рождён не для каких-то рутинных мелочей, а для высокого полёта и потому часто проигрывает в острейших ситуациях, в нелёгкой борьбе с вельможной госпожой ложью». Это, помимо значения общего,—глубоко личная оценка и собственной судьбы писателя.

Среди его последних стихов такие:

Ни одна не прочитана книжка.
Не изведано счастье пути.
Как завидую я ребятишкам,
У которых всё впереди!

Теперь, дорогой Анатолий Иванович, и у Вашей светлой души всё впереди. Мир праху, покой сердцу Вашему. Пока мы живы, будем помнить Вас, будут помнить наши дети и внуки, этот город и эта земля.

Вечная память.

Анатолий Чмыхало

Когда…

● ● ●

Когда в твой дом коварный враг ворвётся,
То нужно брать оружие и драться,
И времени уже не остаётся
Для митингов и мирных демонстраций.

● ● ●

Друзья мои, историю не троньте!
Пусть остаётся нашей общей тайной,
Как на забытом Богом Южном фронте
Мы с генералом встретились случайно.
И пусть он не был извергом отпетым,
Как нам могло сначала показаться,
В нём чётко обозначились приметы
Большого демагога и мерзавца.

● ● ●

Когда награждали спортивных героев
И мы к пьедесталу не делали шага,
У всех создалось впечатленье такое,
Что нет у России ни гимна, ни флага.

● ● ●

У нас в культуре явный недород:
Страна макулатуру издаёт.
Писатели с сумой ушли в народ,
Но им уже никто не подаёт.

● ● ●

А на войне такое было дело:
Пехотный полк в бою не устоял,
И капитан особого отдела
Стрелять по отступавшим приказал.
И объяснял я капитану что-то,
Вытягиваясь в струнку перед ним…
И то сказать: кому охота
Палить в упор картечью по своим?!
И всё-таки опомнилась пехота
И залегла в бурьяне и пыли.
Но под конвоем, как врага народа,
Меня в штрафную роту увели.

Смерть атамана

Над рекой прозрачный пар струился.
А кругом такая благодать!
Атаман в Форпост, в свою станицу,
Прискакал не жить, а умирать.
Атаман бесстрашно шёл на плаху.
И худой не слушая молвы,
Скинул он в последний раз папаху
С непокорной, буйной головы.
— Вы меня, станичники, простите,
Что искал я лучшей доли вам.
Только мне вы верить не хотите,
А своим поверили врагам!
Что же вы молчите? Отвечайте!..
Но раздался выстрел у реки.
И кричали в чистом небе чайки,
И стонали в поле кулики.

● ● ●

Когда простые люди и шпана
Идут колонною одною,
То нужно что-то делать со страною —
Плохие наступили времена.

● ● ●

Хорошо не слыть знаменитым,
Хорошо быть всегда открытым,
Хорошо ни о чём не жалеть
И в безвестности умереть.

● ● ●

Бездарные, как лапоть, души
Без перерывов бьют баклуши.
И это публикою-дурой
Считается литературой.

● ● ●

Он был нечистым —
Коммунистом.
Стал чёрту братом —
Демократом.

Илья Тюрин

Моё Рождество

В июле 2013 года московскому поэту Илье Тюрину исполнилось бы тридцать три года. Не круглая дата, но очень значительная — возраст Христа. Здесь каждый человек остановится, задумается над тем, кто он есть на Земле, что успел, что смог сделать… Илье не суждено было дожить до этих недетских вопросов, но алгоритм его осуществлённого бытия оказался столь чёток и предопределён, что отвечать на них ему пришлось в шестнадцать с небольшим лет. При этом никаких скидок на возраст не делалось, о чём свидетельствуют сами стихи: их написал сложившийся поэт, с незаёмными чувствами и целостным мировоззрением. И как любой поэт, движимый в стихосложении не амбициями и модой, а желанием постичь свой жизненный путь, Илья не мог не состоять в творческом «диалоге» со Всевышним: при этом не только уповать на Его силу, но даже и спорить с Ним… Ниже представлена подборка стихотворений Ильи, наиболее полно отражающая его духовное движение и развитие.

Набросок

Мы забываем названия, звания избранных,
Мы называем забвение Божией волею.
Бог триедино царит над углами да избами.
Воля, не жалуя Бога, роднится с неволею.
Болью в неволе, в углах — и, соседствуя, стало быть,
С Чистою силою, что дополняет Нечистую,
Корчатся строки в агонии почерка — старою,
Новою, среднею, вечною, этою истиной.
Истина есть: за углом, вон, видали в полтретьего.
Истины нет. Но недавно была, исповедалась —
С рифмою, всё как положено: снова, как медиум,
Некто заносит подлунную письменность в ведомость.
В видимость. Тень от смычка посредине безмолвия —
Взрыв, меж зрачком и листом порождающий трещину
В виде строки, — называется Божией волею.
Сном называется. Чудом. Как правило — вечностью.
Вечность граничит по берегу строк со Вселенною.
Карта им — сгусток извилин, зажатых в руке…
Как не признать, что и мир, полный тьмой и Селеною,
Движется к точке.
К финалу строки.
К точке.
К
.

30.03.1996

Моему имени

Репетируя Дух, Сын с Отцом оставляют меня одного,
Как забытую реплику — наедине с одураченным ухом.
И уже не вопрос означает спина, принимая автограф его,
А скорей — запасную тропу, чтоб надёжнее скрыться от звука.
От любого. Теперь и ему здесь — какое житьё?
Разве лишь обнаружить себя, наполняясь до горла на тризне.
Что и есть окончанье, виньетка: ответ забирает своё,
И орхестра, познав одиночество, за ночь становится жизнью.
Только некому жить. И осталось глядеться извне
В ниспадающий двор, где листву, точно пальцами Листа,
Подбирает июль. Да маячит в случайном окне
Удивлённый Господь, четвертованный за триединство.

2.07.1996

Ной

Одиночества нет. Лишь сознание смерти других
Или собственной—что для вас одинаково плоско.
Только Бог и остался, оставленный мозгом,—как штрих
Для себя: чтоб не крикнуть про землю на этой полоске.
Память знает о времени то, что не видит в окне,
Но успела прочесть между «здравствуй» и брошенной трубкой.
«После нас—хоть потоп», как заметили те, что на дне.
Как заметит душа, возвращаясь обратно голубкой.

25.08.1996

Нагорная проповедь

> *Но кто ударит тебя в правую щёку твою,*
> *обрати к нему и другую; и кто захочет судиться*
> *с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему*
> *и верхнюю одежду; и кто принудит тебя*
> *идти одно с ним поприще, иди с ним два.*
> Евангелие от Матфея. 5:39–41

Спаситель не знает ни имени, ни села,
А значит—не может судить, и твоя взяла.
Лицо, и одежда, и ступни при всех пяти—
Достойны руки принуждающего идти,
Судящегося и бьющего: он не тать,
Поскольку берёт только то, что ты рад отдать,—
Не больше. Но если от Бога бежать—беги
От поприщ, одежды и левой своей щеки.

30.10.1996

Путешественник

Дощатый пол с губительною свечкой
Лишь только и могли тебя зачать.
Кому иначе эту бесконечность
Восьмёркою колёс обозначать,

И слышать, вопреки неповторимым
Законам, утром плеск воды к бритью,
Да Троицу считать неоспоримой,
У жизни обучаясь не житью,

А цифрам,—словно маленькие деньги,
От скуки кем-то пущенные в рост,—
Уже привыкнув к лишнему оттенку
На наволочке найденных волос.

1.11.1996

Екклесиаст

Я лежу на диване. Передо мной
Стол, покрытый бумажною белизной
В декабре. Но единственная белизна
За окном—это цвет моего окна.
За окном—декабрь. А за ним—январь.
Птицы движутся, время стоит. Календарь
Разминулся со снегом, застрял в пути.
Или некуда больше ему идти.
Изо рта навсегда вылетает речь,
И покой наш уже ни к чему стеречь.
Сняв халат, удаляются от одра,
Охладевшим надеясь найти с утра.
Снега нет. Нам нельзя потерять тепло:
Мы испортимся. Будто бы бьёт в стекло
Постоялец—и видит еду, ночлег.
Мы не можем открыть, нам не нужен снег.
Мы уверены: это стучится он,
Не оставив следа от голов и крон,
Всё, помимо себя, заменив собой—
Как умели лишь мы, и никто другой.
Мы в снегу. Если Бог попадёт в метель—
Философия сгинет. И как постель
Будет выглядеть рай (или ад—как знать,
Коли смерть занесло и не нам умирать).
После снега уже не мозги его
Объяснят: что есть серое вещество,
Как не сам он? Под силу понять ежу.
Снега нет. Небо счастливо. Я лежу.

6.12.1996

● ● ●

Примитивный пейзаж
В половину листа,
За который не дашь
Ни окна, ни холста;
Безопасная даль
В половину руки,
Но рука и печаль—
Как они далеки!
Если выйти за дверь
И направо взглянуть,
То напрасно теперь
Открывается путь:
Половина зимы,
И дороги бледны,
И оттудова мы
На ладони видны.
Потому что и там,
И, как правило, здесь—
Мы не в тягость богам.
Ибо мы-то и есть
(Глядя издалека—
Чтоб достал карандаш)
Фонари и река,
Примитивный пейзаж,
От неблизких картин
Отстраняющий плоть:
Чем он дольше один,
Тем он больше Господь.

13.12.1996

● ● ●

Не вставай: я пришёл со стихами,
Это только для слуха и рук.
Не мелодия гибнет, стихая,—
Гибнем мы. Да пластиночный круг.

Потому что—поймёшь ли?—у смерти
Нет вопроса: «Куда попаду?»
Нет Земли: только Бог или черти,
Только рай или ад. Мы в аду.

То есть гибель—не администратор
И не распределяет ключи:
Все мертвы. Она лишь регулятор
Этой громкости. Хочешь—включи.

Поразительно, как мы охотно
Поворачиваем рычаги!
Между ними—и этот. Погода
Ухудшается. Снег. Помоги.

17.12.1996

Откровение

Для второго пришествия день
Не настал и, боюсь, не настанет,
Ибо если ума не достанет
У богов—то займут у людей
И отсрочат прибытие. Дом
Слишком стар, чтобы вынести гостя.
Дело вовсе не в старческой злости
И не в злости наследника—в том,
Что излишний, как только войдёт,
Будет смешан с другими в прихожей.
Стариковское зренье похоже
На обойный рисунок—и ждёт
Лишь момента, чтоб дёрнуть за шнур,
Выключающий люстру. Кто б ни был
Ты, сулящий убыток и прибыль,
Ты, отчаявшись, выйдешь, понур:
Не замечен, не узнан, не принят,
Не обласкан и Им не отринут,—
Ты уйдёшь. Этот путь на сей раз
Не отыщет евангельских фраз.

17.01.1997

Е. С.

Стих клубится над чашками в доме,
И когда я распластан на льду—
Он меня подзывает ладонью,
На которой я просо найду.

Если слух твой не знал изобилья—
Наблюдай через доски сама,
Как петушьи короткие крылья
Над привычкой парят без ума.

Нас Творец не учил диалогу,
Презирая двойное враньё.
Мы же видим из окон дорогу:
Дай нам Бог что-то знать про неё.

4.03.1997

Остановка

Как кружатся кварталы на Солянке,
Играя с небом в ножики церквей,
Так я пройду по видной миру планке—
Не двигаясь, не расставаясь с ней.

Дома летят, не делая ни шагу,
Попутчиком на согнутой спине.
И бег земли, куда я после лягу,
Не в силах гибель приближать ко мне.

Танцует глаз, перемещая камни,
Но голос Бога в том, что юркий глаз—
Не собственное тела колебанье,
А знак слеженья тех, кто видит нас.

Среди толпы Бог в самой тусклой маске,
Чтоб фору дать усилиям чужим:
Чей взор богаче на святые пляски?
Кто больше всех для взора недвижим?

30.04.1997

Рублёв

Мне чудится счастье, не данное мне,
Когда посторонним пятном на стене
Я вижу Богиню и сына её—
И тело теряю своё.

Мне кажутся знаки их временных бед
Навечно влитыми в мой собственный свет,
Как будто узла этих лиц тождество́
Дало мне моё Рождество.

Здесь два расстоянья меж них сочтены.
Одно—сокращённое взглядом жены,
Второе—Ему в складках мглы золотой
Открылось доступной чертой.

И воздух сгустился. И трещины дал
Трагических судеб единый овал,
И мимо две жизни прошли, и года—
Как им и хотелось тогда.

И слёзы встают за пропавшей стеной,
Минутой терпенья скопляясь за мной.
И в недрах земли, где минуты не жаль,
Со звоном сломалась деталь.

8.05.1997

● ● ●

Все знают, чем прекрасно заточенье
Для летней скуки праведной души.
Ей кажутся целебными движенья
Недель, и трав, и бабочек в глуши.

Но от Спасения нескромных взоров
Рассудку не укрыться в деревнях,
Среди печей и радужных узоров
Небытия на многолетних пнях.

Я отвлечён от городских трудов,
И сердца запоздалое усердье
Ночует в небе конченого дня.

Гляжу без зла. Минуй мой бедный кров.
И, словно мудрость или милосердье,
Яви Свой лик: не беспокой меня.

Коленцы, 8.07.1997

Деревня

О, как нетрудно было догадаться,
Что сил не хватит на земную рать,
И здесь урочной гибели дождаться,
И мир упрёками не волновать.

В простых предметах видится бессмертье,
И высший дух окутывает ум.
Как в сказках языку доступны черти—
Так зло забавно ходу сельских дум.

Здесь нет восторга—нет и примиренья.
Речь тянется по ветру наравне
С душой сожжённых листьев, и у зренья
Нет повода принять пейзаж вполне.

Здесь ясный свет; и трюки мирозданья
Приобретают прелесть на глазах.
В наличниках нет русского сознанья—
Как нет богов в прекрасных небесах.

Коленцы, 10.07.1997

Составление и публикация
Ирины Медведевой, 2012

Марина Кудимова

Взгляд в небеса отцов

Богопознание Ильи Тюрина

Богопознание поэта — тема необозримая. Она не исчерпывается не только никакой статьёй или монографией, но и самим творчеством, поскольку не атрибутируется личной религиозностью: поэтическое творчество по природе более свободно, чем его носитель и исполнитель, и человек, в жизни строго следующий какой-то религиозной доктрине, неукоснительно соблюдающий её внешние, культовые установления, будучи подвержен атаке бессознательного, которое составляет подлинно творческий процесс минимум на две трети, зачастую говорит на совершенно ином языке, нежели за пределами творческого акта.

<…>

Богопознание Ильи Тюрина неизбежно должно было пройти все стадии сомнения и метафизической эволюции, не минуя и не перескакивая ни одной. Вопрос состоял только в скорости этого обретения, а скорость в силу необычайной интенсивности персональной «программы» была сверхъестественной. Так, в начале 1996-го в *«Стихах под тремя звёздами»* появляется некое подобие автохтонного божества:

> Царство глиняной массы, в белые формы влитой,
> Дышащего сырья для Раннего Бога, что лепит
> Этнос…

Или в стихотворении *«Пробуждение»* — поэт осознаёт себя «глухим звероящером, апофеозом Господних изделий»… И буквально считанные дни спустя в замечательном *«Наброске»* Илья впервые заявляет о постижении величайшей из тайн христианского вероучения — Святой Троицы:

> …Мы называем забвение Божией волею.
> Бог триедино царит над углами да избами.
> Воля, не жалуя Бога, роднится с неволею.
> Болью в неволе, в углах — и, соседствуя, стало быть,
> С Чистою силою, что дополняет Нечистую…

В этом же стихотворении описан некий мистический акт, несомненно пережитый поэтом:

> Взрыв, меж зрачком и листом порождающий трещину
> В виде строки, — называется Божией волею.
> Сном называется. Чудом. Как правило — вечностью.

Проще всего отнести это переживание к вечной попытке зафиксировать момент творчества, описать вдохновенное преображение ничтожнейшего «меж детей ничтожных мира» — поэта, сакрализовать часто вполне рациональное деяние, которому по традиции принято приписывать особые свойства. Но контекст стихотворения если и даёт повод думать подобным образом, то лишь в частном аспекте и максимально укороченном ракурсе. «Забвение», о котором идёт поэтическая речь, есть необъяснимый феномен отдания личной воли, растворения в Абсолюте, только пережив которое можно прийти к умопостигаемой идее личного Бога в том смысле, как Его постигают христиане. «Воля», «не жалующая Бога», атрибутируется Тюриным как потеря свободы — главного объекта христианской философии.

С Живоначальной Троицей Илья не расстанется до конца, хотя обретение Бога пройдёт в его стихах сквозь совершенно закономерное горнило сомнений:

> Репетируя Дух, Сын с Отцом оставляют меня одного…
> …маячит в случайном окне
> Удивлённый Господь, четвертованный за триединство.
> *(«Моему имени»)*

> …Да Троицу считать неоспоримой,
> У жизни обучаясь не житью…
> *(«Путешественник»)*

Напомним, что все эти стихи написаны в течение одного года, а до исчезновения «с поверхности земли» Илье остаётся менее трёх лет. Триипостасность — существеннейшее отличие христианского образа мира от остальных вероучений, — кажется, воспринята Ильёй как нечто само собой разумеющееся. Но лёгкость эта обманчива. Возможно, Илья вообще шёл апостериорным путём — скажем, прочёл работу академика Б. Раушенбаха, где предпринята попытка математического доказательства таинственного Триединства. Нет, однако, сомнений в подлинности пережитого им в какой-то момент апокалиптического («апокалипсис» означает «откровение») — не обязательно видения,

но ощущения или совокупности ощущений. Ведь именно св. Иоанн Богослов, испытавший беспрецедентное по силе Откровение, пишет: «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино» (1 Ин. 5:7). Многие выдающиеся богословы становились в тупик перед непостижимостью мистического единства Трёх Лиц. Многих эта непостижимость отвращала от веры. Но, коль скоро тайна Святой Троицы открыта апостолам самим Господом Иисусом Христом (Мф. 28:19), признание её и есть, собственно, исповедание Христа во всей полноте. Такой полноты не удалось сподобиться ни Бродскому, ни Пастернаку. Илье Тюрину промыслительным образом это удалось… <…>

Традиционные культурные апелляции к условному, литературному, непременно сопоставляемому с рукотворным творчеством Творцу с тех пор встречаются у Ильи Тюрина единично:

> …страниц, исписанных до слёз
> Творцом. И им же скомканных в экстазе.
> *(«Натюрморты»)*

Было бы странно, если бы книжный мальчик конца двадцатого столетия раз и навсегда отказался от подобного дискурса. Если бы это случилось, Илья с его интеллектуальной честностью непременно встал бы на путь иноческого служения. Однако применительно к собственному творчеству пережитое постижение всё чаще принимает у него архетипический для мирочувствования русского поэта характер Поручения и непосредственного соотношения, со-вещания с Творцом, как это происходит в стихотворении *«К стиху»*, когда речь идёт о зарождении слова:

> …Незнакомое мне, и ещё неизвестное Богу.
> Ибо лишь для того, чтобы стать таковым,—рождено.

Тупик рационалистического и позитивистского подхода к сакральному для Ильи очевиден, и стародавней интеллигентской дилеммы: кто кого оставил—Бог человека или человек Бога?—для него не существует:

> Только Бог и остался, оставленный мозгом…
> *(«Ной»)*

В Тюрине вообще нет прекраснодушной эйфории и размягчённости русского интеллигента, ради душевного комфорта легко идущего на поводу взаимоисключающих допущений. Трезвость духа этого феноменального юноши поистине иноческая. Заповеди Божии для него постепенно наполняются конкретикой, которая отличает верующего в личного живого Бога от бесплодно философствующего «по поводу»:

> Но если от Бога бежать—беги
> От поприщ, одежды и левой своей щеки.
> *(«Нагорная проповедь»)*

Бродско-маяковско-пастернаковская интонация покидает стихи этого счастливого периода (ещё раз напомним: действие происходит в пространстве одного года жизни мальчика, которому не суждено дожить до полных двадцати!). Но мало-помалу она сменяется блоковской тревожной музыкой и графической двухцветной гаммой:

> Мы в снегу. Если Бог попадёт в метель—
> Философия сгинет.
> *(«Екклесиаст»)*

Мотив одиночества Бога, преданного людьми, звучит всё трагичнее, и это тем более поразительно, что поэты в основном заняты собственными экзистенциальными проблемами—отнюдь не только в возрасте Ильи, когда тема одиночества настигает всерьёз и ломает большинство неокрепших душ:

> Чем он дольше один,
> Тем он больше Господь.
> *(«Примитивный пейзаж…»)*

Мир, лежащий во зле, предстаёт уже в стадии конечного выбора, лишённый ненужных промежутков и отвлекающих от главного деталей:

> Потому что—поймёшь ли?—у смерти
> Нет вопроса: «Куда попаду?»
> Нет Земли: только Бог или черти,
> Только рай или ад. Мы в аду.
> *(«Не вставай. Я пришёл со стихами…»)*

Этим утверждением заканчивается для Ильи Тюрина 1996 год. И непонятно, отчего сильнее щемит душу—от конечности выбора или от этого мучительного вопроса, обращённого, судя по всему, к самому близкому человеку: «поймёшь ли?».

Год следующий—1997-й—открывается обширным стансовым произведением *«Хор»*, посвящённым памяти Иосифа Бродского и приуроченным к годовщине его смерти. В сложнейшей полифонии—и тончайшей строфике—этой, безусловно, этапной вещи тема Бога и тема смерти вновь неумолимо пересекаются:

> Бог,
> Ежели и жесток,—
> То в том, что в секрете срок
> Смерти хранит от нас.
> Иль у Отца и чад
> Разные взгляды на
> Время и важность дат?

Илья непреложно понимал—просто не мог не понимать—эту разницу «взглядов». Но спустя год после ухода учителя он чувствует себя старшим по отношению к адресату стансов—и имеет на это полное право: достаточно просмотреть все вышеприведённые цитаты, а ещё лучше—перечитать все стихи 96-го. Илье Тюрину по-человечески

чужд принцип «победителя-ученика», восточная, не знающая милости холодная гордыня преодоления прошлого: увидишь Будду — убей Будду. Но постепенно контрапункт развивается вглубь и обнаруживает самостоятельную, хотя и не самодовлеющую, мелодию — кьеркегоровскую мелодию молчания Бога:

Некто спросил Творца:
«Боже, зачем печаль
Селится к нам в сердца?»
Бог не отвечал:
Этим и знаменит.
Загодя обречены
Все, кто Его затмит
В области тишины.

Для большинства неофитов на этом втором — всего лишь втором — шаге всё и заканчивается. «Безответность» Бога становится главной претензией не желающих взрослеть «чад». Илья Тюрин выходит из положения органично и, не теряя основной мелодии многоголосья, выводит из того же достаточно ограниченного набора органов чувств, данных человеку, не претендуя на сверхзнание:

Бог — это слух. Рукам
Вмешиваться нельзя.

Молчание Пастыря, которое сплошь и рядом оборачивается «роптанием ягнят», переходящим в прямые кощунства, для необыкновенного мальчика, Маленького Принца эпохи незрячих сердец, было только лишним обоснованием Его бытия. Собственное приближающееся безмолвие — лишней возможностью быть до конца честным. Причём с Ним или с ней — любимой — одной мерой:

Нас Творец не учил диалогу,
Презирая двойное враньё.
Мы же видим из окон дорогу:
Дай нам Бог что-то знать про неё.
(«Е. С.»)

Илья замолчит о Боге гораздо раньше, чем примет решение отказаться от стихописания. Стихи полутора последних лет его запредельной жизни скупы на Имя, не произносимое уже по иной причине, нежели в раннюю пору, — не от недостатка, а от избытка обретённого. Но 1997 год оставил нам ещё одно — последнее — обращение к Бродскому, трезвое и элегическое воскрешение любимого поэта, поскольку стихотворение *«24 мая 1940»* воспроизводит дату его рождения, а не смерти:

Ибо Он знает: пока не отпрянули
Мы к рубежу своему —
В мыслях и голосе, поздно ли, рано ли, —
Мы обратимся к Нему.

К Знанию воскресшего Бога человеку нечего добавить. Получив же свидетельство об этом Знании, остаётся только уйти к Нему, а перед дорогой помолчать. По обычаю отцов. И по великодушию к ним: «Ибо всякий, рождённый от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5:4).

2002
(Публикуется в сокращении)

Сергей Есин

Из дневника 2012 года

Окончание. Начало в №1, 2013.

1 марта, четверг

Утром пришло совершенно неожиданное письмо от Максима Лаврентьева. Все мои хлопоты, чтобы представить Максима на премию Москвы, оказались неудачными. Всё опять упёрлось в бумажку. В своё время Максим или не получил, или в порыве какого-то своего гнева выбросил членский билет СП России. А это, так как он сейчас не работает, потребовалось. Я пытался сговориться с некоторыми людьми, чтобы обойти всё усложняющиеся и усложняющиеся требования московской бюрократии и помочь Максиму. Но вот письмо. И в этом году, как почти всегда, премию будут получать одни старики!

<…>

Днём состоялся учёный совет, очень интересно наш новый проректор Игорь Курышев докладывал нюансы будущего строительства. Наконец-то наша хозяйственная часть заговорила нормальным интеллигентным голосом. Всё это разнесено по времени, и я очень не уверен, что даже, как нам обещано, в конце 2012 года на нашу территорию придут строители. Меня расстроило, что не будет реставрировано наше основное здание. Всё ведь и затевалось, чтобы со временем разгрузить этот знаменитый дом и привести его в порядок.

Потом начался отчёт декана М. В. Ивановой о прохождении сессии. Самые чудовищные результаты — на первом курсе. На втором назвали несколько людей, и в том числе и моего Мокрушина. Он не сдал русский язык Е. Л. Лилеевой, которая к подобному относится отстранённо-академически. А я помню, как я возился с её дочерью, когда её могли отсеять по творчеству. А сколько придурочных внуков, правнуков и племянников наших преподавателей мы, нянчась с ними, выучили. <…>

Дома слышал, как на «Эхе Москвы» в беседе с Ольгой Журавлёвой журналист Максим Шевченко буквально сдирал кожу с либералов. Какой был блеск в его рассуждениях и оценках. К сожалению, я так говорить и думать не могу.

2 марта, пятница

Вчера вечером, после того как закрыл компьютер, звонила Олеся Александровна Николаева — говорила, как ей понравилась книга о Вале, её христианский дух. Именно это я и хотел бы услышать от любого своего читателя. Эту книгу должен был бы прочесть каждый. Почему же книгу издали таким маленьким тиражом? Удивилась, когда узнала, что тираж у меня практически дома и что книгу я напечатал за свой счёт. Но вот что удивительно: книга, похоже, неплохо продаётся. По крайней мере, несколько дней назад Вас. Вас. попросил у меня ещё две пачки «Её дней».

Вечером на «мерседесе» моего соседа с восьмого этажа Анатолия поехал на давно ожидаемый вечер Вячеслава Зайцева. Всё происходило неподалёку, в спортивном дворце в «Лужниках». Оказывается, именно туда сейчас переехал концертный зал «Россия». Мне кажется, я даже узнал те же люстры, подвешенные под потолок. Лёд или что там внизу во время представлений закрывают огромными щитами. На них уже и ставят привычные по цвету красные бархатные кресла. Работа эта, конечно, адова. Ну а трибуны чуть «умягчены» алым бархатом. Уютно, красиво. Всего в зал входит 4,5 тысячи человек. На этот раз, кроме сцены, в зал через кресла, первые ряды которых были поставлены под углом, брошен огромный подиум. Всё-таки модельер!

В каком-то смысле этот вечер был для многих показателен. Во-первых, показатель любви народа к Зайцеву и интерес к делу, которое он представляет, — зал был полон, и хотя, наверное, довольно много было приглашённых, билеты проданы. Впрочем, дешёвые билеты от 700 до 1200 рублей были сметены ещё в январе. Но ведь были и желающие заплатить 20 000 или 25 000 рублей, чтобы сидеть где-нибудь в ряду перед самим юбиляром или поближе к нему. Так ли будет обстоять дело у Юдашкина, который традиционно устраивает что-то похожее на 8 Марта? Во-вторых, сам вечер по красоте, по тому удовольствию (о костюмах и нескольких дефиле я уже не говорю), которые зрители получили, — это было исключительно. Правда, чуть длинновато, с 7 до 12 ночи, и зрители,

кроме, конечно, старых гранд-дам на первых рядах, всё это высидели. Началось всё с очень бойкого и даже где-то искромётного выступления 97-летнего Зельдина, потом Цискаридзе, а дальше и пошло, и пошло… Зельдин, собственно, и задал высокую ноту вечеру—пел, как обычно, под «минусовку», а не под «фанеру», как многие эстрадные звёзды, т. е. живьём. О костюмах, каждый из которых был фантастическим, я уже и не говорю. Кажется, было чуть ли не 120 манекенщиц и демонстраторов моды.

Сидел я на этом замечательном вечере-концерте не просто так. В самом начале у меня появилась мысль, что надо бы к двум моим большим очеркам о Зайцеве добавить что-нибудь ещё и сделать книжку. Поэтому весь свой пригласительный билет испещрил мелкими заметками. Я люблю так работать, когда жизнь постоянно даёт живые импульсы.

Из занятного. Я, автор нескольких статей о юбиляре, проходил как VIP-гость. Это отдельный вход, раздевалка, бесплатный буфет с вином и прочими разностями. Но дело не в этом. В большой комнате, в которой расположились гости—из людей, непосредственно мне знакомых и крупных, министр Авдеев, Г. Б. Волчек, Л. И. Шевцова и многие с лицами, смутно узнаваемыми,—мы с Анатолием со своими рюмками и тарелочками стали возле стеночки. Но почти тут же была и некая дверь, возле которой, не отходя, присутствовал молодой человек с жёсткой осанкой спецслужб. Очень он как-то подозрительно рассматривал наше пирование. Потом я узнал, что на вечере, просидев пять часов, была жена Д. А. Медведева Светлана. Но это я узнал уже потом.

<…>

4 марта, воскресенье

Свой гражданский долг я выполнил, уже вернувшись с Теплостанского рынка. Ездил и, собственно, сговорил меня С. П. Затоварились, каждый для себя, под полную завязку. В том числе и огромной—на двоих, на 8 кг,—сёмгой, которую я к вечеру засолил. Картошка, морковь, лук, творог, мясо, орехи, фрукты здесь иногда почти вдвое дешевле, чем у нас в центре. Уже вечером я об этом рассказал—совет ближнему—Серёже Арутюнову, который в этом районе и живёт. У него на этот счёт своя теория. В этом районе много войсковых частей, отдельные полки, школа военных музыкантов, полк комендатуры и т. д. Это влияние военных на местную власть. В конечном счёте, жёны военных являются основными покупателями на этом рынке. Надо не забывать, что военные, видимо, и основные избиратели в этом районе. Всё очень занятно.

Вечером, слушая радиотрансляцию по «Эху» и наблюдая происходящее по телевизору, сравниваю с тем, что видел своими глазами. С некоторым недоумением ведущие радиостанции встречают рапорты наблюдателей, у которых всё на избирательных участках в порядке. Но есть и места, где возникают у интеллигенции сомнения. В Дагестане, например, на одном из участков был произведён «вброс бюллетеней», и выборы на этом участке уже признали несостоявшимися. Я думаю, что здесь дело не в Путине, а в местных выборах, которые проходят параллельно. Заинтересованность, скорее всего, здесь. Я об этом сужу по своему участку, который у меня в школе напротив дома.

Атмосфера была как обычно, спокойно взял два бюллетеня; за кого голосовать на выборах президента, мне было ясно давно, а вот с местными выборами было не очень ясно. Надо было оставить троих претендентов. Я оставил, вернее, отметил галочками, двоих от компартии и единственного кандидата от «Яблока». Но вот любопытно. Когда я подошёл к урне для голосования, то увидел человека, который в своей тетрадке отмечал каждого голосующего. Мне показалось это очень верным, по крайней мере—целесообразным: здесь уже не вбросишь. На всякий случай я поинтересовался задачей… И этот немолодой мужчина сказал, что он интересуется только выборами местной власти. Очень точно, здесь важен каждый голос… Естественно, этот наблюдатель—я поинтересовался—хотел бы проконтролировать именно кандидата от «Яблока».

Но ещё до этого радиосеанса я смотрел новости по НТВ. Показывали голосующих претендентов. Жириновский в красном пиджаке и красном галстуке. Зюганов, который сказал несколько слов о нарушениях. Тяжёлое у Геннадия Андреевича положение: надо на ближайшие шесть лет и с властью ладить, и не переставать выказывать свою оппозиционность. Всех остальных—дружную чету Медведевых и неженатого Прохорова—пропускаю. Но вот после того, как вместе со своей женой—это было показательно—проголосовал Вл. Вл., вдруг выскочило несколько девиц, скинув майки и обнажившись: то ли у них на груди были пропутинские, то ли антипутинские лозунги, я не разобрал. Но груди были хорошие, их тут же полиция приодела. Вот как, судя по Интернету, это произошло:

> «Мировой суд Гагаринского района Москвы арестовал активисток украинской группы «FEMEN», устроивших 4 марта акцию на избирательном участке, где голосовал кандидат в президенты Владимир Путин с супругой. Девушки—гражданки Украины—были признаны виновными по статье 20.1 (мелкое хулиганство).
>
> Трое участниц группы «FEMEN» днём 4 марта пришли на избирательный участок номер 2079 в Российской академии наук, разделись и,

выкрикивая антиправительственные лозунги, попытались унести урны для голосования. Девушки были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, дежурившими на избирательном участке».

За несколько дней до этого и в храме Христа Спасителя произошёл приблизительно такой же инцидент. Забежали голые, но в масках девицы с радиоусиливающей аппаратурой, кричали: «Богородица, убери от нас Путина». Потом скрылись.

Мне-то ясно, что всё это хорошо организовано и проплачено.

К девяти часам стало очевидно, что Путин побеждает. Будет один тур. Ну и слава Богу. Нужны ли мне перемены? Я ведь обуржуазился, только душа ещё молодая и хочет достатка и счастья всему народу, а не только тем, кто что-то украл или приватизировал. Где-то в десятом часу показали митинг на Манежной площади в поддержку Путина. Плачущий Путин, вернее, Путин с слезами на глазах—это… А что это означает? Не знаю. Очевидно только одно: если что-то в России не изменится, то волна пойдёт на волну…

5 марта, понедельник

<…> Ну, выборы теперь уже официально закончились, голоса подсчитаны, победил со счётом 68% дорогой Владимир Владимирович. Из неожиданностей в этой избирательной кампании—третье место у миллиардера Михаила Прохорова. Интеллигенция и богатые люди хотят во власть. Жириновский откатился на четвёртое место; как он это переживёт, не знаю. А в Санкт-Петербурге, родном городе, Путин получил 58 процентов голосов, но в Москве меньше 50 процентов. Ещё раз подчеркну, что именно обеспеченную Москву с её переменчивой интеллигенцией, у которой, как правило, отсутствует национальное русское чувство, но есть любовь к деньгам, Путин и его верный Сурков долгие годы пестовали.

<…> Теперь занятные детали, которые порой кое-что объясняют. Когда днём уходил в автомагазин—покупать «дворники», то у соседнего подъезда встретил свою соседку-общественницу, о которой уже писал в дневнике: она каждое лето занимается расширением маленького садика у нашего корпуса. Разные цветы в течение всего лета поочерёдно радуют глаз. Но сегодня речь не об этом. Эта пожилая женщина стояла возле подъезда и о чём-то разговаривала с молодым человеком. Молодой человек держал в руках лист бумаги. По привычке во всё вмешиваться начал разговор с незначащей сегодня фразы: «Поздравляю, вот у нас и новый президент». Тут же выяснилось, что молодой человек—это внук, зовут Антоном. Видимо, общественная деятельность в этой семье в крови. Внук был наблюдателем на выборах в нашей школе. И вот теперь он стоит в растерянности, потому что решает, куда ехать и жаловаться. Вчера поздно вечером он вместе с другими наблюдателями ознакомился с протоколом, в котором всё было абсолютно нормально. Но уже утром обнаружили, что протокол претерпел серьёзные изменения.

Наслушавшись с утра «Эха Москвы», я сразу спросил: «В пользу Путина?»—«Нет,—сказал мой сосед Антон,—были приписаны голоса Прохорову».

<…>

6 марта, вторник

Самое интересное началось после семинара у нас на кафедре. Вспоминали, как вчера прошёл митинг на Пушкинской. Утром я ухватил в Интернете, что митинг как бы уже лишился силы. На кафедре мои собеседники дополнили, что пришло народу значительно меньше, чем ожидалось, всего 13 тыс. человек. Максим, оказывается, был на трёх митингах и эту мысль аргументировал так: «За последнее время народ насмотрелся на «вождей» на митингах, и рейтинг Путина сразу повысился». К моему удивлению, очень резко по поводу складывающейся ситуации высказалась Олеся Николаева. Она вспомнила ещё, как тянула руку, прося слова, на передаче у Владимира Соловьёва. Я это видел, так же как видел и Волгина,—они оба выглядели как просители. Олеся рассказала, что сравнила всю ситуацию с ситуацией, описанной в романе Достоевского «Бесы». Опять призывы к разрушению Петруши Верховенского, опять жажда «разбудить» Россию и вести её неизвестно куда. Это было страстное выступление, на что я заметил Олесе Александровне, что это как раз её тусовка… В литературе это можно, а в жизни, которая может повредить отдельным литераторам, этого нельзя? Но гнев на то, что происходит, на оппозицию у Олеси Александровны был праведен и силён. Уже позже мне рассказали, что после этого выступления на тв её телефон раскалился от брани. Ну, это естественно, «товарищи по работе». Оппозиция—как вологодский конвой: шаг вправо, шаг влево… В связи с этим вспомнил Таню Бек, которая тоже себе позволила своеволие, высказалась как думала…

<…>

7 марта, среда

Начну с анекдотов, которые уже не только снова появились после нескольких лет затишья, но, кажется, ещё и расцвели.

Анекдот первый:

Американская академия киноискусства присудила «Оскара» за роль второго плана Медведеву Дмитрию Анатольевичу…

Анекдот второй:

Теперь стишок, который нашла наша преподавательница. Стишок был написан в 1906 году в Англии и тогда же переведён на русский. В Англии тогда, как у нас теперь, тоже что-то происходило:

Вы, приспешники короны британской,
Что правите среди порока, карт и шампанского!
Прочь! Демократии идёт авангард,
Чтобы править среди порока, шампанского и карт!

<…> По поводу оппозиции мнение почти у всех общее. Когда коснулись так называемых приписок, то все были едины: по Москве они как раз были в пользу Прохорова. Как иллюстрацию приводили данные по тем районам, где находились Высшая школа экономики и её общежития — там процент голосов, поданных за миллиардера, был наивысший. Это как с Наполеоном: в то время многим казалось, что так быстро вбежать в гору для энергичного человека возможно. Сейчас многим кажется, что и миллиардером тоже, если захотеть и если ты учишься на экономиста, возможно быстро сделаться. Но если миллиардер станет президентом, то это совсем не означает, что все автоматически станут богатыми людьми. Миллиардер хочет сохранить свои деньги, во-первых, а во-вторых, стать ещё богаче. Но в принципе, кто по недомыслию, кто по социальному чутью, голосуют за тех, кто им по мечтам ближе. За Прохорова как альтернативу всем остальным голосовал наш Юго-Запад, да и вообще богатые районы, а вот на окраинах Москвы лидировал Путин.

У Путина сейчас невероятно тяжёлое положение. Ему надо решить, с кем он. Многие его обещания и слова не превратились в дело. Поговорили о нанотехнологии, о медицине, о росте демографии, о дорогах, об ипотеке. Но всё время крутились вокруг последних событий. Вспомнили разноцветные пиджаки Жириновского, в которых он появлялся на разных каналах — то в красном, то в жёлтом. Вспомнили также его льстивые и подобострастные поздравления новому президенту. Бывший третий стал четвёртым, и теперь ему надо заново устанавливать отношения с самым главным. Ах, как ненадёжна жизнь политика!

<…>

8 марта, четверг

В девять тридцать включил, как проснулся, радио: всё началось с того, что ширится поддержка кампании в защиту девиц из «Pussy Riot», которые сейчас находятся в узилище. Я об этом, кажется, уже писал. Дело в том, что ещё до выборов несколько половозрелых девиц — как выяснилось, среди них были и молодые мамы, — в масках и непотребном виде влетели вместе со своей радиоаппаратурой в храм Христа Спасителя и прокричали панк-молитву «Богородица, убери Путина». Что-то было сказано и по поводу действующего Патриарха. Прошло несколько дней, бесстрашных певиц полиция разыскала, и вот теперь они ждут суда — за хулиганство и оскорбление чувств верующих они могут получить срока. Либеральная общественность заволновалась. Утро восьмого марта ознаменовано просьбами особо жалостливых христиан и публики, которая исповедует только голый либерализм, не судить лихих девчонок. Побаловались, и баста. Во-первых, конечно, вряд ли суд даст не штрафы, а срока. Но бойкие девочки уже, как матёрые правдолюбки, как политические заключённые, объявили голодовку. Во-вторых, я бы хотел увидеть, как отреагировали бы на что-то подобное, если бы подобные кощунственные действия были совершены в синагоге или мечети. В последнем случае — разорвали бы на месте. А в первом — вряд ли бы заговорили о милосердии. Но дурам надо бы сначала покаяться.

<…>

9–10 марта, пятница — суббота

<…> Вечером пришёл Игорь и принёс диск с огромным, в четырёх частях, фильмом… Про Путина, который я пропустил. Сели смотреть, две части просмотрели, но диск я везу с собой, досмотрю. Эти, как я неоднократно убеждался, фильмы, которые делает Би-Би-Си, часто, в силу своей творческой объективности, достигают у нас в стане обратного эффекта. Здесь вся история Вл. Вл. И становится ясно, что почти всё, что он делал, шло на пользу России. И главное: Россию не расчленили, Чечня не ушла, даже олигархов приструнил. Ощущение, что показанный накануне выборов фильм прибавил Путину в рейтинге. Если об олигархах, то для меня здесь два знаменательных момента.

Первый — наконец-то я увидел знаменитого Невзлина. Какая занятная, сытая и самоуверенная физиономия. Тут же вспомнил, что видел его фамилию среди жертвователей Иерусалимского университета. Чьи деньги жертвовал? Гид тогда мрачно пошутил: «Их разыскивает Путин».

Второй — это занятное интервью с Ходорковским. Можно, конечно, поражаться мужеству Ходорковского, который не дал себя вытолкнуть в эмиграцию, но многозначительно его соображение относительно способов приобретения богатства. Смысл этого заявления таков: не нарушу закона, но использую лазейку и всё несовершенство законодательства. И это всё не мелочь, а огромные деньги, которые должны были поступать в бюджет.

<…>

11 марта, воскресенье

Вчера вечером приехали в Кострому. С моста через Волгу она мелькнула огромным светящимся ожерельем и ушла направо. Влево, на стрелке, где

река Кострома впадает в Волгу, чуть видимый в сумерках, растаял Ипатьевский монастырь. В памяти ещё долго останутся два светящихся на гребне высокого берега «корабля» — университет и администрация губернатора. Город со времени, когда я в последний раз побывал здесь лет двадцать назад, в начале перестройки, сильно разросся. Светлые улицы, высокие новые дома, автомобили, реклама, привычные «интернациональные» вывески. Проехали почти через весь город, мимо вокзала и довольно скоро оказались в Козловых горах. Это то местечко, славящееся своей красотой, на берегу Волги, о нём мне как о чуде природы рассказывал Витя Симкин. Здесь, в заборах и выгородках, за шлагбаумом, небольшой посёлок, что-то вроде, как раньше бы сказали, обкомовской дачи, — «Губернский двор». Похоже и на Болшево, и на Комарово — коттеджи, дачи, домики, павильоны, гостиницы.

Утром встал рано, ещё до завтрака, и обошёл всю территорию, спустился к Волге. Боже мой, какой плёс и простор! Вдоль берега на снегу следы снегоходов, вдали чёрными точками застыли рыбаки.

Снег на участке удивительно белый, берег в соснах, почти у каждой дачи оборудовано святилище для ритуального приготовления русского национального блюда — шашлыка. Дорожки вычищены; ещё накануне рассказали, что, пока губернатор-москвич не купил себе квартиры, в одном из домиков он здесь и проживал. Живя в этом райском посёлке, отчётливо можно себе представить, почему так многие стремятся во власть.

После завтрака колесо закрутилось. Марина Кудимова, Надя Кондакова — наша предводительница, Роман Сенчин и Володя Костров уехали проводить семинар с молодыми писателями, а у оставшейся группы — экскурсия, поездка по городу, а потом выступления в Доме народного творчества — в основном студенты и пишущая молодёжь. Здесь ничего не описываю, пришлось всё это под недрёманным оком местного телевидения вести мне. Ещё раз поразился, как хорошо и точно Надя Кондакова собрала группу. Интересны и неожиданны были все: и Алиса Ганиева, и Максим Лаврентьев, и Миша Бойко, тот самый критик из «Независимой газеты», чьё интервью с Лямпортом меня в своё время удивило. Вот в два приёма я и перечислил всю нашу группу. Утром, правда, к нам присоединились Бисер Киров с женой и критик-американист Николай Афанасьев.

<…> Вся поездка организована таким образом, чтобы, с одной стороны, мы все побывали в различных местах и встретились с жителями и интеллигенцией, а с другой — чтобы как-то отблагодарить и нас, показать побольше и поразнообразнее местные знаменитые края и достижения культуры. В этом во всём я вижу ещё советские культурологические привычки. Смотрим мы, конечно, на Кострому во все глаза. Город сильно изменился, как бы вылупился из серого запустения.

Закончился день в хорошо знакомом мне, как, впрочем, и Художественный музей, театре имени Островского. И театр, и музей подремонтировали, привели в порядок. В музее я в молодые годы организовывал выставку художников, а в театре шла моя пьеса. Театр стал просто изумительным после ремонта. Маленькая Александринка или Большой. Не уверен, есть ли что-либо подобное ещё в России.

Со времён моей юности в Костроме многое приросло: памятники, музеи, как мы увидели, галереи. В центре, как бы с другой стороны театра, появился и музей театрального костюма. Небольшой, занятный, со своей программой и концепцией. Театр существует в городе 200 лет, на театральных складах 12 тысяч костюмов недействующего репертуара. Нам показали костюмы к недавно шедшей на сцене «Снегурочке» А. Н. Островского. Для Костромы это, естественно, культовый драматург.

Ну и теперь последнее — посещение спектакля в театре. Должна была идти «Гроза», но кто-то заболел, и шёл на замену новый спектакль. Пьеса, сочинённая местными актёрами. Некий не очень удачный перепев «Давным-давно» Гладкова. О женском героизме и участии в войне — и трусости и мздоимстве мужчин. Пьеса к случаю: и к 8 Марта, и к юбилейным дням войны 1812 года, а заодно и к выборам — вечная в России тема воровства. Неудачную пьесу и сыграть очень трудно. Актёры отчаянно комикуют, но нет реплик, условные характеры — и нет результата. В первом акте лишь две более или менее остроумные реплики. Но — словно в самодеятельности, которая требует, в надежде на эффект, подлинности в реквизите и декорациях, — прекрасные декорации и замечательные костюмы. В конце первого действия — слабые, как юные сопли, аплодисменты. Остались на второй акт исключительно из вежливости. Зато театром я любовался весь вечер.

После ужина в нашем «Губернском дворе», не очень обильного, немедленно стал смотреть телевизор. В Москве — митинг оппозиции «За честные выборы» на Новом Арбате. Когда уезжал, как уже писал, слышал по радио ликующий голос Ксюши Лариной, а потом и часть выступления Максима Виторгана. Его отец, актёр Виторган, — кажется, доверенное лицо Путина. Сын рассказывал, как избирателей обманули. Путин победил в цифрах. А ведь действительно: если есть много приписок, то разве выборы честные? Другое дело, что стрёмно допускать к власти команду честолюбцев — В. Рыжков, Б. Немцов, М. Касьянов, — которая у власти уже была. Все они также участвовали в событиях 91–93 годов, все — политики, в то время как Путин всегда был только чиновником. Но всё

это становится почти неинтересным. Полиция, по словам из телевизора, обещала перекрыть одну-другую сторону проезжей части на Новом Арбате, если соберётся около 50 тысяч человек, но ограничились лишь одной частью о стороны кинотеатр «Октябрь» — собралось что-то чуть больше пяти.

12 марта, понедельник

Утром пришлось ехать в Галич, невероятно старый, почти легендарный город. Господи, как ещё давно слышал об этом городе от незабвенного Вити Бочкова. Прислали за нами из Галича «Волгу» с совершенно бесстрашным пожилым шофёром Александром Валерьевичем. Летели по заснеженным дорогам, как ветер. День сегодня выдался довольно пасмурным и снежным. Пролетали мимо обжитых и полуброшенных деревень. Позёмка переметала дорогу, и я думал о том, сколько же сделали наши предки, чтобы обжить эти места, расчистить поля, сеять хлеб, и сеять лён, и в банях рожать детей. Потом я стал думать, скольким мы обязаны незаметным людям за то, что берегут эти места, хранят родину.

Через три часа в низине показалось белое облако — это огромное Галичское озеро, на берегу которого и стоит город, древние князья которого спорили с Москвой о верховенстве. Город особенно не разглядели, потому что машина покрутилась и въехала во двор районного Дома народного творчества. Ах, как жаль, что я органически почти не запоминаю имён, и в дальнейшем моём описании происходящих чудес могут быть ошибки. Тогда буду рисовать непоименованные картинки. Уже в коридоре, довольно тесном, выстроились в стилизованных национальных костюмах три уже не очень молодые женщины с хлебом-солью в руках. Они ещё и пели какую-то величальную гостям — а разве я не написал, что ехал я на эти литературные посиделки с Надей Кондаковой? И пели так мило и душевно, что гости чуть ли не заслезились. Вообще, всё, что происходило дальше, вызывало у гостей ощущение: не по чину величание. Но, с другой стороны, было исполнено так искренне и органично, что невольно думалось: а ведь будь на нашем месте премьер-министр, они бы и его так же, по такому же разряду встретили, потому что по-другому они и не умеют.

<…> Ну конечно, это музей: горница в крестьянском доме, с половиками, с парадными элементами крестьянского быта. Музей, конечно, был самодеятельный, всё это наскребалось по деревням. Но из соседней комнаты в этот момент опять послышалось пение — а там снова музей и даже живые картины. Три прежних женщины пели песню. Одна, сидя на лавке, качала в люльке ребёнка, другая пряла лён, третья лён теребила. И опять маленький номер для гостей. В песнях, оказывается, может оказаться что угодно, вплоть до технологии обработки льна. «А мы лён сеяли, сеяли…» Гости, конечно, чуть и подпели хозяевам, и даже покружились с ними в хороводе, а потом принялись задавать вопросы. Музей оказался не вполне обычным, а — по-научному выражаясь — интерактивным: маленький посетитель — школьников сюда водят постоянно — может потрогать любой предмет. В мужском углу мальчик примерится к плотническому инструменту, а девочка покрутит ручку у маслобойки. Тут же мы, конечно, узнали то, что знали и без этого: денег в бюджете на подобные забавы и ребячьи шалости нет, но эти три женщины — все они, конечно, в этом районном Доме народного творчества и работают методистами, вместе со своим директором, — выиграли президентский грант в миллион рублей. Здесь бы сразу мне и сказать, что много позже — уже после того, как мы провели основную часть нашей работы, поговорили с местной интеллигенцией, Надя почитала стихи, я ответил на все вопросы, выслушали местных писателей, съездили в местный краеведческий музей, о котором, если хватит терпения всё описывать, я скажу чуть позже, — нас в этой же комнате и накормили обедом, чем, как говорится, Бог послал. По-домашнему и, наверное, принесённой из дома снедью, но удивительно вкусно. Мои читатели последнее время сетуют: меньше я стал писать о еде. Выполняю их заказ. Винегрет, солёные огурцы, солёные помидоры, белые грузди, солёные рыжики, кислая капуста. Потом удивительно наваристый — грибов не жалели — грибной суп, потом отварной картофель с замечательной куриной котлетой, потом чай с мармеладом, мёдом и мочёной брусникой. За обедом я также получил два кулинарных рецепта. Я ведь в самом начале говорил об озере, которое знаменито своим ловом рыбы, которая всё не переводится, потому что здесь одно из волжских нерестилищ. Один рецепт — как готовить фаршированную щуку (я, как оказалось в разговоре, готовлю фаршированную щуку по-еврейски), а другой — как фаршировать судака на местный манер и запекать его в батоне.

Но всё-таки о главном: в небольшом зале народа было человек пятьдесят. Наши с Надей выступления пропускаю, но говорили ещё и местные люди, и говорили интересно. Есть здесь и свои писатели, и свои публицисты, и учительницы, которые пишут стихи, и читающие люди. Мне было интересно. Ещё с советских времён в местной библиотеке сохранилось десять моих книг. Я к этому списку прибавил ещё три — «Дневники» за 2009 год, «Власть слова» и книжку о Вале «Её дни». Библиотека, естественно, ничего не покупает — на покупку книг президентского гранта нет, система государственного книгораспространения предусмотрительно нашим государством уничтожена. <…>

Какие остались впечатления? Кстати, один из местных писателей, Виктор Андреевич, житель этого маленького города Галича, в котором 17 тысяч жителей, привёл в качестве отрицательного примера нашей внутренней политики цитату из последнего номера «Литературной газеты». Это говорила госпожа Набиуллина, которая занимается нашим внутренним развитием. Суть этой цитаты в том, что, как в своё время «неперспективные» деревни, у нас появились «неперспективные» города. Госпожа Набиуллина предлагает с городами поступить, как и с селом. Этот пример — и сама речь Виктора Андреевича, который, как и читатель «Литгазеты», возмущён готовностью правительства экономить на русской истории и русском будущем. Я тоже этим возмущён, потому что когда ехал в Галич на машине, то размышлял, что люди в тех деревнях и сёлах, которые ещё не бросили свои дома, охраняют целостность наших пространств, не дают нашей родине скукожиться до уровня разросшихся, как плесень, мегагородов. А после беседы с этими учительницами и местными журналистами и литераторами, после посещения небольшого краеведческого музея, в котором директор получает 12 тысяч рублей зарплаты и ведёт серьёзную научную работу, я подумал, что слишком уж мы надменны перед нашей провинцией. Я подумал, что, замученные нашим телевидением и его представлениями о культуре прекрасного и глубокого в человеке, где самая красивая — Ксения Собчак, а самый умный — Виктор Шендерович, мы совершенно неверно представляем себе интеллектуальный уровень провинциалов. Далеко не все они спились, далеко не все опустились под тяжестью жизни, законодательства и равного налогообложения для бедных и супербогатых, и очень многие из них ещё держат советский уровень заинтересованности в общественной жизни и культуре. Кстати, недавние выборы президента дали здесь Путину 52 процента голосов.

<…>

15 марта, четверг

Часа в четыре приехал домой, и сразу же на меня нахлынуло множество московских дел и событий. Во-первых, раскрыл «Литературку» — там прекрасная статья Серёжи Арутюнова о «Маркизе». Или он сам, или газета придумали исключительный заголовок: «Второе пришествие очевидца». Рядом со статьёй Серёжи — большое письмо ли, нет, скорее статья, преподавательницы из Стерлитамака и читательницы газеты по поводу новой работы Паши Басинского о Горьком. Не успеваю я ничего читать! А Паша, оказывается, уже успел написать 416 страниц «Страстей по Максиму Горькому. Девять дней после смерти». Преподаватель из Стерлитамака очень точно ухватила основной принцип, по которому последнее время пишутся работы, которыми так интересуется публика: «Сама книга является всего лишь компиляцией, составленной из разнообразных текстов, принадлежащих близким А. М. Горького, публицистам, краеведам и т. д.» Цитату не продолжаю, для меня здесь важна тенденция: как недаром иногда знаменитые, казалось бы, писатели чуть ли не каждый год пишут по толстенному тому. А они просто умненько всё компилируют! Об ошибках, которые заметила читательница, тоже не пишу. Заканчивается эта очень обширная статья уже общим рассуждением, касающимся не одной книги: «Что касается меня, то решение принято: читать книгу Басинского о Толстом не буду! Не хочется думать, что жюри «Большой книги» ошиблось. А на столе у меня лежит роман очередного лауреата БК Михаила Шишкина «Письмовник». Надеюсь, повезёт…»

Вообще, много неожиданного и даже трагического случилось, пока я в Костроме занимался встречей с трудящимися. В Казани, например, полицейские при помощи бутылки из-под шампанского пытали в отделении милиции попавшего к ним в лапы человека. Изнасилование при помощи бутылки, а человек умер. Теперь идёт скандал, и в отделениях ставят камеры видеонаблюдения. В Москве идут страсти по поводу танцовщиц и певуний, пытавшихся осквернить храм Христа Спасителя. Всё это я прочёл, взявши в руки «Российскую газету».

Раздел про культуру и искусство, где безраздельно царствуют в кино — Кичин, в театре — Алёна Карась, я уже давно не читаю; ещё Кичина читать можно, а вот Алёна — это такое сухопарое умничанье, что с души воротит. Не читаю я и Михаила Швыдкого, потому что всегда знаю, что у него в подтексте. Но вот общественно-криминальный отдел «Российской газеты» мне всегда интересен.

Принялся слушать радио, разбирать вещи, варить из рыбьей головы солянку — благо, с дачи привёз две банки солёных огурцов. Огурцы, конечно, в зимние морозы помёрзли, но в дело ещё годятся. Вечером всё-таки не смог удержаться и принялся опять смотреть сериал Анны Козловой. Одно очевидно: девочка всё-таки выгрызла себе место возле денежного телевидения. Весь её немалый опыт, о котором я читал в её романах, пригодился. Всё-таки это интересно. Неужели все женщины такие — или они такие внутри себя? Я, конечно, завистливо язвлю, но утерпеть не могу. В прошлой серии дети четырёх или пяти лет играли презервативами и рассуждали, зачем эти «шарики» нужны, а в сегодняшней был впервые на нашем экране продемонстрирован опыт куннилингуса. Не могу также не вспомнить, что очень давно, ещё студенткой 3-го курса журфака, Анна написала отрицательную рецензию на мой роман о Ленине. Недоступного для неё не существует.

Пока варил солянку, слушал горячие дебаты по «Эху» о том, что обязательно необходимо, в первую очередь—церкви, простить панк-певиц. На радио всё размышляли: преследование их началось из-за того, что они не любят Путина, или потому, что они спели и сплясали? К сожалению, я прослушал фамилию священнослужителя, с которым под рубрикой «Народ против» беседовали «привилегированные слушатели»,—говорил и отбивался он прекрасно. Но почему же народ против, чтобы этих музыкантш наказали? Может быть, их надо наградить? Совершенно справедливо замечено, что если бы их не забрали, то вполне был возможен и самосуд. Посмотрел бы я на нашу общественность, если бы дамочки сплясали в синагоге или в мечети. У нас постепенно складывается порядок, что общественное мнение может нажать на любой суд—и суд пойдёт на попятную.

<…>

К шести часам приехал домой, готовил, обедал, слушал радио, смотрел передачу Малахова «Пусть говорят». Везде говорили исключительно о «Бунте кисок»—можно и так перевести название группы, в которой состоят бесстыдницы, плясавшие в храме Христа Спасителя. Защитники, среди которых Марат Гельман и телеведущая Богушинская, говорили о «художественном жесте». Видите ли, это протест против близости церкви и власти. А когда в начале перестройки Хануку праздновали в Кремле, это о чём говорило? А почему тогда никто не испортил праздника и не покричал что-то на этом празднике? В дискуссии по нтв очень точен и аргументирован был Максим Шевченко. У Малахова точно говорил Бурляев. Но мне лично ещё понравился один из мусульманских служителей, который говорил, что из девушек надо бы выгнать беса.

<…>

16 марта, пятница

Старость—это когда времени хватает только на себя, чтобы каждый день запускать изношенный организм и по возможности поддерживать его. Замыслы и свершения во всём литературном блеске—только в голове, уже писать не то что не хватает сил, но и не хочется ничего делать. Времени хватает только на себя, на обслуживание дряхлеющих сил и угасающего интеллекта. Есть слова, которые ты не можешь быстро вспомнить, обещания, о которых забыл. Время, чтобы выполнить необходимое, утекает. Час в день на зарядку, потому что без неё уже почти невозможно, а вот как случится—и утром не заведёшься! Через день, ну иногда через два—в спортзал, иначе одряхлеешь, суставы перестанут гнуться, сахар взлетит. Вот на это всё и пустил всё своё утро. Правда, час ещё почитал книгу журналиста «Комсомольской правды» Александра Анциферова «Функция Бонапарта. Путешествие из Октябрьского переворота в Ватерлоо». Читал с карандашом, много интересного. Здесь проводится до удивления точная мысль о термидорианском перевороте, который производится во имя того, чтобы достижениями революции, то есть тем, чего сумел добиться народ, могли воспользоваться народившиеся элиты. Здесь напрашиваются аналогии с Францией и её Великой революцией. Но напрашиваются аналогии и с нашим временем. Книжка вышла в 2009-м, и «горячего» сегодня здесь нет, но и оно соответствует старому правилу. Если Путин—представитель олигархов и крупного чиновничества, то народившаяся новая буржуазия требует и для себя власти и собственности. Народ здесь не в счёт. Народ среднего достатка ходит на митинги.

<…> В каком-то смысле Москва перестала быть цивилизованным городом, в ней можно смириться, что долго едешь на работу и с работы, а уже в театр ехать, чтобы прибыть в хорошем настроении, просто невозможно. О чёртов московский транспорт и дороги!

Теперь о спектакле. В каком-то смысле мне везёт. Я всё-таки дружу с талантливыми людьми, и они меня не подводят. В таком небольшом количестве московских театров есть спектакли такого напряжения и такой поразительной силы художественного воздействия! Яшин опять поставил замечательный спектакль. Всё, казалось бы, очень просто: деревушка на острове, тётки, парень калека, жители, фильм, который Голливуд снимает на соседнем острове, и вот этот паренёк отправляется посмотреть эти съёмки, и если повезёт… Но опять какая-то сила в этой драматургии, где действие идёт в далёком 34-м году, находить какие-то параллели и иллюзии с нашим временем. «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Играют, как я уже писал, ученики «Щуки». Играют редкостно; то, что молодые играют людей разного возраста и играют почти без быта, возводит всё представление почти в символ времени. Как всегда, замечательные декорации Елены Качалаевой; она предложила такую композицию—берег-причал, которая в известной мере предопределила решение. Человек всегда на обрыве.

<…>

19 марта, понедельник

Завтра день рождения у В. С. Завтра же я собираюсь устроить презентацию Валиной книжки в нашем кафе «Форте». Уже сговорился с Альбертом Дмитриевичем, вчера вечером и сегодня созывал гостей. Я планирую позвать человек 25. Ну, конечно, будет народ из «Литературной газеты», мои друзья из «Независимой», Максим. Дозвонился до Светланы Хохряковой, послал приглашение Вячу Баскову. К сожалению, не будет Жени Сидорова, он в Париже на книжной выставке. Дозвонился

до Виктора Матизена, и он меня и обрадовал. Я выяснил, что, помимо своей работы журналиста, он ещё преподаёт в школе и иногда берёт учеников. Естественно, его ученики все поступают. Судя по его книжке, которую я прочёл уже давно, Витя замечательный, требовательный и весёлый педагог. Но здесь для меня важен другой аспект, который касается и меня, и почти любого деятеля искусств: если хочешь в наше время заниматься любимым делом, выражать себя, писать или рисовать, то надо ещё и зарабатывать именно на это самое деньги. А разве я работаю в Лите не для того, чтобы продолжать существовать как действующий писатель?

Из политических новостей—очень занятный демарш Сергея Миронова. Он сказал, что его фракция будет голосовать против того, чтобы при президенте Путине премьер-министром стал Медведев. Миронову не нравятся эти перестановки. Медведев, дескать, прекрасный юрист и без работы не останется. Возможно, это мнение связано и с нежеланием Путина иметь в премьер-министрах человека, знающего, в основном, жизнь по компьютеру. Но обещание было дано. Хотя это уже моя трактовка событий.

Ну, видимо, весна: зацветает герань у меня на подоконнике в кухне. <…>

20 марта, вторник

По обыкновению, в день семинара не сплю. Проснулся в шесть и почти до девяти метался по комнатам. В основном искал интонацию семинара и фантазировал план разбора текста Саши Драгана. У него замечательный, многослойный и дышащий текст. Решил анализировать в первую очередь те многочисленные причины, которые делают текст интересным и заставляют читать. Довольно много говорил вначале о Костроме, о том, какой я её застал почти через двадцать пять лет. Немножко, но лениво поговорили о политике. В два пошёл обедать с ректором, а в четыре уже презентация.

<…> Сегодня же в четыре часа провёл презентацию книги о Вале, сегодня как раз день её рождения. Всё происходило в нашем кафе «Форте». Было замечательно, тепло и спокойно. Когда я принёс в зал книги, то, повинуясь какому-то наитию, Володя, метр и распорядитель, положил их как раз на тот самый стол, за которым мы с Валей сидели, когда последний раз вместе заехали к Альберту Дмитриевичу из Дома кино. Тогда играл джаз. Как Валя любила джаз, воспринимая его всем своим естеством! К сожалению, не приехал Матизен; позвонил Серёжа Шаргунов—внезапно ему надо было забирать ребёнка из детского сада; из «Независимой» не приехали Алиса и Миша Бойко; Марина Кудимова уезжала в Новосибирск на фестиваль, а Саша Неверов был у врача. Владик Пронин просто не доехал, у Лёвы плохое самочувствие. Но зато был всегда верный в подобных случаях Андрей Василевский, приехал Максим; конечно, Леня Колпаков, Г. Хорт, Лена Ягорунина, Светлана Хохрякова; пришёл, окончив семинар, Паша Басинский; ну и институтские: Миша Стояновский, С. П., который побыл до пяти и ушёл вести свой семинар, Л. М. Царёва, Е. А. Табачкова, Лёша Козлов, издатель, и Вася Гыдов, книгопродавец. Кого забыл? Всем благодарен, всем было хорошо, Альберт Дмитриевич «сочинил» прекрасный, обильный и вкусный стол, питья и еды было вволю. Милая моя птичка, где ты сейчас летаешь? Пишу, а у самого глаза на мокром месте.

<…> Утром «Эхо Москвы» не без символической ухмылки рассказало, что в избиркоме к грядущей инаугурации вновь избранного президента подготовили проект нового президентского удостоверения. Оно будет отличаться от того, какое было вручено Медведеву. Новый документ имеет графу, позволяющую его продлевать.

21–22 марта, среда—четверг

<…> Ещё вчера в Тулузе некий француз алжирского происхождения сначала расстрелял несколько военных, вернувшихся из Афганистана, а потом убил двоих детей и взрослого в еврейской школе. Месть правоверного. Его довольно быстро разыскали и 32 часа бездарно атаковали квартиру, в которой он затаился. Взять живым террориста, как хотела власть, не удалось. Во время штурма, отстреливаясь, он выпал из окна и оказался убитым попаданием в голову.

Трагедия с тулузским стрелком разворачивалась на фоне удивительных событий, которые произошли в одной из вологодских колоний. Здесь преступника среди белого дня вывезли на вертолёте, который перед этим был захвачен сообщниками. Довольно, правда, быстро этого бойца поймали. В каком мире мы всё-таки живём! Но мир всё-таки откликается и на мелочи: в приложении к «Независимой газете», в «Ex libris»-е,—ироничная констатация моей торговли на книжной ярмарке. «К числу событий не первой свежести можно отнести и презентацию второго издания романа Сергея Есина «Ленин. Смерть титана». Впрочем, писатель брал числом—ИД «Комсомольская правда» представил все книги экс-ректора Литинститута». Есть и портрет. Ни в зеркало, ни на собственную фотографию уже смотреть нет сил.

23 марта, пятница

Чем больше читаю наших заочников—а в основном это пока их дипломы,—тем отчётливее вижу существование двух литератур. Одна идёт поверх всех потребностей общества, поверх традиций и даже внутреннего интереса читателя—это литература толстых журналов, премиальная литература, ну, литературу коммерческую, пошлую

и низкую — она существовала всегда — я не беру в расчёт; другая литература — это литература глубинная, отечественная, тесно связанная с жизнью народа и с обстоятельствами жизни страны. Попутно расскажу как бы не связанный с этим сюжет. Вчера у меня был художник Семён Кожин. Среди прочего говорили о наших банках. И вот тут Семён развернул мне целую теорию о том, что на роль банкиров были ещё в средние века выдвинуты еврейские фамилии именно потому, что в список недозволенного, который диктует их религия, ростовщичество не входит. Говорили также о роковой метке русского народа — чувстве греха, которым, по идее, живёт каждый русский. Кстати, о еврейском капитале я, кажется, читал в одной из ранних работ Маркса, надо бы это посмотреть ещё раз. Но полный Маркс у меня на даче.

Собственно, весь день до глубокой ночи читал дипломы, поражаясь, как всегда, таланту наших студентов-заочников.

<…>

24 марта, суббота

Не могу выбросить из сознания вчерашнюю удивительную передачу по НТВ. Это был один из сильнейших ударов по нашей эстраде, которую — мне кажется, платно — НТВ постоянно поддерживает. Здесь было вывернуто всё, что только можно вывернуть: безголосые певцы, постоянные выступления под «фанеру», заказ и организация «солистами» всех горячих материалов, даже, казалось бы, вопреки собственному имиджу — в торговле всё сгодится. В ход, лишь бы твоё имя не сходило с уст, идёт даже подстроенная самим же исполнителем автомобильная авария. Мне думается, этот удар по эстраде не случаен. Совсем недавно, в первую очередь — деятели культуры, объявили передачу о митингах, выпущенную НТВ, подлогом. Ответный удар: а кто у нас фальшивомонетчики?! Я полагаю, что могут последовать и новые разоблачения. Впрочем, похоже, всё затихает; по крайней мере, писатели уходят в кусты. А вот НТВ-шники, кажется, готовят ответный удар, который нанесут завтра, в воскресенье вечером.

<…>

25 марта, воскресенье

В Обнинске идёт снег. Довольно рано выехал, чтобы поспокойнее добраться. Долго разыскивал металлическую коробку с письмами отца моей матери из лагерей. Я помню, он писал ей много и часто, тогда ведь не переговаривались по мобильнику и не писали друг другу СМС-ки. Об этой коробке я помнил всю свою жизнь, и вот время, кажется, для неё подошло. В разборе, вернее, в перепечатке этих писем мне обещал помочь Яся Соколов. Почерк у отца был старомодный, с вензелями и выкрутасами, а я, по своей нетерпеливости, разбирать чужие почерка не очень люблю. Всё это я делаю из двух побуждений. Первое — сеанс заканчивается, и надо быть наготове, т. е. закончить все дела. Второе — новый роман, семейный, уже бродит во мне.

К четырём уже приехал с дачи и сразу включил телевизор: «Евгений Онегин» Чайковского из «Метрополитен-опера», но пело несколько наших — в частности, Дмитрий Хворостовский. Оторваться уже не смог. Здесь у меня опять возникло два соображения. Во-первых, я впервые в этой опере вижу, что главным героем могла стать не только героиня — Татьяна, симпатичное, милое и русское по своей целостности существо, но и сам Онегин. И дело не в том, что Хворостовский статен и хорошо несёт внешний рисунок роли, — он её ещё и верно, полно поёт. Здесь я вспомнил недавнее высказывание Майи Плисецкой, связанное с её балетными трактовками: надо слушать музыку, в ней всё есть. Действительно, как никто, Чайковский умеет быть близок к подлинному тексту литературы. Но и Татьяна была бесподобна.

Слушал оперу на кухне, кое-что поваривая и помешивая в своих многочисленных кухонных приборах. В результате, кроме поразительных впечатлений от оперы, — морковные котлеты, сырники и в мультиварке рагу из овощей с мясным фаршем.

Вместо личной жизни, как и почти каждый день, — телевидение. Я уже писал, что, рассчитывая на один определённый эффект, телевидение часто добивается совершенно другого. Всё-таки состоялась встреча оппозиции и обвинившей её в продажности телестанции НТВ. Ну наконец-то я увидел всех людей, о которых всю весну слышу по радио. Не монстры. В эфире произошёл театрализованный скандал. Вроде бы оппозиционеры ушли из студии, потом вернулись, все стали думать о стране, о будущем. Я попутно размышлял о стимулах этих протестантов, об их стремлении сесть на место нынешней власти и, по русскому обычаю, стать такими же, как эта власть. Но ещё до этого, не в примирительной, а в обвинительной части передачи, было высказано многое, и я окончательно уяснил: не без, как и положено любой оппозиции, иностранных денежек поживают наши смелые оппозиционеры и оппозиционерши. НТВ-шники неплохо подготовились. Только американский Конгресс выделил на обучение России демократии 200 миллионов сребреников. И говорите о своём бескорыстии!

<…>

28 марта, среда

Среда — это мой традиционный выходной день. Утром пошёл в спортзал, но решил не на традиционные занятия, а на почти двухчасовое занятие йогой. Измотался, конечно, до изумления, каждая косточка болит, но чувствую, что всё это на пользу,

каждый сустав потерял гибкость и заледенел. Будем всё раскачивать, гонка за выживание продолжается.

К обеду приходил Павлик Косов, забрал несколько книг — он собирается делать документальный фильм обо мне, о дневниках — и принёс записанный на диске свой последний фильм — о Михаиле Кузмине. Вечером я фильм посмотрел, даёт представление об эпохе, очень мило всё сделано, но трагизм этой судьбы почувствовать трудно. Деликатно кое о чём фильм стыдливо умалчивает. Но хрестоматийное стихотворение «Где слог найду, чтоб описать прогулку…» прозвучало. Не прозвучало, кому стихотворение было посвящено и ради чего написано… Но всё равно Павлик молодец, это ещё одно подтверждение, что моя жизнь в Литинституте проходит не даром. Эти мальчишки, ещё несколько лет назад писавшие вступительные этюды, — уже специалисты, уже нашли своё дело в жизни и свою судьбу…

<…>

29 марта, четверг

<…> Когда начинаю думать, что дневник мой совсем обмелел и писать практически нечего, жизнь всегда что-нибудь подбросит. В метро, а не был я там чуть ли не с выборов, купил «Новую газету». К счастью, она опять появилась, а совсем недавно, недели на три, по крайней мере, у нас на «Университете» через автомат газета не продавалась. Горячая газета, того и гляди, от неё что-нибудь запылает.

Всю дорогу туда читал «Новую газету», а обратно — «Шерлока Холмса» на английском. Газета, в принципе, меня расстроила, она полна теми отвратительными фактами, которые принуждают бояться жить. И с каждым днём всё страшнее. Если конспективно, то так.

«Секретное ДТП с участием машины из кортежа министра Нургалиева расследовано не будет — все документы изъяты и спрятаны». ДТП, кстати, случилось летом на 22-м километре Калужского шоссе, по которому каждую неделю я без кортежа езжу на дачу. Летом же появилась в «НГ» и публикация. «Тогда же «Новая газета» предположила: подобная секретность и суета связана с тем, что в машине из кортежа министра внутренних дел Нургалиева ехала его жена с подругой, на дачу спешили. Как теперь выясняется, мы были правы».

На нескольких полосах — о пытках, которым подвергают задержанных наши полицейские. На деталях не останавливаюсь — снова из газеты: «О нравах в ведомстве г-на Нургалиева — стр. 2–3». А на этих страницах — и о самом министре, и о его подчинённом, министре Татарстана.

Чтобы не тянуть: самое страшное — это некая дискуссия между гранд-дамами газеты Юлией Латыниной и Еленой Рачевой по поводу расстрела двух парней в Белоруссии. Ещё недавно я думал о том, как сложно и тяжело бремя власти. Подписав приговор и отказав тем самым «террористам» в помиловании, Лукашенко взял на себя огромную ответственность. Я бы с грузом такого решения жить не смог. А если служебная ошибка? Да и вообще, своей подписью лишить человека жизни — это не для меня, я слабак. Но тут выясняется — всё это в газете, — что система доказательств далеко не безупречна; возможно, это совсем не те парни. Выпускница Литинститута Юлия Латынина батьку Лукашенко целиком поддерживает. Она даже протестует против реакции на этот расстрел, которая возникла в России. Как страшно и жить, и читать.

<…>

Иногда я тороплюсь вернуться домой только потому, что тороплюсь что-то донести до дневника. Не забыть, записать полнее. К сожалению, я запамятовал точное время заседания нашего клуба и пришёл уже к середине большого выступления Михаила Леонтьевича Титоренко — директора Института Китая. Кое-что мне всё же удалось зафиксировать — наверное, с ошибками — на мой маленький компьютер, но главным здесь, на мой взгляд, было несколько рассуждений.

Китай. 9 классов — бесплатно. Среднее, высшее медицинское — бесплатно. 51% населения — в городах и в посёлках. Предел, которого можно достигнуть экстенсивным развитием в промышленности и на селе. За высокие показатели Китай заплатил своей экологией. 80% водоёмов отравлено, дефицит воды. Невероятное количество руды и угля. Китай — сборочный цех мира. Собственных брендов — 5 процентов. Огромные деньги китайцы тратят на образование и науку. Миллионы — на стажировку и обучение за рубежом.

2 миллиона человек уже думает не по-китайски. Новый либерализм. Борьба. Урбанизация. Колоссальный разрыв уровня жизни горожан и крестьян. Слой безземельных крестьян. Свои участки они продали. Землю отбирают под строительство дорог и промышленных предприятий. Крестьянские волнения.

Задача армии — внутренняя стабильность. Рождение одного ребёнка — проблемы. В некоторых районах — дефицит рабочей силы. Мужское население на 42 миллиона человек превышает женское.

Двухмиллионная армия. 185 баллистических ракет. Космос — на уровне СССР 70-х годов. 750 тысяч солдат — вдоль границы с Россией, но основные силы — против Тайваня. Следят за путями доставки сырья. Китай и Россия заинтересованы друг в друге. Никакой угрозы со стороны Китая в ближайшие 10 лет быть не может. Китай выступает как конструктивная сила.

<…>

Теперь к «гуманитарной» части. Это уже из моих рукописных записей.

«Русские и китайцы похожи тем, что во всех делах у них главным является духовная составляющая». У нас—совесть, божественное, у китайцев—предки, следование закону.

«Если на одной из трёх дверей будет написано «Не входить», то русский сначала направится именно к этой двери, китаец—никогда».

«Китайцы всегда помнят добро, которое было сделано для них, но никогда не забывают и о зле».

«Китайцу сложно придумать что-то новое, но если вы это новое придумали, то именно китаец доведёт это новое до высшего совершенства».

<…>

31 марта, суббота

Утром разбирал металлический ящик, который привёз с дачи. В нём у меня хранились мои ранние письма и бумаги. Я тогда предполагал, что стану великим писателем и все мои бумажки пригодятся. Пригодятся, но исключительно только мне и моему щенячьему любопытству. Искал-то я, конечно, письма моего отца к матери и детям, буду шарить теперь по разным другим местам. Но, хотя отцовских писем не нашёл, было много любопытного и забытого. Письма девочек, которые ухаживали за мной и за которыми я ухаживал, и даже мой, довольно безжалостный, табель за первый класс. С подписью моего незабываемого классного руководителя Серафимы Петровны Полетаевой. Это ещё одно доказательство, что не всегда из отличников и вундеркиндов получается что-то путёвое. Я пишу об этом ещё и потому, что у нас в институте каждый год мы собираем молодых гениев из Москвы и из провинции. Если бы вы видели мамаш, которые привозят своих талантливых дочек! Об этом мне довольно забавно рассказывал Лёша Антонов. Впрочем, недавно и телевидение сказало, что в лучшем случае хоть что-то из этих гениев прорезывается в пересчёте 1 к 10.

<…>

Да и вообще много интересного: письма Капитолины, актрисы, с которой я дружил в Ташкенте, Тани Лукьяновой, которая меня провожала в армию и которая потом исчезла из моей жизни, кое-что, связанное с моей жизнью в кино, и даже «кодекс поведения», который я вряд ли сочинил—скорее всего, откуда-нибудь списал. Занятно, что, в принципе, по этому кодексу я и живу, кроме одного пункта.

Вечером ходил в театр Покровского. Естественно, пригласил В. А. Вольский. В театре восстановили «Ревизора»—как бы условно опера с музыкой Вл. Дашкевича и со стихами Юлия Кима. Конечно, получил большое легкомысленное удовольствие. В этом театре всегда высокий уровень исполнения и самого спектакля. Особенно хорош был Хлестаков—сравнительно молодой парень, эдакий «русский тенор»—Борис Молчанов.

Если сказать себе, что это лёгкая музыка, что это мюзикл, без каких-либо претензий на оперную глубину,—всё прекрасно. Всё весело, бодро, даже остро, но ни одной запоминающейся мелодии. Ощущение замечательной музыки к кинофильмам. Слово «остро» тоже написал не зря. Действительно остро: и коррупция, и сами фигуры—между Путиным и Медведевым. «То флейта слышится, то будто фортепьяно». Почему-то вспомнил покойного Рафаила Вольского: совершенно замечательно он одел всех артистов. Чего стоит один фрак Хлестакова, расшитый маскарадными блёстками!

1 апреля, воскресенье

Утром ездил в «Ашан», запасался продуктами и овощами, которые не ем. Этот магазин ещё раз мне подчеркнул, насколько всё в нём дешевле, чем в лавчонках и магазинчиках на улице. <…>

Наш «Ашан»—на самом деле это «Капитолий», в котором и «Ашан», и куча других магазинов, в том числе здесь ещё и целых семь кинозалов. В магазине увидел, что идёт новый фильм Павла Лунгина «Дирижёр», о котором мы говорили с Андреем Плаховым. Какие-то восторги я читал об этом и в «Российской газете». Но газетам я не доверяю, решил посмотреть сам, взял дешёвый билет за 300 рублей.

Лунгин у нас последнее время стал специалистом по православию. Но этот православный фильм, основное действие которого происходит в Израиле, очень уж странный. Всё сделано по прекрасным западным образцам. Чтобы восхитить обывателя. Огромные самолёты, комфорт роскошных гостиниц, широкие панорамы Иерусалима, знаменитые святыни. Отец—знаменитый дирижёр, сын—почти хиппи, флирт певца, богатые женщины, едущие в паломничество, кровь, смерть, надежда. Есть всё вне контекста высокого вкуса. Хороша и достойна только музыка—«Страсти по Матфею», написанная одним из иерархов нашей церкви. Под музыку и Иерусалим, видимо, и давали деньги. Сценарист—тоже Лунгин. Я всегда просто физически страдаю, когда вижу что-то лживое на сцене, когда что-то корявое и с претензией читаю. Здесь всё лживо—и актёр, который делает вид, что дирижирует, и сама коллизия: сын дирижёра умирает в Иерусалиме, где отец дирижирует ораторией. Плохой текст, лживые ситуации. <…>

Что-то возникает лишь у Лены Мороз. По-настоящему интересный крошечный эпизод—это когда снаряжают на теракт молодого террориста. Его стригут, моют, одевают, его обнимает отец. Душераздирающая сцена. А потом в нарядной толпе раздаётся взрыв.

Кстати, все эти красоты Иерусалима, страсти музыки, самолёты, гостиницы и взрывы в выходной день, на сеансе в 15:30, в большом и просторном зале наблюдало не больше 10–12 человек. Если мы делаем блокбастер, так уж делаем!

<…> Тема замечательного православного изделия Павла Лунгина на этом не закончилась. Вечером, когда жарил рыбу, включил телевизор — всё о том же. Какой прекрасный фильм, на экранах будет только две недели, а потом, так сказать, к Пасхе, пойдёт по Первому каналу.

2 апреля, понедельник

<…> В Сибири разбился самолёт, летевший из Тюмени в Сургут, — много погибших. Причины придумали к вечеру: не облили самолёт противообледенителем. Мельком сказали, что этому итало-французскому самолёту, купленному и перекупленному, уже больше 20-ти лет. Наш бизнес постоянно экономит на «человеческом факторе». В итоге — смерть. Я уже давно заметил, что, защищая «экономный» бизнес, наши эксперты обычно всё сводят к ошибке пилотов или к «внешним причинам» — не завезли соответствующих реагентов, — так для бизнеса менее опасно: и пассажиров отпугнёт меньше, и к устаревшим машинам меньше претензий.

По поводу этой катастрофы встрепенулся президент и приказал всё возможное сделать, чтобы наиболее тяжело раненных потерпевших доставить в Москву. Вспомнил тут я: когда случилась трагедия в клубе «Хромая лошадь», потерпевших тоже везли в Москву. В огромной Перми не хватило ожоговых мест, не хватило в огромной Сибири. Что же это такое с нашей медициной?! В Америке чуть ли не в каждом штате огромные научные медицинские центры, известные на весь мир, в Германию мы постоянно отправляем в самые труднопроизносимые и плохо известные городки лечить больных с неизвестными широкой публике трагическими заболеваниями, а у Тюмени нет возможности лечить таких больных. В связи с этим вот ещё какая возникла у меня мысль…

По радиостанции «Эхо Москвы» постоянно, два раз в день, слышатся призывы к гражданам помочь детям, которым нужна та или иная операция или дорогостоящее лечение. Звучат названия разных клиник, порой в малознакомых городах Германии, Америки и Израиля. Нужны деньги, деньги, деньги. «Им нужна ваша помощь!» Как хорошо сознавать, что эти деньги у наших сердобольных граждан порой находятся. Но здесь два вопроса: мы что, совершенно не можем лечить редкие заболевания у детей? И второй: у нас что, действительно вся медицина сосредоточена только в Москве и нацелена только на лечение самых распространённых заболеваний?

3 апреля, вторник

Утром взялся за 3-й номер «Нашего современника», который каждый раз присылает мне С. Куняев. Общее впечатление довольно безрадостное и по стихам, и по прозе. Впрочем, в стихах есть и кое-что любопытное. Ощущение, что С. Куняев передоверил журнал своим помощникам, сосредоточившись на собственных высказываниях. Женя Шишкин попробовал себя как публицист и культуролог. Вне разговора и вне критики.

А вот работа самого Ст. Куняева очень интересна, филолог он опытный, знающий, начитанный — филологическое образование в МГУ даром не проходит. В пять утра начал читать его большой материал, посвящённый Анне Ахматовой, и пока не закончил — остановиться не смог. А ведь у меня сегодня семинар, надо бы было что-то посмотреть ещё и из своих учеников. Поначалу читал с раздражением: столько раз уже Анна Ахматова бита, ну чего придираться к манере… Однако постепенно мысль Куняева прояснилась: он замахнулся на весь Серебряный век, в силу ряда причин почти у нас обожествлённый.

<…> Семинар закончил в 13:30, и сразу же началась кафедра. Это обычные увещевания преподавателей следить за своими студентами, помнить, что они их духовные наставники. В том числе поговорили и о будущем приёме и рецензировании. Олеся Александровна очень ещё и до кафедры была возбуждена всей ситуацией, которая разворачивается вокруг девок, спевших молитву в храме Христа Спасителя. Все они до судебного разбирательства ещё находятся в изоляторе. Это, конечно, напрасно, но и, с другой стороны, совершён бесстыжий и даже смешной акт — их признали «узницами совести». В силу своей православной позиции Олеся Александровна вынуждена этих певиц осуждать. Но проблема и шире: дозволенность и границы искусства. По предложению О. А. мы, видимо, проведём единый институтский семинар на эту тему 24 апреля. Мои слова, я говорил об этом в самом широком смысле, о том, что это всё же демократический лагерь, который всегда О. А. и её муж, отец Вигилянский, поддерживали, обоим не понравились. Но я ещё сказал, что она теперь может не ждать премий, которыми её всегда награждало именно либеральное литературное сообщество.

Вечером ходил в Колонный зал — в рамках юбилея Ростроповича состоялся прекрасный концерт. Главными действующими лицами были Большой симфонический оркестр им. Шостаковича и дирижёр Юрий Темирканов. Сначала играли лядовскую «Кикимору»: казалось бы, некоторая игра со звуком, звукоподражание, картинки леса, а потом всё разошлось до небесных хлябей, стало мощно и плотно. Как, в принципе, рано началась

«современная» музыка! Потом — концерт Шостаковича для виолончели с оркестром. Автор посвятил Ростроповичу, так что это было в духе фестиваля. А главное, в духе был ещё и солист — итальянец Энрико Диндо. Это артист с удивительным звуком и силой. Удивительно, что концерт, написанный в 1995 году, звучит так трагически, будто создан только сегодня. Но всё же, видимо, главным номером вечера стало «…al Niente» Гия Канчели. Музыка эта — невероятной силы и выразительности. Я уже давно понял, что главное — не воспринимать симфоническую музыку как некие картины… Сейчас для меня это всё куски чувствований, на которые должна отзываться моя душа. Она отозвалась. Музыка так была хороша, что её даже страшно слушать второй раз.

4 апреля, среда

В нашей стране соскучиться трудно. Утром буквально оглушило известие: «Почти пять часов понадобилось пожарным, чтобы потушить башню делового комплекса „Москва-Сити“». Это одна из тех башен, которые смотрятся с метро-моста как выпирающие из челюсти клыки на фоне спокойной картины Москвы, стадиона и Новодевичьего монастыря. Одна из тех башен, о которых в самом начале своей карьеры новый мэр С. Собянин сказал, что это градостроительная ошибка.

Вот как я скомпоновал по прессе картину пожара. На 67-м этаже высотки загорелась деревянная опалубка, из-за ветра пламя быстро охватило несколько сот квадратных метров. Это два последних этажа постройки. Мотопомпы. С 30-го этажа мотопомпы пожарным пришлось на 67-й этаж тащить пешком. Лифты на этой высоте были отключены. В тушении пришлось задействовать вертолёты.

Но и это не всё. Среда для меня, после тяжёлого вторника, некий день свободы, я дома, колесо к следующему семинару начнёт крутиться в четверг или в пятницу. В этот день выходит «Литературная газета», и уже много лет я получаю домой «Российскую газету». Что нового?

Начнём с правительственной газеты. «Семнадцать человек сгорело на строительном рынке на юге Москвы». А всё очень просто: нажива — двигатель и губитель жизни. На рынке существовал склад, владелец этого склада в своей квартире зарегистрировал 11 человек — все они сгорели — таджиков, но жили они все не у него в квартире, а в складе, вместе с другими таджиками. Чтобы все думали, что в складе никто не живёт, на всякий случай пленников наживы на металлическом складе запирали. Замок висел на дверях, все могли его видеть. Вот так таджики и погибли.

Сюжет второй: газета уже писала о гибели самолёта в Тюмени, я тоже не прошёл мимо этого. Главная причина — всё-таки лёд, образовавшийся на стабилизаторе. Сэкономили на реагенте? Сэкономили на обслуживании? Газета пишет: шесть человек похоронят в Ханты-Мансийске, двоих — в Сургуте, двоих — в Нефтеюганске, одного — в Твери, шестнадцать — в Тюменской области. Это разброс прибыли и экономии.

И наконец — третий эпизод: «В министерстве обороны украли 190 миллионов рублей. Ядерный откат». Откаты возникли при строительстве станции, которая могла бы фиксировать, в какой точке земного шара произошёл ядерный взрыв. Вот так мы и живём: приватизация с её основным лозунгом «даже пойманный — не вор» продолжается и принимает новые формы!

<…>

6 апреля, пятница

Такая трудная весна. Авитаминоз или старость? Постоянно устаю, часто хочется лечь и просто смотреть телевизор. Так в конце жизни лежала и смотрела телевизор Валя. Может быть, она меня зовёт. Вчера, возвращаясь из университета Туро, проезжал по улице Орджоникидзе мимо стены крематория, перекрестился. Представил себе зелёную керамическую банку, в которой её пепел… А где-то поблизости пролетала её беззлобная душа. Всё время ожидаю, что опять в теле почувствую свободу и радость, а это всё не приходит и не происходит.

Ещё вчера пришла новость, что бывший мебельщик Сердюков… уходит в отставку. Об этом поговорили и на «Эхе», почти по этому поводу, по крайней мере — по поводу личности, написал мне из Ленинграда и мой приятель, ещё недавно военный и афганец, Геннадий Клюкин.

> «Завтра — собственно, без нескольких минут уже сегодня, — даст Бог, съезжу на угол Боткинской и Сампсониевского, там будет сходняк протеста по поводу убирания ВМедА им. Кирова с её привычного места и выноса за пределы Питера в Сестрорецк. Этот Сердюков и сюда добрался!.. Народ в трансе: как можно российское национальное достояние вот так раздолбать?! Пустить под нож то, что сотнями лет накоплено было, что даже фашисты не смогли разрушить? Ну где она, эта замечательная 64-я статья советского УК — измена Родине?»

<…>

Но должен огорчить и себя, и Геннадия: потом появилось сообщение, что министр раздумал и, кажется, остаётся на другой срок.

<…>

12 апреля, четверг

Утром в «Российской газете» — большое открытое письмо производителей молока. Суть его — как достала их конкуренция, и в первую очередь — Белоруссии. Она, видимо, очень обострилась после вхождения России и наших соседей в Единое

экономическое пространство. В этом письме приводятся и многие другие факты. В частности, большое количество разных пищевых фальсификатов. Упоминалось здесь и пальмовое масло, и украинский сыр. Насколько всё это справедливо, я не знаю, но в этой статье было несколько цифр, которые меня заинтересовали. Например: «Рынок буквально завален белорусской молочной продукцией, изготовленной из молока стоимостью 9–10 руб./кг». Далее так: «Чтобы хоть как-то конкурировать, российские переработчики вынуждены снижать закупочную цену на сырое молоко до 12–13 руб./кг». Но если всё это так и такие цены реально существовали, почему я, постоянный покупатель молока, их не заметил? В лавках на улицах пакет молока стоит выше сорока рублей за литр, в магазинах—почти пятьдесят. Кто же забирает разницу? Переработчик или торговля? И разве существует подобная разница в цене между закупкой и готовой продукцией где-нибудь за границей?

Обо всём этом я бы не писал, если бы вчера не столкнулся со странной ситуацией в Интернете. Я решил проверить, как расходится моя новая книжка, написанная о Вале. Что же я обнаружил? Она стоит: в книжном магазине на Тверской—450 рублей, в интернет-магазине—383 рубля, в сети «Озон»—497 рублей. Но здесь надо иметь в виду следующие два обстоятельства. Первое—весь тираж хранится у меня, и я сдавал его в продажу по цене 160 рублей за том, ниже себестоимости. И опять уточнение: тираж мог уходить только из одного места—из Книжной лавки Литинститута. Так кто же накручивает у нас такие поразительные цены? Сколько посредников кормит нищий писатель? И как тут не вспомнить советскую книжную торговлю?

Днём обещал приехать обедать Вилли Люкель из Марбурга, муж Барбары. Мы знакомы с ним и Барбарой уже чуть ли не 20 лет. С раннего утра я принялся готовиться: сходил в магазин, купил овощей, купил осетинский пирог, начистил и нажарил картошки и рыбы. Даже купил полкило ранней клубники. Поговорили о порядках в Германии и у нас. У них тоже реформируют образование. Вилли говорил о лишних предметах в школе и об организации изучения иностранных языков. В том числе поговорили о государственном воровстве у нас и в Германии. Судя по всему, там ребята тоже не промах. Поговорили об умении правительства под влиянием общественности давать задний ход. Германия вроде бы решила избавиться от своих атомных станций…

<…>

14 апреля, суббота

<…> Я давно хотел попасть на Пасху в собор. Много раз смотрел пасхальную службу по телевизору и всегда считал подобные передачи одними из лучших на телевидении. Но последнее время я всё настойчивее ищу в себе некий внутренний слом, который принесёт не головную, а подлинную веру. Я почему-то верю, что это придёт, и постоянно ищу те ситуации, когда моя душа раскроется. Вот теперь я уже точно постараюсь, если, конечно, буду жив, прийти сюда же на следующий год именно потому, что в этом году всё было не так удачно.

Оказалось, что все эти пригласительные билеты на патриаршую службу имеют несколько градаций. В центре храма и слева от алтаря—это для более привилегированной публики. Вход в эти части собора—через нижнюю церковь. Слева, как раз напротив своего места, во время службы я даже увидел стоящих в специальной ложе Медведева с женой, Путина без жены и одинокого Собянина. Наверное, здесь, в храме, была собрана вся чиновничья элита, несмотря на их грехи и веру. Всё я увидеть не мог, потому что в «моей» части храма, между стоящей публикой попроще и передней частью, где, собственно, происходило всё действие, было отгорожено ещё некоторое пространство, на котором, как только началась служба, поднялась со своей аппаратурой пресса. Они отгородили всю толпу верующих низшего разряда от происходящего. Путина и жену президента в красном платье и с белой накидкой я увидел только в какую-то щель между спинами и телевизионными трубами. Мы все слушали, но, правда, видели, когда кто-нибудь из священников, прислужников или сам Патриарх выходили из Царских врат. Патриарх был значителен, возглашал с силой и внутренней уверенностью мхатовского актёра. Я в этот момент перестал думать, носил ли он всё-таки на руке драгоценные, стоящие целое состояние часы «Брегет», воспетые ещё Пушкиным, или не носил. Я отзывался Патриарху: «Воистину воскресе!»

Ушёл я из храма в начале второго часа и службу досматривал с прекрасным комментарием уже по ТВ дома. Эти передачи с простыми и одухотворёнными лицами верующих у ТВ получаются всегда и неизменно.

Собственно, расстроили меня не плохие и неудобные места, к этому я был готов, а окружающий меня народ, вернее, несколько довольно случайно попавших сюда молодых людей. Не повезло.

Во-первых, я узнал, что несколько активно протискивающихся всю службу вперёд и вперёд совсем юных девушек рассчитывали в первую очередь на то, что попадут в телевизионную камеру. Они аккуратно отжимали публику и медленно стремились в зону телевизионного обзора. Но Бог с ними и с их девичьим честолюбием.

Второе, что меня просто удручало, это разговор двух молодых людей, стоящих передо мной, и некоего мужчины постарше, который им много объяснял за жизнь. Из их непрекращающихся разговоров я узнал, что один паренёк из Белоруссии

и учится на военного дирижёра — часть его, вернее, военный музыкальный университет находится на Комсомольском проспекте. Другой разговорчивый паренёк, из Украины, рассказывал о сложностях и ценах жизни у него на родине. Но инициатором оживлённой беседы был всё-таки мужчина постарше. Он рассказывал, как у них в Троицком был Путин. Для молодых провинциалов, которые видят перед собой вождя в непосредственной, а не телевизионной близи, это было невероятно интересно.

На всё это я, конечно, не обратил бы внимания, если бы во время этого разговора несколько священников по переменке не читали Евангелие. Я пытался вслушаться в слова, которые именно сегодня имели для меня огромное значение, но не мог сосредоточиться. Милое светское жужжание всё время влетало в смысл. Правда, потом всю компанию с женской отчаянной решимостью отчитала моя соседка. Но сосредоточенные минуты были потеряны.

Я уже наблюдал за многочисленной охраной, за телевизионщиками, за служителями в рясах и без ряс, которые кого-то проводили и ставили вперёд, за манипуляциями со светом — его включали и выключали, проверяя готовность. Всё это было похоже на какой-то большой театр перед премьерой.

Путин и Медведев, или — Медведев и Путин с женой Медведева и мэром, появились уже ближе к двенадцати и после праздничного возгласа Патриарха вскоре и уехали. Сразу начали снимать охрану…

15 апреля, воскресенье

Я уже не разбираюсь, высыпаюсь я или нет, бодрость — вещь приходящая и случайная. Утренняя молодая бодрость уже давно отбушевала. И утром было тому серьёзное подтверждение. Вчера звонил дежурный из гаража и сказал, чтобы я приезжал — получить или внести какие-то деньги. На обратном пути около «Лужников», уже с набережной зачем-то подъехав под мост, я запутался и прямо на дороге спросил у постового капитана, можно ли мне проехать налево. Но когда я обернулся и повернул налево, передо мной оказалось три дороги. Впереди абсолютно пустое пространство, ни одной машины, ничего, за чем можно было бы последовать, и, направляясь вперёд, я совершил ошибку — на полкорпуса въехал на сплошную линию, сейчас же во всём разобрался и тут же получил некую беседу. Капитан, с которым я разговаривал, а вернее, который, как мне показалось, скорее вымогал у меня некую «ссуду», всё время называл меня «отцом». Тот словесный балет — «отберу права на четыре месяца», «пусть вас суд прощает» — я не описываю. Я здесь тоже мастер влиять на психику и влиять на подсознание. Я очень аккуратно заронил в нём тревогу, что справедливость — не только колесо на разделительной полосе, но и некоторое его участие, когда он не предотвратил мою невольную ошибку. Отобрав мои водительские права, доблестный капитан сдался перед моей гипотетической жалобой, нежеланием что-то ему предлагать и прерывать доходное время. Стояло замечательное утро для охоты. Народ уже разговелся и возвращается домой. Почти у каждого можно спросить: «А ты вчера не пил?» И здесь — уже можно брать всё. А я предлагал ему писать акт, и ещё неизвестно, как в дальнейшем себя поведу. Фамилию, должность и звание я уже спросил. Но суть всё-таки не в этом. Права, вздыхая по неполученной выгоде, полицейский мне вернул. А вот его настойчивое «отец» теперь останется со мною, и, видимо, уже навсегда. Не смотрись в зеркало, отец!

Весь день занимался дневником, что-то варил, поливал рассаду, а вечером поехал в Центр драматургии, куда сейчас перевели с Таганки центр Алексея Казанцева и Михаила Рощина. Центр теперь на Беговой, в том месте, где когда-то помещался театр «Вишнёвый сад». Оля Галахова, жена Анатолия Королёва, оказалась здесь куратором нового театрального проекта. Формулирую по афише. Это пьеса Лукаса Берфуса «Путешествие Алисы в Швейцарию». Пьеса об эвтаназии. Смотреть, конечно, мне в моём возрасте было нелегко, но спектакль получился яркий и смелый по актёрской игре. Вдобавок ко всему в центре — две знаменитых актрисы: Ольга Яковлева, когда-то звезда А. Эфроса, и Елена Морозова, которую я знаю уже лет десять, ещё с Гатчинского фестиваля. Когда прочёл на афише, что постановка некой Виктории Звягиной, то подумал, что какая-то старая и матёрая тётка. Оказалось, невысокая, миниатюрная девушка, ученица Леонида Хейфица. В спектакле есть несколько «толчковых» моментов, когда сердце поднимается к горлу, ради которых мы и ходим в театр. Кино может вызвать слёзы, переживания, но никогда — таких взрывов в душе. Мне ещё во что бы то ни стало хотелось бы отметить некоего молодого, но прекрасно работающего актёра Антона Кукушкина, который свою роль проводит на английском языке. Да и другой актёр — хозяин квартиры, в котором доктор вершит роль Бога, — Кирилл Лоскутов, тоже хорош. <…>

16 апреля, понедельник

Утром дочитывал серию статей Станислава Куняева о Серебряном веке и его наследниках. Читается всё это как детективный роман. Жало статьи направлено, скорее, на сегодняшний день и особо против так раздражающих Станислава Юрьевича «шестидесятников». Прошлому тоже крепко достаётся — за измену национальным традициям, за западничество, за моральный упадок. Собирая

материал, видимо, всю жизнь, Куняев о многом напомнил. Есть, правда, за всем этим и оттенок собственной, личной горечи… В поэты эпохи выбились Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Окуджава. Но у этих эпохальных поэтов, так быстро отринувших власть, с которой они заигрывали и которой льстили, в творческой биографии есть занимательные моменты. Все, оказывается, за исключением, может быть, Беллы Ахмадулиной, написали по поэме, а некоторые и по нескольку, о В. И. Ленине. Творец «пыльных шлемов» Б. Ш. Окуджава здесь тоже очень хорошо постарался. У меня возник вопрос: как же поэт может предать своё творчество? И предали, и забыли, и исколотили всё каблуками.

Достоинством статьи стал её поразительный фон, огромное количество подробностей. Кажется, Куняев собирал этот материал всю жизнь: растленная составляющая Серебряного века. Для себя отметил, что в высказываниях Иоанна Кронштадтского, приведённых в работе, очень много разумного и точного. Раньше эту фигуру я всегда воспринимал как сгущение всяческого мракобесия. Эстетический монолит, даже не монолит, а континентальная платформа Серебряного века дала трещину. <…>

17 апреля, вторник

Когда ехал на машине в институт, радио ФМ всё время передавало три новости:

— Думцы придумали новую кару для оппозиционеров, выходящих на митинги,—мести улицу от 20 до 200 часов.

Это так понятно, думцы охраняют власть и режим, который им удобен и выгоден. Богатые охраняют неизменность своего состояния. В связи с этим вставляю цитату из вчерашнего Интернета.

В российской Госдуме 39 депутатов открыто показывают более одного миллиона долларов США дохода, полученного за 2011 год. Больше всего заработали представители «Единой России»: из 237 членов фракции 23 зарабатывают от 30 миллионов рублей в год и больше. Семь миллионеров—в «Справедливой России», в ЛДПР—пятеро депутатов открыто признают себя долларовыми миллионерами, среди коммунистов их четверо.

— Трое подельников, среди которых один—работник министерства сельского хозяйства, один из них, кажется, даже директор департамента, похитили полмиллиарда рублей. Директор департамента находится в розыске.

Эту ситуацию я даже не копаю. Что-то подобное происходит каждый день. Дня не проходит, чтобы не объявили о всё новой и новой краже. Меня удивляет только одно: как же в России много денег, что до сих пор всего не разворовали!

— В Москве во время стройки «сложился» шестиэтажный дом. Погибли рабочие из Средней Азии.

Недавно горела башня, теперь вот рухнул дом. Уже сказали, что это жадность предпринимателей. Самостоятельно наши «дельцы» решили надстроить один из цехов какого-то предприятия и превратить его в торговый центр в шесть этажей. Жадность сгубила людей! <…>

18 апреля, среда

Сегодня юбилейный вечер Игоря Волгина, куда надо бы было сходить, но Алексей Варламов принёс билет на церемонию вручения Горьковской премии. Здесь у меня просто долг—я ведь тоже два года назад стал лауреатом. Было интересно ещё и в связи со сменой главного редактора в «Литературной учёбе». Здесь теперь после Максима Лаврентьева всё тот же Алексей Варламов. Кое-что, конечно, изменилось, и меняться в направлении обязательно будет, я это чувствую по осторожному и вдумчивому, сбалансированному подбору бесспорных лауреатов. Публика тоже, безусловно, новая. Почти сразу же—довольно таинственную историю с переносом зала и места вручения пропускаю: в конце здания ворота с калиткой, а дальше вход в белую дверь кафе «Шоколадница», предъявление паспорта,—почти сразу же встретил Серёжу Чупринина и Наташу Иванову. Серёжа: «Меня раньше сюда не звали, пришёл посмотреть». Но раньше сюда не звали и Олесю Николаеву с Сашей Сегенем; если сюда прибавить ещё и кое-кого, помеченного в оглавлении первого номера «Литературной учёбы», то невольно возникает мысль о некоторой компоненте писателей, близких к нашим церковным иерархам. Были даже люди из редакции «Нашего современника». Взглянув на это большое и хорошо подобранное по сглаженным противоположностям собрание, я решил, что быть Алексею и ректором Литинститута, и возглавлять Союз писателей России. Это же стремление сбалансировать все стороны литературной битвы выразилось и в жюри: председатель—сам А. Варламов, члены жюри—Олеся Николаева, Александр Кабаков, Лев Пирогов, Лев Данилкин. Боже мой, но как же все эти люди клановы и тенденциозны, объединить их могли только сложность времени и витающая в воздухе опасность.

<…> Всех выступлений не пишу, это было неплохо, но, естественно, самый большой интерес вызвало выступление Людмилы Алексеевны Путиной—так сказать, хозяйки помещения и в известной мере ежегодной спасительницы премии: в этом году она попросила бизнесмена Виноградова «премии помочь». Говорила она хорошо, искренне, точно, душевно и филологически грамотно. Я опять пожалел, что не взял с собой ручки. Кое-что я запомнил. Во-первых, чувство безусловного уважения к писательскому труду…

<…>

19 апреля, четверг

Ещё вчера позвонил Кондрашов из «Литературной газеты» и попросил написать колонку о телевидении. В газете идея—начать рубрику «Писатель и телевидение»; я начал себя страховать и пообещал сделать всё это только в самом конце апреля, а потом что-то на меня накатило, и я решил: встану утром и напишу, несколько идей есть. Писал, естественно, от руки, потом всё это долго перелагал в компьютере. Мне кажется, неплохо получилось, но вряд ли газета напечатает. Здесь и уже прошедшие события, и церковь, и обоюдоострый характер материала. Как свидетельство, что весь день не бездельничал, перепечатываю этот материал. Но здесь есть и ещё один повод: это образец, как личные случайные и занесённые в дневник наблюдения могут переплавиться в публицистику.

«Телевизионный народ

Я всегда полагал, что передачи, которые Первый канал ведёт на Рождество и Пасху, неизменно оказываются передачами лучшими. Этот вывод я сделал ещё давно, когда, по романтическому отношению к телевидению, смотрел почти всё и неизменно всему доверял. Привязанность к этим «религиозным» передачам связывалась у меня, как, наверное, и у многих из поколения атеистов, с поиском «якорей» в жизни, с попыткой обрести подлинность веры, которой обделило нас время. Но передачи—передачами, а подлинная жизнь—жизнью. В этом году мне удалось на Пасху попасть на Патриаршее богослужение.

Пригласительный билет в храм Христа Спасителя по моей просьбе достала мне моя коллега, знаменитый поэт, по семейным связям близкая к крупному церковному чиновнику. Сразу я обнаружил, подойдя поздно вечером к храму, что некий билет или пропуск имеет несколько разновидностей. Одна—это когда тебе можно прийти и слушать службу справа от алтаря, стоять как раз на той стороне, где обычно находится неизменно приезжающий на службу президент. Вход в этот придел храма—через Нижнюю церковь. Через Нижнюю церковь запускают и ту часть благочестивой публики, которая будет стоять в середине—собственно, ей будет виднее всего, и, раздвигая её, пойдёт Крестный ход во главе с Патриархом. А вот со стороны Волхонки, через Северный вход, ну и, естественно, через все рамочные детекторы пойдут остальные миряне, у которых была заветная бумага. У них обзор будет самый неважный, потому что между ними и центральной частью храма, за некоторой оградкой, на специальном возвышении поместят прессу: объективы, микрофоны, камеры. Пресса загородит большую часть обзора. Но всё равно—я хотя бы здесь говорю о себе—будет видно, когда к началу Полунощницы приедут президент Д. А. Медведев с супругой, будущий президент В. В. Путин и московский градоначальник С. И. Собянин. Будет виден и амвон, и Царские врата, откуда будут выходить и Патриарх Кирилл, и священнослужители.

Я пришёл в храм часа за полтора до начала службы. То впечатление одухотворённости жизни, которое всегда у меня возникало при просмотре передач из храма, присутствовало и на этот раз. Оно связано было не только с праздничным убранством собора, добавочным телевизионным светом, но в первую очередь—с возвышенно-торжественным выражением лиц верующих. Всех ли лиц? Об этом я и хотел бы написать, связав некоторые эпизоды происходящего с телевидением.

Как обычно, верующие стараются подойти как можно ближе к месту, где непосредственно происходит всё таинство. Это понятно, я тоже постарался стать поближе к тому барьерчику, который отделял верующих сектора, где я стоял, от прессы. От этого заветного барьерчика меня отделяли рядов пять. Всё вокруг сверкало—пробовали свет, зажглись огромные паникадила. Справа от меня и чуть впереди на высоком помосте стояла стационарная телевизионная камера с мощным объективом. Несколько других камер стояло подальше, на хорах. Народ, отряхнув мирские заботы, прибывал волна за волной.

Я не совсем точно чуть выше написал, что пришёл в храм «к началу службы». Служба уже шла. Два священника, сменяя друг друга, замечательно ясно читали Евангелие от Иоанна, которое обычно читается в этот день. Ждать оставалось около часа, и я приготовился сосредоточиться на этом чтении. Ни одно медленное чтение Евангелия не проходит для человека, особенно старого человека, безрезультатно. Осталось ведь не так много, и невольно начинаешь думать о непреходящем.

Как же я себя корю за ту суетность мыслей, которая у меня здесь возникла!

Сначала это были две совершенно юные девы, которые подошли со следующей волной верующих и встали почти позади меня. Я бы не обратил внимания на их таинственные перешёптывания, если бы они смирно стояли на месте, но они ещё хотели перемещаться и старательно начали своё настойчивое передвижение к первому ряду, отжимая пожилых людей. Они пользовались каждым выдохом стоящих рядом, чтобы хотя бы на несколько сантиметров протиснуться вперёд. Я бы даже сказал, что совершали они это не только последовательно, но и даже безжалостно, оттесняя порою и детей. Я суетно начал приглядывать за ними и вдруг понял, что цель их—не приобщение к тому, что является самым ценным и хранится в наших душах, а стать в непосредственной близости к телеобъективу, занять самую выгодную позицию под жерлом телевизионной камеры. Я буквально услышал это признание от

них, когда они перешёптывались, оттесняя меня, и оказались впереди.

Вот тут я и подумал, какое ложное место заняло телевидение в нашей жизни. Общеизвестно: нет телевизионного экрана—нет и актёра, не выступает в каждой передаче—нет писателя, не обруган и не развенчан на НТВ—нет эстрадного певца. Эту мысль можно было бы развивать дальше и аргументировать, называя имена, фамилии, псевдонимы, прозвища и степень звёздности. Да и кого мы только не производим в звёзды! Потенциала таких «величаний» не хватает даже на звёздную пыль! Каждый, оказывается, хочет идентифицировать себя на телеэкране! Если меня не видно—значит, меня нет. Есть в этом процессе даже жажда высказать своё косноязычие. И вот тут, обнаружив поразительный феномен страстной любви к телевизионной публичности, я вспомнил о той публике, которую телевидение так часто выдаёт за народ.

Обычно этот народ предстаёт в качестве хлопающей в ладоши массы, располагающейся за спинами привычных телевизионных говорунов. Иногда мне кажется, что проявляет эта масса своё единодушие по команде режиссёра. Иногда—что, особенно не вслушиваясь в смысл разговора, она приветствует своими аплодисментами заведомо противоположные тенденции и мнения. Хлопает удачному словцу или смыслу? Тогда где же истина?

Иногда—эта телевизионная масса, рассаженная во втором ряду и третьем ряду, персонифицируется в некоторые страшные индивидуумы, как, например, в «народной» передаче вечно юного Малахова. Но это не мой народ! Пышные тётки с пышными «халами» на головах и с такой невероятной морально-этической определённостью. Они обсуждают порою то, о чём ни один порядочный человек не решился бы заговорить! Как они рвут друг у друга микрофон и с какой невероятной силой утверждают себя как верные жёны, идеальные матери, непримиримые граждане, честнейшие и бескорыстные работники. Сколько же они знают о том, как надо жить!

И вот тут я невольно вспоминаю свою юность и первые приработки на «Мосфильме» в массовках. Первые в мои 16 лет заработки. Всё это было не так просто. Надо было быть в добрых отношениях с «бригадиром», в соответствии с заданием быть одетым. Но нам никто не предлагал говорить. Тогда платили по 3 рубля. Сейчас—300–500 рублей. Как-то, оказавшись в «Останкино» на передаче у Александра Гордона, я видел этих пожилых и молодых женщин, старательно выстроившихся, чтобы занять места немых персонажей в студии. Здесь, конечно, и возможность некоторого заработка, но и страсть к самоидентификации, которая, как многим кажется, без телевидения невозможна.

Но безграничная власть телевидения заканчивается. Я, наверное, зря ругаю тёток, приятельниц и конфиденток Малахова. Они ведь все говорят в соответствии с тем, что телевидение им же внушило. Сколько раз оно уже прокрутило и формы, и образцы! Специалисты знают, что есть технологии, позволяющие достаточно энергично управлять через голубой экран любыми массами, интегрируя общественное мнение. Одинокий в этом мире человек не может справиться с телевидением. Но на смену телевидению приходит Интернет, к которому пока технологий подобрать не удаётся. И не удастся—потому что здесь миллионы индивидуальных мнений. Как же это опасно для непопулярной власти!

Ну а что же делать с бедными девушками, которые так активно протискивались к телевизионной публичности? Простим их: может быть, они из ближнего Подмосковья, или из Подмосковья дальнего, или с Украины, и им так хотелось, чтобы дома родные увидели их простенькие молодые мордашки».

Вечером, уже перед сном, почти случайно включил телевидение. У Соловьёва встречались старые телевизионные борцы: Никита Михалков и Виктор Ерофеев. Разговор, кажется, шёл о церкви и отношении к ней либералов и демократов. Естественно, прямо ничего не говорилось. Витя, кажется, идентифицировал себя как русского христианского писателя. Всё это было очень интересно, тем более что в прошлой, когда-то знаменитой, битве между этими «рыцарями» победил именно Витя. А вот теперь счёт в пользу Михалкова—и с оглушительным счётом. Наше русское и выстраданное православие не замай! Этим мы ни с кем делиться не станем. Кое-что в этом сражении подразумевалось, но спор в основном шёл о русской православной церкви. Михалков говорил о редком напоре на неё либеральных сил. Состав этих либеральных сил хорошо известен.

20 апреля, пятница

<…> Телевидение и радио много говорят о суде над некой молодой женщиной, которая на автомобиле сбила мать и ребёнка в Брянске. Обе погибли. Но и сегодня в Москве тоже дама опять сбила мать и ребёнка. В Брянске виновнице дали четыре года колонии-поселения. Это и много, и мало. Мало—ушло две жизни. Много—а если случай?—четыре года из собственной жизни. Московская нарушительница ехала по доверенности на дорогой машине отца. Я представляю, что в этом случае набегут адвокаты и будут уверять, что всему виной обстоятельства. В этих случаях надо поступать много строже. Я думаю, что в подобных случаях надо не наказывать, а карать. Но здесь средства массовой информации опять заклекотали

по поводу некой молодой дамы, в дымину пьяной, сбившей кого-то на Окружной. Здесь я без комментариев, потому что душа пылает. Кстати, наши законодатели и наш президент всё время говорят о необходимости уменьшения наказания, особенно за экономические преступления. А мне кажется, что за это надо в наше время наказывать сильнее. Карать и лишать имущества. Сейчас воры думают, как обеспечить своих жён и детей, а жён и детей надо лишать всего незаконно нажитого.

<…>

22 апреля, воскресенье

Ночью, уже часа в четыре, проснулся. Как обычно, моё раннее пробуждение связано с беспокойством о несделанной работе. Последнее время меня также очень беспокоит мысль, так ли мы ведём дело в институте. БНТ постоянно, как за спасительный круг, держится только за традиции. Я всё время вспоминаю статью Димы Быкова: не сманиваем ли мы студентов в царство иллюзий, говоря, что это заповедник литературы? Специально, чтобы проверить себя, чтобы как-то не отстать, взял в библиотеке четыре номера «Знамени»: как там? Журналы всё-таки держат руку на пульсе. Всего, как в советское время, когда литературный процесс был един, прочесть не удаётся. А я читаю только «Наш современник» и «Новый мир». Так вот, ночью принялся читать 2-й номер.

Часа за полтора овладел небольшой повестью Даниила Смолина «Письма для ДАМ»: аббревиатура расшифровывается — Дмитрий Анатольевич Медведев. Прекрасное, раскованное письмо, чуть-чуть, правда, в духе прочитанной накануне Надежды Шапран — ассоциации, игра, резной язык. <…>

Потом я вдруг понял, что, несмотря ни на что, с содержанием здесь сложнее: как-то, многозначительно заявленное, оно вдруг скисает, и выясняется, что это всё — перебирание камешков на берегу, «игра в бисер», уже давно освоенная литературой. Это — как и романы самого Дмитрия Быкова: начинаешь с восторгом читать, а потом на середине бросаешь… <…>

Днём ещё умудрился прочесть в том же втором номере довольно большой рассказ Дениса Гуцко «Мужчины не плачут». Это совершенно другая манера, вот тот самый простенький реализм, от безоговорочного следования которому я буду во вторник остерегать своих ребят. Ищите ещё и на других берегах. Однако этот рассказ о семейной жизни уже не очень молодых людей, с детьми и изменами, в отличие от прошлого текста, не только с интересом читается, но и запоминается. Что-то здесь есть подлинное и настоящее. «Новые формы — они для проформы; старые формы — они для прокорма», — это присловье моих молодых журналистских лет.

<…>

28 апреля, суббота

<…> «Эхо Москвы». Здесь всё утро, почти до десяти, пока не уехали, в «утреннем развороте» последовательно разбиралось две темы: отказ американского посольства в визе в США И. Д. Кобзону и жестокосердное обращение с девчонками из «Pussy Riot», которые, напевшись вдоволь в храме Христа Спасителя, сейчас в узилище ожидают суда.

Что касается Кобзона, то он, по словам радиоведущего, уже 14 лет мается без американской визы. В своё время его даже не пускали в Израиль. Сейчас его ожидают в США наши соотечественники, среди которых есть и ветераны ВОВ. В общем, американцы не дают визу вопреки, так сказать, идеологическим намерениям певца — 9 Мая не за горами, он едет встречаться и петь. Тоже мне союзнички! Разгневанный поведением американцев, депутат Госдумы и бывший председатель думского комитета по культуре уже сказал, что такое непочтительное отношение к нему — это плевок в Россию; он также встретился с вновь избранным президентом В. В. Путиным и нажаловался на американцев. Путин принял певца. Как артист признался, по его собственной инициативе. В защиту всей российской оскорблённой эстрады выступило и министерство иностранных дел, и наш министр культуры Авдеев. Сдадутся ли американцы?

Вот, собственно, этому и был посвящён опрос радиослушателей. Иногда мне кажется, радиостанция забывает, кто у неё в радиослушателях, и задаёт такие вопросы, что лучше бы их и не задавать. В своих устных выступлениях чего только радиослушатели не вспомнили про своего любимого певца. В том числе — что он уже давно простился со зрителями. Но соль всей этой процедуры с народным артистом, вновь избранным президентом и двумя министрами совершенно в другом. Радиостанция решила провести голосование: считают ли радиослушатели плевком в Россию, что Иосифу Давыдовичу не дали визу, или не считают? 90 процентов радиослушателей не считает, что Россия должна чувствовать себя оскорблённой. Ну а что думаю я сам по деликатному вопросу о визе? У меня возникла мысль, что проклятый Госдеп, обвиняя в криминальном прошлом и дружбе одного из членов партии «Единая Россия» и даже депутата, прошедшего в Думу от этой партии, хочет как-то солидаризироваться с абсолютно лживым тезисом, что это партия жуликов и воров. Идеологи, чиновники и певцы — занятные люди!

Разговоры относительно поющих и ныне томящихся в камере девиц были ещё более захватывающими. Далеко не все радиослушатели решили продемонстрировать к ним жалость. Как-то за церковь тоже многие были оскорблены и предлагали такой вариант рассмотрения: а не акт ли

милосердия эта самая посадка? Иначе ведь могли бы и растерзать. Кстати, в это дело уже включён и нынешний президент. Вчера, когда он давал раскованное интервью пяти или шести каналам нашего телевидения, он, кстати, уклонился—ах, это спасительное для юриста «пока не вынес своего вердикта суд»!—от оценки поступков смелых девиц; правда, заявил, что сам он по внутреннему строю консерватор. Сколько же неприятностей приносят стране поющие люди! Сегодня вслед за дискуссией о девицах комментатор «Эха» Антон Орех посетовал: четыре года, пока Д. А. Медведев управлял страной, мы считали его демократом, а он, оказывается, консерватор!

Ну а, собственно, где здесь, в этой вязи слов, моё собственное мнение? Выпороть, побить камнями, присудить штраф, посадить на семь лет в тюрьму? Ну, в царское время, когда православие было основной конфессией и церковь не была отделена, как ныне партии, от государства, сослали бы исправляться в монастырь. Но почему в это до сих пор не вмешалась церковь? Православные или не православные—отлучить от веры. Бог у всех един, и соборное слово любой конфессии дойдёт до его ушей. Пусть в этом мире и продолжают жить и петь без поддержки Высшего Судии. <…>

29 апреля, воскресенье

Лёг спать довольно рано, но, как всегда в конце месяца, ночь у меня получается бессонной. Проснулся около трёх и до половины седьмого читал привезённые с собой газеты. Здесь я часто нахожу подтверждения своим мыслям о времени и литературе. А Павлик Басинский опять будет недоумевать, зачем я всё это пишу. А затем! Итак, ночной обзор текущих газет.

Во-первых, разгромная статья в «Литературке» по поводу «Дирижёра» Павла Лунгина, показанного в пасхальные дни. Я-то всё время думаю, что сам я брюзга и завистник. А оказывается, к «Дирижёру» плохо отнёсся не только я. Возможно, Бартошевичу это кино-сочинение и придётся по душе, а вот обозреватель Олег Пухнавцев нашёл это сочинение даже кощунственным.

> «Однако, кроме приземлённой истории отношений «отец—сын», есть в фильме Лунгина другое измерение—«Отец—Сын». Не заметить символической нагрузки образа дирижёра, в облике которого угадывается Дирижёр-Отец, просто невозможно. Особенно учитывая параллельно развивающуюся тему Страстей Христовых—«Тайной вечери», «Суда», «Распятия» и «Погребения». Особенно оказавшись в пространстве Иерусалима.
>
> В религиозном измерении фильма мы с недоумением и ужасом сталкиваемся с трактовкой Павла Лунгина. Получается, Отец доводит Сына до смертного греха—самоубийства. Зритель следит за тем, как мучительно и запоздало наступает раскаяние Отца, зрителя убеждают: нет никакого оправдания этой Жертве».

Я до таких выводов не дохожу, для меня всё измеряется вкусом и правдой жизни, и вот её-то я в фильме не нахожу. Ни в оркестре у великого дирижёра, ни в Иерусалиме, в котором я бывал несколько раз, ни в условной компании еврейско-интернациональной молодёжи, ни в целом во всей умственно выстроенной коллизии. Я уже не говорю о махании дирижёра руками: достаточно один раз увидеть слитность жеста и музыки у Темирканова, чтобы во всём поддельном крепко разочароваться. Ну и теперь ещё один пассаж, выхваченный из статьи обозревателя «Литгазеты». Так сказать, финальный.

> «Как ни в чём не бывало, на голубом глазу, моральный авторитет, режиссёр фильма «Остров» рассказывает в многочисленных предпремьерных интервью, как ему удалось снять одну из сцен «Дирижёра» в храме Гроба Господня. С милым ехидством сообщает, что договорились с представителями почти всех христианских конфессий, между которыми разделён иерусалимский храм. Кроме одной. Отказала в съёмке Армянская церковь (за что, кстати, хочется поклониться всему армянскому народу)… И тогда дали денег сторожу. Сто долларов. Чтоб пустил без благословения. «Сто долларов» произносится с нажимом, указывая, видимо, на несопоставимость масштаба художественного замысла и суммы затрат…
>
> Да уж, действительно, есть у Бога чувство юмора. Фильм «Дирижёр» получился ровно на сумму данной взятки».

Самые простые истины посещают нас порой внезапно. Несколько дней назад слушал выступление бессменного, несмотря на смену мэра, спикера Мосгордумы Владимира Платонова. Как всегда, он размеренно и по-своему доказательно говорил о готовящемся в городской Думе законе о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии. Я-то, честно говоря, никогда не видел, чтобы кто-то эти шалости пропагандировал, но государственному человеку виднее. А если дети об этом и узнают, то в первую очередь—от дядей и тётей, которые так любят об этом громко, чтобы все слышали, погутарить. Особенности этих разговоров в том, что говоруны не только выражают свою обеспокоенность, но ещё и себя показывают. Я бы всего этого и не вспомнил, мало ли краснобаев охотится в эфире, если бы не набрёл ночью на заметку в «Российской газете» от 26 апреля. Статейка эта шла под рубрикой «Доходы». Дальше—заголовок, собственно, всё разъяснивший: «Спикер Мосгордумы Владимир Платонов оказался лишь на третьем месте». Это третье место по заработку—некоторые

депутаты в добычливости спикера обошли. Если говорить в общем, то «вслед за чиновниками, опубликовали сведения о своих доходах и депутаты Мосгордумы. Любопытно, что если в 2010 году слуги народа имели не более 6 миллионов рублей, то в 2011 некоторые их представители заработали в десятки раз больше». Данные обо всех, а здесь есть вещи, наверное, и забавные, я выписывать не стану. Ситуация иногда такая же, как и с министрами: сами министры и их очень умные жёны. Не стану выписывать размеры жилплощади и марки автомобилей. Зачем столько колёс и зачем столько метров? Моя цель—только предводитель, спикер Платонов, который всего лишь третий. Он заработал лишь 34 миллиона рублей, или в 10 раз больше, чем в прошлом отчётном году. Как, оказывается, важно разговаривать с народом по радио и телевидению! <…>

30 апреля, понедельник

После сеанса бессмысленного телевидения, довольно рано, принялся читать первый номер «Знамени». Прочёл два обзора прозы и поэзии. Один—естественно, проза—Натальи Ивановой: «Быть притчей на устах у всех»; другой—Евгения Абдуллаева: «Дождь в разрезе: о поэтах, премиях и манифестах 2011 года и многом другом». Обе статьи отменно хороши. По привычке я ещё что-то ковыряю против Наташи Ивановой, не умея забыть её клановость, редкую преданность «своим» и уже ставший привычным для неё антисоветизм, но думает и анализирует литературный процесс она очень точно. Каюсь и за иронию в дневнике, не вполне справедливую, за её обзор 2010 года. Тогда она, кажется, сравнивала Маканина с Чеховым. Или что-то в этом роде. Аналитик она всё же прекрасный, да простит меня Михаил Петрович Лобанов!

Из Н. Ивановой: «Писателем объявляет себя самозванец: тот, у кого вышла любая книжка. Я иногда думаю, что писатель (по сегодняшним понятиям)—существо вне профессии. Но надо ведь как-то статусно назваться, особенно для всяких ток-шоу».

Ещё: «Книга стареет мгновенно. Теперь, по свидетельству книгопродавцев, больше трёх-четырёх месяцев книга на полке не живёт—её теснят другие, новенькие. Только из типографии».

«Завидую музыкальным критикам. Читая их рецензии, даже краткие, обзоры и статьи, погружаешься в ремесло, следишь за тем, что и как, вглядываешься в вещество, взятое на просвет. Критика прозы если чем-то и увлечена, так комментированным пересказом. Выяснением темы. Героев—а то, что они есть персонажи, не всегда приходит в голову автору—рецензии, статьи, обзора».

И наконец, последнее. Ах, как Наталья Борисовна «не своих» не щадит. Прошлась и по Лимонову, и по Захару Прилепину. О последнем, как о писателе-патриоте, она процитировала С. Гедройца, а о Лимонове не без яда сказала сама: «Если они (новое поколение, не задетое постмодернизмом.—*С. Е.*) от кого себя числят, так от Лимонова,—но стиль Лимонова гораздо своеобразнее. Он был всё-таки первой чайкой на помойке». Формально это не хуже, чем в своё время Алла Латынина назвала Александра Проханова «соловьём Генерального штаба». <…>

1 мая, вторник

<…> О праздниках. Судя по сообщениям по радио—оно включается у меня на участке утром и развлекает меня весь день,—наш народ снова стал ходить на демонстрации. В Москве было 14 разнообразных демонстраций и шествий. Единые профсоюзы (Шмаков) и «Единая Россия» (Путин и Медведев) объединились в Москве в огромное шествие, которое шло от Белорусского вокзала по Тверской улице. Дальше уже цитирую «Российскую газету»: «Медведев и Путин возглавили колонну на перекрёстке Тверской улицы и Манежной площади и прошлись по Моховой». Шли недолго и «влились» почти у места их работы. Дальше газета бережно, как Священное Писание, приводит слова и того, и другого, которыми они перебросились с людьми, шедшими впереди колонны. Допускаю, что люди были не специально подобранные, но уж впереди, конечно, шли проверенные. Смысловая необязательность этих реплик и с той, и с другой стороны в колонне профсоюзов изумляет! «Как вам, при вашей занятости, так удаётся держать себя в форме?»—народ. Ответ: «Больше надо работать!»—власть и т. д.

Совершив короткую пешую прогулку, Медведев и Путин, как простые парни, поехали в пивной бар «Жигули на Новом Арбате». «Как обычные люди, они подошли к стойке раздачи, где Дмитрий Медведев выбрал отварной картофель с треской, а Владимир Путин—жареную картошку и колбаски из баранины». Надо сказать, что, судя по меню, Путин роль простого парня играет лучше. На радостном большом фото в газете—Путин и Медведев чокаются кружками с пивом. «Поднимем бокалы, содвинем их разом…» «Эхо» довольно подробно рассказало, как этот бар был подготовлен к визиту и какие снайперы и где стояли. <…>

6 мая, воскресенье

Ну, как говорится, и денёк. Радио до сих пор, а уже одиннадцатый час ночи, говорит о событиях на Болотной площади, возле «Ударника» и на Каменном мосту. А начиналось всё очень ясно и солнечно.

Вчера, уже под вечер, началась гроза. Попутно отмечу, что моя новая крыша вынесла—её не снесло, и течь она не дала. Молния полыхала вовсю,

и дождь лил, будто отменили счётчик на воду. Даже телевизор, испугавшись стихий, отключился. Но утро оказалось на редкость тёплым и ясным. Я выглянул в окно и долго смотрел на совершенно белые сливы—они зацвели. Но расслабляться особенно было некогда.

Ближайшие три дня полны, как обещали власть и пресса, любопытных событий. Во-первых, сегодня нам обещают «Марш миллионов»—шествие и митинг оппозиции, недовольной властью, выборами и, в основном, Путиным. Путин, конечно, выборы выиграл, никто не хочет, чтобы нами управлял Немцов, но ведь выборы прошли с большим количеством нарушений. Всё это противно, как любой обман, размышляющий народ кипит. Но сегодня же, как объявляется,—правда, чуть позже и не связанный с «Маршем миллионов»—состоится другой митинг, замаскированный под культурную программу, а на неё не требуется разрешения и согласований, на Поклонной горе. Это уже те, кто доволен властью и выражает доверие Путину. Этот митинг—по телевизору показали—знамёна с портретом Путина, другие знамёна. Здесь есть, вернее, этому митингу имеется формальный повод—год существования пропутинского Народного фронта—этой счастливой затеи власти.

Ах, как было бы всё просто, если бы только эти два митинга! Но ведь на следующий день, т. е. завтра, мы увидим инаугурацию вновь избранного президента, а после этого, но уже послезавтра, на параде по случаю Дня Победы, мы снова увидим, уже облечённого почти царской властью, всё того же человека, из-за которого тысячи людей противостоят друг другу. И это ещё на фоне выборов во Франции, когда нынешний президент Николя Саркози, скорее всего, потеряет свой пост. Здесь всё имеет символическое значение. Франция, судя по всему, движется к социализации власти, мы ещё раз присягаем на верность капитализму. Я уже научился отличать риторику от денежного пафоса сегодняшней российской власти.

<...> Уже с утра «Эхо», которое гремит над нашим участком и сельскохозяйственными работами, обещает подробную трансляцию и интервью с участниками митинга на Болотной. Но какова власть: потихонечку сдаётся, несмотря на близкую инаугурацию и репетиции парада—разрешила! В пять прекращаю копать, поливать, пересаживать и сажусь перед приёмником. Уже заранее предвкушаю речи по этому поводу телевизионных каналов. Кстати, сегодня «Эхо Москвы» между делом обмолвилось, что их слушает до двух с половиной миллионов человек.

Удивительная вещь—политические новости, они слушаются с жадностью, но немедленно забываются. Кажется, у наших оппозиционеров не всё получилось так ладно, как планировалось. Разрешить—это не значит со всеми согласиться и пойти навстречу. Планировалось, видимо, и у властей, и здесь наработанный опыт борьбы с народом большой. Потом оппозиция скажет, что полиция всё время чинила препятствия во время прохода колонн. Искусственно замедлялся контроль каждого под рамочными миноискателями. Можно только себе представить, сколько здесь возникало раздражения. Полиция сошлётся на нарушение демонстрантами условий. Что тоже справедливо. В тактику оппозиции, наверное, входило вызвать скандал, в фигуру умолчания—жертвы. Возле кинотеатра «Ударник» оппозиционеры вдруг решили устроить незапланированную сидячую забастовку. Полиция, похоже, начала их теснить, тогда самые решительные пошли на прорыв. Утверждают, что в сторону полиции (такого количества омона, как утверждают, на улицах в Москве ещё не видели; омоновцы в полной экипировке были похожи на космонавтов в открытом космосе) полетели бутылки с зажигательной смесью.

Вечером довольно иронично нтв показало демократическое происходящее. Двое постоянных ведущих своим загадочным видом как бы демонстрировали, что не очень согласны с возмутителями общественного спокойствия. Любопытно, что на освещение событий послали не кого-нибудь из зубров журналистики, а совсем молодого корреспондента Малозёмова. Впрочем, вёл он себя довольно уверенно.

Параллельно было показано и партийно-культурное гуляние на Поклонной горе сторонников Путина. Ах, как много было флагов с профилем и анфасом нашего завтрашнего президента! Сколько же денег было потрачено на этот временный политический антураж! <...>

7 мая, понедельник

Ранняя утренняя новость—это победа во Франции после 17-ти лет господства консерваторов социалиста Олланда. У нас—свыше четырёхсот арестованных после вчерашнего «Марша миллионов». Чуть ли не тридцать полицейских пострадало, четверо госпитализированы. Выступивший по «Эху» депутат Гудков скажет о радикализации протеста, который может привести к дальнейшим обострениям. Власть не хочет пойти на малые уступки, молодые люди озлобляются. Тут же, в утренних новостях, радио сообщило меню приёма, который состоится по случаю инаугурации президента. В меню будет «русский» акцент: крабы и икра. И почти до двенадцати часов радио будет говорить о зачистках на улицах Москвы. С восьми часов весь путь следования кортежа будущего президента был, как говорится, «зачищен». Потом, когда телевидение начало всё это показывать, беря довольно крупно, на улицах—практически ни одного

человека. По совершенно пустой Москве, словно эскадрилья истребителей в небе, мчится кортеж. Один длинный лимузин, два роскошных внедорожника с охраной, звено мотоциклистов. Красота необыкновенная. Правда, здесь нет ни одной отечественной машины. Наши генсеки всё-таки ездили на лимузинах отечественного производства. Какова власть, такова и промышленность. Зато мы пока делаем ракеты, заливаем нефтью Ангару.

Абсолютно пустой Новый Арбат. В восемь часов в здание «Эха», которое именно в высотке на Новом Арбате, уже не пускали даже корреспондентов. Я невольно вспомнил коронацию Николая Второго. Более естественно было бы, если бы по пути праздничного кортежа стоял ликующий народ.

Сама инаугурация—ассоциации не приходят случайно—напоминала по своей пышности именно коронацию. Пришёл—и надолго. Весь в золоте Кремлёвский Дворец, три тысячи ликующих приглашённых, стоящих по обе стороны пурпурной дорожки, по которой идёт новый президент. Красное крыльцо, Кремлёвский полк, конный эскорт, потом молебен с участием Патриарха. Речь Медведева, речь Путина—всё та же привычная риторика о величии России и благоденствии. Под аналогичные песнопения пол-России уже разворовали. Самое интересное—это лица трёх женщин: жены Медведева, жены Путина и жены покойного Ельцина. Мне показалось, что на лице Светланы, жены Медведева, был какой-то отблеск трагизма. <…>

9 мая, среда

Посмотрел Парад Победы и уехал из Обнинска. Парады эти, волнуясь и гордясь Отечеством, я уже смотрю всю жизнь. Но что-то в моей душе истончилось, а может быть, и исчезло. На фоне какой-то огромной ширмы, стыдливо закрывающей Мавзолей Ленина, стоят рядышком Путин и Медведев. Потом к ним присоединился упитанный министр обороны, которого так не любит армия. Что касается самого содержания парада, то он был почти как всегда. Но очевидно только одно: форма на солдатах, особенно в элитных частях, становится всё более затейливой, а выправка приближается к балетной. Во всей обстановке наших всенародных торжеств с участием правительства я всё время ощущаю мнимый имперский блеск. Правда, блеск этот чуть мешается с роскошью костюмерных Большого театра. О театре молвил не случайно, завтра вечером иду туда смотреть «Драгоценности» Баланчина.

В Москве сварил суп из привезённого с дачи щавеля и плов из морепродуктов. Вечером был салют.

<…>

12 мая, суббота

<…> На своём семинаре я довольно быстро провёл «телевизионный» опрос: вы комментатор, и вам дана минута высказаться перед камерой. Занятно, что далеко не все сосредоточились на том, что видели на праздники по телевидению. Маша Поливанова рассказала, как 9 мая она с сестрой и детьми пошла в магазин, чтобы купить продуктов и ехать на дачу, а попали в дождь, ливневая канализация не работала, и они, счастливые, шли домой по лужам. <…>

Я также узнал, что на праздники в Рязани почти не было на дорогах полиции, потому что перед праздниками чуть ли не весь состав этих разбойников провинциальных дорог посадили. Всё за то же.

Был комментарий и об инаугурации Путина. Ребятишки оказались зоркими: об одном из приглашённых гостей, который четыре раза протягивал Путину руку, поздравляя, а Влад. Влад. всё его не замечал.

Одна из девочек сделала комментарий об открывшемся бутике женской обуви, в котором пара дамских туфель стоит 40 тысяч рублей.

Следующий семинар у меня через два дня. Не знаю, успею ли съездить на дачу. Вдобавок ко всему идут весенние холода, но огурцы у меня на даче без поливки погибнут.

Дома, когда вернулся из института, нарезал окрошку и принялся слушать радио и смотреть телевизор. «Эхо» и федеральные каналы по-разному говорят о последних выступлениях оппозиции. Приводился замечательный факт, когда вроде бы омоновец бил сапогом в живот беременную женщину. Когда беременную женщину рассмотрели поподробнее, она оказалась мужчиной. В движении оппозиции, которая хочет только смены управленцев, а не режима, много неискреннего. Вчера политолог Хазин высказал мысль, которая уже давно посетила и меня: Путин уже не может управлять, опираясь только на олигархическую элиту. Что-то придётся дать и народу, но всё роздано, значит, надо будет у кого-то отнять. Но ощущение какой-то паники у власти не покидает. В последние дни своего правления Медведев что-то кинул той интеллигенции, которая чувствует себя обделённой, а вот теперь Дума панически пытается провести закон, ужесточающий проведение каких-либо митингов и демонстраций. <…>

15 мая, вторник

<…> Обедал с Мишей и ректором, говорили о молодых, недовольных выборами и Путиным сидельцах, которые разбили свой бивуак на Чистопрудном бульваре. Моё домашнее радио о нём гудит не умолкая. Ректор с его очень структурированным умом формулирует все политические слухи и мнения очень отчётливо, с гораздо большей убеждённостью, нежели я. Сошлись на том, что вся эта весёлая летняя команда не представляет, чего хочет, и не формулирует никакой позитивной

программы. До трёх с половиной часов, когда мне надо было уезжать из института, подготовил ещё к отсылке «Дневник-9» для Юры Беликова и книги о Вале—это для Гриши Заславского и Екатерины Барабаш. А в четыре часа в мужской пошивочной мастерской Малого театра состоялась первая примерка костюмов. Я продолжаю пасти постановку «Пиковой дамы». Всё это вёл Зайцев, костюмы получались умопомрачительные, я ловил каждое его слово и каждый жест. Всё обрастало деталями и почти невидимыми уточнениями, которые превращали обычный театральный костюм в произведение искусства. <…> Дома смотрел телевизор, слушал радио и одновременно сначала готовил фарш из индейки, а потом и жарил котлеты. Уже перед сном уткнулся в «Литературную Россию», которую мне прислал Максим. Много, кстати, интересного. Во-первых, конечно, Павлов из Армавира, за которым я уже давно слежу и которого читаю. Он разбирает две книжки эссе и публицистики Дмитрия Быкова. Ругать-то ругаем, но ведь и внимательно читаем и анализируем. Когда художественный запал у писателя заканчивается, он идёт в публицистику и политику. Порадовала меня, конечно, занятная статейка в газете о так называемой «Русской премии». Вот начало: «Эту премию для авторов, живущих за границей, но пишущих на русском,—существуй она лет восемьдесят тому назад, могли бы с помпой вручить Владимиру Набоков (когда он ещё писал по-русски и верил в будущее литературы на родном языке), певцу роз и мемуаристу-фантазёру Георгию Иванову или, на худой конец, затворившемуся в Эстонии Игорю Лотарёву-Северянину». Вот, так сказать, нынешний премиальный, вместо гипотетического, урожай. Газета делает вполне очевидный акцент: «поощрили сразу десятерых: прозаиков Юза Алешковского (США), Марию Рыбакову (США), Дмитрия Вачедина (Германия) Дарью Вильке (Австрия), Сухбата Афлатуни (Узбекистан), Лену Элтанг (Литва),—и поэтов Илью Риссенберга (Украина), Алексея Цветкова (США), Феликса Ченчика (Израиль)». Феликс, как я помню, определённо наш, литинститутовский!

16 мая, среда

Утром опять пришлось ехать в Малый театр. Сегодня примерка у Веры Кузьминичны Васильевой. Ожидая Зайцева, встретил её у подъезда. Моложавая, подтянутая, элегантная. Примерка шла часа два—четыре платья, все роскоши и элегантности необыкновенной. Зайцев мне признался, что примерка—это его любимый процесс. Я наблюдал, как платья обрастали деталями. Здесь во время примерки, конечно, надо обращать внимание на удивительного персонажа—Елену Игоревну Евстратову, начальницу мастерской. Именно она ставит булавки, отыскивает из своих запасов кружева и ленты, ловит на лету пожелания мэтра. Глаз и вкус у Зайцева поразительные. Я уже не говорю о бестрепетной руке. Он кромсает рукава и полы туалетов прямо на живом человеке. Когда раздаётся характерный скрип разрезаемой ткани, мне становится плохо. Особенно много об этом в дневнике не распространяюсь, обо всём этом напишу очерк, но заметки, фиксируя детали, заносил в записную книжку.

После примерки попили чайку в артистическом буфете с артистическим пирожком с капустой. О ценах ничего не знаю, каждый раз платил мэтр. Забыл описать его сегодняшний туалет. Это был пиджак, надетый поверх похожей на тельняшку маечки, довольно коротенькие шорты, которые, словно у шотландца, оставляли голыми коленки. Но были ещё довольно длинные гетры с широкой алой окантовкой и, под её цвет, уже на голой шее, такой же по цвету алый галстук-бабочка. Кстати, у мэтра, оказывается, мускулистые ноги футболиста. <…>

17 мая, четверг

Так важно читать «свои» газеты и слушать «своё» радио. Главная новость на «Эхе»—это оппозиционеры. Ну наконец-то у нас стало как в Америке тридцать лет назад! У Белого дома, как у них, пикетов ещё нет, но вот с лагерями, палатками, спальными мешками и гитарами мы план выполнили. На Чистых прудах, где ликующая молодёжь испортила газоны и всё подзас…ла, лагерь вчера утром полиция по решению суда закрыла. Адвокат Михаил Барщевский, который талантливо играет сразу за все команды, вчера же разъяснял, что он думает по повестке дня вечернего собрания чистопрудных оппозиционеров. Надо ли выполнять решение суда? Так много о судах говорили, призывая к правовому государству, что, оказывается, надо! Но, тем не менее, осознать это помогали вчера утром полицейские и ОМОН. Вчера же самые последовательные несогласные перенесли свой лагерь к высотному зданию на площади Восстания. Тоже возле метро—«Баррикадная»: символично. Сегодня утром по радио один из корреспондентов рассказывал, как прошла сегодняшняя ночь у подножья высотки. Народа утром было не очень много—почти дословно цитирую: представители творческой интеллигенции и студенты—около 60 человек. Если уж пишу эпоху, то надо писать добросовестно.

<…> Что касается всего происходящего вокруг, то лучшей добавочной иллюстрацией к этому могут быть одно письмо и одна СМС-ка. Начну с письма, которое из Перми прислал Юра Беликов. Всё всегда сходится и соединяется. Накануне я прочёл в Интернете большой материал о нём Е. А. Евтушенко. Если не забывать, что поэты редко хорошо говорят о собрате, то, наверное,

этому мнению доверять стоит: Юра, конечно, и человек выдающийся, и поэт со своей речью, и журналист блестящий. Но вот его письмо.

«Добрый день, Сергей Николаевич! Спасибо за добрые слова. Я недавно прочёл вашу статью в «ЛГ» по поводу телевидения и его насельников. Я это племя называю «хлопальщики». Очень точно вы про всё это сказали. Но ещё я к этому бы добавил: люди перестали стыдиться собственных мерзостей. Благодаря ТВ — вываливают перед всем честным миром то, о чём надо говорить без свидетелей. А «свидетели»-то уж, конечно, все такие праведные! Малахов, иногда делая локальные добрые дела, между тем принёс вред пространству нравственности. А уж про его истошный голосок, когда пытается перекричать музыкальный фон, и говорить не приходится. С ТВ, впрочем, как и отовсюду, ушли породистые люди».

Теперь о необычной СМС-ке, которая пришла мне днём на телефон. Номер был мне незнакомый, но я довольно быстро по стилю и интересу понял, что это один из моих студентов-заочников, Лёша Рябинин. Прочитав очень занятный текст, я сразу по адресу отправителя послал такое сообщение: «Лёша Рябинин, это ты?» Довольно быстро получил ответ: «Да, Лёша Рябинин, скучающий на работе, читающий новости и от нечего делать, уж извините, надоедающий Вам…»

Ребёнка надо было успокоить, пишу: «Да что ты, Лёша, ты очень всё ладно пишешь, главное — думаешь. Писал ли я тебе, какое вкусное ты передал мне варенье? Скоро увидимся, не за горами сессия». Вспомнил, как, уезжая после зимней сессии, Лёша оставил у меня на кафедре на письменном столе баночку из-под майонеза или горчицы с вареньем из райских яблочек. Было очень вкусно.

Так что же, вправе теперь спросить любой читатель, такого написал мне милый мальчик Лёша Рябинин? Кстати, блестящий будет прозаик. Вот самый первый его текст — если хотите, субъективное мнение народа: «Всё же оппозиция правильные вещи делает, благодаря ей весь Тверской бульвар отреставрируют. Надо бы давно на территории института фестиваль Свободы провести. Институт тоже давно бы отреставрировали, реконструировали…» <…>

22 мая, вторник

<…> Как всегда, в час тридцать началась кафедра. Не было тех, кто никогда и не бывает. Волгина, Сегеня, Кострова, Барановой-Гонченко, Балашова. Кроме всех кафедральных историй, делал доклад о современной поэзии Геннадий Красников. Удивительно глубокий и знающий человек. По крайней мере, мне его доклад был очень интересен, я что-то даже записал. Но сегодня утром по радио слушал такую фразу о состоянии современной поэзии — говорил кто-то из зарубежных знаменитых поэтов: «Мы выпускаем сборники стихов тиражом сто — сто пятьдесят экземпляров, дарим их друг другу, ставим на полку и не читаем…» Но поэзия сейчас колыхается в Интернете: по подсчёту специалистов, что-то около миллиона людей выставляют в Интернете свои стихи. Во времена Пушкина подобных писателей, профессионалов и любителей, было около семи тысяч человек.

<…> Теперь несколько слов о Международном фестивале балета. Было, как и в прошлом году, невероятно скучно, пока хорошо подготовленные девочки и мальчики катались по полу и что-то коряво изображали. Кризис балета — это ещё и кризис масштабной балетной музыки. Всё, повторяю, было невероятно скучно — до тех пор, пока в конце первого отделения не грянуло па-де-де из «Лебединого озера». Здесь двое «нидерландцев», причём дама — с русской фамилией Анна Цыганкова, а вот кавалер натуральный — Мэттью Голдинг. Второе отделение концерта было повеселее, модерна было здесь поменьше. Естественно, лучший номер всей программы — это гран-па из «Дон Кихота» с очень точной Евгенией Образцовой и просто невероятно техничным и артистичным Александром Волчковым. Это что-то было потрясающее.

Русские теперь в любом балете. Занятно, что в антракте ко мне подошла дама, которую я не мог вспомнить, назвала меня по имени-отчеству и спросила, не моя ли дочь танцевала в только что промелькнувшем на сцене фрагменте из балета «Мария-Антуанетта». Это Венский государственный балет, но в нём основной солисткой, балериной — некая Ольга Есина.

Что-то в антракте наговорил телевидению. И относительно русских имён в мировом балете, и относительно модернизма; зритель в балете его не приемлет. Русскому всегда и во всём нужен смысл, и если его нет, мы его выскребаем из собственной фантазии. Кстати, вот что я не сказал, вернее, не смог доказательно вписать, но тогда просто сформулирую как мнение: даже в разных модернистских фокусах зарубежных новаторов мне всегда чудятся находки Григоровича. Я слишком давно смотрю его балеты. Мировой балет успешно усваивает «Спартака», «Щелкунчика» и «Легенду о любви».

После длинного спектакля был ещё и фуршет. Самой интересной для меня на нём фигурой был мой сосед Слава Бэлза. Он рассказывал, как всегда, удивительные истории. Например, когда праздновали 90-летие Игоря Моисеева, Ельцин вышел на сцену и, обращаясь к юбиляру, назвал его Игорем Моисеевичем. И тогда Ельцин сказал вещую фразу: «На сцене Большого театра даже президент может ошибиться».

<…>

24 мая, четверг

<…> Приходил Олег Павлов, мой старый недруг, которого я пытаюсь взять в институт. Наше неприятие друг друга рассеялось, как дым. Написал заявление, которое я в понедельник отнесу ректору. Долго и невероятно сладко говорили о нашей писательской жизни, об истоках нашего конфликта, о современной ситуации в литературе. Но у нас есть старый договор — никаких сведений ни в дневниках, ни в публичности. Ощущение у меня удивительной зрелости Олега и его волчьей интуиции. Говорили что-то часов пять, как иногда знания делают нас свободными. У Олега есть две интересные идеи, связанные с тем, что я пишу; по своему обыкновению и в отличие от моих студентов, слово «творчество» не произношу. Во-первых, я об этом уже писал, — книгу зарубежных путешествий: после Гончарова, по словам Олега, с его «Фрегатом „Паллада“», такой книги не было. И второе, не менее для меня интересное, — из выписок из дневников и «Сезона засолки огурцов» сделать новую «педагогическую» книгу.

Вечером не утерпел и влез в малаховскую «Пусть говорят». Здесь разбиралась очень интересная коллизия. Сын начальника республиканского ГАИ в Адыгее, 20-летний Аскер Чернозиров, на дорогой иномарке на скорости в 130 км/час протаранил скромные «Жигули». Сразу погибло двое мальчишек 17-ти и 20-ти лет. Лихой сын начальника, по специальности фельдшер, сразу после столкновения, вместо того чтобы помочь истекающим кровью мальчишкам, бросился звонить папе. Дело возбудили только через 10 дней, когда весь Интернет оказался полон комментариев. Приехал защищать племянника дядя, тоже, кажется, полицейский. Папа, сославшись на служебную командировку, не рискнул. Боже мой, какая дерзкая попытка всем заткнуть рот и вытащить родственника! Максим Шевченко, участвовавший в передаче, высказал приблизительно следующее: надо бы новому министру Колокольцеву, слава Богу, пришедшему наконец-то на смену Р. Нургалиеву, начать с того, чтобы посмотреть, кто у него работает. Папу, в звёздах ГАИ, на фото показали — занятная фигура. Занятные вопросы задавала публика: почему так летают по дорогам молодые люди? на чьи деньги куплены такие дорогие машины?

<…>

27 мая, воскресенье

Утром передали письмо Ходорковского премьер-министру Англии с предложением не впускать во время Олимпиады в Англию 306 российских чиновников. Среди них, как я услышал, генеральный прокурор Юрий Чайка, Владислав Сурков, небезызвестный «глава молодёжи» Якименко и «главный волшебник», как его называет либеральная пресса, Владимир Чуров. Это всё персонажи, по мнению Ходорковского, причастные к нарушению прав человека. Ах, как хочется взглянуть на этот список полностью! Но почему такой аскетизм? Где наши прославленные воры, наши коррупционеры, наши депутаты с их заляпанной грязью депутатской неприкосновенностью? Петра Первого нет на эту неприкосновенность! Вечером объявили: никакого списка Ходорковский не предлагал и не писал. Клевета, дескать, западной прессы. Но как талантливо придумано!

<…> К шести поехал на премьеру «Пиковой дамы» в Малый театр. Ставил Андрей Житинкин, он же писал пьесу, т. е. дописывал Пушкина. Появились даже некоторые новые линии: служанка Маша, которая выходит замуж за дворецкого; получила новые дополнительные слова сама графиня; карточными терминами обогатился Чекалинский. Как я понимаю, задача Житинкина была показать: а что же происходило помимо жёсткой канвы действия у Пушкина? Если существовала такая история, то на каком «соре» лежал классический сюжет? В меру сил это и было показано, публика всё равно всех перипетий и текста не знает. Следили за знаменитым сюжетом с невероятным интересом. Житинкин всё это ещё оживил весёлой линией служанки и дворецкого. В самом конце спектакля были довольно продолжительная овация и крики восторга. Я тоже покричал, когда вышел А. Дривень, актёр, играющий Германна. Это бесспорный успех молодого актёра, и успех крупный; правда, по отношению к нему Пушкин проявил определённую щедрость — у актёра много подлинного пушкинского текста. Как ни странно, довольно успешно, не всегда определяясь и постоянно стараясь быть милой, красивой и аристократкой, сыграла графиню Вера Кузьминична Васильева, кое-где получалось даже неплохо. Я смотрел на всё это, одновременно разворачивая в своём сознании и спектакль, и то, чем я последний месяц занимался, — костюмы Зайцева. Костюмы, может быть, если говорить о деталях, были то лучшее, что в спектакле было. Было бы, бесспорно, получше, если бы режиссёр дал хотя бы мне поправить замечательный текст, который сам Житинкин написал. Но он тоже почти гений и молодец. Естественно, все лакуны и драматургии, и игры латала гениальная музыка Чайковского. Графиня даже спела знаменитый романс. Жалко, конечно, что сейчас совершенно нет времени, чтобы взяться за очередной очерк о Зайцеве, а потом многое забудется. Завтра защита, послезавтра семинар и защита. Как бы всё это выдержать, а у меня не читаны тексты к семинару и осталась одна дипломная работа. Надо сейчас её читать, а старые глазки слипаются. <…>

29 мая, вторник

<…> Из событий дня—выделить могу лишь одно. Утром передали, что было совершено покушение на Сергея Асланяна, корреспондента радио. Я смутно его помню, потому что в моё время он уже работал на радио или же мне о нём что-то говорила покойная Валя. Не смертельно, но довольно тяжело ранили ножом. Причину установили довольно быстро: несколько дней назад Асланян по одной из радиостанций делал автомобильный обзор и вдруг отвлёкся и довольно смело начал рассказывать историю пророка Магомета. Мне, не мусульманину, было ясно, что так и в таких выражениях о пророке даже чужой религии рассказывать нельзя. Я всё время помню толстовскую максиму: когда ты слышишь имена Магомета, Христа или Будды, стань и внемли. К концу дня, когда Асланяну сделали операцию в Склифе и он смог дать какие-то разъяснения, выяснилось следующее: кто-то по телефону его вызвонил на лестничную площадку и там со словами: «Ты недруг Магомета»,—нанёс несколько ножевых ударов. <…>

1 июнь, пятница

Сначала сухие сведения: в России—686 мультимиллионеров, выходим на мировой уровень, побеждаем. Катастрофически падёт отечественный рубль; мои небольшие сбережения, наверное, тоже рухнут, но у меня нет времени, чтобы суетиться и бегать, перекладывая рубли в доллары и обратно. Что ещё? В Думе проходят слушания по законам, существенно ограничивающим возможность проведения всех митингов и демонстраций. Строгие согласования, огромные штрафы. Штрафы сначала определялись совершенно невозможные, чуть ли не в 1 миллион. Это понятно: думское большинство, состоящее в основном из очень небедных людей, соизмеряет всё это со своими непомерными доходами. Сейчас штрафы несколько уменьшили. Но как власть борется за свою стабильность! Она готова пойти на всё. Наш омон, в отличие от нашей армии, имеет всё самое совершенное из оборудования и средств самозащиты, чтобы бороться с налогоплательщиками. Платить—можно, требовать—нельзя. <…>

3 июня, воскресенье

<…> Посмотрел два фильма—об американском поэте Аллене Гинзберге и о французском художнике Модильяни. В фильме несколько раз говорилось, что Модильяни еврей. Это не повышает ценность его портретов, но портреты эти с юности мне до безумия нравились. Игорь сказал, что мне понравится больше фильм о Модильяни, но всё произошло наоборот: фильм о Модильяни—коммерческий, в привычных красках и в привычных декорациях 20-х годов в Париже, а вот Гинзберг—это фильм-признание. Впервые я понял, в чём смысл его поэзии и его «нового взгляда» на американскую действительность.

В фильме о Модильяни есть занятный эпизод из детства художника. Он, мальчик, живёт с роднёй, родня—отец, не платит налогов, и приходит полицейский, чтобы арестовать имущество. Но в законе сказано, что всё, что находится на кровати беременной женщины, принадлежит ей и не может быть описано. Так вот, на этой огромной кровати был свален весь скарб этой еврейской семьи—кровати, люстры, столы, стулья, швейная машинка…

Пришло два письма. Одно, очень сердечное и точное,—от Олега Павлова, он уезжает в Казахстан и делится планами; другое—от Юры Беликова из Перми.

> «Сергей Николаевич, приветствую! «Дневник», который Вы мне отправили, благополучно дошёл. Огромное спасибо. А я вот могу подбросить новых дровишек для печки Вашего «Дневника». В журнале «День и ночь», во втором номере (в жз он уже есть, но сам журнал пока не добрался до читателей), опубликован наш диалог со Станиславом Куняевым. Я прикрепляю файл, чтобы Вы прочли. Дело в том, что этот диалог был уже выставлен в «Журнальном зале» (виртуальная версия толстых журналов), но вдруг, под давлением одного из держателей жз по фамилии Костырко, Марине Саввиных было заявлено, что после «таких» материалов, как диалог Беликова с Куняевым, журнал «День и ночь» могут отлучить от «Журнального зала». Ну, разумеется, инкриминируют антисемитизм. Марине Саввиных, по совету одного нашего общего знакомого, даже пришлось согласиться на то, чтобы «заблокировать» этот материал. То есть он там обозначен, а открыть нельзя. Правда, его скачали уже другие интернет-ресурсы. Вот такая прелюбопытная семибоярщина наших дней под названием жз. Теперь напрашивается вопрос: жз—это что за закулиса?
>
> Возможно, я буду в Москве 4-го июня—на Комсомольском проспекте, 13, намечена презентация 2-томной антологии (издано в Вероне) «Слово о Матери», где есть мои стихи. Начало в 15:00. Если вдруг совпадёте, буду рад Вас увидеть».

«Прикрепление» с интервью Куняева я ещё не открывал. Ай да Костырко! <…>

5 июня, вторник

<…> В пять в Геологическом музее состоялось заседание нашего клуба. На этот раз гостем был протоиерей Всеволод Чаплин. Чаплин говорил в микрофон, слышно было плохо. Его доклад назывался «Церковь и общество. Проблемы, дискуссии и сотрудничество». Я задал протоиерею три вопроса, упаковав всё в небольшую речь:

«В своём выступлении вы очень много уповали на помощь телевидения в христианском

просвещении масс. Раньше церковь ограничивалась амвоном и словом священника. Меня несколько смущает подобная постановка. Не смогли бы вы эти сомнения развеять?

Вы много говорили о Божьих карах, которые нас ждут за неправедные поступки. Не кажется ли вам иногда, что церковь значительно суровее Господа Бога?

Теперь,—сказал я,—вопрос, который вам, наверное, задавали неоднократно, о молодых девушках и молодых матерях, которые побесчинствовали в храме Христа Спасителя. Почему церковь уповает на мирские власти, а не применяет свою силу? Например, отлучение от церкви. Прожить жизнь, зная, что ты лишён покровительства Господа Бога, очень трудно, почти невозможно».

Опять протоиерей Чаплин говорил, опять было очень плохо слышно; я запомнил, что те кары, которые упомянуты в Ветхом Завете, значительно сильнее, чем в Новом. Или наоборот?

После заседания очень хорошо кормили, особенно вкусна была баранина, которую я ем очень редко.

Вечером позвонила Лариса Георгиевна Баранова-Гонченко. Завтра, в день рождения Пушкина, коммунисты проводят свой митинг, посвящённый дню его рождения и сохранению русского языка. Я отнекивался от выступления, Пушкин не совсем моя тема, потом всё-таки согласился. Буду думать, заодно посмотрел, чем так всё же недоволен верный, как Руслан, Костырко.

> «Да, я знаю: из-за того, что русская монархическая элита отказалась идти на службу большевикам, Ленину пришлось мобилизовать местечковое еврейство. И полтора миллиона евреев поняли, что их судьба зависит от того, устоит ли Россия. И они бросились на защиту советской России с яростью племени, которое получило громадную власть над этим государством. Но революция происходила с двух сторон: не только со стороны заговорщиков-революционеров, но и со стороны народа. Народ хотел перемен в не меньшей степени, чем заговорщическая элита».

Ну, это, предположим мы уже читали, и этот тактический план В. И. Ленина хорошо историкам известен. Куняев повторяет то, что уже давно стало достоянием общественности. Но вот ещё один пассаж на знакомую тему и тоже много раз в Интернете проходивший:

> «Двадцать лет органами госбезопасности руководили революционеры еврейского происхождения. Вот все кричат: «ГУЛАГ-ГУЛАГ-ГУЛАГ!» А кто стоял во главе ГУЛАГа? В тридцать седьмом году—Ягода, а у него—три заместителя: один по фамилии Берман, другой—Раппопорт, и третий—Плинер. Двадцать седьмого ноября тысяча девятьсот тридцать шестого года в газете «Известия» опубликовали указ о награждении комиссаров госбезопасности первого, второго и третьего рангов орденами боевого Красного Знамени, Ленина и так далее. Их было сорок четыре человека. Из них двадцать один, то есть практически пятьдесят процентов,—люди еврейского происхождения. Это верхушка ГУЛАГа. Это комиссары госбезопасности—высший орган карательной власти. А на всех остальных—русских, азербайджанцев, грузин, латышей, литовцев, украинцев—приходились другие пятьдесят процентов. Такова история русской революции. И поэтому, когда в тысяча девятьсот тридцать седьмом году это неравновесие в ЧК-ОГПУ-НКВД Сталин исправил, для либералов, особенно—еврейской ориентации, тридцать седьмой год стал самым кровавым и трагическим годом в истории России».

К этому уже я, пытаясь сохранить некую объективность, могу добавить лишь следующее: а кто доносы писал друг на друга? Кто, не переставая, жаловался на соседей, потому что у них на три квадратных метра площади больше, на начальника, потому что у того дома в борще была наваристая кость, на сослуживца, потому что его жена ходит в шёлковом платье? Давид Самойлов замечательно в своё время сказал: «Ах, русское тиранство—дилетантство». Но продолжим проверять Куняева и Беликова на верность линии «Нового мира», в лоне которого и воспитывается наш горячий Костырко. Опять С. Куняев. На этот раз он говорит о писателях:

> «Приведу небольшую цитату из книги «Жрецы и жертвы Холокоста», где я полемизирую с Марком Дейчем: „Так что честь советского еврейства в разборках на тему «Кто виноват» спас из писателей, может быть, единственный праведник Юрий Домбровский. Да ещё в какой-то степени Валентин Катаев, если вспомнить «Уже написан Вертер» (после чего он был объявлен антисемитом). Остальные—Борщаговский, Гроссман, Чуковская, Хенкин, Галич, Разгон (да несть им числа!), ну и, конечно же, Дейч с Резником,—эти десятилетиями надрывались, чтобы всю кровь 1930-х годов взвалить на русского человека, на «вологодский конвой»…“»

И наконец, последнее: и я, и Куняев можем спать спокойно—литературу оставили нам.

> «Я думаю, что, поскольку умная часть современного русофобствующего еврейства поняла, что печатная продукция и толстые литературные журналы нынче не властвуют над умами—сейчас над умами властвует телевидение, все главенствующие позиции были захвачены в «ящике». Возьмите любые программы: там—Якубович, Познер, Прошутинская, Соловьёв… Я говорю

только о тех, о ком знаю определённо. Если взять двадцать более или мене популярных телепередач — это даже хуже, чем в тридцатые годы в НКВД. Там было лишь пятьдесят процентов. А тут — все семьдесят-восемьдесят».

6 июня, среда

Наконец-то наша Дума приняла скандальный закон о штрафах и других административных действиях во время демонстраций и митингов. Поле для легальной оппозиционной борьбы сужается. Не приведёт ли это к внезапным народным возмущениям? Закон Дума приняла чуть ли не в 12 ночи, думская оппозиция всячески сопротивлялась и, применив методы «итальянской забастовки», завалила собрание минутными «поправками», которые имела право озвучить. Оппозиция хотела бы, чтобы закон не был принят до 12 июня, когда она намечает огромный марш «недовольных». В свою очередь, Дума, подчиняющаяся советам Кремля и Белого дома, желала бы обратного: суровый закон, и немедленно!.. Одни хотят власть поменять, другие власть не отдают. В процессе обсуждения думское большинство — а это сплочённые, как муравьи, единороссы — приняло закон, сокративший время для выступлений до 30 секунд. Весело живём! Приняли! Ночью этот закон прошагал по Дмитровке в Совет Федерации и уже к обеду был принят. На заседании Совета Федерации с просьбой отложить обсуждение закона выступила сенатор Нарусова, ещё раньше председатель Совета по правам человека при президенте, мой знакомый, обратился к президенту поставить на закон своё «вето». Теперь интрига: как поступит Путин?

Утро прошло сенсационно. Новый министр Владимир Медынский — ой какой быстрый министр! — предложил переименовать несколько московских улиц, в частности — названных в честь, как он считает, «цареубийц», можно ведь их считать и борцами с самодержавием. В числе претендентов на новые названия и великий князь Сергей Александрович, тот самый! «Эхо Москвы» тут же откомментировало: «Фигура очень неоднозначная».

В институте сегодня опять защищались заочники Варламова — как быстро пролетели шесть лет. В принципе, защита прошла довольно удачно, но Алексей, который пишет прекрасные и большие представления на работы, недостаточно работает с самими текстами. Я посоветовал ему, как это делаю я, проходиться по всему тексту с фломастером. Подчёркивать все штампы, безвкусицу и стилистические ошибки, а уже потом ещё раз читать. <…>

В какой-то момент защиты я побежал, как ещё вчера пообещал Ларисе Георгиевне Барановой-Гонченко, на праздник, который в день рождения Пушкина КПРФ устраивала по поводу сохранения русского языка. Всё это происходило с другой стороны памятника Пушкину — так сказать, за его спиной. Был оркестр, хорошо пели романсы артисты оперетты, выступали функционеры-депутаты. Всё это выглядело довольно безвкусно, записные ораторы безбожно орали и говорили общие слова, невероятно взвинченно говорил о русском языке с привычной митинговой экзальтацией режиссёр Бортко. Мне от всего, ожидая своей очереди, было даже неловко. В какой-то момент, когда некий ветеран педагогики минут на 15 завернул довольно плоско написанную речь, я даже хотел уйти, но дотерпел. Хотел бы заметить, что все эти записные ораторы со значками депутатов были одеты в такие дорогие итальянские пиджаки, которых мне вовеки не носить. Я говорил коротко. Своё выступление я написал ещё утром. Вся эта суета заняла у меня много времени, которое можно было бы использовать с большей пользой.

«Сегодня мы празднуем не только день рождения Пушкина. Он не был физически великим. Он был небольшого роста. Его дух был велик! Его поэтический талант был огромен.

Владимир Набоков, русский писатель, полагал, что по мощи и охвату в мире существует лишь два одновеликих поэта — Шекспир и Пушкин.

Пушкин невероятно много сделал для того, чтобы мы почувствовали себя русскими и единым народом. Пушкин создал не только язык, но и систему понятий, на которых мы говорим.

Глядя на сегодняшнюю политическую погоду, мы сокрушаемся: «Буря мглою небо кроет…»

Когда мы вспоминаем о вожде начала перестройки, мы говорим: «Властитель слабый и лукавый…»

Когда мы думаем о моральной стойкости русской женщины, мы вспоминаем пушкинское: «Я другому отдана и буду век ему верна».

Весь русский язык, вся наша речь пронизаны воспоминаниями, формулами и мыслями Пушкина.

Я часто вспоминаю сказку о «Рыбаке и рыбке». Когда старик и старуха уже почти жили во дворце, старухе немедленно захотелось фанты и свободного выезда за границу. Вот и живёт теперь старик в старой пятиэтажке, а на отдых в Испанию ездит не его со старухой внучка.

Что мы приобрели?

Платное высшее образование.

Кабальную ипотеку вместо жилья.

Замечательную бульварную литературу.

Квалифицированную, и даже очень, медицинскую помощь за большие деньги.

А что на это всё ответил бы Пушкин? Пушкин утверждал: «Россия вспрянет ото сна». Народ и справедливость — непобедимы!»

До некоторой степени этот митинг, с обилием коммунистических аксессуаров и громом микрофонов, поверг меня в ужас. И ни одного хорошо прилаженного к новому смыслу, выразительного и всепроникающего слова! Лишь привычные формулы и до отчаяния устаревшие лозунги.

В институте в конце дня зашёл на кафедру к Л. М., там сидела Маша Зоркая, близкая подруга Олеси Николаевой. Зашёл разговор об отставке мужа Олеси Александровны с поста пресс-секретаря Патриарха. Маша очень подробно, как затверженный или внушённый рассказ, всё нам поведала — про болезни и про личное прошение. Отец Александр, заболевший недавно и потерявший чуть ли не двенадцать килограммов веса — случилось это как раз перед заседанием жюри, — сейчас вроде чувствует себя хорошо, анализы никаких отклонений — ну и слава Богу — не нашли. Однако уже в 12-м часу ночи Интернет вдруг выкинул такое:

> «Руководитель патриаршей пресс-службы протоиерей Владимир Вигилянский отправлен в отставку со своей должности. Соответствующее решение было сегодня принято Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает РБК. На место Вигилянского назначен диакон Александр Волков, ранее работавший зам. руководителя пресс-службы Патриарха. Сам Вигилянский теперь будет занимать пост настоятеля храма Святого Василия Великого в подмосковной деревне Зайцево.
>
> Эксперты связывают уход Вигилянского с должности, которую он занимал с 2005 г., с чередой скандалов, преследовавших РПЦ в последнее время. Сам он эту информацию категорически опровергает. По его словам, это было личное решение. «Я сам попросил Патриарха меня освободить от этой должности, на которой я был более семи лет», — цитирует протоиерея „Росбалт“».

Вечером ещё ездил на презентацию новой книжки Максима Лаврентьева «Поэзия и смерть» в книжный магазин на площади Дзержинского «Библио-Глобус». И зал, и обстановка нижнего этажа — место всех презентаций, — всё очень знакомо. Такое обилие книг в этом магазине работу писателя просто обесценивает. Особенно много альбомов и всего красочного, что так любит наша публика. Народа было много, Максим в чёрной рубашке и белых джинсах выглядел красавцем, каким он и является, и очень хорошо, и так же хорошо говорил. Тут же, на примере Максима, я понял, как тщательно надо готовиться к подобным встречам. Кстати, я, несколько позабыв, что на этой презентации много людей, которые были и на предыдущих разговорах с Максимом, повторил байку о поступлении Максима в институт. Максим, между делом, об этом тоже сказал; к счастью, в моей небольшой речи было и кое-что новое: это констатация, что Максим — это уже сложившееся имя. Потом, через пару часов, невероятно воспитанный и тактичный Максим перезвонил мне, я поблагодарил его за возможность у него кое-чему научиться, а он в ответ сказал, что когда ведёт на публике разговоры, то ему всё время кажется, что он повторяет мою манеру и даже жесты.

7 июня, четверг

Уже четыре года как умерла Валя. Ложился спать с думой о ней и проснулся, вспоминая. Господи! Пишу утром, только стало восемь. Сейчас схожу в фитнес, потом вернусь домой, потом на Донское кладбище, а потом в институт на новую защиту. Попутно по всё тому же моему радио «Эхо Москвы» насладился маленьким политическим спектаклем. Оказывается, когда в Совете Федерации проходило без обсуждения голосование по закону о митингах, демонстрациях и репрессиях за их нарушение, то с протестом выступила не только мать Ксении Собчак, но и другая мать — Льва Пономарёва. Вспомнил тут грибоедовское: «И сам с ключом, и сыну ключ оставил». Но дело даже не в этом — вспомнил сразу исторические параллели. В своё время великие князья первыми нацепили себе на грудь алые банты революционеров, а уже во время советское основными диссидентами стали детишки военачальников, вождей, академиков, министров — так сказать, элиты. Да здравствует новая буржуазная элита, ей ещё предстоит многое!

Когда выходил около двенадцати с фитнеса, то купил две белых, как сказала продавщица — «метровых», розы.

На Донском невероятный покой и тишина. Я опять отругал себя за то, что, как всегда, что-то жало, и не смог, когда была возможность, достать здесь клочок земли, чтобы поставить своим родным крепкий и большой камень и чтобы, в принципе, в дальнейшем хватило под ним места и мне. Постоял возле плиты, на которой уже для моего имени места не осталось. А кто потом будет возиться, чтобы заказывать новую плиту? <...>

10 июня, воскресенье

Проснулся около восьми, уснул после десяти, слышал, как за стеной Маша что-то втолковывала ребятам и гремел телевизор. Перед сном начал читать «Русский дневник» Джона Стейнбека, который Станислав Куняев с гениальной прозорливостью редактора через шестьдесят лет после их первой публикации вдруг печатает в «Нашем современнике». Какая удивительная и насколько точная послевоенная картина жизни в СССР — Стейнбек побывал в России в 1947-м. Американец — я ведь очень всё хорошо помню своей молодой памятью — не только выписал верные картины, но и написал дух советского единства и настрой народа. Какая

предстаёт эпоха! Какие послевоенные картины народного энтузиазма и сплочённости!

Это послевоенные наши города, высотные здания, Сталин и то, чего мы ныне лишены,—курортный отдых летом.

Вот американский писатель в полуразрушенном послевоенном Киеве:

> «Мы прошли через разрушенный и уничтоженный центр города. В музее есть планы нового города. Мы все отчётливо сознавали, как жизненно важна для советского народа надежда на то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Здесь в белом гипсе была изготовлена модель нового города. Должен вырасти грандиозный, невероятный город классических линий из белого мрамора, с огромными зданиями, колоннами, куполами, арками, гигантскими мемориалами. Гипсовая модель будущего города занимала большую часть одного из залов. Это будет Дворец Советов, это—музей. Опять, как всегда, музей.
>
> Капа говорит, что музей—это церковь русских. Им нравятся величавые и богато украшенные здания. Они любят чрезмерность. В Москве, где нет никакой надобности в строительстве небоскрёбов, поскольку пространство неограниченно и ландшафт этого не требует, они всё-таки планируют строительство высоких зданий в нью-йоркском стиле, хотя, в отличие от Нью-Йорка, в этом нет надобности».

Следующая цитата—это к нашему русскому спору о личности и делах Сталина:

> «Во всей истории нет человека, которого бы так почитали при жизни. В этом отношении можно вспомнить разве что Цезаря, но мы сомневаемся, имел ли Цезарь при жизни такой престиж, поклонение и богоподобную власть над народом, какой обладал Сталин. То, что говорит Сталин, является для народа истиной, даже если это противоречит естественному закону. Его родина уже превратилась в место паломничества. Люди, посещавшие музей, пока мы там были, переговаривались шёпотом и ходили на цыпочках».

А вот ещё фрагмент дневника Стейнбека—это фрагмент не о модной для нынешнего письма Грузии, а о по-настоящему социальном государстве, которым была Советская Россия:

> «Поезд спустился к Чёрному морю и шёл параллельно ему. Всё побережье—гигантский летний курорт. Каждый клочок земли занят под большой санаторий или гостиницу, и даже с утра пляжи заполнены купальщиками, ведь это место, куда приезжают отдыхать почти со всего Советского Союза.
>
> Теперь наш поезд, казалось, останавливался через каждые несколько футов. И на всех остановках с поезда сходили люди, которые приехали в один из санаториев. Это отдых, к которому стремятся почти все русские рабочие. Это вознаграждение за долгий тяжёлый труд; здесь восстанавливается здоровье раненых и больных. Глядя на пейзаж, на спокойное море и тёплый воздух, мы поняли, почему люди по всей России всё время повторяли нам:
>
> —Подождите, вот увидите Грузию…»
>
> <…>

11 июня, понедельник

Ну наконец-то последовали и давно ожидаемые новости. Я никогда не думал, что Путин спустит те унижения и ту подчас несправедливость, которые допускала во время выборов по отношению к нему оппозиция. Наши шустрые демократы попали в ловушку, которую они готовили другим. Хотите суда, следствия, долгой юридической разборки? Получайте. Сегодня с утра, конечно, всезнающее «Эхо» передало, что у десяти оппозиционеров были проведены обыски, и все они получили повестки на завтра в Следственный комитет. Весь день, пока я возился с рассадой и поливкой, радио говорило о тех из своих любимцев, к которым на обыск допустили адвокатов, и тех, к кому адвокаты не попали. Нормального рядового слушателя, конечно, можно удивить, что у каждого протестующего противника путинского режима уже есть наготове адвокат. Не бедные, значит, люди протестуют! Иногда адвокаты становились чем-то похожими на радиоведущих. Они от входных дверей в дом вели свой репортаж и рассуждали, можно ли признать результаты обыска с понятыми, но без адвокатов, или нельзя.

Наконец—моя грядка с луком уже прополота, помидоры в теплице уже политы—передали, что обыски заканчиваются. У Навального обыск шёл 12 часов, забрали и сложили в мешки телефоны, жёсткие диски от компьютера, бумаги; говорят, даже диски с фотографиями собственных детей. Ксении Собчак—памятующей о верности Путина памяти её отца—мнилась собственная безнаказанность, однако обыск состоялся и у неё. Возможно, искали что-то связанное с «Домом-2», эротической передачей, но нашли полтора миллиона евро, разложенных по конвертам. Или она сама за какие-то услуги получала деньги в конвертах, или так их разложила, чтобы кого-то благодарить за специальные услуги. Для меня, как для обывателя, здесь много вопросов. Сама знаменитая телеведущая сказала, что её доход составляет два миллиона в год и она не доверяет банкам. Конечно, каждый имеет право не доверять системе, которую так лелеет государство, но сколько с этой суммы, если ведущая молодёжной передачи и политический деятель её действительно получила, она не заплатила или заплатила налогов?

Поздно вечером уехал с дачи, надо читать, писать «Дневники», читать вёрстку за 2009 год, присланную Павлом Косовым, что-то приготовить себе на неделю. Наконец, нельзя запускать фитнес.

12 июня, вторник

День так называемого «Марша миллионов». А не пишу ли я историю всех высказываний «Эха Москвы»? С утра выслушал все памятки и инструкции, которые радиостанция давала москвичам, пожелавшим в марше участвовать, и рассказала, где и как будут поставлены металлические воротца—металлоискатели, через которые можно будет пройти на митинг. Проханов вчера по радио отчитал Ганопольского за его некоторую нетактичность, это попутно, но самое главное, как и всегда,—высказал мысль государственника: подобные собрания и митинги разрушают и государство, и единство нации. Здесь я с ним могу согласиться. А вспомнил обо всём этом потому, что, судя по радиорассказам, сил для поддержания порядка брошено немало. Здесь и продуманная система допуска на митинги, и большое количество пропускных пунктов, и перекрытие целого ряда улиц, и огромные силы, которые, видимо, зарезервированы на случай разного рода инцидентов. <…>

На самом «Марше» была принята суровая декларация. Она включает несколько занятных пунктов: перевыборы в Думу и отставку Путина. Всё это не больше чем игра. Само шествие, по мнению устроителей «Марша», собрало до 100 тысяч человек, по мнению полиции—18. Кадры митинга, которые показали, были не очень густые. По тв показали выступление Дмитрия Быкова, он иронизировал по поводу обысков и денег Собчак. Об этом ни радио, ни оппозиционеры стараются не говорить. Генерал Марков, отвечающий за информацию в полиции, сообщил, что денег—это мои подсчёты—в евро, американских долларах и рублях свыше 1,5 миллионов евро. Деньги расфасованы по ста пакетам. Кому Ксения собиралась их выдавать? Кстати, все мы, вероятно, думаем почти одинаково. Не успел я написать в дневнике о налогах с этих запредельных для обывателя сумм, как в Интернете возникло сообщение, что налоговики заинтересовались, уплачены ли с этих сумм налоги. <…>

14 июня, четверг

В три часа опять состоялась защита, это уже предпоследняя. Было шесть студентов Г. Н. Красникова. Ещё когда Геннадий Николаевич набирал, я обратил внимание, как ровно и чисто все подобраны, каждый со своим голоском, со своей интонацией. Такими же чистыми и ясными оказались и на выпуске. Я бы сказал, целая небольшая школа. Вот—для истории отечественной литературы—списочек: Елизавета Батутова, Алексей Болдырев, Антон Копач. Все ребята получили по четвёрке, оценки без натяжек. А вот трое остальных—Роман Ненашев, Яна Соловьева, Снежана Холодова—отличники. А как сложится уже в жизни, не знаю.

В процессе защиты было несколько, как я их называю, «парений духа». Андрей Василевский, со ссылками на классический балет, говорил о новом языке и поэзии, и литературы. Я, как балетный зритель, кое-что видавший, ответил, что лучшее, что есть в современном модернистском балете, это скрытые цитаты из классики и Григоровича. Было занятно. Кстати, очень сегодня интересно, с полным и ясным пониманием поэзии говорил Эдуард Балашов. Должен сказать, что я с чувством обожания отношусь ко всем преподавателям нашей кафедры, к их интеллекту и опыту. Возник небольшой конфликт у И. Ростовцевой и А. Туркова—но это всё обострённое чувство справедливости у Андрея Михайловича, который, при всей своей редчайшей деликатности, может так ударить, что не встанешь.

Сегодня же позвонили из цдл—наступает новый сезон премии «Пенне». Пришлось заезжать за целой сумкой книг. Столько уйдёт времени, но это единственная возможность увидеть либеральную картину современной литературы. В цдл с удивлением узнал, что мои книжки потихонечку продаются, просили следующую серию. Отвезу в понедельник.

<…>

17 июня, воскресенье

Увлёкшись передачей о мерзостях нашей эстрады и настоящих и бывших жён олигархов, пропустил, оказывается, основное, самое главное: наши вчера играли с греками. Сегодня по радио господин Фурсенко, брат того Фурсенко, который реформировал нашу безукоризненно работавшую систему образования, сказал, что наши футболисты проиграли грекам потому, что греки плохо играли, мы поэтому не могли показать своё виртуозное умение. Вот у испанцев, когда они осмысленно перекидывали в одно касание мяч друг от друга, когда бегали, как кони, и понимали друг друга, как братья, есть это виртуозное умение. Но испанская команда в основном и составлена из испанцев, практически из одной команды, из Барселоны. А у нас—капитан живёт в Англии и работает там, всех остальных выдрали из разных мест. Огромная страна с десятком институтов физкультуры—и тренера могли отыскать только в крошечной Дании. Это также показательно, что, имея огромные ресурсы, наш президент ездит на автомобиле иностранного производства. Не было фанты и кока-колы, но и в Китай, и в Вашингтон во время визитов первых наших лиц привозили очень выигрышно казавшуюся «Чайку». Впрочем, в Кремле тоже не русские стоят царские раззолоченные

кареты, а французские и английские. О любимое наше средневековье!

Утро вообще, пока бродил по участку и устраивал точечный полив в теплице с помидорами, а радио гремело, было интересным. Сначала детские передачи, которые я так люблю, а потом и Ксения Ларина. Превозмогая обожание, она разговаривала с режиссёром Кириллом Серебрянниковым. Кроме чего-то фундаментального, было много текущих театральных историй. Например, что новый режиссёр театра Ермоловой Олег Меньшиков снял из репертуара чуть ли не 26 спектаклей. Дай Бог и ему, и театру счастья, но это мне напоминает перестройку. Пользуюсь автомобильной аналогией: на ЗИЛе сейчас, кажется, выпускается «Рено». Среди прочего было сказано, что театр под руководством Олега Павловича Табакова, театр Андрея Миронова, был назван ещё один театр, но я выпустил его из памяти,—эти театры осознанно ориентированы на буржуазного продвинутого зрителя. Ну вот и дождались. Вот тебе и социально-ориентированное государство! <…>

19 июня, вторник

Утром передали, что сформулирован длинный список Наблюдательного совета Общественного телевидения. Кажется, это 25 персон, от этого числа власть оставит лишь 19 и приплюсует сюда имя председателя. А вот когда назвали ряд людей, вошедших в этот пусть и большой, длинный список, я порадовался, что не влез в эту кашу. Дело в том, что недели две назад мне позвонили из моего общества книголюбов. Дескать, С. Н., мы предполагаем выдвинуть вас в этот совет Общественного телевидения. Я даже сначала согласился, съездил за анкетой, но всё застопорилось, когда нужно было брать у нотариуса доверенность или ехать самому на получение справки об отсутствии судимости. Времени не было, но самое главное—меня затерзали раздумья. А что из себя будет представлять это Общественное телевидение, управляемое каким-то советом? Я помню и уверен, много лет проработав на Всесоюзном радио, что всё в смысле направления и качества вещания решает один человек—главный редактор. Пример у меня один: я пришёл в большой коллектив, в Литдрамвещание, никого не увольнял, и холодная, консервативная редакция вдруг забурлила и стала чуть ли не застрельщиком всего вещания. В общем, к нотариусу я не ходил, общественных нагрузок у меня и так хватает, а сегодня вдруг выяснился этот самый список, который сейчас комментируют. Ну, то, что здесь есть Олег Павлович Табаков,—это понятно, он везде. А дальше как представительская фигура выступает знаменитый котовод Куклачёв и самые мощные в стране писательские силы—писательница Донцова и писательница Устинова. Какие здесь могут быть комментарии?! Умница В. Познер—отказался. О себе: слава Богу—не вляпался.

Утром ездил в институт, проводил семинар с пятикурсниками Апенченко. Отнёс ещё две пачки книги «Валентина» в книжную лавку. Кстати, в Интернете есть список моих книг и их чудовищная, грабительская стоимость. «Валентина»—500 рублей. «Твербуль»—475 рублей. «Смерть титана»—432 рубля. «Маркиз»—399 рублей. «Дневники-2004»—379 рублей. «Дневники-2009»—353 рубля. «Власть слова»—271 рубль. «Маркиз» также в разных магазинах идёт как подарочное издание—от 581 до 675 рублей. Поставил два зачёта; трём девицам, в том числе и переводчице, о которой писал, зачёт поставил «условно» с переаттестацией осенью. Надо было бы остаться на презентацию альманаха, который выпускает Рекемчук, но плохо себя почувствовал, вернулся домой.

Резал на кухне окрошку, слушал, как адвокат Барщевский—слуга народа и власти—комментирует обыск у Ксении Анатольевны Собчак. Все, конечно, недовольны изъятием у неё больших денежных сумм, разложенных по конвертам, и готовят для неё разумные ответы для следственных органов, которые слишком много хотят знать. Именно это надоумило меня прочесть статью публициста Исраэля Шамира, которую мне предложил, зная мой интерес к подобным вещам, посмотреть один из наших преподавателей. «Вопрос о законности или незаконности хранения налички в особо крупных размерах вообще не должен нас занимать. Еврейский анекдот рассказывает о женщине, принёсшей селёдку к раввину и спросившей, кошерная ли она. «Кошерная, но воняет»,—ответил раввин. Мы не знаем, кошерные ли эти деньги, но они смердят». Как всё-таки обилен Интернет! А разве я могу обойтись без цитирования?

> «Честные люди не хранят честно нажитые деньги наличкой под матрасом.
>
> Это делают наркодилеры, воры, проститутки, террористы, неплательщики налогов. Такое количество нала уже само по себе криминально в большинстве т. н. «цивилизованных» стран после принятия законов против отмывания денег в 2001 году».

Как всё-таки интересно читать чужую любопытную публицистику, сколько узнаёшь!

> «В кругах московского бомонда её стали звать «Ксюша Общак», намекая, что нал в её распоряжении шёл на нужды оранжевой фронды. Мы не знаем, так ли это. Дочка покойного мэра Ленинграда-Петербурга, который приватизировал половину города не без интереса для себя и спасся от тюрьмы только благодаря бегству за

границу, наверняка может и сама финансировать революции, хотя навряд ли станет. Она выросла в криминальной группировке, которая делала российскую политику коробками из-под ксерокса, полными долларов».

Вечером по каналу «Mezzo» слушал классическую музыку, недолго. Обратил внимание, что последнее время большинство дирижёров стали ещё и телевизионными деятелями—они все на своём лице вызывают соответствующие переживания. Эта искусственность для опытного зрителя очевидна. <…>

22–23–24 июня, пятница—суббота—воскресенье

Ну, в пятницу, уже днём, как обычно, выехал на дачу. Самое главное, что и до пятницы, и в субботу, и в воскресенье читаю вёрстку дневника за 2006 год. А тем временем столько всего ускользает! Наверное, самое интересное в политике. Вот, кажется, после закона о губернаторах, который власть так элегантно обошла, не дожидаясь альтернативных выборов и, пока действовало старое законодательство, кое-кого из губернаторов переназначила. А вот теперь принят новый закон о выборах мэра Москвы, возможно даже самовыдвижение. Но и этот закон обложен такими условиями, что ни одному самовыдвиженцу, не обладающему целым штабом и массой денег, не выдвинуться. По Москве надо заручиться согласием и поддержкой чуть ли не сотни муниципальных депутатов. Даже КПСС со своей знаменитой шестой статьёй в конституции так судорожно не держалась за власть. Но и это не всё, надо бы сказать точнее: так панически не боялась, что эту власть скинут. <…>

26 июня, вторник

Утром всё-таки набрался решимости и пошёл в фитнес-центр. Всё обстояло нормально, я бы сказал—как всегда, если бы не одно: я, кажется, подсел на передачи, которые по радио ведёт профессор Жаринов. Передачами этими меня снабдил, как и всегда, Сергей Петрович. В своих передачах профессор Жаринов рассказывает о привычных тайнах Европы и нашей цивилизации. Это Возрождение, холера в Европе, папская власть, Парацельс, протестантизм и Лютер и многое другое. И тут убеждаюсь, что нет у меня университетского образования, ничего я из этого обширного культурного фона нашей цивилизации не знаю, ничего не читал, в университете учили плохо и поверхностно. <…>

27 июня, среда

<…> Уже в половине десятого выехал из дома. В одиннадцать в Доме журналистов должно было начаться заседание Общественной коллегии по жалобам на прессу. Москва, как всегда, полна машин, а особенно центр, поэтому—и потом убедился, что правильно сделал,—машину поставил у института, а в Дом журналистов пошёл по бульварам пешком. Кстати, на Никитском бульваре теперь, как раньше, машину уже не поставишь. Обычно, когда езжу в театр Маяковского или в консерваторию, я именно здесь машину и оставляю. На новеньком театре Марка Розовского, где раньше жил Огарёв, а потом был кинотеатр повторного фильма, висит бесконечное количество афиш, и на каждой с разинутым в улыбке ртом—главный режиссёр Марк Розовский. Это болезнь наших главных режиссёров—свой театр обклеивать своими портретами.

Коллегию на этот раз созвали по поводу жалобы на НТВ правозащитника и исполнительного директора ООД «За права человека» Льва Пономарёва и правозащитницы, члена Общественной палаты и какой-то фигуры в Фонде «Холокост» Аллы Гербер. Эта жалоба—«на нарушение журналистской этики, публичную клевету и диффамацию». К этим двум протестующим общественным деятелям примкнули со своим особым заявлением Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, и Павел Гутионтов, председатель Комитета по защите свободы слова и прав журналистов. Вполне понятно, что их неприятие и раздражение вызвали передачи НТВ, связанные с митингами и протестами,—«Анатомия протеста» и «Заграница им поможет».

Дискуссия в самом начале была интересной—к сожалению, не было ни Аллы Гербер, ни Павла Гутионтова. Для себя, прочитав экспертное заключение, я выделил четыре бесспорных момента: а) несбалансированность всех «за» и «против»—тенденциозность передач; б) инсценировки, выданные за натурные съёмки,—об этом очень хорошо в прессе сказал Павел Лобков, я ему как профессионалу—и как сам профессионал в этом деле—верю; в) незаконное получение информации. Об этом тоже очень хорошо было написано в заключении. Но с этим я сталкивался и сам, когда, помню, приехало ко мне НТВ по поводу брата покойной Раисы Горбачёвой, который учился у нас в институте. Они спрашивали у меня обо всём, но нужна им была фраза о КГБ. Вот именно об этом я и сказал, когда мне надо было в час дня уходить. Меня ждало следующее мероприятие, о котором чуть позже.

В процессе дискуссии особенно Пономарёв сокрушался, что после внушений телевидения народ начинает верить, что любая протестная акция создаётся на деньги иностранного государства. Вот тут мне и удалось довольно удачно вставить реплику. За последние годы наша пресса, вспоминая революцию 1917 года, ленинский вагон, да и польскую революцию, внушила народу, что по-другому, как на деньги зарубежного супостата, и не делается, так что с этим теперь уже ничего не поделаешь.

Раиса Валеева

Записки

Необходимое предисловие

Это я надоумил написать нижеприведённые заметки свою маму, Валееву (в девичестве Гатину) Раису Каримовну. С детства помню, как она, не сдерживая слёз, частенько рассказывала нам, своим детям, о том, сколько ей пришлось вынести во время коллективизации, войны, в послевоенное время. Как-то я приехал к маме на юбилей в Хабаровский край, где она в то время жила в семье моей сестры Розы. Маме исполнилось восемьдесят, но она по-прежнему была бодра, жизнерадостна. Однако как только дело коснулось воспоминаний — всё, опять слёзы, пожелания «никому не пережить такого». Вот тогда я и сказал: «Мама, а ты запиши свои воспоминания и пришли их мне. А я подумаю, что с ними можно сделать». И мама согласилась.

За два неполных года она исписала и прислала мне двадцать девять общих школьных тетрадей. Я представляю, как непросто далась ей эта работа. Во-первых, образование у моей мамы — четыре класса татарской школы (больше закончить не успела — в 1938 году вся мамина семья бежала из своей деревни от страшного голода в Баку, а там уже было не до учёбы, надо было работать, и русскую грамоту она освоила самостоятельно). А во-вторых — всё же возраст… Вот тут ей было плохо, видно по тому, как почерк изменился. Вот здесь она всплакнула, и строчки расплылись под её слезами. Но она сделала это — написала свои воспоминания и заново пережила всю свою жизнь в этих двадцати девяти тетрадках. А я потом переработал их, и получилась самиздатовская книжка с немудрёным, но ёмким названием «…Не поле перейти» объёмом в шестьдесят две странички и с сорока главками, в которые уместилась вся её такая бесхитростная и в то же время очень непростая жизнь, и эту книжку я и подарил ей на очередной день её рождения.

Она не героиня, моя мама. Она простая российско-татарская женщина, на долю которой, как и на долю миллионов её сверстниц, выпало много тягот и лишений. А в «награду» ей долго не хотели засчитывать в пенсионный стаж её колхозный период, тяжкий труд на мобилизационных работах. Но справедливость всё же восторжествовала, и моя мама официально была признана ветераном ВОВ, награждена рядом юбилейных медалей.

Она немного не дожила до 65-летия Великой Победы и до своего 85-летия, скончавшись 20 апреля 2010 года.

Я предлагаю вниманию читателей и критиков нашего славного сообщества некоторые фрагменты из маминых записок.

Марат Валеев

Буран скрыл все следы

Я начинаю свои воспоминания с 1930 года. Мы жили в деревне Старая Амзя Тельманского района (потом — Октябрьского). Нас, детей, у мамы с папой было пятеро, и мама ходила ещё и с шестым ребёнком. Я часто слышала, как родители разговаривали шёпотом, что «скоро у всех всё будут забирать». Тогда я впервые услышала это трудное слово «коллективизация».

Папа у нас был очень работящим и хозяйственным, и потому мы никогда не знали, что такое нужда. У нас дома было четыре лошади и два жеребёнка, три дойных коровы, два больших уже телёнка и здоровенный племенной бык, много овец (я даже не знаю сколько), полный двор птиц — гусей, уток и кур, были и ульи с пчёлами. У нас было два дома: один старый, в котором была папина мастерская, где он столярничал, — и большой пятистенок, в котором мы и жили, а также два двора со всякими хозяйственными постройками.

Под навесом у нас, кроме рабочей телеги и саней, стоял выездной лакированный фаэтон, который ещё с французской войны привёз мой прапрадед, и когда папа выезжал куда-то по делам, то на дуге фаэтона весело звенели медные колокольчики.

И вот мы как-то сели ужинать, и тут в дверь начали стучать. Залаяла собака, четверо людей с оружием приказали убрать её, а то, сказали, застрелим. Папа закрыл собаку в сарае. В дом вошли трое русских милиционеров или солдат, и с ними татарин-переводчик. Папу стали расспрашивать, как его зовут, сколько у него всего скота в хозяйстве. Папа ответил, что зовут его Карим Мухамметгатин, назвал, сколько у нас есть лошадей, коров и всего остального.

Ему наказали никуда ничего не девать, сказали, что всё забирать у нас не будут, так как у нас семья

большая (к тому времени у нас народился ещё и братик Анварчик). А папе сказали, что поручат работать на колхоз, потому что он мужчина крепкий, хозяйственный.

Потом все вместе пошли во двор. Когда папа вернулся, то сказал, что записали и посчитали не всё. Переводчик шепнул ему, чтобы папа за ночь прибрал для себя птицы и баранов столько, сколько надо, только чтобы следов не было. И папа той же ночью тайком зарезал штук пять своих овец, а также несколько уток и гусей, чтобы нам было что зимой покушать. Как раз начался сильный буран, отец обрадовался, потому что снег повалил очень густой. Он запряг лошадь, мы все—мама, моя старшая сестра и я—помогли отцу загрузить всю забитую живность в плетёную кошёвку.

Было уже два часа ночи, когда папа выехал со двора. Мы тихо проехали через переулки к речке, а там по заснеженному льду—к водяной мельнице. Там работали и жили папины знакомые, бедные люди, у них было всего несколько коз. Папа их разбудил, поговорил с ними, и мы все вместе перетаскали бараньи туши и мешки с забитой птицей на мельницу и спрятали там, чтобы они замёрзли. В эту ночь папа ещё раз съездил на мельницу, увёз туда и спрятал ещё и семь мешков зерна. А буран занёс все следы от саней. Так папа обеспечил свою большую семью на эту зиму.

Шагом марш в колхоз!

Скоро папа и старшая сестра стали ходить на работу в колхоз. Они и другие, кого записали в колхоз, строили ферму для дойных коров и загоны для лошадей. А для кошар и птичника материала у них не было, и потому овец и птицу пока под отчёт оставляли у хозяев. И так незаметно наступил новый, 1931-й, год.

Ближе к весне в одно из воскресений в мечети назначили общее собрание. На него пошли папа с мамой и старшая сестра Асия. Их не было до самого вечера. Первой пришла мама, вся измученная и заплаканная, затем и папа. И мы узнали, что в этот день из нашей деревни в район увезли сорок семь человек—тех, кто отказался записаться в колхоз. Мама нам ещё рассказала, что папу предложили в бригадиры строителей и за него все голосовали. Потому что все знали, какой он грамотный и спокойный человек и на все руки мастер. Папа знал русскую грамоту, ещё до революции учился у одной русской семьи. Во время революции и Гражданской войны он служил с 1917 по 1921 год, строил в Сарапуле бетонный мост через реку. Как он рассказывал, всего их занято на этом мосту было двадцать семь солдат. Однажды их очень сильно обстреляли из пулемёта белые, и тогда восемнадцать человек из них убили, а папе прострелили шапку. Мост этот они сдали за год и восемь месяцев—в два раза быстрее, чем планировалось; за это папу даже наградили какой-то медалью. И потому папа наш был уважаемым человеком. Сделали колхозными начальниками и двух маминых братьев—Сагдиевых Сахибутдина и Сайфутдина.

Как нас раскулачивали

Снова пришла весна. Уже закапало с крыш, на улицах стало грязно. Как-то папа приехал с работы и сказал, что ферма построена и для неё вот-вот должны забрать скот у тех, у кого всё описали, в том числе и у нас. И скоро к нам домой поздно вечером пришли шестеро—четверо военных и двое наших деревенских, братья из самой бедной семьи, в которой было девять детей. Они жили на самом отшибе, у них дома не было даже забора, вот так они жили, без всякого своего хозяйства, всегда пасли чужой скот. А сейчас пришли забирать наше.

Один из братьев, его звали Муксин, потянул на себя с нас, маленьких, одеяло (мы, дети, все спали вместе на деревянных полатях под одним большим одеялом). Папа спросил, зачем он это делает. Муксин сказал, что теперь у них праздник, потому что они первыми записались в колхоз, и почему его дети должны спать почти голыми? А его брат, у него в руках было ружьё со штыком, увидел на вешалке папину каракулевую папаху—её папе прислали из Джелалабада в 1930 году братья, а нам—детские пальто и летнюю обувь. Он прямо штыком подцепил эту папаху, снял с себя свою старую дырявую шапку, бросил её под ноги и надел папаху.

Кроме того, у нас забрали из дома часы с кукушкой, один из трёх самоваров, две перьевые подушки, фетровые «чёсанки» с лакированными головками и галошами, пальто с каракулевым воротником, ещё что-то, я всё не помню. Всё это связали в узлы, папа запряг лошадь, и они повезли наше добро в колхозную контору. Когда папа вернулся, то сообщил: завтра будут забирать в колхоз коров и лошадей, а маленьких телят и баранов оставят до лета, потому что для них пока нет места. И я случайно увидела, как папа, когда вечером вышел управляться по двору, обнял Звёздочку за шею и молча плакал. Потом он пошёл на колхозное собрание, с которого вернулся уже поздно вечером. После ужина он рассказал, что ему поручили отвечать за кузницу и две мельницы—водяную и ветряную. Мама испугалась: «Как же ты один будешь на трёх работах?»—«Да ничего страшного,—сказал папа.—Как-нибудь справлюсь». А Асия рассказала мне потом, что за папу голосовала вся деревня, а председатели колхоза и райисполкома поздравили его.

Первый раз в первый класс

А колхоз уже вовсю работал. Доили коров, папа, как бригадир, молоко принимал и отправлял на

сепаратор. Каждое утро специально выделенная машина с вооружённым охранником ездила по всем окрестным деревням — Альметьево, Новая Амзя, Русская Амзя, забирала сливки во флягах и увозила на маслозавод в Селенгуш. Там делали масло, творог и отправляли в Чистополь. Всех собранных у людей птиц — уток, гусей, кур — отвезли в чувашскую деревню Турдалуф, там есть озёра, вот там и построили птицеферму. А все, кто смотрел за птицей (туда отправили и мою четырнадцатилетнюю сестру Асию), жили там же, в специально построенном общежитии. Всего там работало тридцать семь человек из нашей деревни. Мама для всего колхоза дома пекла хлеб, я ей помогала — смазывала формы, растапливала печь. За день мы делали по две выпечки хлеба. И нам в день на двоих выписывали пять с половиной трудодней — полтора на меня, остальные на маму. Папа молол муку, дробил зерно на корм скоту.

Первого сентября 1932 года я пошла в школу (двадцать четвёртого июля мне исполнилось шесть лет). У меня был красивый ранец, который мне прислали из Джелалабада наши родственники, на мне было красивое платье, в косах — красная лента, голову я повязала шёлковой косынкой. Школа была в бывшем байском доме: на первом этаже — детский сад, куда я отвела наших троих малышей, а классы — на втором этаже, куда я и поднялась. Там стояли большие столы, скамейки, за которыми сидело много детей, некоторые были совсем большими — по десять-двенадцать лет. Дети стали смеяться, когда меня увидели, такую маленькую. Рассмеялась и учительница. Это была двоюродная сестра моей мамы Марфуга-апа, она приехала из Казани.

«Как тебя зовут?» — спросила она, не переставая улыбаться. «Вы что, меня не помните? — обиделась я. — Вы в прошлом году гостили у нас, у вас ещё две девочки-двойняшки, и я с ними нянчилась, когда вы ходили по гостям. Я помню, как их зовут: Рева и Люция». — «Конечно, я тебя помню, ты же моя племянница, — сказала учительница. — Но дело в том, что тебе ещё рано в школу. Вот сколько тебе лет?» Я ответила»: «Шесть лет». — «Ну вот, ты ещё совсем маленькая, иди домой». — «Но я умею считать, писать и читать, меня папа научил», — продолжала я настаивать. «Нет, тебе ещё рано», — сказала она, отвернулась к доске и что-то стала писать мелом.

Я вернулась домой вся в слезах. Папа как раз приехал с работы на обед. Он выслушал меня и даже не стал кушать, а сел на лошадь и поехал к директору школы Юнису-абый, который был его двоюродным братом. Его не было долго. Вернулся папа довольным. И пока мыл руки, сказал мне, что завтра я могу идти в школу — директор и учительница согласились принять не только меня, но и других моих сверстниц, которым не исполнилось ещё семи лет, — Гаршию, Минжамал, Гульжамал и Запару. Нас посадят за самую первую парту. Я от радости стала прыгать и смеяться.

Тетрадок у нас в первый год не было, и учительница на каждый урок давала всем по одному чистому листку бумаги: на первой странице мы писали то, что проходили в школе, на второй выполняли домашнее задание, а потом все эти страницы сшивали. Нас было восемнадцать учеников в этой новой советской школе, и учились мы на татарском языке, писали латинским шрифтом. А до этого дети учились в мечети, у муллы.

Готовимся к голоду

Началась зима 1932–1933 года, какая-то малоснежная и ветреная. Школьная повариха Хадича-апа говорила, что это недобрая зима, земля вся чёрная лежит и потрескавшаяся от мороза, и потому лето тоже будет нехорошее.

В школу привезли большую ёлку, стали её наряжать, а также готовить концерт. Когда один раз я пришла из школы, папа сказал, что надо будет пойти в лес — собирать жёлуди. «Зачем?» — удивилась я. Папа сказал, что надо готовиться к голоду. Вон уже скоро Новый год, а снег ещё ни разу не выпал. Такая же зима была в 1921 году, и тогда у нас вымерло полсела. А наша семья тогда (папа, мама, моя сестра Асия и ещё восьмимесячный грудной братишка), спасаясь от голода, когда все припасы уже были съедены — и сушёное мясо, и мука из желудей, — и ещё две такие семьи заколотили свои дома, погрузилась на телеги и отправилась на Урал. Ехали в Пермскую область. Как в какую деревню заезжали, мама брала на руки грудного братишку, рядом шла маленькая Асия, они стучались в каждый двор, плакали и просили милостыню. Кто-то давал, а кому-то и самим есть было нечего. Так на двенадцатый день наша семья добралась до Перми. Но в город их не пустила милиция, там была холера. И тогда наши потихоньку вернулись обратно. Как они тогда выжили, только одному Аллаху известно.

На следующий день мы — папа, я и брат Акрам — пошли в лес, с собой взяли тачку, грабли и четыре мешка. В лесу снега не было, и под большими дубами толстым слоем лежали жёлуди. Мы спугнули диких кабанов, которые их с хрустом и чавканьем ели, и стали набивать мешки. Я раскусила один жёлудь, начала жевать, но мне не понравилось. А папа сказал, что жёлуди так не едят. Их сначала прожаривают в горячей печке, потом, когда они полопаются, шелушат и толкут в ступе. Потом прокаливают в горячей печке ещё раз, а потом уже мелют на жерновах, смешивая с семенами лебеды, льна, конопли — у кого что есть, а можно ещё добавлять сушёные семена конского щавеля, крапивы, лопуха и ревеня. Вот из этой муки потом и пекут лепёшки. Молодую дубовую кору тоже

сушат, перемалывают, смешивают с молотыми желудями и из этой крупы варят кашу на молоке. Пока папа рассказывал всё это, мы набили желудями все четыре мешка. Папа даже снял с себя брюки, а сам остался в домотканых подштанниках, и брюки его мы тоже заполнили желудями. А всего в тот день мы за два раза привезли домой восемь мешков желудей и надрали много коры. И следующие несколько дней тоже ходили в лес и ещё несколько мешков желудей и коры заготовили и насушили.

Но не только мы одни такие умные оказались — вся деревня подчистила все леса вокруг. Так же делали жители и соседних деревень, потому что люди боялись неурожая и голода.

На подножном рационе

Снег пошёл только в январе 1933 года. Шёл он всего часа полтора, но так и не накрыл чёрную землю — подул резкий ветер и унёс весь снег. Потом снег выпадал за всю зиму всего ещё два раза, и его также уносило ветрами. Пришла весна, она была сухая, дождь накрапывал всего пару раз. В мае начали пахать сухие колхозные поля, но из-за поднимавшейся пыли тракторов не было видать.

Когда сажали колхозную картошку, люди на лошадях в бочках привозили воду и поливали каждую лунку; так же, с поливом, сажали её и на домашнем огороде. А дождей нет и нет, стояла страшная жара. Пришлось картошку раз в неделю поливать. Когда она наконец взошла, поливали её уже через день. Речка наша начала сохнуть. Но по берегам её ещё зеленели камыши, а так как в полях и на лугах вся трава выгорела, бедные колхозные коровы толпились у речки и ели камыш. Он был грубый, с плоскими острыми листьями, и от этого коровы возвращались домой с окровавленными губами. Все, кто был свободен, выходили на полив колхозных бахчей. Скоро они зазеленели. Первый сильный дождь в том году пошёл только в ночь перед моим днём рождения, двадцать пятого июля. Мне исполнялось уже восемь лет.

Жили мы тяжело, голодно, сена для скота не было, все луга выгорели под солнцем. Корову кормили запаренным камышом, сдобренным комбикормом (папе удавалось принести его с мельницы); уже начали снимать с крыш солому. Всех колхозных овец отправили в Казань на мясокомбинат, потому что кормить их было нечем. Люди подъели все свои колхозные припасы и начали бедствовать. Помню, когда по весне и в начале лета всё было ещё зелёное, мы, дети, вместе с мамой рвали на огороде крапиву, ревень, лопухи, мама всю эту траву промывала, потом, ошпарив, мелко крошила, клала в казанок и варила, добавив туда молотые орехи или какую-нибудь крупу. Ну, ещё молоко наливали в такой «суп».

Мы, школьники, с нетерпением ждали, когда начнётся учёба, потому что в школе два раза в день кормили — утром и в обед. Хотя у нас были корова, куры, да что толку — с нас исправно начали брать сельхозналоги. Обычно утром мы сдавали всё вечернее молоко, по деревне ездили специальные сборщики. За лето также надо было сдать с каждого двора по сто яиц, по три килограмма шерсти.

Едем в Баку!

В колхозе на мясо пустили тридцать коров — потому что их нечем было кормить, да и колхозникам нечего было есть. Нас в школе, правда, продолжали кормить: на завтрак каша, чай с молоком, кусок хлеба с повидлом, в обед мясной суп, на второе какая-нибудь каша. Пошёл в первый класс и мой младший братишка Акрам (его уже учили на русском языке, а я как начала, так и продолжала учиться на татарском). Приближался новый, 1934-й, год, но снега также почти не было.

Папа разжился двумя мешками муки — ржаной и пшеничной. Но всё равно мы жили впроголодь, так как того, что нам давали на трудодни, и своих продуктов на семью из пятерых детей и троих взрослых (да ещё родители всегда делились с родственниками, жившими беднее нас) никак не хватало.

Летом пришло ещё одно письмо — от папиного двоюродного брата Габдуллы из Баку (там же жили ещё три семьи из нашей деревни, они уехали из Татарии ещё в двадцатые годы, да ещё двенадцать семьей уехали в Чимкент и Ташкент), он звал нас жить в Азербайджан. Писал, что здесь много работы, хоть на заводах, хоть на овощных и фруктовых базах. Родители всё чаще говорили на эту тему. Они понимали, что впереди нашу деревню опять ждал голод, работа за «палки» (так называли трудодни) и беспросветная нужда. Люди потихоньку начали разъезжаться кто куда. В соседней деревне полдеревни уехало в Самарскую область.

Как-то я пришла из школы, мама и сестра Асия в это время в мастерской ткали кули для колхоза из рогожи на станке, сделанном папой. Я переоделась и только хотела им помочь, как пришёл папа. Он взял серп, сказал нам: «Бросайте работать!» — и как полоснёт лезвием по уже почти сотканному рогожному полотну, и разрезал его пополам. А потом разломал станок (он же был очень простым и деревянным) и порубил его на дрова.

Сестра с мамой закричали: «Ты что, с ума сошёл?» А папа говорит: «Всё, хватит, на днях уедем в Баку. Иначе все перемрём с голоду: ещё и половины зимы не прошло, а у нас уже ни картошки, ни зерна…» Мама говорит: «На что же мы уедем? У нас ведь нет денег». Папа ответил: «Продадим корову с телёнком — это будет нам на билеты, а двух баранов отдадим за справки (из колхоза тогда никуда без расчётной справки из сельсовета

выехать было нельзя: потом по этой справке взрослым выписывали паспорта, детям — метрики).

Как сказал, так и сделали. Продали корову с телёнком, ещё какие-то деньги собрали нам наши родственники, выправили документы. Это было зимой 1934 года. Собрались и поехали на станцию Нурлат на двух кошёвках. Шестьдесят пять километров ехали полторы суток. На улице был сильный мороз, но нас, детей, накрыли тулупами, и мы не мёрзли.

В Нурлате мы всей нашей большой семьёй в одиннадцать часов утра погрузились в поезд. Ехали мы, как мне показалось, очень долго, а когда в окно вагона увидели много воды без противоположного берега, папа сказал, что это Каспийское море и мы подъезжаем к Баку. Поезд проехал через длинный мост, и мы оказались в городе. На вокзале было много людей, они мне все показались чёрными, не такими, как мы, и женщины были одеты в длинные чёрные одежды, а их лица были закрыты чёрными же масками (потом я узнала, что это паранджа).

Хаширазах-эфенди и другие

Нас встречали дядя Габдулла и папин троюродный брат Хади. Вышли с багажом на остановку, сели в большой автобус и поехали за город. Он довёз нас до самого места, где жили наши родственники, — в посёлок Бильбиля, в сорока километрах от Баку. Посёлок был большой, здесь до тридцатого года, говорят, было четыре мечети. Потом минареты разломали, две мечети отдали под школы, а из третьей и четвёртой мечетей (они были рядом) сделали ткацкую фабрику, там ткали марлю, белую бязь, иногда махровые полотенца, всё это продавали в своих же киосках.

Там, куда нас привезли, стояло несколько одноэтажных домов за высоким забором с большими воротами. Дядя Хади постучал в ворота, залаяли собаки, ворота со скрипом открылись, и со двора на улицу высыпала куча детей в сопровождении старого седого человека.

Когда папа с ним поздоровался и заговорил, а старик начал ему отвечать, оказалось, что я его понимаю. У этого деда, звали его Хажиразах-эфенди (мы, дети, звали его Хажи-бабай), приехавшего сюда из Башкирии уже давно, оказалось четыре жены, от них — четыре дочери, семеро сыновей и три внука. Они, как сейчас говорят, хорошо устроились, все работали в торговле, а ещё у них был огромный сад, фрукты с которого эта семья выращивала для продажи за границу и сама же вывозила — по морю в Иран и дальше.

Он и дядя Габдулла с дядей Хади показали, где нам жить. Это оказался отдельный дом во дворе, рядом с ещё несколькими другими, где жили семьи саратовских татар (как я потом узнала, всего Хажи-бабай держал одиннадцать семей квартирантов), с большой комнатой и кухней, с печами для отопления и приготовления еды. Во дворе ещё была большая баня, водопроводные краны. Печи были и простые, топились дровами, и газовые, одна большая газовая печь стояла прямо во дворе, там же был тандыр для выпечки пресных лепёшек — чуреков. Хозяева ещё подарили нам разную посуду, чтобы было в чём готовить. Мама прослезилась и сказала, что когда мы обживёмся и начнём зарабатывать, то отблагодарим. Конечно, мои родители должны были платить за проживание в доме, и они платили, когда начали зарабатывать, но сколько — не помню.

Жизнь в Бильбиля

Там, где мы жили в Бильбиля, кругом были сопки, внутри которых был камень-плиточник. Он лежит слоями, добывать его можно с помощью простого топора и лопаты. Мы (я, Асия, Акрам) подносили эти камни, а когда папа приходил с работы, он складывал из них стены, скрепляя их цементным раствором, — строил для нас дом. Построил уже почти половину, как ему на работе на ногу упало бревно. Папа почти два месяца лежал в больнице, а мы за это время наносили большую кучу каменных плиток, из которых и достроили потом свой дом.

Стояла страшная жара; мы спасались тем, что пили без конца прохладный виноградный, яблочный и айвовый сок, который хранился в трёхлитровых банках в подвале у хозяина. Там же много хранилось пересыпанных песком фруктов — яблоки, инжир, и нам разрешали их брать сколько угодно. Питались обычно большим количеством молочных продуктов — брынзой, творогом, варили бешбармак, пекли чуреки, жарили баурсаки, так же, как дома, лакомились чак-чаком, пили чай с мёдом. Здесь я впервые попробовала бананы — их в Баку привозили по Каспию.

А ещё мы ели осетров, их тогда продавали много и недорого. Вообще, здесь так всё перемешалось, что непонятно было, где татарская, а где азербайджанская кухня. Ведь татар в Баку тогда жило очень много — и из самой Татарии, и саратовских, и из других областей. И здесь мы уже не голодали, и у папы, и у мамы была работа, за которую они получали деньги: папа ездил в Баку на трамвае на какой-то мебельный комбинат, сестра Асия работала на сажевом заводе, мама — на фруктово-овощной базе.

Удар за ударом

Но горе достало нас и здесь. Заболела чёрной оспой и умерла моя восьмилетняя сестрёнка Разия (а всего весной 1937-го в нашем посёлке умерло тринадцать детей в возрасте от двух до десяти лет). Наверное, заразилась в озере Бильбиля, где купались все поселковые дети. Когда её привезли из больницы, у неё на теле были чёрные пятна, и я

её вообще не узнала, а она ведь только четыре дня проболела. У нас объявили карантин, всем давали какие-то лекарства, делали уколы, и никто больше не заразился.

Из деревни пришло сразу три письма—от бабушки, тёти Васили и дяди Закира. Новости были такие. В ту зиму, когда мы уехали, был страшный голод. В нашей деревне умерло около ста человек, их складывали в амбары и весной хоронили в общих могилах по двадцать—двадцать пять человек, при этом почти у всех были срезаны куски мяса с рук, ягодиц, ног—похоже, что кто-то ещё зимой это мясо варил и ел. Четверть села разъехалась, как и мы, кто куда. Лишь к маю стало полегче, когда откуда-то прислали зерно—по одному килограмму на трудодень. Потом отсеялись, потом задождило, и травы пошли в рост; людям, у кого не осталось коров, дали по телёнку на семью, во дворах опять появилась птица…

А у нас всё шло своим манером. Мы помогали семье Хажи-бабая убирать сад. Он был такой огромный, что в нём можно было заблудиться, как в лесу, и охраняло его много людей с ружьями!

Мы только до обеда три машины загрузили яблоками, после обеда ещё две, всего сто шестьдесят больших ящиков. В саду были беседка для отдыха, дом для ночлега, была даже баня, а ещё прохладный каменный подвал с большими бутылями с соком (я насчитала девять видов), двенадцать больших деревянных бочек с вином, и на каждой написано, в каком году поставили. И ведь не у одного Хажи-бабая был такой сад—у многих, живущих в Бильбиля, были большие сады.

Мы в саду работали тем летом четыре раза по четыре дня подряд, и я уже перестала считать ящики с фруктами, которые мы, дети, рвали с деревьев и раскладывали в ящики, а взрослые грузили их в машины. Тем же летом над Баку часто стали летать самолёты—шли учения со стрельбой, по улицам маршировали военные и милиционеры с противогазами на лицах, и люди говорили, что это не к добру, скоро должна начаться война.

И тут нас сваливается ещё одно горе: не проходит сорока дней после похорон Разии, как умирает другая моя сестра, Охра, от солнечного удара.

Я не могу найти таких слов, как мы все переживали, плакали. Похоронили Охру рядом с Разией. Папа сказал, что ещё год побудем в Баку, заработаем немного денег и уедем обратно в Татарию. Всё здесь было хорошо, и работа была, и еды вдоволь, фруктов, но страшно было оттого, что часто умирают маленькие дети. У того же Хажи-бабая, как он ни жил богато, умерло трое детей от первой жены, у второй его жены умерли близнецы.

…И он схватился за кинжал

Шёл февраль 1939 года, мы прожили в Баку уже шесть лет. Мы все мечтали поскорее вернуться в Татарию. Папа говорил, что скоро у нас хватит денег, чтобы дома построиться на новом месте, купить скот и зажить на славу. Мы потихоньку начали готовиться к отъезду. Домой решили плыть по Каспийскому морю на корабле.

Пошли слухи, что скоро в Баку начнут раскулачивать зажиточных людей, не пройдёт это и мимо Хажи-бабая. Он стал втихомолку забивать скот, раздавать мясо по знакомым. Дал и нам несколько бараньих туш, и папа засолил их в бочки и спрятал в погреб, туда же спрятал посоленных осетров.

Как-то ночью мы проснулись от выстрелов. Оказывается, к Хажи-бабаю приехали милиционеры. Они искали его сыновей (как оказалось, у них был свой пароход, и они на нём плавали в Иран за контрабандой).

Усадьбу Хажи-бабая охраняли четыре большие собаки. Одна из них сорвалась с цепи и кинулась на чужаков, и один милиционер застрелил её. А Хажи-бабай не стерпел и одним ударом большого, как сабля, кинжала (у него он всегда висел на поясе) снёс этому милиционеру голову.

Хажи-бабая повалили на землю, избили, а затем надели на него наручники и увезли на машине. А в доме у него устроили большой обыск, папу и других квартирантов, живущих во дворе Хажи-бабая, допросили, где можно найти его сыновей. Никто, конечно, ничего не знал. Потом милиционеры объявили, что теперь у Хажи-бабя ничего своего нет, всё государственное—и его сад, и дома, и бани, и скот. Они уехали, но в доме оставили засаду, всё ждали сыновей Хажи-бабая—видать, сильно те навредили советской власти.

Ещё через несколько дней прямо во двор Хажи-бабая заехали четыре грузовика; милиционеры загружали их добром, которое выносили из дома,—ковры, сундуки, мебель, посуду (во дворе в это время варилось на газовой плите мясо в двух больших кастрюлях—их тоже забрали вместе с мясом). Младшая жена Хажи-бабая Эмина-апа очень громко плакала.

Потом милиционеры сказали, чтобы она собиралась и поехала с ними к мужу. «Возьми харчи для него»,—сказали они. «А что такое харчи?»—спросила Эмина-апа, плохо понимающая по-русски. Ей сказали, что это еда. Я стояла рядом и всё это слышала. Эмина-апа дала мне денег, сумку и попросила быстренько сбегать в магазин, купить чуреков, пряников, чего-то там ещё.

Я всё это купила, и когда уже подходила к воротам, увидела, что к дому едут на своей машине старшие сыновья Хажи-бабая Исламбек и Каирбек. Я закричала им, чтобы они уезжали. Они услышали меня и остановились. Я всё рассказала, что случилось. Исламбек поблагодарил меня, и они быстро уехали. И больше их никто не видел, как и других пятерых сыновей Хажи-бабая,—они как сквозь землю провалились. Скорее всего, они

уехали за границу, потому что так же исчезли их суда, на которых они возили на продажу фрукты.

Собираемся домой

Папа подал на расчёт, и ему оставалось работать месяц. Родители закупали подарки, чтобы увезти с собой в Татарию и порадовать родственников. Асие, мне и Акраму купили зимнее пальто, зимние сапожки. Папа с мамой тоже хорошо оделись. Папе купили пальто с каракулевым воротником и каракулевую же шапку, хромовые сапоги. На ногах мамы были мягкие, расшитые узорами кожаные сапожки с калошами (в Баку все женщины ходили в таких). «Не зря мы здесь трудились шесть лет, всё у нас теперь будет, слава Аллаху,—сказал папа.—Вот только очень жалко, что оставляем здесь наших дорогих девочек Разию и Охру».

А путь предстоял долгий: на корабле из Баку до Астрахани, потом на пароходе по Волге до Самары, оттуда поездом до Нурлата, а там уже рукой подать, всего шестьдесят пять километров… Мне так не терпелось скорее отправиться в путешествие, что я однажды сразу оторвала от календаря два листочка. Папа меня поругал, сказал, чтобы я больше не трогала, и так осталось недолго до отъезда—всего одиннадцать дней. Был уже июнь. И тут с мамой случилось несчастье. Она утром торопилась на трамвай, чтобы на работу поехать. А из-за угла выехала машина и ударила маму. Мама упала и потеряла сознание. Это видел милиционер, он заставил водителя погрузить маму в машину, и её увезли в больницу в Баку. Оказывается, мама была беременной уже два месяца, а из-за этого удара машиной и испуга у неё случился выкидыш. Это были двойняшки, мальчик и девочка.

Папа, когда приехал в больницу и узнал, что случилось, чуть не задушил того шофёра—он стоял в коридоре в наручниках. Милиционер удержал папу. А шофёр плакал и всё просил, чтобы его не отдавали под суд: у него было семеро детей, и один из них безнадёжный калека, передвигается только на инвалидной коляске. Маму оставили на несколько дней в больнице, а папа привёз этих крохотных мёртвых мальчика и девочку в коробке домой, обмыл их с моей сестрой Асией в бане и похоронил рядом с Разией и Охрой. Так на кладбище в Бильбиля навсегда поселились уже четверо членов нашей семьи.

В октябре мы всё же окончательно собрались и поехали на пристань—грузиться на корабль. Он был очень большой, трёхпалубный, я таких сроду не видела. Народу на пристани собралось очень много—наверное, тысячи людей. Все с вещами, багажом. Посадка шла очень долго, у всех ведь проверяли билеты, документы. Когда мы наконец оказались в своей каюте на второй палубе, мама очень сильно расплакалась. Папа спросил, в чём дело. А мама сказала, что плачет по всем детям, которые навсегда остались в бакинской земле. Потом корабль дал сильный гудок и потихоньку отчалил от берега.

На родной земле

В Астрахани с нашего корабля мы пересели на речной пароход и на нём по Волге доплыли до Самары, а там погрузились на поезд и доехали до своей станции Нурлат. В Нурлате нас уже ждали два маминых брата, Сайфутдин и Сахибутдин, они приехали на двух пароконных повозках. Когда стали переносить багаж в повозки, братья удивились: «О, как много у вас сундуков, чемоданов, бочек, мешков, ящиков. Видать, хорошо разжились в Баку?» А мы привезли с собой, наверное, с полтонны груза. Это были два центнеровых сундука со всяким добром, три чемодана, три бочонка с солёной осетриной и мясом и два мешка с сушёными осетрами, два больших ящика, в которых были четырнадцать трёхлитровых банок с разными вареньями, две десятилитровых оплетённых бутыли с виноградным вином.

На вторые сутки пути, после ночёвки в Мамыково, показалась наконец окраина нашей родной Амзи, мост деревянный через речку, дома знакомые, старики сидят на завалинках, все нас узнают, здороваются. А вот и наш дом. Из калитки с криками, плачем выбежала Василя-апа, папина сестра, она все эти без малого шесть лет жила в нашем доме. Всё, приехали. Это было пятого ноября 1939 года.

А вечером к нам потянулись гости—всем было интересно посмотреть на нас, послушать, как мы жили в далёкой стороне. Пришла и моя двоюродная сестрёнка Гаршия, с которой мы так дружили, пришли пять моих одноклассниц и сказали, что завтра вечером будут репетировать концерт к празднику и наша учительница, Мярфуга-апа, передала, чтобы я тоже приходила.

Утром мы с сестрой побежали в школу. Все сказали, что я очень изменилась, повзрослела. Учительница спросила, училась ли я в Азербайджане. Я сказала, что нет. А вот Акрам учился в Баку с первого класса в русской школе, и сейчас он может продолжать учиться в седьмом классе. А мне надо было садиться за парту с второклассниками. Мне же уже было четырнадцать лет, и потому вовсе не хотелось сидеть вместе с малолетками.

Я так и сказала учителям: «Писать, читать, считать умею—мне этого хватит». Но поучаствовать в концерте не отказалась. В тот же день выучила стихотворение, которое мне задали, и прочитала его на праздничном концерте.

Я была одета во всё новое, «городское», сильно отличалась от своих сверстниц, выглядела взрослой, и мне хлопали особенно дружно. Ну а когда мы с братом Акрамом ещё и станцевали азербайджанский танец «Кыз куву» (догони

невесту) — научились в Азербайджане, при этом я была в парандже, Акрам в кавказской папахе, с деревянным кинжалом за поясом, — в зале все не просто хлопали, а кричали и свистели, так мы им понравились. Потом я ещё и одна станцевала азербайджанский танец, и опять мне все сильно хлопали. На другой день у нас был праздничный обед по случаю нашего возвращения, после которого папа раздал всем родственникам богатые подарки. Все гости остались довольны.

Но вот праздники кончились. Папу опять пригласили работать на колхозные мельницы, водяную и ветряную. А ещё он решил заняться строительством нашего нового дома — нам не нравился старый участок, весь глинистый, всегда на нём после дождей мокро и грязно, на огороде всё плохо растёт. Папе разрешили взять новый участок в восемнадцать соток на берегу речки, он хотел весь его обсадить деревьями, чтобы корни держали землю и во время дождей не размывало бы огород.

За мной ухаживают!

Девятого ноября, утром, к нам приехали на двух лошадях семь человек папе в помощь, подъехал и трактор (они тогда были с железными колёсами). К обеду участок на новом месте был уже вспахан. По краям огород обложили дёрном, травой вниз, и утоптали. Огород также обсадили тальником, из леса привезли спиленные стволы деревьев под сваи, для срубов. Поставили срубы под дом, амбар, баню. Тут тракторист Харис, совсем молодой ещё парень (он сразу начал на меня посматривать, когда мы вернулись из Баку), говорит мне такие слова у речки, где он умывался после работы, когда я подала ему полотенце: «Райса, я весной уйду в армию. Можно, я тебе писать буду?»

Мне тогда ещё пятнадцати не было, и я ни о чём таком ещё и думать не думала. Хотя Харис мне нравился: и симпатичный, и тракторист, а тогда трактористов в деревне очень уважали, как вот в наши дни уважают лётчиков. Я ему ответила, что там посмотрим, мне ещё рано об это думать. Может, и напишу. Харис очень обрадовался, поцеловал свою ладонь и дунул с неё в мою сторону. Я тогда ещё не знала, что это был воздушный поцелуй.

Уже наступил декабрь. Дом нам строили очень быстро и дружно. Сруб ставили сразу шестнадцать человек, уже подвели его под крышу. Пришла Василя-апа, принесла телеграмму: из Красной Армии в отпуск едет домой Исхак, папин младший брат и мой дядя. Папа сказал, что вечером сходит к председателю колхоза и попросит лошадь, чтобы встретить Исхака в Нурлате. И тут пришёл мамин брат Ильяз. Он был какой-то не в себе и сказал папе, что началась война с финнами и что Исхак может домой не попасть: он ведь закончил офицерские курсы и стал младшим лейтенантом, и его могут вернуть обратно в часть из Челябинска, откуда он дал телеграмму во время пересадки.

Папа сказал, чтобы он не боялся сам и не пугал других. Подумаешь, какие-то финны повоевать захотели. Вот и получат что просят. Они с Ильязом через день поехали в Нурлат за Исхаком. А на другой день, семнадцатого декабря, к вечеру, со стороны Альметьево налетел сильный снежный буран. Всё сразу покрылось снегом. Мы испугались: как же доедут домой наши мужчины из Нурлата? Они же на колёсной повозке. И тут со двора послышался лай. Приехали папа с Ильязом и Исхаком! Они сказали, что еле добрались, их буран накрыл в Селенгуше. Все стали обнимать, целовать Исхака. Я его даже не узнала. Он стал такой взрослый, ведь ему было уже двадцать шесть лет, плечистый, с усами, очень похож на своего отца Амирхана-абый. Форма ему очень шла. Исхак сказал, что у него есть и пистолет, но его у него на время отпуска забрали под расписку в Мамыково в военкомате. А мне он сказал, что я очень выросла и стала настоящей невестой; я даже покраснела.

И никто тогда ещё не знал, что наша мирная жизнь, которая только начала налаживаться, скоро рухнет: всего через полтора года начнётся страшная война, и на ней погибнут и Харис, и Исхак, и многие другие мои односельчане; и опять будут голод, холод, новые тяжкие испытания…

Первая мобилизация

Двадцать третьего июня из райцентра Мамыково к нам в Старую Амзю приехал военкоматовский офицер, они вместе с председателем провели общее собрание колхозников, на котором и рассказали, что началась война. Тот, что из военкомата, сказал, что он привёз с собой повестки, мужчины с восемнадцати до сорока пяти лет будут мобилизованы в армию.

А кроме того, зачитал приказ, что из нашей деревни мобилизуют на оборонные работы двадцать одного человека парней и девчат с шестнадцати лет, строить вторую железнодорожную линию от Ульяновска в двух направлениях — до Москвы и на Урал. Это нужно, чтобы везти на фронт технику и войска, а с фронта раненых, чтобы железная дорога работала безостановочно, чтобы поезда не ждали, когда проедут встречные составы.

Мобилизовали также взрослых в возрасте от сорока пяти до пятидесяти лет. Стали зачитывать списки мобилизованных: Амирханова Майра, Баталова Асыльбикя, Гатина Райса… Когда зачитали моё имя, мама и папа сразу крикнули: «Как Райса? Она же совсем девчонка, ей же ещё нет шестнадцати». — «Через месяц исполнится, — сказал военный начальник. — Так что тоже попадает на оборонные работы. А кто будет отклоняться или захочет скрыться, будет считаться дезертиром, и того посадят на пять-семь лет».

На колхозной площади, где проходило собрание, поднялся крик, плач. Да, по годам я была ещё совсем девчонкой, но прекрасно понимала, что с наступлением войны детство моё закончилось, как и у всех моих подруг.

После собрания все разошлись по домам, многие—чтобы готовиться в дальнюю дорогу. Папа сказал, что надо бы быстро разобрать старый дом на дрова, пока он дома, а то, не дай Бог, его тоже мобилизуют. А этих дров года на три может хватить.

Мама испугалась: «Неужели война так долго будет идти?»—и заплакала. Папа как мог успокаивал её. А двадцать седьмого июня 1941 года бригадир принёс мне повестку и сказал, что завтра до обеда надо быть уже в Мамыково, на военной комиссии.

В этот же день повестки получили и мои сродные сёстры Гаршия, Гульжамал, Минжамал… Мама собрала меня в дорогу; я только чай попила, как у нашего дома остановилась машина с крытым кузовом.

Я простилась с родными (папы дома не было, он в тот день был на работе—на мельнице), взяла сумку с продуктами, которые мне в дорогу сготовила мама, села в кузов, и машина поехала к конторе. А там уже полно народу, и папа на велосипеде подъехал с мельницы, чтобы успеть проводить меня. Все, кто должен был ехать на комиссию, двадцать один человек, поднялись в кузов, и машина тронулась…

Комиссию проходили в районной больнице, всех признали годными. Сопровождающий нас офицер сказал, что сегодня же нас отвезут домой, дадут два дня на сборы и проводы—и снова в путь, теперь уже в Нурлат, на поезд, который повезёт нас в Ульяновск.

Строим железную дорогу

И вот нас на поезде привезли в Ульяновск, здесь пересадили на большие военные машины (было много других девчат и парней, из других районов), по пятьдесят человек в каждую, и привезли куда-то в безлюдное место.

Высадили прямо на краю ржаного поля, а вокруг стояло много больших палаток, в каждой по тридцать пять деревянных коек с соломенными матрасами и ватными подушками, с синими одеялами. Мы заняли каждый свою койку, нас познакомили с нашими начальниками. Начальником той группы, в которой была я (в основном все девчонки-татарки из двух деревень), был мужчина лет сорока, он зачитал наши фамилии по списку—так познакомился со всеми. Себя он назвал Иваном Григорьевичем. Поскольку в нашей группе по-русски хорошо говорила только я, то была у него как переводчик. Он отдавал все распоряжения через меня.

В первый же день после обеда нас повезли от нашего лагеря за десять километров. Здесь нам дали лопаты и показали, как готовить насыпь под железнодорожное полотно: становились с обеих сторон отведённой линии, рыли кювет и землю бросали в середину, а потом разравнивали ручным катком. Затем на эту насыпь ещё сыпали щебень и утрамбовывали катками.

А затем укладывали шпалы—по двое становились на каждый конец тяжёлого и вонючего, чем-то пропитанного бруса, от запаха которого кружилась голова, несли на верёвках на путь и укладывали на строго отмеренном расстоянии. Иван Григорьевич назначил меня звеньевой (я ведь и в колхозе была звеньевой). Я записывала в тетрадь, сколько за день делалось нами работы. Вечером, перед отъездом на ужин, Иван Григорьевич переписал себе для наряда, сколько мы проложили пути. Получилось, что за один рабочий день наше звено из тридцати семи человек (двадцать восемь девчат и девять парнишек) подготовило под прокладку шпал двадцать один метр полотна. А таких звеньев было много, всего в них было около восьмисот человек—это и с нашей, и с московской стороны. От Ульяновска дорогу при этом строили татары, от Москвы—русские.

Иван Григорьевич похвалил нас за хорошую работу. Но за этот день мы очень устали, просто валились с ног. Нас привезли к нашим палаткам, мы поужинали в столовой и отправились спать. Некоторые девчонки стали жаловаться, что это настоящая каторга, лучше убежать. Я напомнила, что за это могут и посадить. И всё же через три дня, утром тридцатого июля, мы недосчитались пятерых девчонок из нашей и соседней деревень. Одной было девятнадцать, другой семнадцать лет, ещё троим—по шестнадцать.

Иван Григорьевич за завтраком заметил, что мы сидим за столами неполным составом, стал интересоваться, кого не хватает, почему. Девчонок тут же объявили в розыск. Прошло два месяца, за это время в сторону Москвы было построено двести километров железной дороги, и к тому же времени мы узнали, что сбежавших девчонок поймали где-то за Ульяновском, судили и дали по одному году. Но в тюрьме они только ночевали, а весь день работали под конвоем, причём на самых тяжёлых работах.

Иван Григорьевич узнавал про них и рассказывал, что они всё время плачут и просятся обратно к нам. Я сама расплакалась, когда узнала, в какое положение попали наши девчонки. Иван Григорьевич сказал, что можно попробовать им помочь, если написать заявление с просьбой отпустить их в нашу бригаду на поруки. И у нас получилось, девчонок под конвоем привезли из Ульяновска к нам. Мы их обнимали, целовали, плакали от счастья. А потом снова включились в работу и очень старались, чтобы всё это скорее кончилось.

Двадцать четвёртое августа 1941 года я запомнила на всю жизнь: в этот день оба конца железной дороги соединились, а нашему звену дали красный флажок, как передовому. Мы не только первыми закончили свой участок, но ещё помогли уложить шпалы на участке в полтора километра тем, кто тянул линию со стороны Москвы.

А всего наше звено сделало больше плана тринадцать с половиной километров железнодорожного полотна. Вечером было торжественное собрание, лучших наградили премиями и подарками и вручили дорожные билеты. Вызывали звеньевых по алфавиту: сначала назвали Асылханову, потом Булатову, Валиулину, а потом назвали моё имя: Гатина Райса Каримовна. Я получила деньги в конверте—там было сто рублей, платок и шоколадку.

Домой, но ненадолго

В двенадцать часов ночи за нами пришли машины, мы собрали свои пожитки (а палатки оставались на месте—говорили, что после нас здесь будет военный лагерь, будут обучать молодых солдат перед отправкой на фронт) и поехали в Ульяновск. Ехали почти двести километров, потом пересели на поезд, и он повёз нас в Нурлат. В Нурлате нас уже встречали родственники и родители. За мной приехал папа. Мы пересели в машины и поехали в родную деревню.

Когда стали подъезжать к Старой Амзе, все от радости закричали и запели—так соскучились по дому. Мама уже истопила баньку, я помылась, уселись за стол, родители стали расспрашивать, как там было да что. Ну, я всё рассказала, они только удивлялись, как это мы, совсем ещё дети, выполняли такую тяжёлую работу, да ещё с перевыполнением. А я сказала, что это колхозная жизнь нас приучила не бояться никакой тяжёлой работы. Тем более грех было не стараться—наша работа нужна была для поддержки фронта.

Отдохнула всего два дня, тут бригадир приходит, говорит: «Надо картошку полоть. Пока вас, молодых, не было, полоть было некому, вся заросла, потом выкапывать её невозможно будет». Я собрала своих девчат, и мы пошли в поле. А трава уже вся старая, стебли как деревянные, и тяпки тупились очень быстро, приходилось точить их очень часто. Этим занимался мой младший братишка Акрам, за это ему каждый день писали по два трудодня.

Только пропололи картошку—нас тут же направили на уборку сахарной свёклы. Две недели дергали свёклу; там подошла пора убирать картошку, а после первого морозца—капусту; после капусты на складах перелопачивали зерно, чтобы не сгорело, за телятами ухаживали... Мужчин в деревне почти не осталось, и приходилось работать за двоих-троих. Про все новости на войне узнавали по радио (эти тарелки поставили бесплатно в каждом доме, как только война началась) и на собраниях.

Однажды приехал из конторы дядя Паша, который тоже с нами работал на ферме, и сказал, что, наверное, девчатам надо опять готовиться в дорогу. Оказывается, из Казани пришёл приказ: мобилизовать на копку окопов и траншей женщин от шестнадцати и до сорока лет, по тридцать пять человек от каждой деревни. Вот как только Волга замёрзнет, так и отправят нас за триста километров от Казани на оборонительные работы. Опять дома крик, плач: «Да что же это такое? Да кто же зимой окопы копает?»

На следующий день мне пришла повестка—на окопные работы, а вместе со мной такие повестки получили ещё двадцать пять человек из Старой Амзи. Через день за нами пришла машина, и пятого ноября 1941 года мы опять были в дороге.

Окопы, траншеи, дзоты...

Привезли нас в город Чистополь, дальше ехать было нельзя—лёд на Волге был ещё тонкий. Нам сказали, что будем переправляться через Волгу пешком. Никогда не забуду этот день—шестое ноября 1941 года, так было страшно. Нам всем дали по длинной палке, чтобы пробовать перед собой лёд. А все боятся идти: Волга показалась нам страшно широкой, а лёд—тонким.

Вперед пошёл сопровождающий нас солдат, потом уж потихоньку за ним и мы, с расстоянием в пять-шесть метров друг от друга. Шли и молились, чтобы лёд не провалился. Но всё обошлось, никто не провалился. Да и какой вес был у нас тогда, недоедавших и ещё совсем не взрослых? На той стороне нас уже ждали машины. И когда мы перешли Волгу, все закричали: «Ура!»

Когда погрузились и поехали в сторону Казани, я стала расспрашивать сопровождающего нас военного, надолго ли нас задержат на земляных работах, почему надо копать зимой и что именно мы будем копать,—нам ведь толком так ничего и не объяснили. Этот военный рассказал, что копают окопы, траншеи, блиндажи, дзоты уже с лета, москвичи копают. А мы едем им в помощь и будем копать им навстречу со стороны Татарии. А почему зимой копать... Да потому что летом всё не успели сделать. Копать окопы надо для того, чтобы, если немцы прорвутся со стороны Москвы, задержать их перед Казанью.

В Казани нас пересадили на другие, военные, машины и повезли дальше на запад. Восьмого ноября мы были уже на месте работ. Это было поле, кругом стояли скирды соломы, некоторые горели. Оказывается, тут же учили стрелять из винтовок, пулемётов и пушек солдат. Многие из них были ещё в гражданской одежде. Вот так, под выстрелы, мы и копали эти окопы и траншеи. До сих пор помню размеры блиндажа: три

метра в глубину, четыре в ширину и восемь в длину.

Жили мы в двойных брезентовых палатках на пятьдесят человек, они отапливались двумя железными печками. На протянутых верёвках сушили после работы свою одежду, лапти. Да, я забыла сказать: почти все мы были в лаптях, так тогда ходили во всех татарских деревнях. Правда, потом нам привезли какую-то обувь, не знаю, как её назвать—калоши не калоши, сшитые из лошадиных шкур. Эта обувь была всё же получше лаптей. Ещё лучше было, если получалось надеть сразу и лапти, и вот эти кожаные калоши.

Поднимали нас в шесть утра, рабочий день начинался в семь утра и заканчивался в семь вечера. Долбить мёрзлую землю было страшно тяжело, у нас у всех руки были в полопавшихся мозолях. Медсёстры каждый день делали нам перевязки, лопнувшие мозоли смазывали какой-то жёлтой мазью.

От работы никого не освобождали, это надо было или сильно заболеть, или умереть. Но болели мало и не умирали, а копали и копали. Кормили нас, правда, очень хорошо. Так же, как солдатам, варили еду в полевых котлах на колёсах и привозили прямо к месту работы. Вот так мы встретили здесь, в окопах, новый, 1942-й, год и продолжали копать их до двадцать седьмого марта.

В этот день мы соединились с московскими колхозниками, которые тянули траншеи в нашу сторону. Но их-то всех отпустили домой, а татарстанцев заставили ещё заготавливать еловые брёвна для блиндажей. Мы чуть с ума не сошли от горя: ведь нам обещали, что нас отпустят, когда соединимся с москвичами, мы и домой писали, чтобы ждали нас ранней весной. А оно вон как повернулось.

На лесоповале

Ездили в лес за сто километров и там пилили деревья. Помню, что лес был очень красивый, заснеженные ели стояли прямо как в сказке, и очень жалко было такой лес губить.

Вот уже апрель кончился, май пошёл, а мы всё пилим. Девчата все плачут, домой хотят. Ну, я не выдержала и пошла к нашему военному начальнику спросить, когда же нас отпустят домой. А начальник меня пристыдил. Дескать, там такая страшная война идёт, всё разбомбили, столько людей убило, а над вами самолёты не летают, бомбы и снаряды на вас не падают. Ну, конечно, тяжело вам, но ведь все живы-здоровы, и домой все вернётесь. Надо ещё потерпеть немного, ваша работа очень нужна, фашистская армия очень сильная, и всё может случиться, поэтому то, что вы делаете,—это на тот самый случай.

Я вернулась в свою палатку и всё передала нашим. Никто и слова не сказал, все всё поняли и продолжали работать. Да, я ещё пожаловалась начальнику, что сейчас в лесу всё растаяло, а мы в лаптях, и ноги у всех мокрые, нам бы обувь какую-нибудь. А начальник мне говорит: «Что же вы раньше молчали? Ладно, что-нибудь придумаем. Скажи, сколько в твоём звене человек, и какого размера обувь нужна?» Господи, да у нас почти никто не знал, что такое размер обуви—с детства все ходили в лаптях. Правда, я свой размер уже знала—тридцать седьмой (в Баку носила настоящие туфли).

В общем, на другой день мы делегацией в девять человек пошли в стоящую рядом воинскую часть, и там нам со склада выдали семьдесят пар ботинок самого разного размера. Мы их принесли в свою палатку, и здесь уже каждый выбирал, что подходит по размеру, а лишние ботинки вернули обратно. Девчата опять в слёзы: «Значит, нас ещё надолго оставят здесь». И точно, через какое-то время нас отправили на новое место, ещё на восемьдесят километров ближе к Москве. Там нас поселили уже не в палатках, а в деревянных бараках, даже с радиоприёмниками.

Здесь мы впервые за последние месяцы сами услышали, что передаёт Москва про войну. Слушать было страшно: рассказывали, как наши били немцев и как немцы бомбили поезда с эвакуированными мирными людьми. Особенно запомнилось, когда диктор рассказывал, как пять немецких самолётов разбомбили поезд, в котором ехало восемьсот женщин, стариков и детей, и что многие из них погибли. Я переводила нашим деревенским. Девчонки опять в слёзы: когда же эта страшная война кончится? когда же мы домой вернёмся?

Нам дали неделю отдыха, чтобы мы привели себя в порядок, в бане помылись, домой письма написали. И снова—за работу. А скоро и помощь подоспела: сначала на трёх машинах привезли сто двенадцать русских молодых парней и девчат, всем лет по шестнадцать, не больше, а следом ещё сто семьдесят человек, уже постарше. За нами закрепили семь машин, которые отвозили напиленный лес на железнодорожную станцию.

Вот уже апрель кончился, май пошёл, а мы всё пилим и пилим… Наконец, где-то в конце мая, нас всех созвали на собрание, поблагодарили за хорошую работу от имени Москвы и сказали, что мы своё дело сделали и нас отправят домой. Как мы все обрадовались, как плакали, как хлопали—как будто война кончилась. Нам после бани устроили прощальный ужин, а через день, двадцать девятого мая, за нами пришли машины из Казани, и тридцатого мая мы уже были дома.

Печальные новости

Дома за это время накопилось много новостей, больше печальных. Сестра моя Асия успела выйти

замуж, её мужа Акрама забрали на фронт, а её саму отправили куда-то рыть окопы. От неё было всего одно письмо, потом она замолчала. Позже пришло письмо от амзинских девчонок, с которыми она работала. Они сообщали, что Асия простудилась в окопах (дело было зимой), сильно заболела и её положили в больницу. Мама молилась за неё каждый день. Погиб на войне мой двоюродный брат Ильяз, его документы и личные вещи привёз Исмагил из соседней деревни Новая Амзя. Они вместе воевали. Самому Исмагилу оторвало ногу по колено. Он рассказал, как погиб Ильяз. В него попали три пули — одна в лёгкое, две в голову. Бой шёл возле какого-то завода, и вместе с Ильязом там похоронили пятьдесят семь солдат. Моя тётя Василя-апа очень плакала и говорила, что ей снятся плохие сны про Исхака и она очень за него боится.

Я снова пошла работать в колхоз, выхаживала маленьких ягнят. Но совсем недолго. Как-то мы все дома ужинали, и тут залаяла собака во дворе. Папа пошёл посмотреть, кто там, и вернулся с бригадиром. Тот протянул мне повестку: «Райса, тебе завтра надо ехать в Мамыково, на комиссию». Папа спрашивает: «И куда потом из Мамыково?» — «Там скажут». Мама заплакала: «Господи, когда же это кончится?!»

Папа пошёл в контору узнать, куда меня могут отправить. Я же пошла протопить баню, чтобы помыться перед дорогой. Папа вернулся и сказал, что из нашей деревни тринадцать человек отправят в Бутайху, это сорок километров от Нурлата. Там уже три месяца приклады к винтовкам делают. В далёкую дорогу собрались девять девчонок и ещё четверо пожилых мужчин, кому по пятьдесят и больше лет: Гирфан, Мубаракша, Нургали и Фатих…

На комиссии, это было десятого октября 1942 года, одну из девчонок забраковали, осталось нас восемь. Нам в колхозе дали быков с телегами (лошадей в колхозе не осталось, кроме старых кляч, — всех забрали на фронт), вот на них мы и поехали в Бутайху двенадцатого октября. А война становилась всё страшнее. Нам рассказывали, что у солдат не хватает винтовок, что немцы издеваются над ранеными и убитыми, истыкивают их штыками, что много восемнадцатилетних парнишек и девчонок уходят на фронт добровольно, чтобы мстить немцам, и гибнут тысячами. А вы, говорили нам, счастливчики: хоть и выполняете тяжёлую работу, но в вас не стреляют, вас не убивают. Да мы и сами понимали, что надо терпеть и работать, куда бы нас ни посылали.

Зачем быкам крутят хвосты?

На тех же быках, на которых приехали, мы и работали: возили на повозках из Бутайхи готовые приклады к винтовкам в Нурлат. Уже шёл ноябрь, все кочки и ухабы замёрзли, и колёса телег прыгали на них, увязанные в пачки приклады рассыпались и падали на дорогу. Соберёшь их, увяжешь — и снова в дорогу.

Быки оказались очень настырными, всё время старались лечь отдохнуть. Только один уляжется на дорогу — тут же, глядя на него, валятся с ног и остальные. И хоть ты их убей! Девчонки от отчаяния плакали, мужики ругались. Правда, они всё же умели заставить быков подняться: хватали их за хвосты и начинали выкручивать. Тогда только бедные животные от боли вскакивали и снова трогались в путь. И всё равно дорога в восемьдесят километров (в оба конца) занимала у нас целых два дня. Так мы мучились целый месяц.

Однажды, когда мы в очередной раз привезли в Нурлат приклады, я услышала знакомый голос: «Райса! Райса!» Смотрю, а ко мне от воинского состава бежит Шакир с гармошкой через плечо (мы с ним перед войной успели подружить три месяца, но, правда, даже ни разу не поцеловались — уж так я была строго воспитана).

Шакир мне очень обрадовался. Он рассказал мне, что их отправляют в Куйбышев на обучение, а оттуда на фронт. Скоро послышалась команда на посадку. Тут Шакир и говорит: «Давай простимся — может, никогда больше не увидимся». Мы обнялись, вот тогда Шакир и поцеловал меня первый раз. И последний. Уже когда нас отпустили домой из Бутайхи, пришла похоронка на Шакира. Он погиб во время второго своего боя, его убили четыре пули. Погиб и другой парень, который был тогда с ним на станции, а третий вернулся с оторванной ногой. Но это я забежала вперёд.

Как-то Мубаракша-абый говорит: «Райса, ты по-русски хорошо знаешь, и язычок у тебя острый. Иди к директору завода, проси машины. На быках много не наработаешь». И девчонки тоже его поддержали. Когда я решилась и пошла к директору, доброму такому пожилому дяденьке, он сказал: «Хорошо, Райса, что ты сама пришла, на вас вот повестки прислали, надо ехать в Мамыково. А зачем — я не знаю, здесь не написано. На месте скажут».

Вот с такой новостью я вернулась в наш барак. Было это шестнадцатого декабря 1942 года. С вечера мы собрали свои вещи, улеглись спать. Утром погрузились на машину и поехали в Мамыково. Там прошли военную врачебную комиссию, всех нас признали годными и повезли домой в деревню, чтобы можно было попрощаться с родителями и ехать на новое место. Военком в Мамыково сказал, что нас направляют на секретный военный завод в Свердловской области, всего на полгода, а затем нас заменят другие.

А теперь — на Урал!

Дома все обрадовались, что я наконец вернулась. Но когда я сказала, что уже двадцатого декабря

надо быть в Нурлате, родители очень расстроились. Я их «успокоила», сказала, что я не одна такая, а нас сто восемьдесят человек мобилизуют с трёх районов. Как нам объяснили, за Свердловском, в голом лесу, стоит какой-то эвакуированный из Белоруссии военный завод, со своими рабочими, мастерами. А вот разнорабочих, чтобы достроить этот завод, не хватает. Вот нас, колхозников, туда и забирают.

Девятнадцатого декабря мама меня разбудила пораньше, чтобы я успела позавтракать перед дорогой. И тут за окном послышался шум машины, залаяла собака. Папа решил, что это уже за мной приехали, и пошёл открывать ворота. А это, оказывается, с оборонных работ вернулась моя сестра Асия. Ещё десять минут—и мы бы разминулись. Я повисла у неё на тонкой шее (Асия сильно похудела, всё время кашляла). Мы успели поговорить, поплакать. Асия рассказала, что получила от своего мужа Карима два письма, он лежит, сильно израненный, в госпитале. Он воевал в Сталинграде, пятнадцатого декабря у тракторного завода его ранило осколками снаряда в спину, а когда он падал, ему ещё и руку пулей пробило. Из его лёгких уже вытащили одиннадцать осколков, но в теле есть ещё немецкое железо, и его ждёт очередная операция.

Выпили по чашке чая, и тут приехала машина уже за мной. В дом вошёл сопровождающий машину солдат, поздоровался по-татарски, посмотрел на меня, покраснел и потом всё время старался поймать мой взгляд (такие взгляды на меня молодые парни в последнее время обращали всё чаще и чаще, уже и предложения мне не раз делали), но я-то думала совсем о другом—чтобы скорее война кончилась, чтобы можно было больше никуда из дома не уезжать, а жить с родителями, помогать им. А там видно будет.

Нас всех, кто отправлялся в дальнюю дорогу, собрали в правлении колхоза. Выступил председатель сельсовета. Он просил прощения за то, что нам опять приходится ехать на работы далеко от дома, говорил, что иначе никак нельзя, очень уж война тяжёлая, и все должны помогать фронту как только можно.

…Опять вагон, опять стучат колёса, мы едем всё дальше от дома. А за окном редко когда увидишь деревню какую, тем более город: тогда Урал был ещё не так сильно заселён, как в наши дни. Уже шёл четвёртый день, как мы находились в дороге. На другой день утром проснулись—за окном солнышко светит, а мимо нашего поезда едет товарняк, на открытых платформах стоят пушки, танки, накрытые брезентом. А вдалеке видны высокие заводские трубы. Похоже было, что мы уже подъезжаем. Мы ещё успели позавтракать, когда поезд наконец остановился, и нам объявили, что надо выходить. Это была станция Полевская. Здесь стоял металлургический завод, с четырьмя большими трубами.

Пушки и снаряды—фронту!

Нас привели к новому месту работы, и мы испугались. Это была большая территория, огороженная двумя рядами колючей проволоки, а внутри—четыре большие мартеновские печи, где варился металл. Жара, огонь, искры во все стороны. Нашей обязанностью оказалось загружать в мульды—такие вагончики, их было по три на каждом монорельсе,—руду, потом эти мульды опрокидывались в мартены.

Мы разбирали руками и ломами кучи металлолома, который привозил на специальную эстакаду магнитный кран, и тоже грузили их в мульды для отправки в печи. На металлолом сюда привозили даже немецкие подбитые танки, разорванные пушки, были и наши танки, пустые гильзы от снарядов, неразорвавшиеся бомбы, ещё какое-то порванное и погнутое железо. Всё это разрезали бензорезами и отправляли в мартены на переплавку. А в соседнем цехе отливали новые снаряды, пушки, пулемёты…

Прошло три месяца, и однажды, в начале марта 1943 года, мы проснулись в два часа ночи оттого, что гудят заводские трубы, паровозы, воют сирены, а над заводом стоит пламя. Мы оделись и побежали туда. Случилась страшная авария: оказывается, в печь попал то ли целый большой снаряд, то ли бомба, случился сильный взрыв, всю мартеновскую печь разворотило, оттуда полился расплавленный металл, и в нём погибла почти вся ночная смена—двадцать пять человек. Потом этот металл, когда он застыл, разрезали на куски и похоронили вместе со сгоревшими в нём людьми, с оркестром, цветами и венками, как погибших на войне.

Однажды нас всех собрал директор завода; помню, что звали его Иван Иванович Рыжов или Рыжий. Он стал рассказывать, как тяжело сейчас по стране приходится всем людям, но особенно тяжко—ленинградцам, они в блокаде, мрут от голода…

Тянул, тянул, а ему кричат: «Да говори толком, чего от нас надо». Оказалось, надо оторвать от себя по триста граммов хлеба, начиная с апреля 1943 года. И мы все согласились, что надо помочь ленинградцам, и решили отдавать из своего пайка не только по триста граммов хлеба, но и по пятьсот граммов макарон. Такое решение приняли и рабочие Челябинска, Златоуста, многих других уральских городов.

Краткосрочный отпуск

Прошло больше полугода со времени нашей последней мобилизации, уже вышел срок ехать домой, а начальство всё молчит, как будто так и надо.

Девчата начали ворчать: «Райса, сходи да сходи, узнай, когда нас отпустят домой, сил уже нет».

Я решилась и пошла после работы к директору завода Ивану Ивановичу. Он принял меня и спросил, по какому вопросу. Ну, я и объяснила, что прошёл уже срок нашей полугодовой мобилизации, очень домой хочется, мы здесь уже восемь с половиной месяцев вместо шести, очень устали. Директор спросил, какая это у нас по счёту мобилизация. Я ответила, что уже третья. Первый раз за Ульяновском строили железную дорогу на Москву, потом под Казанью рыли траншеи и строили блиндажи и дзоты, и вот сейчас здесь, на Урале. Директор послушал меня и сказал, что нам вот-вот должна прийти смена из Казани и Удмуртии. Вот с такими вестями я пришла к девчатам.

Они бросились меня обнимать, целовать. Не прошло и недели, как стала прибывать замена. И нас срочно отвезли на станцию и посадили на казанский поезд. А в Казани должны были встретить машины уже из нашего района. Меня в Казани встречал папа. Он рассказал, что молодых парней в деревне не осталось, на фронт забирают уже сорокадвух-сорокатрёхлетних мужчин.

А мы всё ближе и ближе к дому. Вот уже и Курняле видать, а там, через полтора километра, Новая Амзя — и рукой подать до моей родной деревни Старая Амзя. Дома я увидела в детской, где я всегда спала, маленького ребёночка — это был сыночек сестры Асии. Все сказали, что я очень повзрослела, только похудела очень, и пообещали на домашней еде откормить меня. А я подумала: если только дадут мне пожить дома. Уже шли разговоры, что нас ждёт очередная мобилизация, на этот раз в Казань, на авиационный завод.

Всё так и вышло: я отдохнула дома всего два дня, как из военкомата снова принесли повестку, я и ещё четырнадцать человек должны были поехать в райцентр на комиссию. Мама снова в слёзы, а папа сказал, что поедет в райцентр вместе со мной, чтобы похлопотать насчёт пенсии для тёти Васили из-за гибели сына-фронтовика Ильяза — она сама ничего не сделает, так как по-русски говорить не может.

Я зашла в комнату к бабушке, а она и Василя-апа молились, чтобы комиссия признала меня негодной и чтобы меня больше не забирали. Помолились и стали учить, что мне говорить на комиссии: что не могу нагнуться, внутри всё болит, что всё время голова кружится. Я пообещала, но сама-то знала, что ничего такого говорить не буду, стыдно. Да и посадить могли за обман. Вон двух из Нового Альметьево посадили на пять лет, когда они сбежали с окопных работ из Ульяновской области. Когда их судили, даже родителей не пустили на суд, так и увезли, не дав попрощаться. Да и как это — убегать или притворяться больной, когда столько народу гибнет на войне? А нам всего лишь надо было работать там, куда пошлют, хотя и тяжело это было очень.

На Казанском авиационном

В этот раз из нашего района должны были забрать на Казанский авиационный завод сразу восемьдесят два человека. Ну вот, стали мы собираться у конторы, чтобы ехать на комиссию, уже сели в машину, стали всех проверять по спискам, а двоих парней не хватает — помню, что одного звали Муслим. Пошли к его родителям, и выяснилось, что Муслим и с ним ещё один парнишка, как только получили на руки повестки, ещё с вечера собрали котомки и ушли из деревни. Сказали: «Хватит, уже три года бесплатно ишачим, мы пошли на заработки, свет большой, где-нибудь пристроимся». Председатель сельсовета сказал, что они себе срок заработают, а не деньги.

Мы погрузились и поехали. Когда ехали через турдалюфский лес, машина вдруг остановилась, и шофёр наш несколько раз выстрелил и закричал: «А ну ложитесь!» Мы смотрим — сбоку дороги трое парней лежат лицом вниз. Нас ещё сопровождал военный по имени Аскар, вот они вдвоём с шофёром связали этих троих парней (двое из них были наши, что сбежали вечером, а третий из Новой Амзи), посадили их к нам в кузов. Один из парней начал угрожать Аскару: дескать, нам много не дадут, а когда выйдем, мы тебя найдём и подвесим за ноги. Аскар заматерился и нашлёпал его по губам. Тебе, кричал он, воевать надо, а ты по лесу бегаешь, как заяц. И всех троих в Мамыково сдали в милицию…

В Казани на вокзале нас уже ждали несколько автобусов и строгие мужчины в гражданской одежде. Сопровождающие нас военные передали им все наши документы, нас привезли в общежитие, поселили по пять человек в комнате, показали, где будем работать. Оказалось, что это авиационный завод, эвакуированный из двух городов. Меня и здесь поставили звеньевой. Нам дали бирки-пропуска для вахты, их надо было вешать на специальное место против своей фамилии, а ещё взяли с нас расписки, что мы никому не напишем и не будем говорить, где мы работаем и что здесь делаем, потому что это военная тайна. И даже обратного адреса для писем у нас не было — только номер, как у полевой почты.

Мы работали в копровом цеху, где отливались корпуса моторов. Для нас провели инструктаж, как вести себя рядом с плавильными печами, выдали специальную робу — ватные брюки и толстый суконный костюм, а сверху ещё плотный фартук, на ногах у нас были валенки с резиновыми подошвами. Первый месяц мы были учениками. А потом уже стали работать самостоятельно. Мы черпали кипящий дюралюминий ковшом и заливали его в формы; было очень жарко и страшно поначалу,

потом привыкли. Из отливки получались картеры, на них привинчивали шурупами по два блока, они были дюралевыми и тяжёлыми, а вот поршни в цилиндрах (их было двенадцать на каждом картере) были из чистого алюминия, лёгкие и блестящие. С обеих сторон картера также шурупами крепилось много разных медных трубочек.

Мы работали в этом цеху месяц, а потом нас направили на шлифовку, грунтовку и покраску моторов. Собранные моторы отправляли на испытания. Если не всё было в порядке, мотор привозили обратно, и на нём красной краской было помечено, где брак. Мотор снова разбирали, исправляли брак, собирали и отправляли опять на испытание. Случалось, что после смены сидели в цеху всю ночь, пока нам не сообщали, что всё в порядке и можно идти спать. Обычно нашей бригадой, в которой было двадцать два человека, собирали за смену по восемь моторов. Мы работали на 16-м заводе, а рядом был 21-й завод, где делали корпуса для самолётов, там же после сборки проводили безвзлётные испытания. А на настоящие лётные испытания самолёты увозили за тридцать километров от Казани, где был специальный аэродром; там наши самолёты и обкатывались военными лётчиками-испытателями.

В Казани я впервые увидела пленных немцев. Они были в тоненьких шинелях, ботинках, лица у всех чёрные, обмороженные (был декабрь 1943 года). Они работали на расчистке трамвайной линии от снега, а их охраняли наши солдаты с автоматами и собаками. Над немцами издевались дети, они подбегали к ним с криком: «Фрицы, фашисты!»—плевали в них. Не знаю почему, но мне их стало жалко. Я-то их представляла злыми зверями со страшным оружием, а видела жалких, худых и напуганных людей, большинство из них были молодые.

Из дома приходили нерадостные письма. В колхозе не осталось ни одного здорового мужчины, многие погибли, многие вернулись калеками. Мусин Гаряй пришёл с фронта без руки, Мухитдинов Карим остался без кисти руки и без глаза, Салихжан и Минниахмет—оба без одной ноги до колена, Мингани—вообще без обеих ног. А всего к весне 1944 года из восьмидесяти трёх человек, которых дала фронту наша маленькая Старая Амзя, погибли семь и вернулись покалеченными одиннадцать мужчин. Говорили, что это ещё ничего, в иных деревнях погибло куда больше.

Долгожданная Победа

На Казанском авиационном заводе я проработала больше двух лет. О том, что кончилась война, мы узнали по радио. Так, как мы тогда радовались, мы не радовались больше никогда. В тот день, когда объявили о Победе, нам дали выходной, был митинг, а потом преподнесли и подарок: всех, кто желал, повезли на автобусах на городской аэродром покататься на самолёте. Но когда один за другим приземлились три самолёта с первыми пассажирами, они выходили из них зелёными, заплаканными, почти у всех девчат подолы платьев были мокрыми и скомканными—их тошнило. И тогда многие девчата, в том числе и я, когда до них дошла очередь грузиться в самолёты, отказались—перепугались очень: что с нас, деревенских, было взять, когда мы ещё совсем недавно лапти перестали носить? А с аэродрома нас всех теми же автобусами повезли в Казань на обед, в разные рестораны и кафе. Так мы отпраздновали Победу.

Но работа наша на заводе продолжалась, мы так же строили самолёты. Правда, рабочий день был уже восьмичасовой и трёхсменный, подъём у нас теперь был не в шесть, а в семь часов утра. Мы продолжали собирать самолётные двигатели. Двенадцатого октября 1945 года директор завода выступил по радио и сообщил, что нам начнут выплачивать зарплату: по пятьдесят процентов—деньгами, остальное будет идти на продуктовую карточку. Первая в моей жизни получка была сто двадцать пять рублей, и ещё двадцать пять рублей премии. Мы не знали, что делать с этими деньгами. Потом решили послать родителям в деревню по пятьдесят рублей. С первого декабря нам начали выплачивать заработную плату полностью. И начали давать отпуска—по восемнадцать дней! Составили списки; из нашего звена первыми в отпуск уходили три девчонки, в том числе и я. А всего в отпуск разрешили уехать сразу ста девчонкам. Я, перед тем как уехать домой, побывала у казанских дяди с тётей, они насовали мне гостинцев для всей родни. Потом я получила свои первые отпускные, и третьего декабря 1945 года на заводских машинах меня и ещё пятьдесят две девчонки повезли по домам (кому было дальше, те поехали на поезде). Дома меня не ждали, поэтому надо ли говорить, сколько было радости, слёз при встрече с родителями, родными, знакомыми? Эта радость пришла на смену печали, вызванной письмом из далёкого китайского города Чанчунь. Там лежал в госпитале мой брат Акрам. С восемнадцати лет его взяли в Красную Армию, и хотя война с немцами кончилась, он продолжал воевать в Корее с японцами, был пулемётчиком на мотоцикле, и его ранили в руку и ногу. Сам он писать не мог, писал по его просьбе хирург. Он сообщал, что нашему Акраму сделали операцию и скоро он выздоровеет.

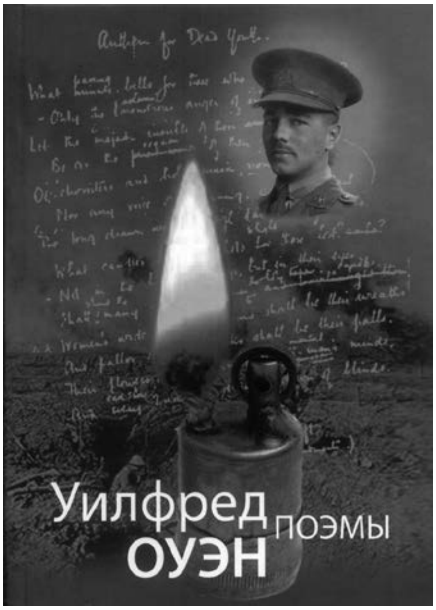
Вечером все сидели за столом у нас, меня расспрашивали, как там нам живётся в Казани, все удивлялись, какая я стала совсем взрослая и серьёзная (будешь тут взрослой, если с шестнадцати лет вкалываешь на таких работах, что иному мужику не под силу). Колхоз на семьи всех отпускников с Казанского авиационного завода выделил по десять килограммов муки, по пять килограммов

баранины и по три килограмма сметаны — чтобы мы хорошо отдохнули, отъелись дома и с новыми силами вернулись на завод. И двадцать первого ноября мы все уже были на заводской проходной — опаздывать было нельзя, да и никто не дал бы опоздать, за нами прислали машины. И снова — заливка, полировка и покраска моторов. Но так было до Нового года. С января 1946 года наш цех начал осваивать выпуск мирной продукции: наряду с моторами (а точнее будет сказать — шестьдесят на сорок процентов) мы стали отливать из алюминия и дюралюминия кастрюли, сковородки, кружки, одно-двух-трёхлитровые бидоны. Стране не хватало посуды, и мы её делали.

Весной 1946 года тяжело заболела моя мама, и мне разрешили уволиться с завода. Я помогала папе дома по хозяйству, да и колхоз меня тут же «прибрал к рукам». Я возила на паре быков солому для подстилки телятам, а потом семенное зерно с нурлатского элеватора — вот-вот должна была начаться посевная. В дороге до Нурлата и обратно нас сопровождали трое военных с оружием, потому что в лесах всё ещё бродили дезертиры. Я думала, что с мобилизацией уже всё покончено, ведь в стране шла хоть и всё ещё тяжёлая, но мирная жизнь. Но ошиблась: одиннадцатого мая 1946 года была снова мобилизована, на этот раз в Архангельскую область. Там мы выкорчёвывали пни на огромных лесных делянах, деревья с которых были спилены ещё до нас. Потом с этих пней спиливали корни, и их, уже ровненькие, вывозили в порт (уж не помню, как он назывался) и грузили на баржи. Нас, мобилизованных со многих концов страны, было очень много, и мы копошились на платформах, на которых привозили эти пни, на баржах, куда их перегружали, как муравьи. Говорили, что эти пни отправляют в Америку. Здесь я проработала всё лето и вернулась домой только в конце сентября 1946 года. Это и была моя окончательная демобилизация.

пос. Новый Ургал
Хабаровского края,
2006–2007

ДиН ревю



Уилфред Оуэн

Поэмы

Билингва, перевод с английского Евгения Лукина
СПб: Изд-во «Сезам-принт», 2012. — 112 с.

Уилфред Эдвард Оуэн (1893–1918) — выдающийся английский поэт. В годы 1-й мировой войны был командиром роты на французском фронте, награждён Военным крестом за мужество. Погиб накануне перемирия. Первый стихотворный сборник поэмы вышел посмертно в 1920 году. Наследие Оуэна оказало сильное влияние на английскую поэзию. В России творчество поэта осталось малоизвестным. Полный перевод сборника «Поэмы» ныне впревые осуществлён петербургским переводчиком Евгением Лукиным. Выход книги приурочен к 120-летию со дня рождения поэта-гуманиста.

Анатолий Вершинский

Князь Александр Ярославич на пути в Каракорум

Предисловие

…Туда, к потомкам Чингисхана,
Под сень неведомых шатров,
В чертог восточного тумана,
В селенье северных ветров!

Николай Заболоцкий.
«Рубрук в Монголии»

Владимирский великий князь,
был Ярослав как вождь и воин
на поле чести пасть достоин,
но жизнь его оборвалась—
от яда, поданного ханшей
Туракино́й,—намного раньше,
чем совладать сумел бы враг
с отважным князем в битве… Так,
руками матери, без шума,
в мир лучший из Каракорума
препроводил каан Гуюк
посланника от Бату-хана
(Батый, сославшись на недуг,
не прибыл чествовать каана,
не то бы и ему каюк).
…Отпев-оплакав Ярослава,
в Сарай наследники пришли:
два брата спорили за право
на трон отеческой земли,
при дедах их—почти монарший.
Батыю был по нраву старший:
«Ты держишь, Искандер-урус,
народы Рума в устрашенье.
Храни как страж и наш улус».
Но медлил хан принять решенье.
Меж тем, спеша закрыть вопрос,
гонец указ каана вёз.
Урусам жаловалась пайцза—
резцом чеканщика-китайца
надписанная бирка: с ней
князь Александр и князь Андрей,
не прерывая продвиженья,
сквозь всю империю могли
за ярлыками на княженья
проехать в новый центр Земли.
Но как долга, но как угрюма
дорога до Каракорума!

● ● ●

…они веруют, что огнём всё очищается;
отсюда, когда к ним приходят послы, или
вельможи, или какие бы то ни было лица,
то и им самим, и приносимым ими дарам
надлежит пройти между двух огней…

Иоанна де Плано Карпини,
архиепископа Антиварийского,
история Монгалов, именуемых
нами Татарами

1.

О монголах владетели Русской земли
знали больше, чем Плано Карпини…
Отчего же посланцы Руси не вели
путевых дневников на чужбине?

Или князь, отправляясь дорогой отца
далеко за родные погосты,
не велел дегтярям припасти для писца
золотой новгородской берёсты?

Иль кожевник не принял у княжеских слуг
драгоценный заказ на пергамент?
Или писарю-дьяку слагать недосуг
свой словесный славянский орнамент?

Пусть опишет, как в стане татарском звучат
то псалом, то буддийская мантра,
как степная тоска, будто масляный чад,
омрачает лицо Александра.

«Брате княже Андрей, не измерить Орды:
вот уж тысячи вёрст за плечами.
И повсюду начертаны знаки беды:
не пером и не кистью—мечами.

И не ими ли мечена светлая Русь?
И спасу ли отцовскую землю,
коль не ханам—гордыне своей покорюсь
и напрасную гибель приемлю?

Мы с тобою крестили чудскою водой
крыжаков, битых мной под Копорьем.
Только сравнивать рыцарский орден с Ордой—
это сравнивать озеро с морем.

Будто море, Великая степь на пути.
Но подвижница Русь терпелива.
По воде, яко посуху, сможет пройти.
Надо только дождаться отлива.

Не княженья ищу у царя степняков,
но отечеству—места под солнцем.
Под которым Изборск, и Копорье, и Псков
не достанутся хищным тевтонцам.

Вот и Полоцк на мне, Брячеславов удел,—
не Литве ж отдавать на поместья!
Знал, что делал, покойник-отец: приглядел
не жену мне—соратника-тестя».

II.

Князь умолк, вспоминая сябров-полочан—
храбрецов незлобивого нрава.
И казалось ему, что кочевничий стан
обращается в сад Брячислава.

И хозяйская дочь, ненагляда-княжна,
краше девок родного Залесья,
к Александру идёт. Как юна, и нежна,
и тонка, будто яблонька, Леся!

Лишь накидка, зелёная, словно листва,
чуть приподнята справа и слева,
будто яблоки все раздарила, а два
утаила за пазухой дева.

Молодой Ярославич взволнован и рад,
что венчальной короною завтра
оборонный союз двух земель утвердят
Александр и его Александра.

А потом и полюбится князю жена.
И с рождением каждого сына
всё родней и милей для супруга она.
Без неё—неотступней кручина…

В отношениях с близкими, тонких, как нить,
узелки расплетает разлука.
Даже радость, коль не с кем её разделить,—
не услада, а горькая мука.

От стрелы защитят боевые друзья,
от старения—малые дети.
Столько дивного создал Господь, но семья—
это главное чудо на свете!

И держава стоит на устоях семьи,
как на сваях небесного сплава.
Разорвёте ли кровные узы свои,
удалые сыны Ярослава?

III.

Много раз их отряд обновит коновязь:
селенгинские степи неблизки.
Повелит описать путешествие князь,
да монголы отымут записки.

Только память не в силах никто отобрать.
Он вернётся. И с верой святою,
как и встарь, учинит с крестоносцами рать;
как и раньше, поладит с Ордою.

Чтоб не знали набегов родные края.
Чтоб, оставив семейные драки,
дань ордынскую впредь собирали князья,
а не мытари ханов—баскаки.

Бог Орду переменит. Железной стеной
встанет Русь в единенье геройском.
Серебро, сбережённое княжьей казной,
обернётся испытанным войском.

«Между ярых огней не пройду невредим.
Но, сгорев, упасу, не порушу
между Западом злым и Востоком лихим
православную землю и душу».

Он оставит свой край меж враждующих стран.
Но беды не допустит Создатель:
житие Александра прочтёт Иоанн,
среднерусских земель собиратель.

И возьмёт Калита их скупые плоды,
не щадя ни себя, ни соседа,—
чтобы мир до поры выкупать у Орды
по примеру великого деда.

И Москву, по совету владыки Петра,
возвеличит Успенским собором:
Богородица к нам неизбывно добра
и конец полагает раздорам…

● ● ●

Сколько б миром ни правил закон барыша,
как бы ни было время лукаво,
о бессмертье своём не забыла душа,
о величии вспомнит держава.

1995–2013

Андрей Расторгуев

Левантийская лествица

I.

Работа у автопилота
непыльна: знай себе рули…
Живот большого самолёта—
зал ожидания земли.
Покуда в грудь аэродрому
не упирается шасси,
иному рому или брому,
бортпроводница, принеси…
Дай Бог и нам, равно Ионе,
свиданье с небом отменить
и напряжённые ладони
перед собой соединить,
чтоб их настойчивые стычки
прославили накоротке:
огнеопасные, как спички,
мы целы в белом коробке…

II.

Моря окраина,
луч фонаря посреди.
Медитерранеа—
будто и впрямь на меди:
позеленевшие лики
античных богов
смотрятся в тусклые блики
ночных берегов,
плоских от бремени
тысячелетий и войск…

Местному времени
жизнь моя—масло и воск:
каплей, на памяти
не отражаясь ничьей,
канет во пламени
солнца, лампад и свечей…

Давняя, данная,
манной меня не маня,
обетованная
эта земля не моя.
Но на прощание
в очередную волну
Медитерранеа
медную лепту метну.

III.

Я—только ячея,
зерно земного проса…
Какая толчея
на виа Долороза!
Искать нетленный след
зачем, скажи на милость,
где всё переменилось
за двадцать сотен лет?

За лавкою—лабаз,
исполненный соблазна,
и муэдзин намаз
вещает громогласно.
За древние дела
не ведают позора
сумятица базара,
мечетей купола…

Высок и не багров
над головою полдень.
Во храме вправду гроб—
да вправду ли Господень?
Не лжёт ли вещество,
означившее обок
цепочку остановок
мучительных Его?

Что грудью уловлю?
Что вырастет в итоге?
Чем жажду утолю
на каменной дороге?..
И снова путь Христа—
на веру и во имя.
Во Иерусалиме
такая суета…

IV.

Пахли миро и ветки мирта,
но сказал ожидавший их:
— Не ищите Его средь мёртвых,
а ищите среди живых…

Поэтическая омерта,
звон оружий сторожевых:
иногда поминают мёртвых,
а живых — на три ножевых.

Но — афера или оферта —
растворяется в дождевых:
не ищите меня средь мёртвых,
а ищите среди живых…

V.

Две статуи — от времени седые,
а поглядел — и словно осиян:
о Господи — какие молодые
Мария и апостол Иоанн!

Художество иное — дело вкуса,
но истинное ломится под дых:
выходит, что земного Иисуса
история — она про молодых…

Не потому ли, не увековечен
в соблазну отвечающей плоти,
всё больше молодых красивых женщин
с годами я встречаю на пути?

Разбрасываю камни и плоды я,
мне сердце распирает океан.
Но, Боже мой, — какие молодые
Мария и апостол Иоанн…

VI.

Эне, бене, рики, бос,
прятки-перепрятушки…
Сидит босенький Христос
на руках у матушки.

Из объятия Её —
тёплого, охранного —
видит острое копьё
да крыло архангела.

— Мама, мамочка — не лгу:
вот что будет далее…
Потерялась на бегу
левая сандалия…

Что сулится, может быть —
бронью не оденешься.
Выходи — тебе водить.
От судьбы не денешься.

Но пока не отрешу
на дорогу лютую,
дай согрею, отдышу
ножку необутую…

VII.

Ни эллина, ни иудея —
литая словесная связь…
Здоровая вроде идея,
а всё-таки не прижилась.

Немногое сонную совесть
больнее берёт за живьё,
чем эта еврейская повесть
во всех вариантах её.

Но каждый крещёный народец,
своё различая с небес,
рисует глаза Богородиц
на собственный лад и разрез.

И русский душевнее верит
и молится: «Боже, прости…» —
во храме у моря Кинéрет
во имя двунадесяти.

Когда б, о несходстве радея,
мы тем исчерпались дотла…
Старинная вроде идея:
ни эллина, ни иудея —
а всё-таки не умерла.

VIII.

Елене Князевой

Разум и вера в ссоре, пока века
в Мёртвое море течёт Иордан-река.
В зеленоватой мути её пучин
отсвет небесной сути неразличим.
Даже в рубахе белой и наготе:
падает луч на тело — а в темноте…

Он погодя пробьётся — неявный свет,
если в душе найдётся небесный след,
если в сердечной стыни в солёный год
не расплескаешь ты иорданских вод,
где, огибая глыбы, глотая ил,
моет нам ноги рыба Эммануил.

Николай Переяслов

Ветер с Востока

Роман-наваждение

Империя, очнись! Душе покоя нет.
Там Азия грядёт. А здесь смердит Европа…
Империя, проснись! Тебя зовёт поэт.
И гимн остался твой, и войск потешных рота.
<…>
Империя, очнись! Я чую холодок,
Что тянет по ногам из Караван-Сарая.
Империя, вернись! Я верный твой ходок.
Толмач царям зверей и ангел твой вне рая…

Игорь Тюленев,
газета «Завтра»
№39 от 26.09.2012

Я просто, как и миллионы людей, от
власти жду только одного—власти.

Валерий Казаков,
«Литературная газета»
№39 за 3–9.10.2012

1.

Духота в купе была нестерпимой. Проводницы, заразы, чтобы дать себе возможность спать, не беспокоясь о печке, забили топку углём под самую завязку, так что температура в вагоне поднялась выше, чем в хорошей бане. Вдобавок ко всему в воздухе висел невыносимо густой водочный дух, исходивший то ли из невымытых стаканов, то ли прямо из храпящих ртов двух моих весёлых попутчиков, пивших накануне практически с самого утра и до глубокой ночи. Надо было, наверное, и мне накатить с ними пару стаканов перед сном, тем более что они чуть ли не силой предлагали мне присоединиться к их сабантую; тогда бы сейчас я тоже дрых себе без задних ног и ни на какую жару не обращал внимания. А так теперь мучайся всю ночь…

Короче, я не выдержал: спихнув с себя липкую от пота и сбившуюся в комок простыню, осторожно свесил с верхней полки голые ноги и, сдёрнув по пути с сетчатой вешалки лёгкие дорожные штаны, спустился на пол. Наугад нашарил ногами тапочки, обулся, нашёл на краю стола свою бутылку негазированной «Аква Минерале» и, жадно присосавшись к ней, сделал несколько долгих, точно затяжные прыжки, глотков абсолютно не утоляющей жажды тёплой воды, и только почувствовав, что вот-вот задохнусь от нехватки воздуха, оторвал губы от горлышка и глубоко вздохнул. И тут же в этом сильно раскаялся. Проспиртованный, как в подвале винодела, воздух мгновенно заполнил мои рот, нос и гортань отвратительным липким привкусом, до такой степени опалив при этом содержащимися в нём спиртными парами мои обонятельные и вкусовые рецепторы, что меня чуть не вырвало, хотя я ничего накануне, кроме бутылки «Клинского» пива под кусок жареной курицы, не пил. И то—это было ещё вчера днём, незадолго до Красноярска, когда за окном было совсем светло. Мужики мои, помню, как раз тогда за очередной партией водяры в вагон-ресторан попёрлись, и их там чуть было не ссадила с поезда транспортная полиция. Наша проводница ещё бегала туда разбираться, билеты, что ли, носила. Не знаю уж, как там мои пьянчужки выкручивались,—наверное, на лапу ментам дали, чтоб те их отпустили. Но ведь уладили, блин, дело, да ещё и водку каким-то чудом раздобыли и, вернувшись в купе, опять принялись пьянствовать. Это было уже совсем перед самым Красноярском. Проводница потом их целый час ещё материла на весь вагон, обзывая всякими обидными прозвищами. «Говно вам через тряпочку сосать, а не водку стаканами дудлить, мудохлёбы сизоносые!»—со злостью выкрикивала она всякий раз, когда проходила по коридору мимо нашего купе, так что частично эти её залпы попадали как бы и в меня тоже. Чтобы не чувствовать себя при этих её словах виноватым, я улёгся на своей верхней полке животом вниз, и до тех пор, пока окончательно не стемнело, смотрел на пролетающие за оконным стеклом, сменяющие друг друга сибирские пейзажи и пристанционные посёлки… Глядя на мелькающую за окном панораму с ещё не сошедшими с полей пластами потемневшего мартовского снега, я неожиданно для себя снова начал сочинять куски каких-то никогда мною до конца не дописываемых стихотворений, вроде четверостишия: «Спят под небом синим белые поля. Всё это—Россия, Родина моя…» Похожие рифмованные строчки я мог бы тянуть из себя километрами, но из-за того, что

они не поднимаются выше уровня множества аналогичных стихов других авторов, которые я видел за свою жизнь опубликованными в разных газетах и журналах, мне в один из моментов стало неинтересно дописывать их до конца, и я, честно говоря, запретил себе изводить бумагу на это ненужное занятие. Хотя иногда, под воздействием дорожных или иных впечатлений, поэзия всё же стучалась в мою душу, как стучатся в ночное окно костяшками согнутых пальцев, строчками из каких-то не развиваемых мною до конца идей, размышлений и сюжетов. Будучи почти никогда не записываемыми мною, эти куски так же легко, как приходили, и уходили, навсегда стираясь из моей памяти, но некоторые почему-то всё же оседали в ней, точно случайно завалявшиеся в ящике письменного стола кусочки исписанной бумаги. Но я с этим, впрочем, особенно серьёзно и не боролся. Наверное, это тоже зачем-то было необходимо, раз уж Господь распорядился, чтоб я это не забывал?..

У меня такое ощущение, что поэзия просто висит над землёй, как дождевые облака, и, попадая иной раз в такую поэтическую зону, душа оказывается орошённой ею, точно «слепым» летним дождичком. А выехал из-под такого «облачка»—и опять «сухой», опять говоришь и мыслишь прозой.

Вот и вчера, проезжая мимо какой-то случайной станции, у которой я даже не разглядел названия, и готовясь как раз съесть свою курицу с пивом, я посмотрел мимоходом за окно и увидел неподвижно сидящего на перевёрнутом ящике у входа в станционный буфет высохшего до кирпичного цвета скуластого старика, образ которого тут же отозвался во мне не имеющим ни начала и ни конца четверостишием: «И, как земля, растресканный и древний, сдувая снег с недвижного лица, сидит старик перед буфетной дверью—точь-в-точь как пёс у барского крыльца...»

А перед самым вечером, когда по окну вдруг когтисто заскреблась запоздало разошедшаяся мартовская метель, у меня родилась ещё одна, на этот раз почти законченная миниатюра о белых равнинах, пурге и зиме, опирающаяся на какую-то несвойственную мне «анархическую» образность:

Ну зачем это вроде мне—
всё снега да снега?
Как махновцы, по Родине
разгулялась пурга!

Мчится белая конница—
не рассмотришь копыт!
Только свист за околицей,
затухая, висит...

Впрочем, всё это было ещё днём, когда зрительные образы в проносящихся вдоль вагона пейзажах были ещё хорошо различимы для глаза и рождали в душе какие-то определённые поэтические ассоциации. Сейчас же к стеклу купейного окна плотной чёрной занавеской прилипла глубокая мартовская ночь, в вагоне все уже давно спали, кругом стояла горячая вязкая тишина, нарушаемая только ритмическим стукотом колёс под вагоном, и, нащупав тёплую металлическую ручку, я отодвинул в сторону недовольно лязгнувшую дверь купе и вышел в коридор.

Там было пусто и практически так же жарко, как и в купе. С ожесточением подёргав вниз ручку оконной рамы, я попытался хотя бы ненамного опустить боковое стекло, но из этого ничего не получилось—рамы в наших поездах завинчивают на зимний период длинными стопорными болтами, которые можно вывинтить из их гнёзд только специальными торцовыми ключами с трёхгранными головками, поэтому открыть вагонные окна до середины мая (а то даже и июня), пока их не развинтят слесаря в ремонтно-экипировочном депо, практически невозможно.

Оставив дверь своего купе распахнутой в надежде, что таким образом из него хотя бы частично выветрятся водочные испарения, я побрёл в конец коридора и, миновав небольшой отапливаемый «предбанничек» перед туалетом, занятый по утрам очередью пассажиров с наброшенными на шею полотенцами, а несколько позднее—бреющимися возле единственной розетки мужчинами, вышел в холодный тамбур—тот, где обычно коротают дорожную скуку курильщики. Сейчас он был пуст, запаха табака в нём почти не ощущалось, и, оставив обе двери за собой раскрытыми настежь, я распахнул ещё и дверь в наполненный грохотом колёс и лязганьем буферов межвагонный переход-гармошку, рассчитывая, что врывающийся сквозь него с улицы холодный мартовский воздух хотя бы ненадолго освежит мартеновский жар вагона.

Поднеся к глазам руку с часами, я посмотрел на время. Стрелки показывали ровно четыре часа ночи (или правильнее сказать—утра?), буквально секунда в секунду. Отвечающая за творческую деятельность левая часть моего мозга тут же прореагировала на получение этой ни о чём вроде бы не говорящей информации неким вполне терпимым в версификаторском плане, но весьма трудно объяснимым с точки зрения здравой логики куплетом, дублирующим мотив одной довольно популярной когда-то песенки о начале Великой Отечественной войны: «Двадцать девятого марта, ровно в четыре часа, новый мессия вторгся в Россию, и началася буза». Испытав на себе магическое действие поэтического зуда, я уже давно знаю о том, что магнитное поле рифмы обладает способностью притягивать к себе даже те слова, которыми ты никогда до этого не оперировал и, казалось бы, не собирался пользоваться ими в ближайшую тысячу лет, так как даже в принципе не думал говорить

о тех смыслах, которые они собой выражают, и всё равно я не перестаю удивляться тому, откуда вдруг выныривают строчки, несущие в себе будто бы продиктованную кем-то свыше (если только — не из инфернальных бездн!) информацию. Ну вот слово даю, что не думал я в те дни ни о каком таком мессии, даже вот и на полстолечко не думал, да, честно говоря, и о самой России в то время я тоже не думал и думать не собирался! Трясясь уже, считай, вторые сутки в пропахшем носками и водкой поезде в компании с двумя безостановочно пьющими попутчиками, я устало смотрел через грязное стекло на меняющиеся по мере продвижения от Читы к Уралу пейзаж и климат и невольно вспоминал оставленные мною в распадках и сопках Забайкалья два десятилетия собственной жизни.

2.

Когда меня случайно занесло в эти дикие края, я думал, что задержусь здесь от силы на один-два полевых сезона, и не более. В то время я ещё серьёзно помышлял о поэтической славе и верил нашим литературным мэтрам, которые с трибун всевозможных писательских съездов и пленумов говорили о том, что начинающий писатель обязательно должен поездить по стране, поработать на «стройках века» и узнать жизнь рядового человека труда не по чужим книгам, а, так сказать, изнутри самой жизни. Правда, сами-то они ездили по всем этим стройкам, главным образом, в бесплатных агитпоездах, жуя под коньяк бутербродики с красной икрой да поглядывая на эту жизнь с её парадного подъезда, тогда как мне ради осуществления их рекомендаций приходилось то и дело увольняться с одного рабочего места и ехать за тридевять земель устраиваться на другое. Но никто меня ни на одном из этих мест особенно не дожидался и ничего хорошего там для меня не заготавливал, поэтому так и получилось, что, дожив до сорокалетнего возраста, я всё ещё не имел ни своего собственного угла, куда бы мог возвратиться после своих скитаний и осесть для нормальной семейной жизни, ни хотя бы каких-нибудь серьёзных накоплений, которые бы позволили мне такой угол приобрести или, на крайний случай, хотя бы съездить на пару месяцев куда-нибудь под Феодосию да по-человечески там отдохнуть на горячем песочке.

Лет восемнадцать или двадцать тому назад, когда я — тогда ещё и сам двадцатилетний — в поисках воспетой племенем идиотов с гитарами таёжной романтики впервые сошёл с поезда на освещённом лучами апрельского солнца перроне читинского вокзала, меня здесь не встречал абсолютно никто, кроме коротконогого и непропорционально крупноголового Ленина, стоящего на выкрашенном тёмной краской пьедестале в скверике за вокзальным зданием. Поприветствовав Ильича оптимистическим взмахом руки, я прошагал мимо него в копошащийся, точно щенячий выводок в старой корзине, расположенный в чаше между сопками город и, отыскав неподалёку от вокзала контору производственно-геологического объединения «Читагеология», оформился там маршрутным рабочим в одну из уже готовившихся выехать в тайгу поисково-съёмочных партий. Правда, недели полторы мне всё-таки довелось ещё пожить в ожидании выезда в небольшой третьесортной гостинице «Берёзка», расположенной на соединяющемся посредством моста с основной частью города Большом острове посреди речки Ингода, перебиваясь эти дни на остававшиеся у меня после пересечения всей России копейки с кильки на сайру (в те годы это ещё было возможно); но в первых числах мая я уже ставил палатку на берегу одного из притоков исхоженной некогда неистовым протопопом Аввакумом речки Нерчи. Не помню уже точно, как называлась эта еле струящаяся в отсутствие дождей под тёмно-зелёными от покрывающего их мха камнями речушка, — то ль Бугаричи, то ль Бугачача; их за эти промелькнувшие годы было на моих путях-дорогах настолько много, что они слились в памяти в некую огромную безымянную речищу, разветвляющуюся на множество скользящих между кустов, деревьев и скал серебристых русел, напоминающих собой какого-то извивающегося тысячей гибких шей чудовищного змея, грозно сверкающего чешуёй рокочущих по каменным перекатам волн.

Первое лето я просто таскал за геологом Мишей Озерянским большой рюкзак, в который он складывал мне отколупываемые молотком от скал камни, помечаемые приклеенными к ним кусочками лейкопластыря с выведенной на них шариковой авторучкой маркировкой, да мешочки с насыпаемыми в них пробами грунта. Выросший среди донбасского безлесья с его редкими абрикосовыми посадками да заиленными угольным штыбом прудами, я впервые в своей жизни видел вокруг себя буйство забайкальской тайги с синими от голубики многокилометровыми марями, алыми от земляничных полян и оттого будто облитыми кровью склонами сопок, высокими длинноиглыми кедрами с шастающими по их стволам любопытными белками, фантастически сверкающими среди изумрудно-зелёной тайги глыбами не тающих до сентября рафинадно-белых наледей, клокочущими и бугрящимися на перекатах реками, сползающими по горным склонам огромными каменными россыпями-курумами и другой первозданной экзотикой. Здесь я впервые попробовал на вкус сырую оленью печёнку, свежепосоленного хариуса, копчёную медвежатину, жареного глухаря и неразведённый семидесятиградусный спирт. И всё это мне не просто

понравилось, но настолько пришлось по сердцу, как будто я уже жил всем этим в какой-то из своих прежних жизней и теперь всего лишь только возвратился сюда после долгой отлучки.

Самое сильное впечатление на меня производили рассветы. Чтобы успеть пройти хотя бы половину маршрута до той поры, когда наступит жара и воздух наполнится тучами гудящего, кусающего и жалящего гнуса, мы просыпались задолго до восхода солнца, быстро пили чай и выходили в дорогу. Рюкзак мой в начале маршрута был ещё пуст, воздух свеж, комары, мошкара и пауты пока что спали, и мы легко проходили несколько маршрутных километров, сверяя свой путь с компасом и картой, пока не останавливались передохнуть и выкурить по сигаретке на вершине одной из сопок. В распадке под нами густым белым потоком медленно плыл туман, в вершинах деревьев стрекотали и вскрикивали какие-то невидимые нам птицы, а на востоке ярким костром разгоралось зарево рассвета. И вот—над кромкой горизонта появлялся огненный венец восходящего светила. Казалось, что оно преодолевает какое-то страшное сопротивление, вырываясь из цепких лап ухватившегося за него снизу огромного чудовища,—с таким трудом оно выползало из обрывающейся там, на горизонте, пропасти, пока, наконец, не показывалось над её краем целиком, во всём своём величии. Наступающий за этим момент я не забуду никогда в своей жизни; увидев его первый раз, я подумал, что с Землёй случилось что-то страшное—типа того, что она сорвалась с тормозов, и сейчас нас всех, словно детвору с чрезмерно раскрученного круга карусели, снесёт с неё центробежной силой и расшвыряет в околоземном пространстве. Сначала я просто не без изумления заметил, как прямо на моих глазах начинает быстро увеличиваться щель пустоты между линией горизонта и нижним краем солнечного диска, а затем, словно бы оборвав какую-то последнюю из удерживавших его растяжек, солнце резко дёрнулось вперёд и стремительно понеслось ввысь, к центру небесного свода. Я, конечно, и до этого замечал, как светило движется по небу, проделывая свой ежедневный путь от восхода до заката, но чтобы оно неслось с такой ужасающей скоростью—такое я видел впервые, это я честно говорю. Сидя на вершине сопки и глядя на улетающий к зениту брызжущий огненными искрами шар, мне казалось, будто я слышу, как где-то глубоко подо мной гудят огромные маховые колёса и вращаются невидимые глазу шестерни, всё быстрее и быстрее разгоняющие массу Земли навстречу восходу. Я отчётливо ощущал, как пригретая моим задом сопка с умопомрачительной скоростью несётся к сияющему впереди солнечному кругу, и, чтобы не свалиться с неё, инстинктивно схватился рукой за оказавшуюся рядом со мной берёзку…

Незаметно наступила осень; мы свернули свои палатки, погрузили ящики с пробами на вездеход и вывезли их на главную базу, складировав там до поры под навесом, а сами через несколько дней выехали в районный центр Кыкер, откуда на допотопном самолёте Ан-2 улетели в Читу. Заработал я, как стало ясно возле кассы, отнюдь не так много, как это представлялось мне, когда я весной устраивался на работу, и пока я, обмывая завершение полевого сезона, погулял с невесть откуда появившейся у меня вдруг толпой друзей по читинским кафе, ресторанам и чьим-то квартирам, возвращаться домой, на «Большую землю», мне было уже, откровенно говоря, не с чем. Тогда как раз начиналась эта грёбаная перестройка, и отпущенные либералами цены на всё, включая билеты на поезда и самолёты, понеслись вверх с ничуть не меньшей скоростью, чем взлетающее над сопками солнце; так что, почесав свою отросшую впервые в жизни бородёнку, я потащился назад в «Читагеологию» и умолил начальника одной из геолого-съёмочных партий оставить меня на зиму на камеральные работы. Дело в том, что до своего хождения в маршрутные рабочие я успел два с половиной года проучиться в Московском горном институте на факультете подземной разработки угольных месторождений, где нам преподавали и геологию, и минералогию, и кристаллографию и где мне приходилось делать множество курсовых и контрольных работ, красиво вычерчивая всякие там разрезы земной коры, пока меня не исключили за провал зимней сессии. Вот для подобной работы меня и оставили на зиму в штате геолого-съёмочной партии, выделив в камералке большой стол, на котором я должен был чертить разрезы буровых колонок, а также исхлопотав для меня у руководства объединения место в одноэтажном бревенчатом общежитии на улице Угданской. Но сначала, увидев, что в Забайкалье нагрянули настоящие зимние морозы и лёд сковал не только трудно преодолимые ранее для автомашин болотистые участки почвы, но и реки, превратив их в ровные белые дороги, меня с Озерецким опять отправили на нашу кыкерскую базу, чтобы мы погрузили там на машину ящики с пробами и отправили их в Читу, в нашу минералогическую лабораторию.

3.

Так началось моё вживание в геологический быт, обернувшееся в итоге тем, что после окончания следующего полевого сезона мне предложили остаться работать в партии завхозом. Думая, что эта работа сможет оставлять мне намного больше времени для моих писаний, чем корпение над вычерчиванием шлиховых колонок или таскание рюкзаков и ящиков с камнями, я бездумно согласился на это показавшееся мне заманчивым предложение и тем самым поставил окончательный

крест на своих творческих порывах. Мысли о постоянном пополнении запасов сапог и портянок, муки и тушёнки, телогреек и дизтоплива в два счёта вытеснили из моей головы обитавшие там ранее рифмы и сюжеты, заменив их сочиняемыми мной заявками на сверхлимитное получение продуктов и составлением годовых и квартальных отчётов. Да плюс ещё на меня были возложены заботы по найму рабочей силы для рытья канав, шурфов и таскания отбираемых геологами проб—то есть поиск максимально выносливых и минимально спившихся бичей из числа тех, что в несметном количестве появлялись весной на читинском железнодорожном вокзале. И только время от времени, когда заканчивалась зима с её вечной суетой и выбиванием продуктов и снаряжения и всё необходимое, включая еду, спецодежду, горючее и людей, было в конце концов получено, нанято и завезено на таёжную базу, разбито по отрядам, укомплектовано и разбросано с вертолётов по своим участкам, а я наконец-то оставался посреди бескрайней тайги один-одинёшенек, я вспоминал о том, как ещё во время заезда сюда я случайно зашёл в библиотеку проезжаемого нами райцентра и набрал там кучу списанных книг и журналов, которые так и лежали всё это время в углу склада, где я их бросил в день прибытия. И, притащив к себе в зимовье стопку запылившихся журналов «Сибирь» или «Сибирские огни», я падал на застеленные кошмой и спальным мешком самодельные жердевые нары и окунался в ритмы написанных—увы, не мною!—стихотворений:

Мы стояли в хакасской долине
у подножья Саян,
азиатской земли посредине,
где степной океан,
в лунобоких холмах заплутавши—
только травы да снег,—
в тишине, в удивлении даже
завершал свой разбег.

Здесь раскосые лики на камне
окликали судьбу,
хищный месяц вослед за волками
выходил на тропу.
Бог небесный в сиянии русом
здесь жену познавал—
между Чёрным и Белым Июсом
в брачный дол кочевал…

То, что Чёрный Июс и Белый Июс—это хакасские реки, дающие начало Чулыму, я уже от кого-то из работавших в тех местах бичей или геологов слышал; встречал я также в журналах и имя поэта, написавшего эти строки,—Владимир Берязев. Мне нравилось свободное, точно сам сибирский ветер, дыхание его стихов, наполненное какой-то полуказацкой-полуордынской удалью и предчувствием близкого похода (а нередко—и близкого же исхода). В таком же постоянном предощущении похода жил все эти годы и я, в начале каждого сезона наивно говоря себе, что уж этот-то год будет последним годом моих скитаний и, сдав осенью отчёт, я в конце концов возвращусь к цивилизованной жизни, в которой нет ни комариных туч, ни торчащих под спальным мешком сучьев, ни раскинувшейся на сотни километров вокруг тайги с гуляющими по ней медведями-шатунами да потерявшими от голодных скитаний рассудок беглыми зэками…

Но после каждого полевого сезона, будто подсылаемая некими тайными силами, обязательно появлялась какая-нибудь необычайно уважительная причина для того, чтобы снова хоть ненадолго задержаться,—только-только я, к примеру, собрался написать заявление об уходе и подготовил базу для сдачи потенциальному преемнику, как умер взявший меня когда-то на работу начальник партии, и я не мог поступить по-свински и уехать, не похоронив его и не дождавшись, когда на его место назначат нового. Но потом пришёл этот новый начальник, и надо было помочь ему подготовить партию к началу будущего сезона—ну не мог же я, проработав бок о бок с людьми несколько лет, повернуться к ним спиной и сказать: «Всё! Следующим летом будете питаться берёзовой корой и сыроежками, потому что я вас бросаю». Нет, кого-нибудь на моё место наверняка бы, в конце концов, подыскали, но пока бы он разобрался в том, что да как надо делать, пока выписал бы да получил необходимые продукты и спецодежду, могла наступить весна, поплыть зимники, а то и вскрыться реки—ну а уж если на Нерче, Шилке и Олёкме потемнеет лёд и появятся промоины, то о завозе можно забыть, потому как главные дороги в Забайкалье—это именно реки, когда они скованы морозом. С весны же доставка людей и грузов в тайгу возможна только вездеходами или вертолётами, но это и дорого, и неэффективно, так как для доставки того количества груза, который я завозил в кузове одного ГАЗ-66, надо делать несколько вертолётных рейсов, на которые уходит страшная уйма времени и, само собой, ещё больше денег. Поэтому сначала я задержался, чтобы помочь новому начальнику обеспечить до весны завоз еды и снаряжения, потом выехал с ним в поле, чтобы снарядить там каждый геолого-съёмочный отряд, а позднее—уже после окончания этого сезона, когда я думал сразу же по возвращении в Читу купить себе билет и улететь в Москву, куда меня давно звал друг детских лет Лёха Рыжиков,—у нас застрял посреди тайги вездеход, на котором мы вывозили с базы ящики с пробами. В том году мы работали уже не на Нерче, а в Тунгиро-Олёкминском районе, откуда надо

было сначала добраться до станции Могоча, а уже оттуда отправить груз по железной дороге в Читу или, если не получится, оставить его до морозов в самой Могоче, где у нас была перевалочная база, ну а когда льды скуют как следует бурлящую Шилку, тогда уже вывезти необходимые вещи и пробы по реке автомашинами. Но провалившийся сквозь молодой лёд вездеход накрепко засел в небольшой речушке с глубоким узким руслом, и нам пришлось несколько суток дежурить возле него, разбивая образующийся в реке лёд, чтобы он не раздавил собой двигатель, как консервную банку. Ночевать всё это время приходилось хоть и у костра, но прямо на холодной земле, так как мы планировали за сутки добраться до Могочи и по этой причине спальные мешки с собой с базы не брали. Поэтому, когда к месту аварии наконец-то прислали вертолёт, доставивший специалистов с домкратами и лебёдками, я уже вторые сутки горел в сорокаградусном жару, глухо кашляя и хрипя распухшим горлом. Этим же вертолётом меня отправили в Могочу и поселили в гостинице для командировочного начальства, приставив медсестру с автобазы, где мы арендовали вездеход, и благодаря её круглосуточным стараниям я дней через десять встал на ноги и смог возвратиться в Читу. Пока я там окончательно приходил в норму и восстанавливал силы после внезапной болезни, позвонили из Могочи и сообщили, что вездеход вызволен из плена и находится уже в Могоче, так что надо, чтобы кто-нибудь срочно приехал и занялся его разгрузкой, поскольку водитель этого делать не собирается. Пришлось мне брать с собой одного молодого техника-геолога и ехать с ним опять в Могочу для разгрузки вездехода. А чуть позднее встали закованные в лёд реки, и нужно было опять ехать в эту надоевшую мне Могочу, чтобы перевезти из неё в Читу оставленные там ящики с пробами…

И что-нибудь похожее на это происходило практически из года год, пока я в конце концов не понял, что если именно вот в этом, текущем сейчас через мою судьбу, точно разлившаяся река через долину, году я не разорву эти бесконечные путы и не покину Забайкалье, то я из этих мест уже никогда и никуда не уеду. Так как не будет уже не только смысла, но и самих возможностей для этого. Нашу геолого-съёмочную партию, считай, и так уже давно собирались закрыть, да потом в самый последний момент почему-то передумывали и опять направляли на полевые работы; но вот уже несколько лет как мы выезжали в тайгу с почти втрое сокращённым составом, заработки съехали к смехотворным суммам, и мы не умирали с голоду только потому, что с конца мая до начала октября находились на своих геологических базах, питаясь добытой в тайге дичью, пойманной на перекатах рыбой, собранными и засоленными грибами да таёжной ягодой, и только в октябре, а иногда так даже и в ноябре получали заработанные за все эти месяцы деньги, которые хотя бы таким образом скапливались в более-менее напоминающие былые заработки суммы.

Понятно, что при таком положении дел нам всё труднее и труднее становилось подыскивать и нанимать на работу проходчиков канав, шурфовщиков, шлиховщиков, маршрутных рабочих и даже поваров, готовых ради весьма-таки незначительных денег отправиться на целое лето в глухую степную или таёжную глухомань, где нет ни цивилизации, ни водки, а только кедры, лиственницы, комары да никогда не заканчивающаяся работа. Романтика советской поры канула в прошлое, и в геологию теперь шли только от полной безвыходности — те, кому в силу той или иной жизненной необходимости просто некуда было больше деваться. Как, например, Вадиму, для которого укрыться на два полевых сезона в недоступных для прокуратуры забайкальских просторах было просто настоящим и едва ли не единственным спасением. Куда бы он ещё, спрашивается, сумел пристроиться, не имея ни военного билета, ни паспорта, ни хотя бы элементарной справки об освобождении? Это он в первые дни нашего знакомства, когда я только согласился взять его к нам на работу, мог вешать мне лапшу на уши, рассказывая об украденных у него на читинском вокзале деньгах и документах, но уже меньше чем через неделю я знал о нём больше, чем он мог себе предположить. По крайней мере, всё то, что было о нём написано в разосланной по всем районам области милицейской ориентировке.

4.

В тот год мы уже второй сезон работали на территории Агинского Бурятского национального округа, занимающего южные территории Читинской области, большая часть которых представляла собой не традиционную сибирскую тайгу, а либо голые холмистые степи с торчащими из этих холмов скальными образованиями, либо массивные горные хребты, только северные склоны которых были покрыты лесом. Наша база располагалась в черте национального заповедника «Алханай», в двухстах километрах южнее Читы. Добираться сюда приходилось немного окольным путём: сначала по железной дороге до станции Мойгойтуй, затем по вполне цивилизованному шоссе до районного центра Агинское, а уже оттуда, по всё более и более ухудшающейся и в конце концов почти окончательно теряющейся дороге до небольшого села Иля, к западу от которого и возвышалась самая высокая на территории Агинского Бурятского национального округа гора Алханай. Её высота — 1665 метров над уровнем моря, и эта вершина неразрывно связана с историей буддизма и именем

Чингисхана. Дело в том, что Алханай — это одна из очень значимых святынь северного буддизма, приверженцами которого являются забайкальские буряты. На горе Алханай находится обитель божества Демчог, что в переводе с тибетского языка означает «Вечное благо». Легенда гласит, что когда-то на её вершине стоял дозор воинов Чингисхана. На Алханае находится двенадцать святынь. Самая почитаемая из них — Уудэн Сумэ, что в переводе на русский язык означает «Храм Ворот». Эта созданная природой в скале арка образует, по мнению лам, некий канал, связывающий наш мир с волшебной Шамбалой. Тропу, по которой паломники идут к храму, ограждает почти метровый каменный бруствер, образованный камнями, которые паломники поднимают с тропы и откладывают в сторону, облегчая тем самым путь идущим вслед за ними. Под аркой находится субурган — небольшая буддистская ступа.

Когда я узнал, что мы будем работать на Алханае, я специально ходил зимой в Читинскую областную библиотеку, чтобы выписать себе в блокнот сведения о месте, где нам предстояло провести четыре ближайших года. Я даже не ожидал, что узнаю там так много интересного. К примеру, сидя как-то раз в читальном зале, я прочитал в одном из справочников, что санскритское слово «ступа», по всей вероятности, родственно русскому слову «ступать, ступить». (При этом мне почему-то сразу вспомнились пушкинские строки про «ступу с Бабою Ягой», которая «идёт-бредёт сама собой».)

Считается, что Храм Ворот незримыми нитями связан с островом Ольхон на Байкале, по-видимому — через четвёртое измерение.

По словам двадцать девятого Пандито Хамболамы России Дамбы Аюшеева, Алханай заряжает позитивной энергией уникальную природу здешних мест, а его целебные источники помогают всем страждущим независимо от того, какую веру они исповедуют. Это место считалось священным у местных жителей уже за много тысячелетий до принятия буддизма. Тогда здесь торжествовала древнейшая религия солнцепоклонничества, которая называлась «бон» и которую, как я слышал, исповедовал даже сам Чингисхан. Помимо дающего всем жизнь небесного светила, приверженцы этой религии поклонялись величественным природным объектам — горам, озёрам, скалам, целебным источникам. То есть не пытались создавать себе искусственные храмы до небес, конкурируя с величественными сооружениями природы, а поклонялись тому, что создано в процессе образования Земли ею самой и её Создателем.

Как бы то ни было, а сила Алханая была неимоверна. Достоверно известно, что ещё в девятнадцатом веке здесь успешно лечили людей, укушенных бешеной собакой или волком.

Впрочем, как утверждали источники, Алханай славился не только Храмом Ворот, но и целым рядом других не менее священных для верующих мест и объектов. Такими, к примеру, как «Щель грешников», протиснувшись через которую, согрешивший человек якобы полностью очищается от грехов. Или же как пещера Эхын Умай, переводимая на русский язык как «Чрево матери», которая помогает бездетным семьям обзавестись потомством. Есть масса свидетельств того, как после посещения этой пещеры в семьях обязательно рождались дети…

Как раз на пути к Алханаю, в посёлке Агинское, где мы остановились, чтобы арендовать у местной автобазы старый армейский вездеход для развоза групп по участкам, мне и показали в местном РОВД радиограмму, в которой приводилось описание внешности Вадима и говорилось, что это — опасный рецидивист и убийца, бежавший из мест заключения после срочной операции аппендицита, ради которой он был временно переведён из исправительно-трудовой колонии ЯГ-14/10 города Краснокаменска (той самой, где отбывает срок своего заключения бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский, посаженный за укрывание своих доходов от налогов) в хирургическое отделение располагающейся в том же самом Краснокаменске областной больницы №4, где его успешно и прооперировали. В то время в больнице как раз вовсю шла подготовка к открытию подаренной ей местным предпринимателем Бексельбергом немецкой холодильной камеры для карантинизации донорской крови вместимостью две с половиной тонны, на пуске которой должно было присутствовать высокое медицинское начальство из Читы, руководство Краснокаменской районной администрации, а также представители немецкой компании-производителя и нашей пусконаладочной фирмы «Медикс». Краснокаменск — город аварийноопасный, с довольно высоким производственным травматизмом и повышенной заболеваемостью населения. Большая часть дееспособных краснокаменских мужиков работает на главном предприятии города — Приаргунском производственном горно-химическом объединении ОАО «ППГХО», являющемся одним из крупнейших в мире (и уж точно самым крупным в России) уранодобывающим предприятием. А это значит, что на ставшие традиционными для российских шахт и рудников подземные взрывы, обвалы и пожары, по нескольку раз в год калечащие местных горняков, здесь накладывается ещё и разрушительно влияющее на их организм облучение, испускаемое добываемыми ими на краснокаменских рудниках урановыми рудами. Поэтому пуск холодильной камеры имел в буквальном смысле слова жизненно важное для краснокаменцев значение, и потому

понятно, что все силы и внимание медицинского персонала были направлены на подготовку к этому знаменательному событию. Неудивительно, что царящая все эти дни в больничных коридорах кутерьма захватила собой и приставленного к экстренно прооперированному уголовнику охранника, который, встретив среди медперсонала кого-то из своих соседей или родственников, втянулся во всеобщую суету подготовки открытия нового агрегата и, забыв о своём опасном для общества подопечном, оставил его лежать в отведённой ему для лечения одноместной палате, а сам потащился глазеть на то, как медики отлаживают и осваивают подаренную им холодильную камеру.

Пользуясь сложившейся в больнице ситуацией, прооперированный только что рецидивист не стал дожидаться торжественной церемонии ввода в строй нового оборудования, а, накинув на себя оставленную охранником на спинке стула чёрную кожаную куртку с парой тысяч рублей в одном из карманов (хорошо хоть не с табельным пистолетом!), потихонечку вышел из здания спасшей ему жизнь краснокаменской лечебницы и бесследно растворился среди необозримых просторов Забайкалья…

— Тебе этот тип, случайно, нигде не попадался? — показывая мне присланную по старому факсу нечёткую фотографию, на которой я, впрочем, сразу же узнал лицо Вадима, поинтересовался у меня начальник милиции капитан Птицын, когда я занёс ему в отделение список доставляемых на нашу базу геологов и рабочих.
— Н-н-нет… кажется, нигде, — сделав вид, что силюсь припомнить лица всех прошедших передо мной за последнее время в городе людей, ответил я.

Хотя уж я-то лучше всех в мире знал, что разыскиваемый милицией субъект сидит в данную минуту в кузове стоящего как раз напротив окон кабинета начальника РОВД вездехода и, надвинув на самые глаза обвислые поля полученной от меня в Чите в подарок старой шляпы, в волнении курит одну за другой дешёвые сигареты «Прима». Трудно сказать, почему я его тогда не выдал. С одной стороны, сдай я его агинским ментам — и мы бы остались без пары столь необходимых нам в условиях нелёгкой полевой жизни рук, а с другой… Была в этом остролицем парне с жёстко выделяющимися на лице шукшинскими скулами какая-то располагающая к нему открытость, и хоть он и не признался мне сразу, что он — сбежавший из тюремного заключения зэк, но ведь и не темнил с этим особо. Увидев со стороны, как я подхожу то к одному, то к другому болтающемуся на железнодорожном вокзале Читы бичу и веду с ними какие-то переговоры, в которых несколько раз прозвучало слово «работа», он сам подошёл ко мне на выходе из здания вокзала и сказал, что хотел бы поработать лето в геологической партии — заготавливать дрова, топить баню, убирать территорию, варить еду и выполнять другую хозяйственную работу. В маршруты, мол, ему ходить пока тяжело, так как он буквально на днях перенёс операцию аппендицита, а поработать в лагере в качестве таборного рабочего он был бы не против, так как у него украли на вокзале все деньги и ему теперь не на какие шиши ехать домой в Питер. Правда, вместе с деньгами у него украли ещё и все документы, а потому ему хотелось бы как можно скорее, и главное — не встречаясь при этом с милицией (это было ещё до её переименования в полицию), отправиться в тайгу или степь и приступить там к работе.

И он с хорошо скрываемым, но всё же не ускользнувшим от меня беспокойством замер в ожидании моего ответа.
— Ладно, — решил вдруг я, — я тебя беру. У тебя есть где перекантоваться до завтрашнего вечера? Мы ведь выезжаем только завтра, в восемнадцать часов.
— Лучше бы мне просидеть это время у вас в конторе, — с тревогой бросая взгляды по сторонам, попросил он.
— В конторе нельзя, — сразу же отверг я его предложение. — Но если ты не возражаешь против сна на полу, то я могу тебе предложить ночлег в моей комнате в общежитии.
— Это далеко отсюда?
— Минут двадцать придётся прогуляться. До улицы Угданской. А если обходить милицию, то и полчаса.
— Полчаса — не час, куда нам торопиться?
— Тогда пошли, — усмехнулся я и повёл этого совершенно незнакомого мне и явно не чистого перед законом человека к себе в общежитие…

5.

— Спасибо, начальник, — подошёл ко мне Вадим, когда, миновав Агинское и Илю, мы в конце концов дотащились по бездорожью до нашей базы и устроили себе в честь начала полевого сезона праздничный ужин, выставив ради этого на стол несколько бутылок прихваченного мною из Читы питьевого спирта. — Я знаю, что меня уже всюду ищут, и тебя наверняка спрашивали обо мне в агинской милиции. Но я не хочу возвращаться на нары. Я не настолько виноват перед обществом, чтобы провести свои лучшие годы за шитьём брезентовых рукавиц. Даже если моим соседом по цеху является опальный глава «ЮКОСа» Ходорковский.
— Да? Ты работал в бригаде с Ходорковским?
— Ну работал, и что? Какая мне от этого радость? Его-то после освобождения ждут лежащие на счетах миллионы, на которые он сможет прожить оставшиеся годы так, что забудет обо всех своих

неприятностях, а меня что ждёт?.. Ночлеги на вокзалах да подобранные после кого-то со столов объедки…
— А чего бы ты хотел от жизни? Ну, если бы тебе была дана возможность выбрать всё, что ты хочешь,—богатство, власть, положение, славу, путешествия…
— Да как тебе сказать… Богатство—это, конечно, хорошо, да только ведь скучно. Ну попутешествуешь год, меняя неотличимые друг от друга пятизвёздочные отели, ну напробуешься всех этих текил и устриц, а дальше что? Скука… Что же касается власти, то душу пьянит не столько власть как таковая, сколько процесс борьбы за неё—интриги, заговоры, государственные перевороты… Больше всего на свете я люблю свободу. Настоящую, древнюю, пьянящую, как старинные меды, свободу. Щекочущий ноздри запах молодой травы, дрожащую от гула копыт дорогу, кипящие на кострах казаны с мясом, блестящую в лунном свете гладь реки… Не знаю, может быть, во мне говорят какие-то древние гены, но ночами мне снятся горящие города и свистящие на фоне огненных языков стрелы.
— Это ты, наверное, фильмов в зоне насмотрелся, про Чингисхана.
— Возможно, что и так,—не стал со мной спорить Вадим и, докурив свою неизменную «Приму» (хотя кто-то мне говорил, что зэки принципиально не покупают сигарет в красных пачках), вернулся к столу.

На другое утро начались наши геологические будни, и на разговоры с Вадимом у меня почти не осталось времени. По крайней мере, в течение первых двух-трёх недель, когда мне нужно было комплектовать поисково-съёмочные отряды, снабжать их едой, спецодеждой, инструментами и приборами, забрасывать на отведённые для них участки, потом выходить пять раз в неделю на связь при помощи допотопной рации, узнавать, у кого что сломалось, порвалось, закончилось или потерялось, и досылать им при помощи вездехода новые сапоги, ботинки, энцефалитные костюмы, топоры, сгущённое молоко и патроны (которые мы в целях конспирации называли во время своих сеансов радиосвязи «карандашами»). Дел было бесконечное множество, и только добрый месяц спустя после нашего приезда я смог немного перевести дух и оглядеться. База стояла у самого подножия горы Алханай, окружённая прозрачным лиственничным редколесьем. Вправо, влево и вверх по склону горы тянулись слегка перемежаемые бело-чёрными, как верстовые столбы царской России, стволами берёз заросли синеватой даурской лиственницы, которая, собственно, и была основным лесообразователем для здешней местности, покрывая собой недавние горельники. Кое-где также встречались сосна и осина, но абсолютное большинство было за лиственницей.

В один из дней, когда мне не надо было выходить по рации на связь с отрядами и не было какой бы то ни было неотложной работы на территории базы, я взял ружьё, позвал с собой Вадима, и мы отправились с ним вверх по склону горы, на вершину Алханая. В прошлом году, когда мы только начинали отработку этого участка, я уже поднимался наверх, чтобы посмотреть на буддистские святыни, и вот теперь мне захотелось подняться туда ещё раз. Признаться, меня довольно сильно впечатлили тогда все эти природные храмы в виде причудливых скал, пещер, каменных фигур, столбов и арок, которые были выбраны древними шаманами для проведения своих религиозных обрядов. Верь не верь, а целебные источники Алханая действительно награждали приходивших сюда людей здоровьем, и вышептанные ими на вершине горы искренние мольбы-прошения по прошествии какого-то времени и вправду осуществлялись…
— Ты это серьёзно?—не очень, кажется, поверил моим рассказам о здешних чудесах идущий вслед за мной по тропинке Вадим.—Хочешь сказать, что если я сейчас поднимусь на вершину горы и выскажу там желание стать президентом России, то это моё намерение—сбудется?
— Не знаю,—пожал я плечами.—Может, и сбудется… Если только я не пожелаю себе того же самого в десять раз сильнее, чем ты…

Мы как раз подошли с ним к знаменитому Храму Ворот, в арочном проёме которого (или—которых?) светило необыкновенно голубое бурятское небо, и я вдруг непроизвольно начал читать вслух одно из стихотворений столь глубоко запавшего мне в то время в душу новосибирского поэта Берязева:

Это пояс великих степей—
э-э-эй!..
Вопли воинов, стад и стай—
погоняй!
Это медь распалённых лиц,
пляс шаманствующих зарниц,
это крик молодых кобылиц—
веселись, душа, веселись!

От Кызыла на Каракол,
в Семиречье, и на Тобол,
и за Каспий, за Дон—пошёл.
Гей, пошёл!

За ордою течёт орда.
Жги, вытаптывай города!
Время замерло. Степь всегда—
молода.

Пусть в гордыне лежит Китай!
Кровь и радость ветрам отдай.
Нас хранит золотой Алтай.
Погоняй!

Пусть скрипит берестой колчан.
Пусть сердит молодой каган.
Пусть летит отдыхать сапсан —
на курган…

— Мощно! — переварив прозвучавшие в первозданной тишине Алханая чеканные строки, выдохнул Вадим. — После таких стихов хочется не ларьки грабить, а покорять страны и народы. Ты мне потом как-нибудь дай почитать книжку этого автора. Я чувствую, что мы с ним одинаково понимаем воздух свободы… Да и вообще — саму жизнь.

— Ладно, — кивнул я, — вернёмся в лагерь — дам.

Однако об этой его просьбе я вспомнил только через три месяца, когда пришла пора сворачивать работы и расставаться перед накатывающей на агинские холмы и степи зимой.

Ну а в тот день мы чуть ли не до самого вечера бродили с ним от скалы к скале, пролезали в каменные щели и арки, заглядывали в пещеры и омывали лица в прозрачных родниках и падающих со скал струйках тоненьких водопадов, и при этом я отчётливо видел, что Вадим вдруг проникся к священной силе Алханая по-настоящему искренним, неподдельным, прямо-таки мистическим почтением. Он беспрестанно шептал, чуть заметно шевеля при этом губами, какие-то свои сокровенные мольбы и прошения, а иногда даже опускался на колени и вскидывал к небу раскинутые руки. Мы настолько увлеклись знакомством со священной горой, что даже забыли съесть прихваченную с собой банку консервированной конины, о которой вспомнили, уже только возвратившись в почти полной темноте на базу. Вадим разжёг костёр, вскипятил на нём чай, и мы ещё долго сидели, прихлёбывая густой чёрный напиток и делясь размышлениями о жизни, Боге, государстве и понимании слова «судьба».

6.

Лето шло своим привычным чередом, я заготавливал для всей партии грибы и ягоды, ловил на перекатах речки Или линьков и хариусов, ходил по ночам на солонцы, поджидая там лося или изюбра, и мало следил за тем, чем занимается в свободное от работы время наш таборный рабочий. Хотя иногда и замечал, что Вадим вдруг оставляет базовый лагерь и уходит по показанной мною тропинке на вершину Алханая. Что он там целыми днями делал, я не знаю, но возвращался обратно на базу он весь просветлённый и наполненный каким-то отчётливо проступающим на лице ожиданием чего-то невероятно большого и значимого.

Осенью он не стал возвращаться в Читу и увольняться, как другие рабочие, а попросил оставить его на базе сторожем, чему мы с начальником партии Виктором Борисовичем Георгиевым даже откровенно обрадовались, так как бросать базу без охраны было бы безрассудно. Алханай с каждым годом притягивал к себе всё большее количество людей, причём не только искренне верующих паломников, но и просто множество всякого случайного сброда, и кто-нибудь из этих праздно шатающихся бродяг наверняка бы рано или поздно наткнулся на наши никем не охраняемые склады и пустующие зимовья, так что к началу следующего полевого сезона нас ожидали бы здесь только хлопающие на ветру двери опустошённого грабителями лабаза да пепелища сожжённых кемнибудь по пьянке наших избушек.

Я понимал, что Вадим тоже не был святым и от него можно было ожидать не меньшей беды, чем от случайно забредших на базу скитальцев, но почему-то снова поверил ему и поддержал намерение Виктора Борисовича оставить его на базе сторожем. Погрузив на машины образцы проб для лаборатории, свои личные вещи, а также заготовленные мною в течение лета грибы, ягоды, рыбу и копчёную лосятину, мы оставили Вадиму давным-давно списанное мною старое одноствольное ружьё (якобы потерянное в тайге в один из сезонов студентом-практикантом), десятка два латунных патронов к нему, продукты на зиму, несколько коробок свечей, бензиновый электрогенератор и уехали в Читу. Чтобы ему было чем занять себя долгими зимними вечерами, я перетащил в его зимовье все имевшиеся у нас старые журналы и книги и даже оставил ему сборник стихов моего любимого на ту пору поэта Берязева, вспомнив, как в начале лета на него произвело сильнейшее впечатление одно из прочитанных мною на вершине Алханая стихотворений этого автора. Взяв в руки книгу, Вадим с минуту подержал её в руках, как бы пробуя на вес, а потом наугад раскрыл где-то посередине и начал читать вслух попавшееся ему на глаза стихотворение «Могила великого скифа», давно пленявшее меня каким-то своим удивительным сплавом трагической обречённости и неукротимой стихийной мощи. Голос у него был глуховатый, но сильный, отчего звучание строк приобретало какую-то особенную магию.

Последний русский умер и зарыт.
А кем зарыт и как всё это было —
спросите у безродного дебила…
Придите все! Отныне путь открыт.

И вечный горб рассыпал позвонки.
И прочный герб распался на колосья.
От праха отреклись ученики
под петушиных горл многоголосье.

Идите все — и на, и за Урал!
Живой душой уже не залатаем
простор, что, нас воззвавши, нас попрал, —
пускай Вольтер братается с Китаем.

Пускай пройдёт премудрый Лао Цзы
степями, где мы жили, яко обры.
Поплачь, поплачь над нами, старец добрый,
ты тих, а мы… мы жаждали грозы.

Ты говоришь о праведном пути,
ты в созерцанье видишь созиданье,
а мы взрывали древо мирозданья:
«И вечный бой…», «Наш паровоз, лети!..»

Но от Берлина и до Колымы —
во тьму вселенской пашни революций
легли, увы, не зёрна — люди, люди…
Мильоны нас. Нас тьмы, и тьмы, и тьмы.

Оплачь наш опыт, старый человек.
Не обойти гигантскую могилу!
России нет… Лишь кружит многокрыло,
как наши души, беспокойный снег.

России нет… Внезапно и навзрыд
заплакали химеры Нотр-Дама
и все народы семени Адама:
последний русский умер и зарыт…

— Спасибо, — сказал он, закрывая книгу. — Я думал, ты уже не вспомнишь о своём обещании. Это ведь тот же поэт, стихи которого ты читал тогда на вершине Алханая? Такие мотивы не сразу забудешь, даже если и захочешь. Очень интересный автор, мне будет над чем подумать в свободное время. Благо, его у меня до начала следующего сезона будет здесь в избытке…

Я не знаю, чем он занимался в течение долгой забайкальской зимы с её сорокаградусными морозами и по-шамански завывающим в печной трубе обезумевшим ветром, но когда мы в середине следующего мая снова приехали на нашу базу, то мы его не узнали. Да и на базе произошли некоторые изменения, которых нельзя было не заметить. Собственно, сама-то база осталась такой же, какой мы её оставили прошлой осенью, никто её, слава Богу, не разорил и не обокрал, но зато рядом с ней, на окаймлённой лиственницами широкой поляне, омываемой с одной стороны тоненько журчащим безымянным притоком речки Или, появился огромный остроконечный шатёр из выделанных оленьих шкур, рядом с которым был сооружён навес, и под этим навесом, на возвышающемся сантиметров на шестьдесят над землёй помосте из привезённых откуда-то досок, к которому вело несколько широких ступеней, стояло массивное позолоченное кресло с высокой спинкой, напоминающее собой невесть откуда взявшийся в этой глухомани монарший трон.

В этом роскошном царственном шатре и обитал теперь наш Вадим, к которому то и дело приезжали откуда-то из степи то гонцы с некими важными вестями, то высокие гости, которых он принимал, сидя на своём позолоченном троне. За зиму он отпустил себе аккуратную остроконечную бородку, раздобыл где-то расшитый золотыми и зелёными разводами роскошный халат, подпоясанный тонким позолоченным ремешком с кистями на концах, и был теперь похож на знаменитого барона Унгерна, книгу о котором я купил себе как-то в одном из читинских книжных магазинов. Если никто её у меня не заныкал, то она и сейчас должна где-то валяться в моей комнате в общежитии на Угданской — то ли на шкафу, где лежит куча прочитанных мною книжек, то ли в стоящей под кроватью картонной коробке из-под макарон, — надо будет осенью (если только я не забуду) заглянуть под кровать и на шкаф и проверить…

Немного в стороне от главного шатра стояли три округлых юрты поменьше, и в них, как мы поняли, обитала довольно многочисленная свита Вадима, готовившая ему еду, стиравшая одежду, следившая за чистотой в лагере и занимавшаяся другими хозяйственными делами, в том числе и охраной наших складов и зимовий.

На всех прилегающих к базе полянах были видны пасущиеся олени и, что меня больше всего удивило, верблюды. Похоже, Вадим за время нашего отсутствия превратился здесь в какого-то бурятского князя, если только не оракула или бога. Но нам он сказал, чтобы мы не волновались, и если нам будут нужны олени для транспортировки груза или рабочие для проходки канав и шурфов, то он эту проблему решит в мгновение ока и без всяких для нас затрат. И несколько раз в течение лета он действительно помогал нам, предоставляя в наше распоряжение то дюжину оленей с погонщиками, то бригаду широколицых и узкоглазых рабочих с лопатами, так что мы ему были за это только благодарны.

— Вадим, ты что — стал шаманом, раз к тебе со всего Забайкалья едут за советами? — спросил я как-то у него, когда рядом не было никого из посторонних. — Или тебя произвели в бурятские князья?

— Бери выше, — без всякой иронии ответил он. — Помнишь, я тебя спрашивал о том, действительно ли всякое загаданное на вершине Алханая желание способно осуществиться?..

— Ну помню… И что?

— Вот я и попросил богов, чтоб они помогли мне стать вождём народов. До каких это пор, решил я, кто-то будет бесконечно управлять моей жизнью и помыкать мной, как слугой? Я сам хочу управлять и повелевать другими…

Хотя Вадим и продолжал находиться в каких-то ста с лишним метрах от меня, его жизнь отныне текла, подчиняясь уже совершенно другим законам. Вокруг него суетилась всё разрастающаяся свита помощников и охранников, постоянно приезжали и уезжали какие-то люди на осёдланных лошадях и верблюдах, реже — на запылившихся

дорогостоящих джипах, а иногда и на лязгающих гусеничными траками армейских вездеходах. Они то и дело привозили и разгружали на берегу ручья какие-то многочисленные коробки и ящики, которые другие люди тут же уносили и прятали в двух новых, недавно построенных на поляне из толстых ошкуренных брёвен, запираемых на висячие замки лабазах. Ну а я продолжал заниматься всё тем же делом, снаряжая едой и спецодеждой отправляющиеся на участки геолого-съёмочные отряды да ведя для себя и своих друзей заготовку продуктов на зиму. И только раз за всё лето, почувствовав вдруг, что я смертельно устал от этой однообразной, не изменяющейся ни в какую сторону жизни, которая не имеет ни малейшей обнадёживающей перспективы, я плюнул на все свои дела и, сунув в карман пачку печенья и накинув на плечо одноствольное ружьё, отправился на гору Алханай. Взобравшись на вершину, я отыскал вырубленную в скале ветрами и самой природой арку Уудэн Сумэ, которую мы называли по-русски Храмом Ворот, и, упав на колени на её «пороге», полувыстонал-полувыхрипел в сторону начинающегося за ней коридора в Шамбалу одно-единственное слово:

— Надое-е-ело!..

Что именно мне надоело, я уточнять не стал, так как у меня просто не было для этого ни требуемых душевных сил, ни необходимой ясности мыслей. В подсознании крутился какой-то неразделимый на части комок образов, в котором мелькали то силуэты Московского Кремля, то чьи-то удивлённые лица, то какие-то пальмы и плещущееся у их подножья лазурное море.

— Надоело,— ещё раз прошептал я, перекатываясь на спину и глядя в глаза внимательно слушающему меня небу.— Хочу настоящей жизни. Настоящей любви. Большой настоящей судьбы,— и, немного подумав, добавил:— И сына...

7.

Осенью мы снова возвратились в Читу и, засев в камеральных помещениях, занялись составлением отчёта о проделанных за полевой сезон работах, а когда следующей весной собрались готовиться к очередному выезду на базу, то вдруг узнали, что в Агинском Бурятском национальном округе произошли большие политические перемены: в конце зимы там состоялся то ли Великий Хурал, то ли всенародный референдум, и при абсолютном большинстве голосов округ был провозглашён Алханайской Суверенной Буддистской Республикой со своей собственной конституцией, своим неизвестно откуда взявшимся верховным правителем, о котором не было сообщено миру ничего, кроме имени Чингисхан Второй, да полной независимостью новообразованного государства от федеральной власти. Все земли, воды, леса и недра объявлялись отныне неприкосновенной собственностью новой республики, вследствие чего наши геологические изыскания в районе Алханая пришлось на неопределённое время свернуть, а всю нашу команду расформировать и разбросать по другим геологическим партиям и экспедициям. Так что наступившее лето я проработал маршрутным рабочим на восточных склонах Удоканского хребта, возвратившись фактически на те же самые позиции, с каких около двух десятков лет назад начинал свою работу в геологии. Слава Богу, из общежития меня не выселили, и, вернувшись с полевых работ, я прожил последующую зиму в той же своей комнате на улице Угданской, перебиваясь различными случайными заработками вроде разгрузки машин в близлежащих магазинах или подмены кочегара в соседней котельной, и, честно говоря, почти не следил за тем, как развивались события в бывшем Агинском национальном округе, затеявшем заведомо безнадёжную тяжбу с государством о своём полном суверенитете. Помню только, что в начале весны, пока не раскисли дороги, туда начали перебрасывать тяжёлую военную технику и воинские подразделения из посёлка Каштак и других мест дислоцирования частей Забайкальского военного округа, и как, прибыв на место, армейские генералы вдруг обнаружили, что подавлять в Алханайской Суверенной Буддистской Республике им, собственно говоря, абсолютно некого, так как, за довольно небольшим исключением, которое составили немощные старики, старухи да болтающиеся по забайкальским землям спившиеся безродные бичи, практически всё шестидесятитысячное население бывшего Агинского Бурятского национального округа вместе с табунами лошадей, отарами овец, стадами оленей и двумястами верблюдов снялось с места и исчезло в неизвестном направлении.

— Куда делся народ?— пытались допытаться военные, тряся за грудки высохших от солнца и ветра стариков с обтянутыми пергаментно-коричневой кожей скулами.

— Однако, на пастбища ушли,— с безучастностью автоответчиков отвечали те, глядя в глаза выходящих из себя от ярости стратегов ясными, как у младенцев, взглядами.

В результате осмысления этой необычной ситуации были высказаны довольно твёрдые (якобы основывающиеся на данных нашей внешней разведки) предположения о том, что внезапно исчезнувшая шестидесятитысячная толпа агинских бурят перешла близлежащую государственную границу и направилась в Китай или Монголию. Однако их след вдруг обнаружился в районе известной когда-то на весь СССР Байкало-Амурской магистрали, где неизвестно откуда появившаяся лавина вооружённых копьями и луками верховых бурят разгромила охрану нескольких

исправительно-трудовых лагерей и выпустила на свободу всех находившихся там заключённых, подавляющая часть которых тут же влилась в эту странную кочевую республику, пополнив собой ряды армии Чингисхана Второго. По Сибири полетели подмётные письма, призывающие всех заключённых к восстанию и присоединению к растущей как на дрожжах орде, заканчивающиеся стихами классика якутской поэзии Платона Ойунского:

В застывшие, трудные дни
быть каждый обязан героем,
утроим усилья свои,
темницы и тюрьмы откроем.

В неистово гулкие дни,
бурля, словно вешние реки,
врага одолеем в борьбе
и с прошлым покончим навеки…

Однако вскоре после этого их след снова и, похоже, уже окончательно потерялся, и огромное количество странствующего народа вдруг исчезло, как будто внезапно провалилось под землю. Или же — под лёд, как предположили некоторые журналисты и политики. Мол, вся эта многотысячная орда вместе со своим скотом и нагруженными барахлом и женщинами кибитками решила пройти по всему замёрзшему Байкалу, начиная от его северо-восточного берега и вплоть до юго-западного, чтобы встретиться с живущим в небольшой деревеньке в районе станции Слюдянка писателем Валентином Григорьевичем Распутиным и попросить его сказать в центральной прессе слово в защиту их национальной самостоятельности; однако начавший уже подтаивать непрочный весенний лёд не выдержал этой страшной тяжести, и всё население несостоявшейся Алханайской Суверенной Буддистской Республики ушло на дно глубочайшего в мире озера, называемого жемчужиной Сибири.

Так ли всё это было на самом деле, я тогда узнать не успел, так как в это время снова уехал на полевые работы в забайкальские дебри. Таская рюкзак с камнями по отрогам Восточного Удокана, я вдруг отчётливо осознал, что мне ни в коем случае нельзя по окончании сезона возвращаться обратно в город, ибо заработанных за лето денег для отъезда в Москву, скорее всего, не хватит, а значит, я буду снова вынужден задержаться в Чите на всю предстоящую зиму, за которую истрачу на еду заработанную мною за лето сумму, и потому следующей весной буду вынужден опять тащиться в тайгу, чтобы, бродя по ней с наполненным камнями рюкзаком, зарабатывать очередную неполноценную сумму, которой мне осенью снова не хватит на то, чтобы покинуть Забайкалье и уехать в давно зовущую меня к себе Центральную Россию. И так — будет продолжаться до бесконечности, пока не закроется вся «Читагеология» и меня не вышвырнут из общежития на улицу. А потому в конце сезона я попросил начальника Удоканской партии оставить меня на зиму сторожем на базе — с тем, чтобы до следующей весны у меня наконец-то могла накопиться в бухгалтерии сумма, которой бы мне хватило для того, чтобы выбраться из Сибири в Москву и успеть там хотя бы как-нибудь обосноваться.

Но получилось так, что я получил расчёт, даже не дотянув месяца два до наступления настоящей весны и полноценного тепла, как я это планировал себе изначально. Треща под напором совершающихся в России реформ, «Читагеология» одну за другой сокращала свои поисково-съёмочные партии, а в середине марта объявила наконец и о закрытии нашей, Восточно-Удоканской. Выбравшись с попутками в областной центр, я постарался как можно быстрее получить заработанные мною почти за полный год пребывания на полевых работах деньги и, купив билет на ближайший же московский поезд, побросал в сумку свои небогатые пожитки и без каких бы то ни было сожалений и прощаний отправился в сторону неправдоподобно далёкой столицы…

8.

…Но ехал я всё-таки не в Москву. Должен признаться, что перед самым моим выездом из Читы, когда я уже оформил расчёт и собирался идти покупать билет на экспресс до столицы, меня неожиданно вызвали на междугородный переговорный пункт, и, думая, что это звонит мой приятель Лёха, желающий уточнить дату моего прибытия в Москву, я спокойно вошёл в кабину для переговоров и, поднеся к уху трубку, вдруг услышал в ней голос, который я бы узнал и в шуме ревущего океана, и посреди гудящего автомобилями города. И это был не Лёха. Это была Танька Надеина — техник-геолог, с которой я познакомился ещё в первый год своего пребывания в Забайкалье, когда, сойдя на читинском вокзале с поезда и побродив полчаса по прилегающим к станции улицам, я наткнулся на здание геолого-съёмочной экспедиции и, войдя в него, увидел на одной из развешанных по стенам холла стенгазет фотографию красивой тонколицей девицы, с грустным видом сидящей на бревне возле дымящегося таёжного костра. Думаю, что это-то как раз и сыграло тогда решающую роль в принятии мною решения устроиться на работу не куда-нибудь, а именно в эту — Кыкерскую, как было написано красной краской в «шапке» стенгазеты, — геолого-съёмочную партию, и, влекомый образом таинственной незнакомки, я без долгих раздумий направился в располагающийся на втором этаже отдел кадров и уже со следующего дня значился маршрутным рабочим этой партии, а через некоторое время выехал вместе со всеми

на отрабатываемый ею участок в среднем течении реки Нерчи.

Правда, Надеиной, к моему огорчению, среди работников партии почему-то не оказалось, и только через несколько дней я из одного случайно услышанного разговора понял, что она сейчас догуливает прошлогодний отпуск, гостя у своей больной тётки где-то в небольшом посёлочке в Томской области, и присоединится к нам только через полторы или две недели. Сколько я потом её знал, она так каждый год все свои отпуска у этой тётки и проводила, и в конце концов три года тому назад уехала к ней насовсем, окончательно порвав с бродячей геологической жизнью и устроившись на какую-то чиновничью должность в поселковой администрации. Но те годы, что мы проработали с ней в объединении «Читагеология», оказались похожими на некий довольно странный, то и дело рвущийся, точно старая киноплёнка в проекторе сельского клуба, любовный роман, в котором периоды внезапно захлёстывающей нас, как разливы весенней Нерчи, физиологической страсти чередовались с совершенно немотивированными вспышками раздражения друг другом, необъяснимыми разрывами и беспричинными месяцами отчуждения, завершающимися такими же внезапными примирениями и погружениями в пучину выходящей из берегов интимной близости. Инициатором и этих ссор, и наших последующих сближений была, конечно же, она, Надеина. Она вообще была главной в этом нашем неровно пульсирующем любовном тандеме. Так было, когда в июле того первого года моей жизни в Забайкалье она догнала наш отряд, стоявший лагерем на правом притоке Нерчи—речушке Бугаричи, и, оглядев его наличный состав, сама пришла с вещами в мою палатку и сказала, что предстоящие две-три недели, в течение которых она будет отбирать с одним из маршрутных рабочих шлиховые пробы вдоль Бугаричи и впадающих в неё ручьёв, она будет жить здесь, со мной. При этом она даже не то чтобы спрашивала на это моего согласия, а просто пришла и известила меня о неизбежном, объявила мне свой вердикт, чтобы для меня потом не стало неожиданностью её появление в моём жилище. Правду говоря, я даже и не мечтал, что это произойдёт так быстро и фактически без малейших усилий с моей стороны; я, если быть честным, вообще не строил никаких конкретных планов относительно красавицы с княжьими чертами лица, фотографию которой я увидел в конце апреля в стенной газете геолого-съёмочной экспедиции. Но после ужина Танька как ни в чём не бывало пришла в мою палатку и, убедившись, что в ней нет налетевших за день жужжащих комаров, принялась спокойно снимать с себя одежду…

Это обрушившееся на меня, точно цунами, таёжное счастье длилось ровно две с половиной недели, в течение которых она вдвоём со старым, тяжело волочащим ноги, но опытным шлиховщиком Эдуардом отрабатывала все протекающие по территории нашего участка ручьи; а потом собрала однажды утром в рюкзак свои вещи, скатала в рулончик лёгкий пуховый спальник и, оставив под брезентовым навесом собранные ею за это время пробы, которые мне предстояло осенью вывезти вездеходом на базу, отбыла со своим хромоногим спутником за границу следующего водораздела, где её ждали новые ручьи и речушки.

— Пока!—только и сказала она мне на прощанье, и через пять минут её обтянутая ушитой энцефалитной курткой фигура растворилась в зелёной стене бугаричинских зарослей.

Мучимый не стирающимися из памяти сладкими воспоминаниями об этих волшебных двух с половиной неделях, я с превеликим трудом доработал до конца полевого сезона и, выехав, наконец, в сентябре на нашу кыкерскую базу, с нетерпением ждал, когда же я опять смогу обнять змееподобное гибкое тело пленившей меня геологини. Но Танька, как мне сказали, уже успела завершить объём намеченной для неё работы и дней десять назад улетела с пролетавшим мимо вертолётом обследовавших тайгу пожарников в Читу. Так что долгожданную встречу пришлось отложить до моего возвращения в город.

Однако и по возвращении в областной центр меня снова ждало разочарование, так как Танька опять куда-то уехала и в общежитии на улице Ленинградской её не оказалось. Я снова поселился в гостинице на своём острове и время от времени выбирался из неё, переезжая в автобусе по мосту через речку Ингоду, и шёл на Ленинградскую. Но Таньки там всё не было и не было, её подруги неумело сочиняли какие-то небылицы и явно от меня что-то скрывали, в результате чего, устав от всей этой неопределённости, я встретил каких-то подвернувшихся мне полузнакомых приятелей и пустился с ними в многодневную пьянку…

Позднее, когда я оформился на постоянную работу, мне выделили место в общежитии на улице Угданской, и я оказался неподалёку от общежития Надеиной. Через какое-то время она появилась в городе и как ни в чём не бывало заявилась ко мне в гости. Видя, что нам необходимо остаться наедине, мой сосед по комнате Саня Листвянский деликатно ушёл гулять и так всю ночь где-то и проболтался, предоставив нам возможность удовлетворить свою любовную жажду. Следующую ночь я провёл в её комнате в общежитии на Ленинградской, и так мы чередовали визиты друг к другу примерно около месяца. Потом наступила какая-то непонятная размолвка, тянувшаяся почти до начала весны, а после неё вновь пришло уже почти не ожидаемое мною бурное примирение.

И так продолжалось все эти бесконечно долгие годы, до тех пор, пока в начале позапозапрошлой осени Танька вдруг не уволилась из «Читагеологии» и, ничего мне не объяснив и даже толком не попрощавшись, уехала на постоянное место жительства в какой-то затерянный Бог знает где посреди тайги посёлок в Томской области к своей бесконечно долго умирающей тётке.

И вдруг—этот неожиданный звонок из бескрайних глубин Центральной Сибири и её жаркий, так будоражащий меня всегда голос.

— Слушай, тебе не кажется, что мы что-то теряем?—спросила она, едва я поднял трубку.—Я тут вдруг подумала, что ещё совсем немного—и обо всех наших мечтах о счастье можно будет говорить только в прошедшем времени. Сорок лет—это ведь совсем не шутки, ещё год-полтора—и я уже не смогу родить тебе сына…

— Я соглашусь и на дочь,—слегка опешив от этой её неожиданной прямоты, брякнул я первое, что пришло мне в голову.—Дочь будет даже лучше. Особенно если она будет похожа на тебя.

— Спасибо за комплимент, но по телефону не сделаешь даже дочь. Приезжай ко мне, без тебя так одиноко и пусто… Ты приедешь?

— Да… Я приеду…

…И вот теперь я стоял в тамбуре летящего сквозь ночные дали скорого поезда и, понемногу очухиваясь от жары и вони проспиртованного купе, забыто оживлял в себе не совсем ещё атрофировавшуюся за годы таёжных скитаний способность к зарифмовыванию приходящих откуда-то из омута подсознания мыслей:

Ну вот, я в поезде… Что делать? Я встречаю
проводника, несущего мне чаю,
словами: «Мы опаздываем?.. Нет?..
И не найдётся ль свеженьких газет,
чтоб, в новостях пошарив хорошенько,
узнать, что стало с Юлей Тимошенко,
не взорван ли иракцами Багдад,
и что в Москве—дожди иль снегопад?..»

А за окном—застывшим кинокадром—
висит орёл над степью, как кокарда;
спаял ледок речные берега;
и во всю ширь—снега, снега, снега…

За грязными стёклами тамбура в эту минуту действительно пролетали мутно белеющие во мраке ночи просторы ночных полей, отражающие коркой покрывающего их наста что-то уже предуготовившие мне в судьбе зодиакальные созвездия. Жаль, что мне не дано уметь расшифровывать эти звёздные послания. Может, купить на ближайшей станции гороскоп, чтобы хоть приблизительно знать, что меня ожидает впереди? Читаем же мы прогнозы погоды, чтобы не выходить под собирающийся дождь без зонтика, а вот в судьбе своей делаем всё наугад и наобум, не видя не только назревающих в будущем событий, но и того, что может случиться завтра…

…Куда я мчу? Куда мой путь струится?
Кому я нужен где-то там, в столице,
где нынче сплошь—лишь банки, казино,
и жизнь мелькает кадрами кино,
сварганенного, точно в Голливуде?..

Гляжу вокруг—кругом чужие люди.
(Я, видно, сдуру сел не в тот вагон,
свою судьбу поставив тем на кон…)

Летят в окно то фонари, то звёзды,
томит дорога, как тяжёлый труд.
И возвращаться некуда и поздно,
и не понять, куда ведёт маршрут…

Записав пришедшие в голову строчки в блокнот, я спрятал его в карман и, стоя у тамбурной двери, без всяких мыслей вглядывался в пролетающее за мутным окном чёрное, как вода под весенним льдом, пространство России. Не так давно мы проехали Мариинск, я слышал сквозь сон, как диспетчер объявляла в репродуктор о нашем отправлении, и, выглянув в окно, успел увидеть уплывающее в покидаемую мной жизнь здание вокзала. Потом промелькнула какая-то полутёмная маленькая станция, и я подумал, что, наверное, скоро будет уже и моя Тайга. То есть не моя, конечно, мне она и на фиг была бы не нужна, но там мне надо будет пересесть на поезд до Томска, в Томске сесть на автобус и через Мельниково, Каргалу, Тунгусово проехать по довольно неплохой трёхсоткилометровой асфальтовой дороге до Колпашево, потом переправиться на пароме или по льду, если он ещё не растаял, на правый берег Оби, затем пересечь по мосту речку Кеть и проехать ещё около тридцати с лишним километров по совсем уж никудышной грунтовке, чтобы оказаться в том самом посёлке, откуда мне звонила перед моим выездом из Читы Танька Надеина.

Кажется, так, если я ничего не перепутал. Впрочем, мне и не обязательно заучивать наизусть названия всех этих населённых пунктов, так как этот довольно непростой маршрут был подробно расписан у меня в том же блокноте, куда я заносил начавшие снова приходить ко мне поэтические строчки, так что на этот счёт я не беспокоился. Как-нибудь уж разыщу обиталище своей сумасшедшей любви…

В окне мелькнула ещё одна невзрачная станционная платформа с облупившимся зданием вокзальчика; я повёл плечами, разминая затёкшие от долгого стояния на месте мышцы, немного поприседал и уже хотел было возвращаться в своё купе, чтобы готовиться к выходу (хотя чего

там, спрашивается готовиться, если у меня была с собой одна-единственная полупустая сумка, давно стоявшая наготове на моей верхней полке?), но в это время за окном замелькали фонари какого-то проезжаемого нами полустанка, и, мимоходом повернув голову на их свет, я вдруг увидел под одиноко качающейся на столбе лампочкой красивую тонконогую чёрную лошадь и сидящего на ней всадника в меховой, похожей на лисью или даже на песцовую, шапке-малахае с острым верхом и с висящей на его боку кривой азиатской саблей в поблёскивающих на жёлтом фонарном свету ножнах. Мрак за его спиной, казалось, шевелился, как тысяченогая паучья масса, и там, в глубине посёлка, среди тёмных низких изб и хилых заборов-плетней из пересохших и полусгнивших жердей, кружилось на месте, двигалось, скакало, вздымалось на дыбы и носилось по тесным улицам огромное количество какого-то странного верхового народа, у части которого я заметил выделяющиеся на фоне светлеющего неба или редких светящихся окон длинные острые копья либо же висящие за спинами ружья и изогнутые луки.

«Кино, что ль, снимают?—подумал я, пытаясь отыскать взглядом съёмочную группу.—Про Емельяна Пугачёва или Чингисхана… А может, какое-нибудь современное фэнтези…»

Однако ни операторов с кинокамерами и юпитерами, ни режиссёра с ассистентами я нигде не увидел. Зато взгляд мой ещё раз выхватил застывшую под жёлтым конусом света фигуру необычного всадника в малахае, словно бы ожидающего, когда его воины подавят сопротивление защитников посёлка и принесут ему весть о победе, сложив к ногам его коня злато, и паволоки, и разноцветные аксамиты, да в таком количестве, что добытыми покрывалами, и епанчами, и кожухами, и всяким узорочьем начнут вскоре мосты мостить по болотам и грязевым местам. «Червлёный стяг, белая хоругвь, серебряное оружие—тебе, храбрый княже!..» И, уже теряя исчезающую в заоконном мраке фигуру верхового, я вдруг неосознанно почувствовал, что я этого человека однажды уже где-то видел. А может быть, и не однажды, ибо как-то чересчур уж хорошо мне знакомы эти жёстко выделяющиеся на сухощавом остром лице, по-шукшински выступающие скулы…

«Вадим?!..»—будто ярко полыхнувшая молния, озарила мою память внезапная догадка-узнавание, но полустанок с загадочным всадником под фонарём уже исчез из виду, и к окну тамбурной двери снова плотно приклеилась мутно-синеватая предрассветная тьма.

9.

…Всякие мытарства рано или поздно заканчиваются, уступая место тишине, бытовому благополучию и душевному покою. Наступил такой счастливый момент и для меня, когда, оставив за спиной долгую дорогу в перекочегаренном полупьяном вагоне и мучительную тряску по районным дорогам в автобусах местных маршрутов, я переправился на тяжёлом железном пароме через вскрывшуюся ото льда Обь и вскоре ступил наконец на гулко резонирующие каждому твёрдому шагу деревянные тротуары небольшого таёжного посёлка Криниченска, расположившегося на двух берегах неглубокой речушки Туй, питающей в сезон дождей своими водами один из правых притоков Оби. На левом её берегу находились автобусная остановка, правление местного лесхоза и леспромхоза, небольшой деревообрабатывающий заводик, ферма по выращиванию чернобурок, пожарная дружина и охотхозяйство. На правом, соединённом с левым перекинутыми через речушку деревянным и подвесным мостами, проживало основное население посёлка и располагались поселковая администрация, небольшой деревянный клуб, детский сад, школа, продуктовый и промтоварный магазины, бывшее отделение милиции, переименованной недавно в полицию, и единственное частное предприятие в Криниченске—кафе «Сен-Жермен».

—Здешние жители поголовно обожают Францию?—спросил я Татьяну, когда мы пришли в это заведение часов шесть спустя после моего приезда, чтоб отметить наступление нового этапа в моей жизни. Или, по крайней мере, окончание старого, так как начнётся ли что-то новое, ещё неизвестно, а вот то, что старое наконец-то закончилось, было для меня уже очевидным.

—Здешние жители не вполне представляет себе, где и сама эта Франция находится,—усаживаясь за свободный столик в углу небольшого зальчика, ответила она мне полушёпотом.—Добрая половина из них никогда в жизни не выбиралась отсюда дальше Кривошеино или Томска. Просто владельца кафе зовут Сеня Жирнов, вот он и офранцузил своё имя, сделав из него название кафе. Но кафе неплохое и даже с настоящими французскими винами.

Она позвала по имени высокую разбитную официантку, наряженную почему-то в румынский национальный костюм с традиционной жилеткой и расшитым орнаментом фартуком, и заказала французское шампанское и мороженое, и минут через десять та действительно принесла нам бутылку «Dom Perignon» 1995 года и две вазочки с пломбиром, фруктами и взбитыми сливками.

—Ты с ума сошла,—не удержался я.—Такое вино стоит, наверное, тысяч десять, не меньше. Если, конечно, это настоящее французское, а не местная подделка, которую ваш Сеня гонит из прошлогодней брусники.

—Это настоящее французское. Десять с половиной тысяч рублей за бутылку. Не каждый же день ко мне на край света приезжает мой Иван-царевич.

Чувствуя, как меня до краёв заливает собой новое, неизведанное ранее мною чувство какого-то невероятного покоя, я наполнил наши бокалы и, хрустально дзинькнув своим о край Татьяниного, негромко провозгласил:

— За нас с тобой… Чтобы нам никогда не потерять друг друга на этой суматошной планете… И чтобы с этой минуты всегда и везде быть вместе.

— Всегда и везде не получится,— вздохнула она.

— Тогда — чтобы к этому стремиться. И находить друг друга через любые дали, дни и обстоятельства… И вообще, я уже давно хочу сказать тебе, что я тебя люблю. С того самого дня, как увидел тебя на фотографии в стенгазете геолого-съёмочной экспедиции. Уже целых двадцать лет, охренеть можно…

— И я тебя — двадцать лет. Действительно, охренеть…

…У дома Танькиной тётки я появился аккурат к обеду и, толкнув рукой крашенную зелёной краской калитку, спокойно, будто к себе домой, вошёл в просторный деревенский двор, по периметру которого высились дощатые хозяйственные постройки с односкатными крышами (в Забайкалье такие называются стайками), навесы над сложенными в штабеля колотыми чурками дров и приземистые бревенчатые сарайчики, в которых что-то умиротворяюще кудахтало, хрюкало и мычало. Пахло мокрым снегом, навозом и оттаивающей землёй огородов. Над крышей тёткиного дома вился тонкий светлый дым, такой же поднимался над виднеющейся в конце огорода баней.

Откуда-то из-под крыльца выскочила приземистая и лохматая чёрно-белая собачонка, которая, виляя хвостом и одновременно заливаясь лаем, бросилась мне навстречу. Следом за ней из того же укрытия высунулись штук пять или шесть пёстрых щенят, любопытно уставившихся на происходящее.

— Эк, какие красавцы! — не удержался я от комплимента, и, видимо, услышав в моём голосе откровенно восторженные нотки, собака-мать завиляла хвостом ещё энергичнее, так что ходуном ходил уже не только хвост, но и весь зад.— Ну ладно, ладно, не переусердствуй,— произнёс я, проходя мимо нестрогой псины и её выводка к высокому крыльцу.

Поднявшись по ступенькам, я постучал в дверь и, не дожидаясь приглашения, шагнул в пасмурные прохладные сени. Миновав их, я отворил следующую дверь, вошёл в избу и спокойным голосом поприветствовал двух возившихся возле плиты женщин:

— Добрый день, хозяюшки. Не прогоните странника? Я к вам так долго добирался…

Оглянувшись на мои слова, Танька и её тётка с минуту молча разглядывали вошедшего, затем тётка — сухая, но всё ещё крепкая в кости женщина лет восьмидесяти с лишним — повернулась к своей племяннице и со спокойной строгостью в голосе спросила:

— Ну? Приглашала гостя? Так какого ты лешего стоишь, как оглоблю проглотила? Привечай человека. Ему, чай, с дороги пыль с себя смыть хочется, чайку попить. Обними голубя.

Вытерев руки о передник, Танька повесила его на спинку стула и шагнула ко мне.

— Ну, здравствуй… родной мой…

Она обвила мою шею своими всё ещё тонкими, как у девчонки, руками и ненадолго прильнула к груди.

— Пойдём, баня готова, ждёт тебя. Помоешься с дороги, освежишься… Я уже и полотенца приготовила.

Она отстранилась от меня и, нырнув на мгновенье в соседнюю комнату, вышла назад со сложенными стопкой полотенцами.

— А ты как догадалась, что я именно сегодня приеду? — удивился я.— Я же не сообщил тебе, ни когда выезжаю, ни когда прибуду… Я и сам толком не знал, сколько времени займёт дорога.

— Просто я каждый день топила баню. Ждала и топила…

Она провела меня тропкой к темнеющей в конце огорода натопленной бане, сложила на скамейке в предбаннике полотенца, принесла откуда-то кувшин холодного кваса и оставила одного переодеваться. Я стащил с себя одежду, отхлебнул прямо из кувшина глоток холодного кислого кваску и шагнул в пышущее жаром чрево бани. Набрав в ковш горячей воды из бака, я плеснул её на каменный бок раскалённой печи. А потом ещё раз и ещё. Сладкий дух распаренного дерева облепил меня со всех сторон, так что мне показалось, будто меня закатали в ком горячего хлебного мякиша. Забравшись на верхний полок, я почувствовал, как из меня начинает ручьями струиться пот, щекоча мою кожу, будто пробегающие по ней тараканы. Взяв запаренный в тазу с горячей водой душистый берёзовый веник, я принялся стегать этих невидимых глазу насекомых, пока они не утонули в сплошных потоках пота, заливающего меня от самого лба и до пяток. Сколько это длилось, я не знаю, так как время растворилось в этой жаре и текло так же, как пот, бесконечным, заливающим глаза потоком. Когда мне стало уже совсем невмоготу, так что даже показалось, будто я сейчас и сам растворюсь в этом горячем потоке и навсегда исчезну, я схватил стоявший в углу таз с холодной водой и медленно, с садистским наслаждением вылил его себе на голову. И, содрогнувшись от мгновенно пробудившейся в теле энергии, выскочил в предбанник.

Там, прислонившись спиной к стене, в небрежно наброшенной на плечи белой простынке, сидела

Танька. И ничего, кроме этой вольно спадающей с неё тонкой и почти прозрачной простыночки, на её теле больше не было…

…Потом мы втроём—я, Танька и её тётка Василиса Макаровна—сидели за большим кухонным столом и ели традиционные для рациона сибирских жителей пельмени, которые здесь, как правило, лепят всей семьёй с осени и сразу на целую зиму, замораживая их в деревянных кадках и храня на промороженных верандах, так что потом остаётся только взять сколько тебе надо, бросить в кипящую воду—и готово. Потом были ещё блины со сметаной, мочёные яблоки и чай.

Стояла на столе и водка, но мне её совершенно не хотелось. Я, конечно, помнил знаменитое наставление А. В. Суворова о том, что после бани хоть штаны продай, а сто грамм выпей, но мне и без того было в этот день так необычайно хорошо—от любви, от бани, от этого уютного семейного обеда и предчувствия чего-то хорошего впереди, что водка могла собой только всё испортить.

— Ты уж смотри не обижай её,—завершая нашу первую совместную трапезу, попросила Василиса Макаровна.—А то она до сорока лет дожила, а всё глупая, как несмышлёныш. У её ровесниц уже давно дети, а то и внуки есть, а у неё сплошные сказки в голове.

— Да я, Василиса Макаровна, и сам отчасти такой же. Мы с ней, как говорится, два сапога—пара. Романтики…

Старуха строго и прямо посмотрела мне в глаза и покачала головой.

— Ты не такой. Просто твоя жизнь ещё не начиналась, и ты не знаешь себя. Она лишь идёт к тебе навстречу, готовя необычайные испытания. И когда дни твои затянет дымом, как утреннюю тайгу туманом, ты вспомни, что дома тебя ждёт твоя королева. А может, и королевич…

Не совсем понимая, что она имеет в виду, я неловко усмехнулся и пожал плечами.

— Да разве её можно забыть?—кивнул я на Татьяну.—Я уже лет двадцать пытаюсь это сделать, и не получается.

— Не обращай внимания,—тронула меня за руку Танька.—Тётя любит говорить загадками. Иногда она вообще объясняется притчами, как Христос.

Мы весело посмеялись, и на этом наш первый семейный обед завершился. Женщины, встав из-за стола, занялись мытьём посуды, а я вынул из сумки свои небогатые пожитки и принялся раскладывать их по тем шкафам, ящикам и полкам, какие мне показала чуть раньше Татьяна. А ближе к вечеру она повела меня в кафе «Сен-Жермен» пить французское шампанское. Не потому, что нам очень уж хотелось потусоваться в этом сомнительном заведении, а чтобы моё пребывание в Криниченске не приобрело характера тайной миссии и уже с первых дней моего приезда сюда получило возможность быть зафиксированным как в сознании здешнего общества, так и на жёстких дисках Космоса. Небо—это ведь тот же самый компьютер, оно сохраняет в своей памяти всё, что видит под собой…

10.

Счастливые часов не замечают, гласит народная мудрость. И в том, что это действительно так, я вскоре убедился лично. И если бы это касалось одних только часов! Дни и даже целые недели, начиная с моего приезда в Криниченск, понеслись с такой сумасшедшей скоростью, что я и оглянуться не успел, как вокруг уже стояла пряная середина лета. Не дав себе расслабиться и войти во вкус вечного гостя, бесцельно слоняющегося по чужому дому и раздражающего всех своим бездельем, я с первых же дней своей жизни у Татьяны начал активно втягиваться в деревенский быт, осваивая новые для себя формы натурального существования. Деревенский день оказался заполнен делами практически до отказа. Я не знаю, каким образом Лев Николаевич Толстой умудрялся совмещать занятия сельским трудом со своим литературным творчеством (скорее всего, он всё же совершал свои хождения в крестьянскую жизнь лишь эпизодически и ненадолго, как эдакие интерактивные экскурсии), я же за все недели своей новой жизни не написал ни одной поэтической строчки, потому что если жить полноценной хозяйственной жизнью деревенского человека, то ни на какую такую литературу-макулатуру не останется ни минуты времени.

Сначала я просто втягивался в нескончаемый круг деревенских забот: таскал воду из колодца, колол дрова для печи, выгребал навоз из свинарника и телятника, ремонтировал двери сарая и перегородки в скотных загородках. Потом наступило время посадки огурцов, помидоров и перца, для которых надо было сначала восстановить и подремонтировать сделанные из старых оконных рам теплицы за домом, натаскать в них компост, уложить его на месте будущих грядок, засыпать сверху грунтом, высадить в этот грунт рассаду, обеспечить полив… А как только прогрелась земля на всём остальном огороде, наступила пора сажать картошку.

Между посадочными делами нужно было заниматься ремонтом расшатавшегося крыльца, покосившегося забора, чинить в доме обветшавшую электропроводку и вывернутую зимними ветрами антенну на крыше, топить баню по выходным, лазить за какими-то вещами то на чердак, то в погреб, потом опять колоть дрова и носить воду, и так—каждый день, каждый час, каждую минуту. Поэтому если у меня когда-никогда и выпадали нечастые свободные паузы, то меньше всего

хотелось расходовать их на сочинение никому не нужных в наше время рифмованных красивостей. Пока рядом со мной находилась Татьяна, мне было куда тратить свою настоящую, а не виртуальную нежность. Стоило нам с ней случайно соприкоснуться руками, обменяться горящими взглядами или столкнуться друг с другом в сенях плечами или бёдрами, как нас тут же захлёстывала с головой неудержимая волна страсти, от которой напрочь слетала «крыша», и мы, как восемнадцатилетние молодожёны, забывая обо всём на свете, торопливо уединялись в дальней комнате избы или (когда дни сделались уже по-настоящему тёплыми) — на сеновале, а то и просто на лесной опушке или садовой поляне…

Впервые за четыре прожитых десятилетия моя жизнь была наполнена исключительно простыми и незатейливыми вещами, и оказалось, что эта простота и есть не что иное, как счастье. Оказывается, это так здорово — проснуться на рассвете рядом с любимой, умыться на улице из ведра холодной водой, помахать топором, видя, как разлетаются со звоном раскалываемые твоими ударами чурки, заглянуть в сарай, где сыто хрюкают свиньи и мычат телята, принести несколько вёдер воды, потом вымыть руки под рукомойником и, сев за стол рядом с улыбающейся тебе женщиной, попить горячего крепкого чаю или свежего молока с куском домашнего тёплого хлеба…

Деревенский день длится долго и, не считая обеда, почти не имеет пауз, зато каким сладким бывает неожиданно выпадающий отдых! Когда, например, припустит незапланированный дождик, прогоняя с огорода под крышу, или нестерпимо раскалится июльский полдень, заставляя уйти в тень под деревьями… А какое счастье, когда, знаменуя завершение дневных работ, наступит наконец летний вечер, принося с собой чарующую прохладу, отдохновение и покой! Тогда мы выходили с Танькой на улицу и сидели возле двора на новенькой, недавно сколоченной мною из оструганных досок скамейке или же прогуливались с нею до околицы, отмахиваясь ветками от звенящих в воздухе комаров. Иногда не хотелось ничего, и мы просто смотрели телевизор или читали какие-нибудь обнаруженные в доме книжки, а в иные вечера, ощутив в себе поднимающееся откуда-то из глубин плоти обжигающее кипение любовной энергии, уходили на сеновал и до середины ночи не выпускали друг друга из объятий, шурша терпко пахнущими стеблями высохших трав и шепча друг другу на ухо всякие сокровенные нежности…

Казалось бы, всего лишь только вчера я ступил на деревянные тротуары Криниченска и впервые попарился в стоящей в конце Танькиного огорода бане, а уже ухнули, точно поленья в печь, в гудящую топку нашего счастья друг за дружкой и май, и июнь, и половина июля, и лето, играя цветами и запахами, перевалило за свой зенит и покатилось навстречу осени. Видя, что при всей экономности нашей с Танькой жизни (по сути дела, мы с ней почти ничего не покупали, живя только тем, что выращивали в саду, на огороде и в сараях) полученных мною в Чите при расчёте денег всё равно до конца лета не хватит, и понимая, что я не смогу быть вечным приживальщиком у своей невесты и надо потихоньку подыскивать хоть какую-нибудь работёнку, я начал заглядывать то на пилораму, то в лесхоз, то в другие криниченские конторы, присматриваясь к тому, чем там занимаются здешние мужики, и интересуясь, не найдётся ли какого-нибудь дела также и для меня. Но с вакансиями в Криниченске было откровенно туго, рабочих мест не хватало даже самим криниченцам, так что ко мне везде хоть и относились с дружеской расположенностью, но в бригаду к себе не звали. Единственным местом, где меня были готовы взять на работу хоть с завтрашнего утра, оказалась местная библиотека, в которую я заглянул в один из дней набирающего силу лета. Это был небольшой, но весьма опрятный домик неподалёку от продуктового магазина, приютившийся в глубине аккуратного зелёного дворика с цветочными клумбами и несколькими невысокими яблоньками, так что если бы не деревянная дощечка-табличка возле калитки с выведенной от руки синей краской надписью «Библиотека», то не сразу было бы и понять, что это — учреждение культуры, а не частный дом.

Заведовала библиотекой девяностодвухлетняя местная интеллигентка из рода сосланных сюда ещё в дореволюционные годы вольнодумцев — Галина Спиридоновна Стрешнева-Загряжская, сразу же угадавшая во мне книжного человека, о чём она мне и сказала, занося в карточку названия выбранных мною книг.

— Голубчик, вы первый из здешних мужчин, кто не пожалел своего драгоценного времени на посещение данного заведения. И уж вообще единственный, кто взял в руки книгу стихов, — она кивнула на лежащий передо мной поэтический сборник Владимира Берязева. — Вы читали его раньше?

— Да, конечно. Я долго возил с собой одну из его книг, поэтому и запомнил его имя. Очень своеобразные ритмы, дикие, самобытные. Я люблю поэзию, в которой дышит ветер свободы.

— Как у Павла Васильева? — уточнила она.

— Не совсем, — покачал я головой. — Я имею в виду тот ветер, который поэт ловит своим сердцем в окружающем его Космосе, в истории своего рода или в родных просторах. А Васильев не столько слушал ветер, сколько порождал его сам. Хотя сказано ведь в Писании: «Сеющий ветер — пожнёт бурю».

— Что вы имеете в виду?
— Его стихи. Помните написанную им «Песню о гибели казачьего войска»? Там есть такие строки:

Кони подвешены на удила.
Слушайте, конники, стук сердец.
Чтобы республика зацвела,
щедрой рукою посеем свинец…

— И что? — вскинула брови Галина Спиридоновна.
— А то, что из посеянного свинца не может взойти ничего, кроме смерти, — вздохнул я.
— Но, может быть, это всего лишь один и притом не очень удачный образ?.. — неуверенно предположила она.
— Один? А что вы скажете о таких вот строчках:

Пусть он отец твой, и пусть он твой брат,
не береги для другого заряд.
Если же вспомнишь его седину,
если же вспомнишь большую луну,
если припомнишь, как, горько любя,
в зыбке старухи качали тебя,
если припомнишь, что пел коростель, —
крепче бери стариков на прицел.

Голову напрочь — и брат, и отец.
Песне о войске казачьем конец…

Я перевёл дух и посмотрел на внимательно и грустно внимавшую мне собеседницу.
— Разве это — трансляция голоса ветра свободы? Это, скорее уж, накликание собственной смерти. Да и если бы только собственной! Стихи ведь выступают в роли этакой матрицы жизни, программируя собой последующее развитие событий. А Васильев постоянно включал в эту программу установку на жестокость, причём частенько — ничем не оправданную, как бы жестокость ради самой жестокости. Вот, скажем, такую, как в следующих строчках:

Песня, как молодость, горяча,
целятся в небо зубы коней,
саблею небо руби сплеча,
чтобы заря потекла по ней!..

— Такова была риторика тех времён. Сначала она выражала энергию революции, потом Гражданской войны, — попыталась найти оправдание Галина Спиридоновна.
— Но небо-то зачем рубить, вы не скажете? Оно что — тоже белогвардейское?.. Нельзя призывать смерть всуе, потому что, разбуженная, она перестаёт быть избирательной и косит жизни, уже не сортируя никого на «свой» и «чужой». Вот все эти накликания и возвратились к нему, как бумеранг, обрушив выпущенный им в пространство и время удар на голову самого же автора.
— А что же, в таком случае, называете «ветром свободы» вы сами? Процитируйте из вашего поэта, — кивнула она на лежащую передо мной на барьере книжку Березева.
— Пожалуйста, — я наугад раскрыл сборник и прочитал первые увиденные строки:

…Вот оно! Силы небесные,
где же я жил до сих пор?!
Падают грозы отвесные
в очи прозревших озёр.

Вольная синяя молния,
возликованье мольбы!
Как же… откуда… И мог ли я
это молить у судьбы?

Плавятся, плавятся, плавятся
очи в назначенный срок.
Большего блага не явится…

Но на распятье дорог —
не упрекну провидение
за непосильность любви.

Слышишь! — прими во владение
гордые силы мои…

— Спасибо, я поняла вас, — кивнула она седой головой, когда я дочитал последние строки. — В этом стихотворении действительно живёт ветер свободы. Причём не только как художественный образ, но и как его внутренний дух. Хотя за «непосильностью любви» мне снова видится некая тень трагизма. Но без этого, наверное, настоящей поэзии не бывает, не случайно так много русских поэтов погибли преждевременной смертью, — и она подала мне библиотечную карточку-формуляр для росписи. — Кстати, я работаю последнюю неделю, так что подавайте заявление и принимайте эстафету. Тем более что других вакансий в Криниченске всё равно нет…

11.

В последний день моей свободной жизни, перед тем как мне выходить на работу в библиотеку, мы с Танькой пошли прогуляться по окрестностям посёлка и, двигаясь по заброшенной старой дороге, как-то незаметно для себя отмахали километров пять и оказались на берегу Малого Туя — неширокой таёжной речушки, превращающейся, по Танькиным уверениям, во время дождей в ревущий косматогривый поток, а сейчас совершенно обезводевшей и, подобно сухим марсианским «каналам», бесстыдно оголившей своё мелкое каменное русло, устланное белеющими на солнце круглыми, точно женские груди или колени, валунами. Над головой перепархивали с ветки на ветку крикливые румяногрудые сойки, по стволам окружающих сосен стремительными рыжими молниями проносились юркие белки, а среди наваленных куч бурелома мелькали своими полосатыми спинками бурундуки. Небо было

ясным, как взгляд ребёнка, в воздухе сладко пахло лесными цветами и травами, и только назойливо вьющиеся перед носом комары да бешено атакующие нас время от времени гудящие пауты отравляли собой почти райскую идиллию этой нашей счастливой прогулки.
— Ну что? — остановился я перед высохшим руслом реки. — Поскачем по камушкам на тот берег? Или как?
— Или как, — отмахиваясь рукой от настырного насекомого, ответила Танька. — Я бы поскакала, да только что-то устала. И вообще, у меня с некоторых пор центр тяжести сместился, так что боюсь, не упасть бы.
— Какой центр тяжести? — не понял я. — О чём ты?
— О том, что ты скоро станешь папой, — погладив себя по ещё нисколечко не круглому животу, сказала она.
— Ты серьёзно? — замер я на месте. — Это не ошибка? Ещё же ничего незаметно.
— Я его уже чувствую, — улыбнулась она. — Я же говорю, во мне центр тяжести сместился, как будто я какой-то груз ношу под платьем.
— Так зачем же мы так далеко забрели? Тебе же, наверное, нельзя теперь переутомлять себя долгой ходьбой, тем более по такой дороге, какой мы шли. Пойдём назад, — и я протянул руку и сделал шаг навстречу, чтобы бережно повести свою любимую обратно к нашему дому.

По-хорошему, её с этой минуты надо было бы носить на руках, оберегая заключённый в ней, как в хрустальной шкатулке, плод нашей любви, но пять километров по пересечённой корнями лесной дороге я её не пронесу, ещё, не дай Бог, споткнусь обо что-нибудь да грохнусь. Лучше уж мы потихоньку, держась за руки, как пионеры, побредём вместе…

И в эту минуту за деревьями, на той стороне не существующей реки, звонко заржала лошадь.

Синхронно вздрогнув, мы повернули головы и посмотрели на другой берег.

Раздвигая листву прибрежных кустов и деревьев, из зелёной стены прибрежного леса, как в каком-то историческом или фэнтезийном фильме, начали один за другим появляться странного вида всадники, вооружённые кто луками и стрелами, кто длинными самодельными копьями, кто охотничьими ружьями, а кто и автоматами Калашникова. Количество их росло и росло, они переходили, цокая копытами о камни, на нашу сторону реки и, выходя на берег, обступали нас молчаливым пугающим кольцом.

«Фильм, что ли, какой-то снимают?» — мелькнула в голове уже вроде бы однажды посещавшая меня не так давно мысль, но ни кинокамер, ни осветителей и режиссёров нигде не было видно, а всадники между тем всё выезжали и выезжали из леса и окружали нас кольцом фыркающих слюной лошадиных морд и неприветливо насупленных седоков.
— А ну расступись! — раздался за спинами обступивших нас всадников чей-то властный окрик, и в образовавшемся проходе показался сидящий на мощном гнедом битюге то ли казачий атаман, а то ли хан каких-то отбившихся от своего века ордынцев.
— Откуда идёте? — спросил он, окинув нас взглядом с высоты своей лошади.
— Из Криниченска, — ответил я и зачем-то пояснил: — Посёлок такой, в пяти километрах отсюда.
— Сколько в нём населения?
— Тысячи три, наверное? — вопросительно посмотрел я на Таньку. — Примерно так…
— Милиция есть?
— Полиция.
— Какая разница, менты — они и есть менты. Много их в посёлке?
— Двое, кажется. Ну да, двое…
— Магазин имеется?
— Есть небольшой.
— Товар давно завозили?
— Не помню. На прошлой неделе вроде.
— А народ здесь зажиточный живёт? Коров-свиней держат?
— Как не держать? Без этого сегодня не выживешь. А вы кто будете? Что за войско такое странное?
— Много будешь знать — скоро состаришься. К посёлку по этой дороге ехать? — кивнул он на убегающую за наши спины ленту старого тракта.
— Ну да, — кивнул я. — По этой.
— Хорошо. Свяжите их и оставьте у дороги! Вон там, возле дерева. Сейчас мы съездим и перетрясём этот Криниченск, а потом двинемся дальше, — отдал он распоряжение своим подчинённым. — Этих, — кивнул он на нас, — на обратном пути развяжите и отпустите, — и, поглядев на нас, добавил: — Так будет лучше для всех. По крайней мере, не надо будет вас убивать.

Спрыгнув с лошадей, к нам кинулись несколько смуглолицых воинов бурятского или монгольского обличья, у одного из которых в руках я увидел моток серой верёвки.
— Э! Э-э-э! Вы чего? — отшатнулся я на пару шагов назад, но тут же наткнулся спиной на одну из стоящих вокруг нас лошадей.

Оглядываясь на это неожиданно возникшее на пути препятствие, я как-то слишком резко крутанулся на месте и, чтобы удержать равновесие и не упасть, невольно схватился за халат сидевшего на коне всадника и рванул его всей силой инерции вниз. Не ожидавший этого мужик с «калашом» на коленях нелепо взмахнул руками и грохнулся на землю, а соскользнувший с его колен автомат волшебным образом кувыркнулся в воздухе и опустился мне точнёхонько в руки. От неожиданности я схватил его и направил на нападавших.

Увидев в моих руках оружие, и конные, и пешие мгновенно отпрянули в стороны и, срывая с плеч кто двустволку, кто карабин, кто лук, а кто копьё, немедленно взяли меня на мушку.

— Бросай автомат! Бросай, гад, а то щас изрешетим и тебя, и твою бабу! — визгливо заорал один из верховых, передёргивая затвор своего старенького карабина.

— Бросай, сука! — защёлкали затворами остальные, нацеливая на меня своё оружие.

И вдруг над нашими головами будто пролетел порыв леденящего зимнего ветра.

— Дорогу Великому Хану! — прозвенел, перекрывая поднявшийся над тропою шум и гвалт, звонкий, точно сигнал походной трубы, голос, и вслед за этим в проём между стремительно расступившимися наездниками въехал царственно восседающий на тонконогом чёрном жеребце всадник в отороченной песцовым мехом островерхой папахе и с висящей на боку кривой саблей в украшенных драгоценными камнями ножнах.

— Что здесь происходит? — негромко спросил он у допрашивавшего нас атамана.

— Задержали двоих местных, Великий Хан! — доложил тот. — Они говорят, что в пяти километрах отсюда находится посёлок Криниченск, в котором всего два мента и около трёх тысяч народа. Есть продовольственный магазин, все местные держат скотину и птицу, так что можно пополнить провиант.

— А что за ор тут у вас стоял?

— Так это, Великий Хан, всё из-за него, вот из-за этого, — ткнул он толстым пальцем в мою сторону. — Мы с ним разговаривали как с человеком, а он выхватил, понимаешь, автомат у Баира и чуть не перестрелял тут нас всех ни за что ни про что. Уж больно прыткий какой-то…

— И Баир позволил кому-то забрать у него автомат?

— Так он, Великий Хан, так стремительно прыгнул на него, никто даже и не ожидал…

— Взять Баира. Мне такие воины не нужны.

Те несколько человек, что пару минут назад направлялись вязать верёвкой меня и Таньку, рысями метнулись на так и не успевшего ещё толком подняться с земли Баира и опутали ему руки и ноги.

— Ты сказал — мы услышали, Великий Хан. Что дальше?

— Казните его, — и в то же мгновение по горлу несчастного Баира полоснул остро заточенный кривой нож, и на ноги людям и лошадям брызнул ярко-красный фонтан крови. Мне тоже досталось этого страшного дождя, и я стоял теперь, весь обрызганный алым и липким бисером. Танька вообще чуть не потеряла сознание и стояла рядом со мной бледная, как простыня.

Тот, кого называли Великим Ханом, удовлетворённо кивнул, медленно повернул голову в мою сторону, приподнял повыше надвинутую на глаза шапку и…

— Вадим? — не сдержал я изумления. — Ты?

В ту же секунду меня резко толкнули вперёд, так что я уронил автомат под ноги, и с силой пригнули мою голову к земле.

— Кланяться Великому Хану! Обращаться с поклоном! Ты понял? Понял?..

— Отпустите его! — величественно произнёс Вадим. — Я давно знаю этого человека. Когда-то он спас меня от волков в красных погонах.

Меня нехотя отпустили, и я поднялся с колен, потянув за ствол автомат. Слишком свежо было воспоминание о наказании Баира за утрату оружия.

— Ты всё-таки решился оставить геологию? — усмехнулся Вадим и перевёл глаза на стоящую чуть в стороне побледневшую Таньку. — Из-за неё?

— Из-за неё, — подтвердил я.

— Молодец, — одобрительно кивнул он головой. — И ты теперь обитаешь в Криниченске?

— Да, здесь живёт её тётка, вот мы у неё пока и поселились… А что ты собираешься сделать с посёлком? Разграбить? — спросил я, запоздало отметив про себя, как напряглись при моих словах лица окружавших Вадима воинов.

Но ничего страшного не произошло.

— Люди, которых ты видишь, — это не грабители, а воины великого ханского войска, — спокойно ответил он. — Наша цель — создание свободной Алханайской Буддистской Империи, простирающейся от Москвы до Владивостока. Мы никого не убиваем, если на то не возникает экстренной необходимости. Но нам необходимо пополнять запасы провианта, одежды. Воины ведь должны хорошо питаться, чтобы не ронять автоматы, как Баир, — он с презрением посмотрел на лежащий возле ног переминающейся лошади труп. — Поэтому мы позволяем себе экспроприировать продукты у торгашей и реквизировать часть живности у населения. А тебе что — стало жалко своих односельчан? Ты просишь у меня для них милости?

— Нам с ними жить. Там Татьянины родственники, друзья, соседи. Да и просто — много хороших людей. Не трогай их, пожалуйста, ладно?

— Значит, твои люди — хорошие, а мои — плохие?

— Я не говорил так.

— Но так получается! Обойти стороной твой посёлок — значит, не пополнить запасы провианта и оставить моё войско без еды. А ты знаешь, сколько в нём человек? Сто тысяч! То, что ты видишь, — он обвёл жестом присутствующих, — это только авангард, разведка. Остальные идут по старому тракту. Их надо кормить, одевать, лечить. Это ваша демократическая власть живёт, ни о ком, кроме себя, не думая, а я, Великий Хан, должен помнить о каждом своём воине, знать, не прохудились ли у него сапоги, есть ли у него еда на ужин, найдётся

ли чем укрыться во время сна! Жалеть вас—значит, не жалеть их! Как мне прикажешь поступить?
— Там, впереди, есть и другие селения. Копыловка, Иванкино, Дальнее… Алтаево, кажется, Куржино, и какие-то сёла ещё, я не помню их все…
— Ну вот и веди нас, покажешь дорогу.
— Я не знаю дороги, я ведь в этих краях недавно. Видел их только на карте.
— А твоя возлюбленная? Она-то ведь здешняя, знает, как к ним пройти?
— Она тут только в детстве жила, давно уже. Да и нельзя ей сейчас в седле трястись… В положении она. Беременная.
— Поздравляю!—осклабился Вадим.—Вижу, что мужчина. Молодец. Береги её, она твой плод носит. В таком случае… Слушайте все!—неожиданно возвысил он свой голос, в котором послышалась металлическая непререкаемость.—Я, великий Чингисхан Второй, объявляю свою волю! Мы оставляем посёлок Криниченск нетронутым! Это вотчина моего друга, и потому мы обойдём его стороной. Движемся до следующего населённого пункта и там пополняем все необходимые запасы. За эту дарованную мною милость ты, мой друг,—он вперил в меня свой доселе незнакомый мне каменно-твёрдый взгляд,—идёшь с нами. Пускай твоя женщина возвращается домой и рожает тебе наследника, а ты садись на лошадь Баира, бери его автомат, и поехали. Я давно не разговаривал с умным человеком, восполнишь мне этот пробел. Согласен? Или хочешь, чтобы я всё-таки прогулялся с ордой по Криниченску?
— Не надо. Я поеду с тобой.
— Отлично, друг!

Он поднял на дыбы своего великолепного тонконогого жеребца и вскинул вверх руку, призывая всех к вниманию.
— Возвращаемся на старую дорогу и продолжаем движение вперёд! Идём до ближайшего посёлка и с ходу проводим реквизицию!
— Ты сказал—мы услышали!—откликнулись воины и, развернув своих лошадей, двинулись обратно через каменное русло.

Один из стоявших поблизости бурят подал мне поводья Баировой лошади, а сам вскочил на своего низкорослого скакуна и поспешил догонять товарищей. За два десятилетия геологической жизни мне не раз доводилось ездить на лошадях, но наши геологические клячи были старыми, давным-давно списанными, и при езде на них надо было опасаться только того, чтобы она не упала под тобой от старости; сейчас же передо мной был здоровый молодой жеребец, настороженно прядающий ушами и нервно перетаптывающийся на месте. Но события разворачивались как-то очень уж быстро, прямо-таки нереалистически быстро, и времени на обдумывание ситуации у меня не было ни минуты. Вспомнив, как поступали в таких случаях герои кинофильмов, я осторожно погладил жеребца по упругой сильной шее и, решительно вставив ногу в стремя, вскочил в седло. Конь встряхнул гривой, заржал, затанцевал на месте, но, почувствовав натянутые мною поводья, успокоился и показал готовность к подчинению.
— Вот и хорошо,—оценив ситуацию, подал голос Вадим.—Для начала всё очень даже неплохо. Я думаю, так будет и дальше. Поехали?..
— Ты сказал—я услышал,—ответил я.

Великий Хан благожелательно улыбнулся, и, легко тронув поводья, мы развернули своих скакунов в сторону усеянного округлыми белыми камнями (на этот раз они мне показались похожими на черепа) сухого русла. Уже на ходу, вспомнив о Татьяне, я оглянулся на то место, где она стояла, и встретился с её широко раскрытыми недоумевающими глазами.
— Береги себя и ребёнка!—прокричал я, неумело придерживая рвущегося в дорогу коня.—Я скоро вернусь к вам, слышишь? Топи баню и жди, мы обязательно будем вместе!..

И, двинув пятками в бока гарцующего животного, отправился в неизвестность.

12.

Были уже лёгкие летние сумерки, когда передовые части Вадимовой орды, или, как называл её он сам, великого войска Чингисхана Второго, подошли к околице небольшой деревни, на входе в которую даже не было указателя с её названием. Впрочем, он, наверное, висел с другой, «парадной» стороны, а мы-то зашли к ней с тыла, из тайги, то ли по какому-то столетнему тракту, то ли по оставленной геодезистами советской поры вырубке, которая давно уже никем не использовалась и вся заросла высокой густой травой и тонкими побегами берёз да осин.

Собранное Вадимом воинство действительно поражало своими размерами—людская река была растянута не на один километр, и последние отряды, наверное, ещё только отходили от того места, где мы переправлялись через пересохшее русло Малого Туя. Войско было сплошь верховое, в основном конное, но было в нём и верблюжье подразделение из двухсот голов, на котором везли мешки с провизией, свёрнутые шатры, ковры, палатки, запасную одежду и другие необходимые припасы. Ближе к концу этого фантастического конно-верблюжье-человеческого потока, где-то перед замыкающим его арьергардным отрядом, двигалось три сотни телег, на которых везли сложенные один в другом, наподобие русских матрёшек, большие казаны и чаны для приготовления горячей пищи и чая. В их оглобли были впряжены самые могучие и выносливые лошади, способные без труда переволакивать телеги через пересекающие дорогу толстенные корни, вытаскивать их из

цепкой болотистой жижи и справляться с другими трудностями таёжного рейда. Ещё десятка два телег шли недалеко от передовых частей, чтобы в случае овладения в пути добычей под рукой было средство для её транспортировки.

Всё это мне рассказал за время нашего пути сам Вадим, который, похоже, действительно измолчался за минувшие годы и, получив теперь в моём лице заинтересованного слушателя, с азартом навёрстывал упущенное.

— А откуда взялась информация, что вы утонули в Байкале?—вспомнил я доходившие до меня слухи о гибели Вадима и его подданных под байкальским льдом и этим вопросом очень повеселил своего собеседника.

— Ну, значит, расчёт мой был верен,—произнёс он, отсмеявшись.—Раз поверил ты, то поверили и другие.

— Так ты, выходит, сам распустил эти слухи?

— Ну не то чтобы я лично, но я сделал всё для того, чтобы такие слухи имели место. Ты же помнишь, что было после того, как я объявил о создании Алханайской Республики? Казалось бы, агинские буряты имеют точно такое же право на свободу, как, скажем, жители Прибалтики или Молдовы, но в ответ на решение нашего хурала об объявлении суверенитета в Агинский национальный округ тут же начали стягивать бронетехнику и солдат. Я тогда не мог им противопоставить ничего, кроме стрел и копий. Пара ящиков автоматов Калашникова, которые я раздобыл к тому времени для обеспечения своей безопасности, повлиять на исход ситуации никак не могли. Оставался один выход—уйти в Китай или Монголию, но кому я там был нужен? А главное—это было не нужно мне самому, я хотел не отсиживаться в чужих кустах, а создавать свою собственную державу. И даже не Республику, а Империю. Зря я, что ли, молился тогда на Алханае? Мне был тогда дан отчётливый положительный ответ, и я должен был реализовать полученное свыше благословение. Поэтому я собрал своих подданных, и мы действительно двинулись сначала к монгольской границе, но дошли только до Ононского района и повернули оттуда на северо-восток, прихватив с собой по пути сто человек из села Куранжа—это родина атамана Семёнова, боровшегося в годы Гражданской войны с советской властью. Они там до сих пор все в этом селе бунтари. Власть подумала, что мы ушли в монгольские степи, а мы двинулись в обход Байкала на земли Сибири. Приняли в свои ряды жителей ещё двух или трёх небольших деревень, разгромили по пути несколько исправительно-трудовых лагерей, пополнив свои ряды освобождёнными зэками…

— Странно, что я ничего тогда об этом не слышал. Если бы об этом писали в газетах или сообщали по радио, я бы запомнил. А так прошёл только слух о том, что вы все утонули.

— Это всё потому, что мы всё делали абсолютно без шума, так что никто даже не успевал сообразить, что происходит, а не то что сообщить о нападении в область и вызвать подкрепление. Лучники беззвучно снимали стрелами часовых на вышках и охрану на КПП, мои лазутчики проникали за ворота, открывали их, мы в мгновение ока наводняли собой весь лагерь, отпирали камеры, сажали под замок начальство и уходили, уводя с собой не успевших ничего толком понять зэков.

— И за вами не снаряжали погоню?

— Нет, не снаряжали. Областное начальство, повидимому, надеялось, что удастся сохранить всё случившееся в тайне и не облажаться перед Москвой, поэтому никто никуда ничего не сообщал. Да и как, в самом деле, доложить наверх о том, что на территории вверенной тебе области действует какое-то многотысячное монголо-татарское войско, которое запросто нападает на учреждения пенитенциарной системы и выпускает на свободу особо опасных преступников? За такое сообщение тебя или тут же отправят в дурдом, или посадят в тот же лагерь, которому ты не смог обеспечить надёжную охрану!.. Правда, когда мы вскрыли ворота уже нескольким таким учреждениям, наверху всё-таки всерьёз перепугались, и над тайгой начали кружить поисковые самолёты. Рано или поздно нас бы выследили и, я думаю, просто расстреляли бы с воздуха, как зверей, наша власть любит такую вертолётную охоту; поэтому мы и запустили «утку» о том, что пошли через Байкал к Слюдянке, чтобы пожаловаться Распутину, да провалились под лёд. Раскидали вокруг огромной полыньи старые шапки-валенки, бросили на льду несколько телег с барахлом, десятка полтора старых ружей… А сами ушли на север, пересидели зиму в старых сталинских лагерях, где пока ещё не совсем развалились бараки… Их, оказывается, полно в тайге осталось… А потом двинулись по забытым геодезическим дорогам туда, где нас меньше всего ждут и ищут,—на запад, в сторону столицы нашей великой Родины—Москвы.

— Ты что, серьёзно думаешь добраться со всей этой своей гвардией до Москвы? А потом что будешь делать—брать её штурмом?

— Там видно будет,—уклонился он от ответа.

— Ты цел до той поры, пока вы находитесь в тайге и не проявляете себя активно. Но рано или поздно вы себя обнаружите, и тогда за тобой начнётся охота.

— Мы уже второе лето проявляем себя активно, и сегодня ты в этом сам убедишься. Ты мог увидеть это ещё в Криниченске, но я человек благодарный, помню, как ты меня не выдал ментам, поэтому пусть твоя возлюбленная спокойно кормит своих телят и гусей, а мы разживёмся свежатинкой

в другой деревне. Кстати, я слышу, как тянет дымком и навозом, значит, она уже близко…
— Ты собираешься ограбить целую деревню?
— Я не граблю. Иногда люди отдают мне всё своё добро сами, да ещё и просят при этом принять их в войско. Бывает, вступают в наши ряды прямо целыми семьями. Нынешняя жизнь и нынешняя власть уже так всех достали, что народ готов приветствовать не только Сталина, но и Чингисхана, Разина, Наполеона и даже, не исключаю, самого Гитлера, лишь бы только не слушать больше эти циничные речи о развитии демократии в России, произносимые на фоне повсеместного опустения деревень, тотального обнищания стариков, необратимого разложения молодёжи и превращения богатейшей некогда страны в кормушку для обогащения кучки лицемеров и извращенцев.
— Ты научился говорить не хуже Зюганова.
— В отличие от него, я научился ещё и подкреплять свои слова делами. Оглянись назад: за мной идёт сто тысяч добровольцев, готовых ценой своих жизней строить Алханайскую Суверенную Буддистскую Империю, и это — только начало! Когда мы выйдем из-под этих сосен, под мои знамёна начнут переходить миллионами. Я это не просто так говорю, я это сердцем чую!
— Откуда же возьмётся столько буддистов? У нас всё-таки православная страна.
— Буддизм — это не религия, это тот воздух свободы, который мы с тобой когда-то уловили в стихах Берязева. Я никого не собираюсь принуждать менять его мировоззрение, наоборот, мой великий предшественник Тэмучин говорил, что это даже хорошо, когда в войске находятся приверженцы разных вер, тогда на твоей стороне не только твой бог, но и боги всего мира! В буддизме нет такого понятия, как инквизиция, каждый волен мыслить и верить самостоятельно, не боясь, что его сожгут на костре, как Джордано Бруно, поэтому моя империя будет страной подлинной, а не декларированной свободы.
— Слушай, когда ты успел всё это обдумать и сформулировать? Я просто ушам своим не верю!
— Я же тебе говорю, что я получил на Алханае благословение свыше. Поэтому я не думаю, какие мне надо сказать слова, а сразу говорю, зная, что боги сами вложат мне в уста те речи, что нужно. То же самое — с поступками.
— Ну вот впереди и деревня, — придержал я своего коня, завидев показавшиеся в бледно-синих сумерках серые избы и присевшие в концах огородов почерневшие от дыма баньки. — Твои боги в отношении её уже что-нибудь сказали?
— А как же, — утвердительно произнёс он и, слегка повернув голову в сторону, отдал куда-то за спину негромкую, но твёрдую команду: — Отправляйте сотни Хайдара, Шойбона и Аюндая. И бригаду Гаврилова. Пускай загоняют всех в дома и подпирают снаружи двери. Обходиться без крови и насилия. Стрелять только по нужде. Ничего не жечь, огонь и дым могут привлечь к нам ненужное внимание. Пошли!
— Ты сказал — мы услышали, — строенным эхом донеслось из-за спины Вадима, и в ту же минуту над колонной раздался какой-то гортанно-курлыкающий клич — и, обгоняя нас, в сторону деревни потекли три стремительные тёмные молнии, в которых почти невозможно было различить слившихся с лошадьми всадников.
— Сотни Курдылая, Араслана и Безухого обходят деревню по околицам и отрезают все ведущие к ней дороги. Нельзя, чтобы кто-то побежал за помощью к соседям, а тем более — чтобы эта помощь пришла, — отдал очередное распоряжение Вадим, и я понял, что он не просто озвучивает команды, но говорит так, чтобы суть проводимой операции была предельно понятна и мне.
— Две интендантских роты и резервные телеги вперёд, — послышалась через несколько минут ещё одна тихая команда, и в сторону деревни со скрипом двинулось десятка два повозок.
— Ну а теперь можно и нам, — решил чуть погодя Вадим, тронув поводья.

И стоявшая в ожидании знака армада дрогнула и потекла к деревне…

13.

Это было похоже на изготовление колбасы, когда узкую оболочку кишки предельно плотно набивают мясным или ливерным фаршем. Именно на такие вот набитые конно-человечьим фаршем кишки походили улицы деревни, в которую втиснулось сразу несколько тысяч вооружённых всадников и два десятка запряжённых битюгами телег. Всё стотысячное войско в деревню, конечно же, не пошло, да оно в неё всё и не влезло бы, но уже и той его части, которая до отказа запрудила собой все деревенские дворы и улицы, было достаточно, чтобы наполнить ужасом глаза и души местных жителей, панически запершихся внутри своих изб, да ещё и подпёртых снаружи кольями, подставленными к их дверям воинами Вадима. Со страхом, дрожью и абсолютным непониманием происходящего выглядывали они украдкой из окон своих домов, отшатываясь от них при малейшем приближении к дому любого конного или пешего. А Вадимовы ополченцы врывались тем временем во дворы, сараи и погреба, хватали кудахчущих кур и голгочущих гусей, тащили визжащих поросят и мычащих коров, волокли из подвалов мешки с картошкой и морковью, копчёные окорока и связки сушёной рыбы, снимали с заборов вывешенные для просушки ковры и одеяла, — словом, активно пополняли пищевые и вещевые ресурсы войска, сгружая связанных гроздьями кур и гусей, а также продукты и вещи

на телеги да сбивая в гурты и стада ревущих животных.

Неожиданно над одним из дворов, мимо которых мы как раз проезжали, перекрывая весь этот невообразимый ор, шум и гвалт, взвился отчаянный женский вопль, неистовый и истошный, вслед за которым расслышался захлёбывающийся смертельным горем крик:
—Не отда-а-а-ам! Не трогайте, сволочи! Нелюди проклятые, кровопийцы! Оставьте её, ради Христа!..
—Поглядим-ка, в чём там дело!—придержал коня Вадим, поворачивая на крики, и я последовал следом.

В начинающем сгущаться сумраке нам предстала следующая картина. Упав на колени, посреди двора стояла женщина лет пятидесяти с растрепавшимися во все стороны волосами и блестящим от слёз лицом, которая обхватила обеими руками за шею небольшую беленькую козочку и судорожно прижимала её к себе, выкрикивая сквозь слёзы: «Не отдам!» и «Не трогайте!».
—Аюндай, что тут происходит?—громко спросил Вадим, увидев среди запрудивших двор всадников командира одной из сотен.
—Да вот, Великий Хан, баба не хочет отдавать нам козу! Вцепилась в неё мёртвой хваткой—и ни в какую! Да ещё при этом вопит как резаная!
—Эй!—окликнул её Вадим.—Ты почему такая жадная? Тебе жалко для моих людей какой-то несчастной козы?
—А если, кроме этой козы, у меня больше никого в жизни и нету?—давясь слезами, выкрикнула женщина, слегка повернув голову в сторону Вадима.
—Тогда тебе надо было заводить не козу, а козла!—сострил Аюндай, и все находившиеся во дворе загоготали.
—Дурак!—с обидой произнесла женщина, крепко обнимая одной рукой за шею дрожащее животное и вытирая кулаком другой текущие из глаз слёзы.—На днях ко мне должна приехать внучка из Томска. Она с самого Нового года пишет мне в письмах, как приедет летом ко мне и будет играть со своей любимой козочкой... На море с родителями не захотела ехать, устроила истерику, лишь бы только приехать сюда и обнять Машку... Это козу Машкой звать... И что я ей скажу? Что приехали злые дяди и сварили из Машки суп?—губы женщины неудержимо задрожали, она вцепилась обеими руками в козу и, обливаясь слезами, запричитала:—Не отдам! Лучше убейте меня прямо здесь, изверги! И откуда вы только взялись, нелюди, кровопийцы?!..
—Ну ладно, ладно, ты поосторожнее тут с выражениями! Подбирай слова, а то я и правда рассердиться могу!—прикрикнул на неё грозным голосом Вадим.—Ишь, разругалась она!—и, оглядев толпящихся вокруг воинов, вынес решение:—Оставьте ей её козу! Мы же не мародёры. Мы реквизируем излишки, но не доводим людей до самоубийства. А ты,—свесился он с лошади ко всё ещё сотрясающейся в рыданиях хозяйке козы,—быстро веди свою Машку в дом, закройся там и сиди, пока мы отсюда не уедем. Живо!—и, дождавшись, пока женщина, схватив на руки свою дорогую козу, добежала до порога дома, распорядился:—Отходим! Собирайте людей! Конец операции!
—Спаси тебя Господь!—закрывая за собой дверь, крикнула женщина.—Когда будешь стоять на Страшном суде перед Творцом, это тебе зачтётся!—и неистово загремела изнутри засовами и запорами.

А по деревне полетел уже слышанный мною раньше гортанно-курлычущий клич, после чего снующая в сумраке масса конников начала быстро редеть, рассасываться, стягиваться в сотни и возвращаться обратно в тайгу, догоняя уходившее по старой дороге войско. Скрипя и покачиваясь на кочках, корнях и выбоинах, поползли вслед за ними нагруженные едой и тряпьём телеги. Последними подошли к околице только мы да полусотня личной охраны Вадима.

Оглянувшись на затаившуюся в страхе разграбленную деревню, он тихо, но так, чтобы я мог хорошо расслышать, произнёс:
—Я не хочу ни слёз, ни крови. Я бы вообще обошёл стороной все населённые пункты, если бы мог прокормить своих людей охотой и рыбалкой. Но это невозможно. Реки перелопачены драгами в поисках золота, леса вырублены и распроданы, зверь ушёл или выбит браконьерами, рыба лишилась нерестилищ и передохла... А у меня сто тысяч человек, это, считай, население крупного райцентра! Снабжением такой прорвы народа должны заниматься департаменты продовольствия, орсы, тресты и другие конторы, да и те, судя по убогости провинциальных магазинов, не всегда справляются с задачей; а у меня ничего этого нет, я один. Чем мне кормить людей? Поэтому я вынужден делать то, что ты только что видел.
—И что, никто ни разу не взялся за оружие, не стал защищать своё добро?
—Ну почему же... Первое время мои люди врывались по глупости в избы и получали там пулю в упор. Это же Сибирь, тут все—охотники, у всех в домах имеется оружие. И когда кто-то непрошено лезет к тебе через порог, человек оказывается вынужден защищать своих близких. Не ждать же ему, пока их начнут насиловать или резать? И хотя моя армия ни резнёй, ни насилием не занимается, я запретил своим воинам входить в чужие дома, и после этого стрельба прекратилась. Из окон не стреляет никто—они же не сумасшедшие, чтобы, видя набитую до отказа вооружёнными людьми деревню, вызывать на себя огонь целой армии! В основном, стоят возле окон с оружием в руках

и ждут; если сунешься в дом — будут отстреливаться, тут у них просто нет другого выхода, но из дома на улицу не стреляют, боятся навлечь беду на своих близких.
— А полиция? Тоже отсиживается? С ней вы как поступаете?
— Полицию мы обычно тоже запираем, причём в первую очередь. Обрезаем телефонный провод и накрепко подпираем дверь бревном, этого оказывается достаточно. Они там сидят и не рыпаются. Не дураки же, видят в окна, сколько нас. Один раз, правда, ещё в Иркутской области, какие-то идиоты при нашем появлении начали стрелять. Наверное, были пьяными, героями себя почувствовали. На нашу беду, у них оказались автоматы, и они положили больше десятка моих воинов. Ну, тут уж ребята не сдержались, облили их контору бензином и подожгли… Но я не бандит и не душегуб, мне даже смерть ментов не нужна, хотя они и попили когда-то моей крови; я просто реквизирую часть продовольствия у одних, чтобы не дать умереть другим. Мировая история ничем другим, кстати, никогда и не двигалась, кроме как борьбой за перераспределение благ между различными народами, группами и сообществами. Что на войны посмотри, что на революции…
— А ты считаешь себя революционером?
— Скорее, с приставкой «анти». Это нынешняя власть, используя революционный опыт прошлого, экспроприировала у советского государства накопленные им блага, перераспределив их в пользу узкого круга причастных к правящей элите лиц. А я хочу вернуть всё к истокам, дать людям равные условия для жизни.
— И в чём будет выражаться главный принцип твоего государственного устройства?
— Закон и порядок. А в рамках закона и порядка — полная и абсолютная свобода.
— И это говоришь ты, бежавший от закона и порядка?
— Я не имею в виду закон и порядок тюремной клетки. Я говорю о чёткой регламентированности всех сфер жизни. Чтобы каждый делал всё, что захочет, но знал, что если его деятельность станет угрожать равновесию общества, то он получит утюгом в промежность.
— Жестоко.
— А иначе нельзя. Разве это справедливо, что какие-то Абрамович или Дерипаска сосредоточили в своих загребущих руках средства, на которые можно сделать счастливыми половину Сибири? А эти пол-Сибири не могут найти денег, чтобы заплатить за лечение своих погибающих детей. Мне тут как-то притащили из одной поселковой библиотеки подшивку «Комсомольской правды» за несколько месяцев, так я полистал её и офонарел! Практически в каждом номере редакция даёт объявление о сборе денег на спасение какого-нибудь ребёнка, которого могут вылечить только за границей и только за немереные доллары! А что же делает наше государство? Почему оно само не спасает этих детей? А потому, что они ему и на фиг не нужны! Какой с них навар? Никакого. Одни убытки. Ему вообще никто не нужен, особенно из тех, кто чего-то просит. Поэтому такое государство — мне тоже не нужно. Да и нет его на самом деле, не вижу я у нас государства, липа всё это для прикрытия разворовывания народных денег. А в моём государстве каждый, чьи доходы будут превышать десятикратный уровень минимальной заработной платы, должен будет платить пятьдесят процентов подоходного налога. Я не буду ни у кого отнимать его магазины, скважины или акции — обогащайся, я не возражаю. Но за то, что тебе разрешили обогащаться, плати в казну. Чтобы я мог построить каждому из моих граждан дом на Рублёвке и купить ему машину.
— Сказка!
— Но кто-то же должен сделать её былью?
— Я не верю, что ты сможешь осуществить это в реальности. Деньги — категория мистическая, они работают по своим законам. Уж стольким борцам за народное счастье они снесли крышу!.. И стоит только твоим сегодняшним единомышленникам и сподвижникам ощутить запах миллионов, как они тут же забудут все те праведные чувства, что кипели в их душах во время похода, и превратятся в очередных Абрамовичей и Дерипасок…
— Ничего, там посмотрим. Всё ещё только начинается.
— Но меня-то ты теперь отпустишь? — спросил я, глядя на гружённые добычей возы и телеги, мимо которых мы как раз проезжали. — Запасы ты только что пополнил. Зачем я тебе дальше?
— Да ты что?! — изумился Вадим. — Ты думаешь, это возможно? После всего, что я тебе сегодня рассказал? Извини, брат, но у меня теперь только два пути. Либо быть с тобой вместе до победного мига, либо убить тебя прямо здесь, на месте. Отпустить тебя, когда ты столько всего видел и знаешь, подобно самоубийству… Да и не обещал я тебе такого. Я только сказал, что или я захожу в Криниченск, или ты присоединяешься ко мне. Вспомни получше.
— Но на фига я тебе?
— На фига? — переспросил он и, потянув носом воздух, засмеялся. — А чтобы нам поужинать вместе! Слышишь запах?

Мы пришпорили коней и, обогнув небольшой низкорослый березняк, выскочили на прибрежную луговину, где нашему взору открылась завораживающая панорама. На простиравшейся в сгустившемся сумраке равнине, куда ни глянешь, полыхали сотни разожжённых костров и, судя по распространявшемуся вокруг запаху варёного мяса, уже вовсю шло приготовление еды. Чуть

дальше поблёскивала водной гладью неширокая река, слышалось ржание стреноженных коней, людские голоса, скрип подъезжающих к месту стоянки повозок.

— Это что за река впереди? Обь? — поинтересовался Вадим.

— Вряд ли, Обь намного шире. Это то ли Кемь, то ли Темь. А может, Кеть, я не помню точно. Знаю, что какая-то речка течёт параллельно Оби. Кстати, как ты собираешься переправляться через Обь? Её-то, как Малый Туй, по камням не перескачешь даже в засуху…

— А вот об этом мы с тобой за ужином и поговорим. Согласен?

— А куда мне деваться?

— Это точно. Деваться тебе, брат, некуда. И, кстати, давай уж заодно расставим все точки над «i»… если ты вдруг надумаешь убежать от меня, то помни, что я тут же, как бы мы далеко ни отошли от твоего Криничненска, пошлю вдогонку за тобой своих верных нукеров, и они… ну, в общем, я бы не хотел развивать эту мысль дальше. Ты меня понимаешь?

Я обречённо кивнул:

— Как не понять!

— Вот и замечательно. Хотя я всё-таки хотел бы, чтобы ты чувствовал себя в моём стане не заложником, а единомышленником и другом.

Один из ехавших вместе с нами воинов издал вдруг негромкий условный свист, и в ответ на него из темноты тут же вынырнули на маленьких лошадях какие-то проворные люди. Один из них быстро соскочил на землю и, взяв из рук Вадима поводья его жеребца, повёл его к уже установленному для него на поляне шатру.

— Пока ты не обзавёлся своим шатром или палаткой, поживёшь с Аюндаем, — сказал Вадим, — он не храпит и не лезет с разговорами. А потом мы тебе выделим какое-нибудь отдельное жильё. Договорились?

— Ты сказал — я услышал, — повторил я практикующийся в разговоре с Великим Ханом ответ.

— Ну, значит, всё будет отлично! — засмеялся на это Вадим и дружески хлопнул меня по плечу.

14.

Сжевав по нескольку кусков варёной телятины, мы полулежали на расстеленных кошмах и прихлёбывали из эмалированных металлических кружек крепкий душистый чай, в котором явственно ощущался привкус то ли лесной смородины, то ли малины. Увидев за ужином, что меня в моей летней рубашечке с короткими рукавами одолевают комары, Вадим дал распоряжение своему интенданту, и тот принёс мне плотный, но не тяжёлый халат тёмно-коричневого цвета и лёгкую монгольскую шапку.

— Когда-то ты меня обеспечивал спецодеждой, а теперь наступила моя очередь, — пошутил Вадим, глядя, как я спешу защитить себя от назойливых укусов насекомых.

Быстро просунув руки в рукава, я почувствовал себя в новом одеянии как в надёжной противокомариной кольчуге. А нахлобучив на самые уши шапку, ощутил себя ещё более уверенно и, не обращая больше внимания на звенящее вокруг комарьё, возобновил трапезу.

Теперь же мы просто пили чай и обсуждали предстоящие перспективы.

— Итак, какие методы переправы видятся моим воеводам? — нарушил благостную тишину Вадим, отставляя в сторону кружку с чаем. — Хайдар?

— Конники переплывут реку на лошадях, с этим проблем нет. А вот для телег, наверное, надо строить плоты или искать мелкое место.

— Мелких мест тут нет, — подал голос я. — Глубина Оби составляет здесь от четырёх до восьми метров, и даже в такое засушливое лето, как нынешнее, не меньше трёх. А строить плоты для переправы двухсот телег… Или сколько их там у вас?

— Триста с лишним, — уточнил Вадим. — Только не «у вас», а «у нас», ты ведь теперь тоже часть нашего воинства.

— Ну да, у нас. Так вот, на постройку трёхсот плотов надо уйму времени и леса. Да и управлять плотами надо уметь, чтобы бороться с течением. Не знаю, можем ли мы позволить себе стать здесь лагерем на несколько недель, а то и больше.

— Нежелательно, — молвил Вадим. — Во-первых, нас тут могут засечь, а во-вторых, всё это время нам надо будет чем-то питаться, жечь костры — а где брать еду и сухостой? Запасы имеющихся у нас продуктов мы прикончим уже завтра-послезавтра, найденный в окрестностях сушняк сожжём уже сегодня… Какие ещё будут мысли?

— Надо искать мост, — подал голос Шойбон.

— Ты думаешь, тут где-то поблизости есть мост? — недоверчиво переспросил Вадим.

— Через всякую реку есть мост. Как же иначе?

— Ты что-нибудь слышал про мосты в этих краях? — обратился Вадим ко мне.

— Я знаю, что три или четыре моста через Обь переброшены в Новосибирске и один в Сургуте. А больше не слышал. Но в Колпашево есть действующий паром, я на нём весной переправлялся. Большое такое плоское судно, на которое можно загнать сразу около десятка телег.

— Ты предлагаешь заявиться всей ордой в Колпашево?

— Всей ордой я бы не стал: город хоть и небольшой, тысяч двадцать всего населения, но там живёт много охотников, у всех есть ружья или карабины, есть и своё отделение полиции, связь с областью. Это в деревнях ничего не работает, а там у многих есть телефоны, мобильники. Вы же не планируете устраивать там Сталинградскую битву?

— И что ты предлагаешь?

— Все, кто не боится воды, пускай переплывают реку здесь. Кстати, не одну, а две, так как сначала надо переправиться через Кеть, а уже потом через саму Обь. Кеть в ширину тут метров сто, но она неглубокая, метра полтора всего или меньше, её все перейдут, не слезая с коней. Обь, наверное, метров пятьсот или шестьсот будет, я точно не знаю. А может, четыреста. Но, держась за шею лошади, переплыть можно. Остальным надо идти с телегами в Колпашево, нанимать там паром и спокойно переправляться на тот берег. За Колпашевым все снова соединимся. Дальше надо, наверное, выруливать в сторону Алтая и Казахстана. Там ровная местность, степи, лесостепи. Идти сквозь тайгу рано или поздно станет невозможно.

— Здесь полно дорог, проложенных геодезистами, изыскателями, военными. Про них уже давно никто не помнит, но они остались. Правда, большинство из них довольно сильно позарастали, но мы же движемся,—возразил Хайдар.

— Насколько я понимаю, армия будет всё время увеличиваться, ей уже и сегодня мало этих дорог, а дальше будет ещё труднее. А там—простор, степи.

— Ты хочешь, чтобы нас заметили?—буркнул Шойбон

— Во-первых, там на сотни километров нет ни души. А во-вторых, на ровной чистой местности мы и двигаться будем в два раза быстрее, так что нас просто не успеют засечь. Мелькнули—и нас уже нет!..

— Ладно, оставьте этот разговор на время,—остановил нас Вадим, и Шойбон почтительно склонил голову.—Ты лучше скажи,—обратился он ко мне,—как мы объясним своё появление на переправе? Кто-нибудь там наверняка спросит: кто вы такие, откуда взялись и куда направляетесь? Как мы будем всё это объяснять?

— Да так и объясним. Недавно вся страна смотрела по телевизору, как очередной весенний паводок затопил, на хрен, весь город Ленск в Якутии и смыл целую кучу более мелких посёлков, стоявших вдоль реки Лены. Вот мы и скажем всем, что вышло, мол, постановление правительства РФ переселить нас из этих затапливаемых мест на земли Алтая. Туда мы, мол, и направляемся.

— А если спросят документы?

— Так смыло всё, какие, на фиг, документы? Есть постановление правительства по этому вопросу и утверждённые администрацией Ленского района списки переселенцев, но с ними полпред Республики Саха (Якутия) уже вылетел в Барнаул, оформляет там на всех временные паспорта.

— Хм!.. Ты в самодеятельности не участвовал? Прямо спектакль тут нам нарисовал!

— Вся жизнь—театр. Слышал такое высказывание?

— Слышал... Только не освистали бы нашу премьеру.

— Будем хорошо играть—не освищут.

— Ну-ну. Посмотрим...

На следующее утро начали переправу через Кеть. Река действительно оказалась неглубокой, так что даже не пришлось плыть. Основная масса войска переехала её вброд на конях, даже не намочив задниц, лишь по-детски хохоча и радуясь поднятым брызгам, искрящимся в лучах встающего солнца. А вскоре показалась и Обь. Тут, конечно, у некоторых лица потемнели. Река казалась пугающе широкой и быстрой. Но воеводы времени для разрастания паники не оставили, приказали снять с себя и надёжно привязать к сёдлам всю лишнюю одежду и оружие, потом вскочили полуголые на коней и первыми въехали в воду, бодря и похлопывая своих четвероногих помощников, а некоторое время спустя сползли с конских спин и поплыли с ними рядом, крепко держась рукой за их гривы и сбрую.

Поплыл в числе первых и сам Великий Хан, не устыдившийся предстать перед своими подчинёнными в длинных белых трусах в мелкий голубой цветочек. И только мы с Аюнбаем остались стоять на обском берегу, слушая доносящееся от воды конское ржание и глядя, как течение сносит всё дальше и дальше вправо переправляющееся на противоположный берег войско.

— Только бы никакой сухогруз вдруг не выскочил или катер с баржой,—испуганно подумал я вдруг вслух, представив, как какая-нибудь белоснежная «Комета» несётся по беспомощным конским головам, а из круглых окон-иллюминаторов и с открытых палуб на всё это не столько с ужасом, сколько с недоумением смотрят онемевшие пассажиры.

— Переплывут, никуда не денутся,—успокаивая, скорее, сам себя, промолвил сотник, и, развернув своих коней, мы поскакали обратно через Кеть по направлению к Колпашево.

Надо было догонять отправленный туда ещё до рассвета обоз и обеспечивать ему паромную переправу. «Ты двадцать лет занимался в геологии организационными работами, вот и используй свой опыт,—сказал мне Вадим, выдавая толстую пачку пятитысячных купюр.—Ты же спрашивал, зачем ты мне нужен? Вот Колпашево и ответит тебе на этот вопрос...»

И мне осталось только молча хмыкнуть да приступить к проведению операции.

15.

К паромной переправе мы вышли лишь на третий день после отправки обоза, настолько медленно тащились наши телеги по размытой дождями, ухабистой, пересечённой корнями и разбитой вездеходами грунтовке. Паром был как раз на нашей стороне, и я сразу направился к капитану буксирного катера.

— Какой у вас режим работы?—спросил я, поздоровавшись за руку с невысоким лысым мужиком

в застиранных отечественных джинсах и выгоревшей серой ветровке.
— Два рейса в день,— неторопливо ответил он.— Вот сейчас один, и ещё один после обеда.
— А какой у вас оклад?
— Хм! Это коммерческая тайна, нам её разглашать не велено.
— Да ладно, сказал! Тайна! Тысяч пять, наверное, не больше?
— Пять тысяч я зимой получаю, когда паром на берегу лежит. А в сезон я имею семь с половиной.
— Ну вот! А я хочу вам дать заработать. Видите телеги на берегу? Тут вашему парому ходок на двадцать будет.
— Это до завтрашнего утра возить, без перерыва. Ни моторист не захочет, ни механик. Да и я не железный… Так что придётся вам разбить тут лагерь и недельку подождать, пока мы не переправим всех постепенно на тот берег. По-другому не получится, это я вам сразу говорю. Я-то знаю…
— Эти люди,— кивнул я на заполняемый повозками берег,— потеряли во время наводнения в Ленске всё своё жильё и имущество, а некоторые ещё и близких. Теперь их переселяют на Алтай, где правительство выделило им землю. Представьте, что для них значит каждый лишний день мытарств? Вы бы хотели сидеть здесь неделю в ожидании переправы?
— Я понимаю, но мы ведь тоже живые… Кому захочется вкалывать тут сутки напролёт?..
— Так ведь не задаром же!— остановил я его.— Я плачу за каждый неплановый рейс по тысяче рублей— вам, мотористу, механику, всей команде. Это тысяч по двадцать за ночь!
— Успеть бы ещё до утра-то… Вон сколько телег понаехало!
— Мы всё сосчитаем и за всё заплатим.
— Надо ещё начальнику в конторе… А то узнает, вонь поднимет…
— Дадим десять тысяч и для него.
— Ну так чё ж… Надо начинать погрузку…

Я махнул рукой стоявшему с телегами возле входа на паром Аюндаю, и он начал заводить на судно первые повозки, а появившийся откуда-то из подсобки парень начал руководить погрузкой, распределяя телеги на палубе. Паром представлял собой большое железное корыто метров тридцати в длину с бортами метровой высоты, в котором умещалось по десять-двенадцать телег с запряжёнными в них лошадьми— три или четыре ряда, в зависимости от габаритов телег, по три единицы в ряду. Ходка туда и обратно занимала около часа времени, ещё полчаса уходило на погрузку-выгрузку. Начав около одиннадцати утра, мы катали наши возы весь день, всю ночь и всё утро и закончили переправу только к обеду следующего дня, сделав к этому времени двадцать семь рейсов. Двадцать восьмым переправились я и десятка полтора остававшихся со мною всадников, а Аюндай и ещё десятка два воинов ушли впереди обоза, уводя его за Колпашево в поисках какой-либо старой лесной дороги.

Покидая паромную переправу, я отдал капитану толстую пачку денег, и мы поскакали догонять колонну.

Оставив по левую руку трёхэтажный зелёный городок, мы двинулись по трассе в южном направлении, создавая кучу неудобств проезжающим в сторону Колпашево и особенно обратно автомобилям и вызывая на себя ругань и раздражение водителей. Удивительно, но даже здесь, в глухомани, в самом что ни на есть центре сибирской тайги, дороги были переполнены машинами не меньше, чем, наверное, в той же самой Москве. Обгонять растянувшийся на полтора километра обоз водителям было очень неудобно, и я передал по колонне, чтобы наши телеги ехали группами, оставляя между собой интервалы, в которые могли бы занырívать обгоняющие наш обоз автомобили, пропуская идущий им навстречу транспорт. Повозки потихоньку рассредоточились, и висевший над дорогой рёв клаксонов вкупе с шофёрской матерщиной постепенно затих.

Оглядываясь на осуществлённую только что переправу, я подумал, насколько фантастично и невероятно выглядит всё происходящее, гораздо больше похожее не на реальность, а на фантасмагорическую выдумку какого-нибудь популярного ныне сочинителя, да и того, наверное, задолбали бы ушлые критики, ловя на неправдоподобии событий и несовпадении деталей. То, сказали бы, ширина Оби в месте переправы на самом деле на десять метров шире, чем сказано в романе, то закричали бы, что на паром влезает не двенадцать телег с лошадями, а только одиннадцать с половиной, и таким образом выставили бы автора или полным дилетантом, даже близко не знакомым с описываемой реальностью, или же и того хуже— лгуном и злостным исказителем жизненной правды. Хотя эта самая жизненная правда имеет порою такую фантастическую окраску, какая даже во сне не могла бы привидеться ни одному новомодному сочинителю! Жизнь— это ведь и есть самый изощрённый фантаст и выдумщик, с ней не в силах тягаться ни один Стругацкий, как бы лихо ни закручивал он свои сюжеты…

Проходив и проездив два десятилетия по просторам сибирской тайги и Забайкалья (а иногда и полетав над ними в самолёте или вертолёте), я могу с уверенностью утверждать, что у большинства проложенных по тайге дорог имеются их заброшенные и зарастающие травой и молодым подлеском двойники— то есть идущие параллельно основным трассам просеки, по которым когда-то подвозили технику и материалы для строительства

главной автодороги. Иногда такая дорога является результатом двух проводившихся параллельно друг другу изыскательских работ, одна из которых оказывалась впоследствии либо почему-то забракованной, либо просто оставленной и забытой из-за того, что началась война и работавшие на ней инженеры и строители ушли на фронт. Или же её проектировщиков и руководителей расстреляли по обвинению в работе на индийскую разведку. Это могут быть также прорубленные геодезистами просеки, которые ведут к возвышающимся посреди таёжных дебрей пунктам триангуляции, напоминающим собой классические сторожевые вышки вокруг концлагеря. А могут быть дороги, которые когда-то и в самом деле вели к сталинским лагерям или лагерным посёлкам—так называемые «этапы», по которым страна массово следовала к выброшенному ныне на свалку коммунизму. Иногда нам попадались даже вымощенные бетонными плитами трассы, по которым в годы гонки вооружений тяжеленные армейские тягачи подвозили к секретным подземным шахтам многотонные баллистические ракеты. В перестроечные годы эти шахты, на радость натовским генералам, были нами добровольно взорваны, а проложенные к ним по тайге бетонки остались.

Такую параллельную основной автотрассе дорогу я и искал, посылая время от времени вправо от себя небольшие поисковые группы, которые рано или поздно должны были пересечь её где-то не очень далеко от запруженного нами шоссе. И вскоре такая дорога действительно обнаружилась. Вернувшиеся из очередного рейда разведчики доложили, что до неё от нас около семи километров, но что она находится во вполне приличном состоянии, только слегка заросла молодняком. Следуя за нашими вестниками, мы свернули на еле видимую среди зарослей грунтовку и устремились в глубь шумящего высокими кронами массива. Часа через четыре осторожного продвижения по почти невидимой тропе мы вышли на довольно сносную широкую дорогу, густо поросшую травой и тонкими прутьями молодняка.

—Отлично!—не сдержал я чувства удовлетворения.—Теперь можно идти, не боясь встретить полицейскую машину. Тут-то они не ездят! Осталось только соединиться с верховой частью войска. Аюндай, я думаю, надо кого-то отправить навстречу Великому Хану и привести его со всем воинством сюда. А потом уже двинемся дальше все вместе.

—Я сейчас отправлю пару небольших отрядов, которые отыщут Великого Хана и помогут ему найти эту дорогу,—согласился сотник и, подав знак своим людям, отъехал с ними в сторону и начал объяснять предстоящую задачу.

После того как разведчики разделились на три группы и двинулись назад на поиски основной части войска, мы прошагали ещё около трёх-четырёх километров по найденной дороге и сделали привал. К тому располагала сама местность—сухая, не болотистая луговина, которую пересекал весёлый прозрачный ручей, похожий даже на небольшую речку. В ожидании основной части войска воины наготовили сушняка для костров, поснимали с телег казаны, мешки и сумки с продуктами и принялись заготавливать хлеб, для чего натаскали из ручья множество гладких валунов и сложили из них с помощью мокрой глины десятка три разнообразных печей: одни—похожие на большие каменные котлы наподобие узбекских тандыров, а другие—типа русской печи, выложенные в виде больших каменных берлог и засыпанные сверху толстым слоем глины. Обложив тандыры дровами и запалив костры, их долго раскаляли до нестерпимой температуры, потом отгребли в сторону жар и начали печь лепёшки, прилепляя их к внутренним стенкам печей. Процесс шёл быстро, и готовые лепёшки складывали в кожаные мешки и относили на телеги.

Тесто для русских печей готовили, оказывается, ещё накануне—оно ехало в жбанах на пяти подводах, накрытое одеялами для сохранения тепла. Сейчас из него быстро скатали большие круглые караваи и, сначала прокалив печи, а потом оставив их на некоторое время открытыми, чтобы из них вышел излишний жар и хлеба сразу же не обуглились, поставили в них караваи и плотно закрыли плоскими камнями-заслонками.

Отгребя в сторону от тандыров ненужные более для приготовления лепёшек горячие угли, на них набросали ошкуренные ветки ивняка и рябины и в клубах густого жёлтого дыма начали коптить мясо добытых во время последней реквизиция животных.

Работа шла слаженно и быстро, каждый изучил и освоил своё дело до автоматизма, и теперь, торопясь подготовить стоянку к прибытию главных сил, не отвлекался ни на какие разговоры и перекуры, а, как отлаженный механизм, выполнял доверенную ему работу. За ручьём быстро вырастали шатры и палатки, котлы наполняли водой и вешали над приготовленными для розжига кострищами,—словом, делали всё необходимое, чтобы сразу же по прибытии обеспечить войску максимальный комфорт, отдых и быстрое восстановление сил.

Видя, что всё идёт своим чередом, Аюндай отдал свою и мою лошадей табунщику и пригласил меня к костру на чай. Чай для таёжника—как сигарета для заядлого курильщика: и душу бодрит, и мозги прочищает, и разговору течь помогает. Удовольствие, одним словом,—кто ж от него откажется? Да ещё Аюндай успел где-то сорвать и бросить в чайник несколько листьев дикой смородины,

которая пахнет раз в пять сильнее садовой, просто чудо как пахнет…

— Чай, конечно, надо пить из фарфоровых чашек, а не из железных кружек, но при нашем образе жизни они не выдержат и одного дня, переколотятся в крошку,—сокрушённо вздыхая, разливал шоколадного цвета напиток Аюндай.—Но это уже, наверное, когда придём в Москву, тогда и пошикуем, как белые люди, а пока придётся из кружек… Да-а… У меня там дочка, в Москве, в университете учится. Я к ней ездил три года назад. Казанский вокзал помню, туда поезд приходит. Красивый, как Кремль. Я потом с него и назад уезжал, запомнил…

— Ты веришь, что нам удастся взять Москву?

— На стороне Великого Хана все боги, они ему помогают. Не говоря уже про людей. Орда за него и в огонь, и в воду готова…

— Ну да, хоть под лёд Байкала.

— Это ты про слух, который мы распустили?—засмеялся он.—Если бы было надо, мы бы и правда пошли через озеро, никто бы не испугался. Ты бы видел, как его люди за Байкалом встречали! Как бога! Целыми деревнями в войско записывались, и никто до сих пор не ушёл, потому что верят в него. А вера—она сильнее любого оружия, она горами двигает. Вон, когда в коммунизм верили, то никакие трудности народ не пугали, всё перетерпеть могли—и лагеря, и войну, и голод, и при этом ещё счастливы были, песни пели: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!..» А сейчас что? За копейку мать родную продадут, не только Родину! Э-э-эх!..

Аюндай горестно махнул рукой и взялся за остывающую кружку.

Мы с удовольствием пили чай, отдыхая от тряски в седле и поглядывая, как кипит работа по возведению стоянки, когда услышали какой-то шум и увидели приближающуюся к нам из-за ручья группу верховых. Ехавшие о чём-то громко спорили между собой и размахивали руками, чуть не задевая друг друга по лицу зажатыми в них нагайками.

— В чём дело?—поднимаясь на ноги, спросил Аюндай подъехавших.—Вы чего не поделили?

— Мы деревню нашли!—торопясь, выкрикнул один из наездников.—Брошенную! Две сотни домов, ещё не развалившихся, с крышами и дверями. Даже стёкла в окнах ещё целые! И никого нет, народ ушёл. Года, наверное, два назад или три, потому что даже зарасти ещё всё сильно не успело. Так что можно несколько дней пожить в домах вместо палаток, пока остальные не подойдут. Это вон там, под горой, за осинником, не больше двух километров отсюда.

— Нельзя там, однако, жить, там плохой место!—энергично перебил его рассказ один из спутников, и своим круглым лицом, и прорезью глаз похожий то ли на якута, то ли на монгола.—Там худо будет, заболеем все, люди не зря ушли вон из этого места!

— Почему нам там будет плохо?—спросил Аюндай.

— Там души мёртвых живут! Нельзя им мешать, Нижний мир не любит этого.

— Нижний мир, Верхний мир… Зато там дома с полами и колодцы во дворах! Сортиры с дверями! Готовая перевалочная база, как будто специально для нас выстроенная! Я заходил в дома, они сухие, а в некоторых даже столы и кровати остались!

— Ну хорошо, хорошо, не горячись,—успокоил его сотник.—Сейчас мы туда съездим и всё как следует осмотрим. Время у нас есть, а на месте всегда всё бывает виднее. Показывайте нам дорогу.

Я тоже поднялся с кошмы и пошёл к своему коню. Мне не раз встречались в тайге и охотничьи избушки-зимовья, и покинутые людьми рассыпающиеся от ветхости деревни, и разваливающиеся бараки сталинских лагерей, и это всегда было очень волнующе и интересно. Так необычно было представлять себе, глядя на заросшие берёзами и соснами дворы, провалившиеся крыши и покосившиеся стены, что кто-то здесь когда-то жил, любил, работал, мечтал, и всё было наполнено человеческими голосами, чувствами, судьбами…

Мы пересекли долину и обогнули тянущийся узким мысом на пути к невысокой геометрически правильной сопке осинник. У её подошвы действительно открылись взору сотни две разбросанных вдоль змеящейся узенькой речушки вполне сохранившихся изб с проступающими из густой травы заборами и задранными в небеса колодезными журавлями.

— Ну, воду-то из колодцев точно пить нельзя, она вся должна была загнить за это время. Её сперва месяц отчерпывать надо,—высказал свои мысли Аюндай.

— Тут ничего, однако, трогать нельзя!—стоял на своём Болторхой, как, оказалось, звали маленького якутского воина.—Тут всё принадлежит мёртвым. Я чую тут дух смерти. Люди здесь часто болели, поэтому и ушли долой вон!

— Да просто тут заработков не стало, вот они и уехали!—не сдавался первооткрыватель деревни.—Сейчас же нигде ни колхозов, ни совхозов не осталось, чем людям жить прикажете? Вот они и бросают родные места и бегут в города. Там хоть какую-то работу найти можно…

Мы проехали вдоль единственной улицы деревни и в конце её остановились. Прямо перед нами начиналась поросшая мелким редколесьем круглая, точно конус, гора, около сотни метров в основании и метров двадцати, а то и выше, в высоту. Покрывающая её склоны растительность не могла скрыть собой ни их идеально ровной поверхности, ни одинаковых, как у равнобедренного треугольника, углов к горизонту, что более

чем красноречиво намекало на искусственное происхождение возвышенности.

— Это не сопка,— глядя на её ровные, как у пирамиды, склоны, предположил я.— Это насыпной курган. Скорее всего, какой-нибудь древний могильник. Я слышал, их в Томской области немерено.

— Я же говорю, что тут смертью пахнет! — возликовал Болторхой.— Эта деревня построена на костях, тут тысячи лет хоронили мёртвых, а люди не знали и построили тут себе дома. Однако кто строит жилище на могилах? На кладбище надо ходить тихо, чтоб не тревожить сон покойников. Нижний мир требует почтительного отношения, а войско своим шумом их всех разбудит. Нельзя тут, однако, ночевать, беду накличем, людей погубим.

— Задолбал ты своим Нижним миром! — психанул второй спорщик.— Вы как хотите, а я со своим отрядом буду ночевать здесь. Хоть одну ночь поспим не в палатках, а в избах на койках! — и, опережая возможность продолжения дискуссии, отрезал: — Всё, я сказал!..— после чего пришпорил коня и помчался в сторону дымящихся костров — собирать свою дружину.

— Да пусть ночует где хочет,— пожал плечами Аюндай.— Лично я своих воинов сюда не пущу. Да они уже и сами отвыкли от изб и кроватей, так чего ради расслабляться? Разве в шатре хуже спится?

— В шатре живёт твой дух, а в этих избах — чужой дух, и в этой горе — чужой дух, и в этой земле — чужой. Едем отсюда, нельзя тут долго быть, однако,— завёл свою песню Болторхой, и, чувствуя неприятный холодок на сердце, мы тронули поводья лошадей и поспешили из безжизненной деревни туда, откуда уже аппетитно доносился уютный запах дыма и варящегося в котлах мяса.

До ночи войско Великого Хана так и не прибыло, и, поужинав, мы оставили возле костров дежурных и легли спать. Отдельного шатра мне так до сих пор и не выделили, и я по-прежнему ночевал в большой походной юрте Аюндая. Впрочем, она оказалась не только просторной, но и разделённой ковровыми перегородками на несколько отдельных отсеков, так что у меня в ней был как бы свой собственный «номер», где мне никто не мешал и где я мог отдохнуть и побыть в уединении. Что интересно, тонкие ковровые перегородки глушили звуки во много раз лучше, чем стены привычных городских квартир, не говоря уже про общежития, где тебя и днём, и ночью терзают долетающие со всех сторон и этажей пьяные крики, ор и ругань соседей, громыхающая басами рок-музыка или проникающее в самый мозг визжание электродрели.

Погрузившись в эту войлочно-ковровую тишину, я закрыл глаза и начал думать о Таньке. Точнее сказать, оно как-то само начало думаться о ней, едва я отключился от звуков оставшегося за шатром мира. Вкусив за прожитое в избе тётки Василисы время все радости тихой семейной жизни, я вдруг впервые в жизни почувствовал, что значит на самом деле — быть счастливым. Для этого нужны не слава, не деньги, не власть, не успех и не изощрённые удовольствия, а всего-навсего сияющие рядом с тобой дивным светом глаза любимого человека и ощущение сладкого покоя... Которого в моей жизни почему-то было очень и очень мало и тихую радость которого я испытал, только приехав нынешней весной к Таньке...

Так, с совершенно не мотивированным для моей ситуации чувством блаженного покоя в душе, я и уснул, лёжа на серой кошме под куском разрезанного по размерам одеяла ковра, а утром проснулся от какого-то ощущаемого не столько слухом, сколько нервами напряжения, возникшего за отделяющими место моего ночлега перегородками. Сначала я услышал топот копыт остановившейся возле входа в юрту лошади, потом донеслась какая-то отдалённая беготня и приглушённые, но явно возбуждённые голоса двух или нескольких собеседников. Заинтригованный происходящим, я отбросил одеяло и, накинув халат, вышел к говорившим. Это были Аюндай и несколько незнакомых мне воинов, один из которых, взволнованно жестикулируя, пересказывал ему какую-то историю.

— Что-то случилось? — негромко спросил я, кивнув ему в знак приветствия.

— Лёшка Иркутский погиб,— пояснил Аюндай.

— Какой Лёшка?

— Ну тот, что агитировал нас ночевать в заброшенном посёлке. Его током убило.

— Током? — изумился я.— Где он его там нашёл?..

— А вот сейчас поедем и посмотрим. Делать ему, блин, было нечего...

Мы наскоро умылись, оделись и, не завтракая, поскакали в сторону возвышающегося на краю долины кургана, у подножия которого виднелись оставленные несколько лет назад людьми избы. Минут через двадцать мы уже подъезжали к осмотренной нами вчера деревне, на краю которой стояли, сгрудившись, десятка три понурых конников. Это и был отряд Лёшки Иркутского. А чуть поодаль — как раз у границы крайнего дома — лежали на обочине дороги он сам и его лошадь. Рядом возвышался слегка покосившийся деревянный столб, с которого свисало метров пять-семь алюминиевого провода. Конец его, свившись двумя змеиными кольцами, лежал в метре от тела Лёшки, как раз на полпути между ним и столбом.

Я поднял голову и проследил, куда уходит провод. От чашки фарфорового изолятора он тянулся до торчащего метрах в двадцати впереди другого столба, но дальнейшего продолжения видно не было. Проехав истины ради эти двадцать метров,

я и вправду увидел на столбе только небольшой хвостик, торчащий возле наполовину расколотого изолятора. Дальнейшая часть провода была оборвана или обкушена, так что электрическому току в нём взяться было просто неоткуда. Я проскакал ещё пол-улицы, но ни на одном из остававшихся в деревне столбов проводов больше не было. Не обнаружил я нигде и трансформаторной будки, которая хотя бы теоретически могла создать электрическое напряжение. Лишь между двумя крайними столбами на краю деревни оставались натянуты два провода, за свисающий до земли конец одного из которых за каким-то хреном и взялся сегодня, покидая деревню, Лёшка Иркутский.

— Здесь не могло быть тока,— сказал я, вернувшись к молчаливо застывшей вокруг трупа погибшего товарища группе.— Эти провода никуда не ведут. Деревню давно отключили от энергоснабжения, а провода обрезали.

— Но все видели, как он взял в руки провод и затрясся в судорогах, а потом упал вместе с лошадью на землю и почернел. Ты посмотри — он ведь обгорел весь, кожа стала чёрная, как сапог. А одежда осталась практически неповреждённой. Может, ток мог накопиться в проводах самостоятельно?

— Теоретически два идущих параллельно друг другу проводника с изоляционной прослойкой между ними (а воздух как раз и является не токопроводящей средой) являют собой конденсатор, который при резком отключении от источника тока мог сохранить в себе некий заряд статического электричества... Но на деле всё это, конечно, полная лажа. Если бы это был хотя бы кабель, жилы которого идут в непосредственной близости друг от друга и взаимодействуют своими электромагнитными полями, тогда он ещё мог бы выступить в роли электроконденсатора... А тут... Два параллельно висящих в воздухе на расстоянии полуметра один от другого двадцатиметровых куска проводов... Чушь собачья!

— Отчего же он тогда почернел и обуглился? Да ещё вместе с лошадью?..

— Спроси у Болторхоя. Помнишь, он вчера предупреждал нас, что здесь нельзя находиться, а тем более останавливаться на ночлег? А Лёшка пошёл наперекор, вот духи кургана его и наказали.

— Маразм. Я сам наполовину монгол, вырос в атмосфере подобных суеверий, но неужели я поверю в эти сказки?

— Тогда остаётся только одно предположение. Что недавно тут была сильная гроза, она создала электрический разряд большой мощности, который ударил в один из этих столбов и наэлектризовал натянутые на нём провода. И когда Лёшка взялся за свисающий конец одного из них, заряд тут же ударил его и, обуглив его и лошадь, ушёл через них в землю.

— А почему заряд не ушёл в землю до Лёшкиного прикосновения? Конец провода давно валяется на земле — вон, посмотри.

— Не знаю. Может, он лежал на сухом участке, и из-за этого не было контакта с землёй. А Лёшка взял его влажной ладонью и замкнул цепь... Зачем только он это сделал, не пойму?

— Хотел забрать провод с собой, сказал, что он ему в пути пригодится,— пояснил один из воинов его отряда.

— Да уж,— вздохнул Аюндай.— Впору поверить россказням Болторхоя. Но лучше всё-таки принять твою версию с грозовым зарядом и запретить всем прикасаться к каким бы то ни было проводам вообще. А заодно и ночевать в заброшенных избах. От греха подальше.

Он отдал распоряжение похоронить погибшего, и мы возвратились в лагерь. Все уже встали и завтракали. Над долиной стоял мерный гул голосов, звяканье металлической посуды, вились уютный запах походных костров и дух горячей пищи. Пользуясь образовавшейся паузой, хлебопёки уже с утра опять продолжили заготовку хлебов и лепёшек, чтобы накормить ими ожидаемое с минуты на минуту войско.

Подозвав вестового, Аюндай рассказал ему историю гибели Лёшки Иркутского и велел оповестить все отряды об опасности прикосновения к любым проводам, а также о запрете ночевать в заброшенных посёлках и избах. После чего мы опять сполоснули в ручье лица и руки и сели завтракать. Мне есть не хотелось, но свежий хлеб и горячие лепёшки издавали такой аппетитный аромат, что рука невольно потянулась к возвышающимся грудой лепёшкам, и я принялся за еду.

Допивая чай, Аюндай велел принести ему из шатра рацию и попытался выйти на связь либо со штабом Вадима, либо с ускакавшими на их поиски разведчиками, однако рация только издавала безжизненное марсианское шипение и не отзывалась.

— Где-то они ещё далеко, не ближе десяти километров,— сделал заключение сотник.— Переносная рация «Беркут-803М» — одна из самых мощных в своём классе, мы захватили несколько штук таких при освобождении лагерей в Забайкалье. Дальность её приёма в лесу — около восьми километров, и если Вадим не отвечает, значит, они находятся ещё дальше. Вот только как далеко их занесло? И зачем?..

— Колпашево, наверное, обходят. Это мы через него за день проскочили по окраине, никто особо и не обратил внимания. А сто с лишним тысяч конных воинов незаметно через город не проведёшь.

— Не проведёшь. Поэтому их через него и проводить никто не собирался. Великий Хан сразу сказал, что пойдёт старыми дорогами. Просто, видать, слишком далеко отклонился. Так что будем ждать.

И налил себе новую чашку чая.

Окончание следует

Анатолий Третьяков

Любви волненье

● ● ●

Снова травы зеленей и гуще—
Жаль, в Сибири нету соловья…
Лепестки черёмухи цветущей
В омуте—как рыбья чешуя.

Солнышку для всех тепла не жалко.
Холодна вода реки лишь в глубине.
Майской ночью местные русалки
Весело плескались при луне!

Хорошо в конце весны, как летом:
Длинных дней мы ждали целый год!
Летом сразу можно не заметить—
Как опять на убыль день пойдёт…

Почему я думаю об этом?
Отчего капризы? Что со мной?
Не сегодня-завтра будет лето.
Летом правда лучше, чем зимой!

Случайный луч

Как будто небо протекло!
И дождик продолжает литься,
Но ослепила вдруг стеклом,
Случайный луч поймав, теплица.
Сомкнулись тучи в тот же миг—
И всё опять в завесе серой.
И вновь тоска меня томит…
И воздала мне полной мерой:
За каждый мой неверный шаг,
За все ошибки и просчёты.
Ты уходила не спеша—
Я проводил тебя с почётом!
И где теперь ты? На вопрос
Такой не надо ждать ответа.
Однажды дальний стук колёс
Напомнит мне, что было лето,
Где каждый поцелуй был жгуч
И каждый взгляд таким был нежным…
Не для меня ли этот луч
Блеснул на миг, как луч надежды?

Цветы в Сибири

Скудны на цветы мы, скудны.
Сибирь! Что на это ответишь?
Ветра у нас так холодны,
Что лета порой не заметишь.

Но всё же бывает весна.
И, словно по чьей-то указке,
Лога зацветают до дна
Цветами, такими, как в сказках.

И я этот день назову—
Навеки во мне он остался,
Когда я, упавший в траву,
От этих цветов задыхался.

Роса на них не задрожит—
От этого мне и тревожно.
Две жизни возможно прожить,
А вот две любви—невозможно.

Сень

Сень—навес над алтарём…
Ну а мы под сень деревьев
Летом от жары уйдём—
Пригодится даже скверик!

И, не думая о том,
Что святого в нас немного,
Осенив себя крестом,
Отправляемся в дорогу.

Про алтарь забыв совсем,—
Хоть не чёртово мы семя,
Но привычно: «Сень, а Сень!»—
Окликаем друга Сеню.

Без молитвы мы живём,
Бога всуе поминаем…
Сень—навес над алтарём,
Хорошо, хоть это знаем!

Случайные встречи

Как случилось такое? И сам я не знаю,
И на это нигде не найти мне ответ.
Я случайные встречи опять вспоминаю—
Вспоминаю, хотя уж прошло столько лет.

И на старости лет—неужели бывает такое,
Чтоб лета эти старились? Просто никак не пойму…
Но случайные встречи не дают мне покоя,
Эти встречи мне помнятся лишь одному.

Почему, почему я впадаю в отчаянье?
Почему это утро, как вечер, мне застит окно?
Но была ли с тобой наша встреча случайной?
Вот на это ответить Судьбе лишь, наверно, дано!

Счастливый билет

На пиджак я обратил внимание,
Что висел в чулане столько лет.
Обнаружен был в его кармане
Отрывной автобусный билет.

Цифры посчитал—билет счастливый!
И обидно стало мне до слёз:
Почему всё так несправедливо?
Что ж билет мне счастья не принёс?

Как не верить ни приметам, ни гадалкам?
Я традиции, конечно, не виню…
Отнесу пиджак на мусорную свалку,
А билет, пожалуй, сохраню!

Говорят, что надо съесть его,—невкусно!
Сохраню билет в шкатулке—пусть лежит!
Жить без суеверий тоже грустно…
А с надеждою на счастье—легче жить!

Признание поэта

Столько бедность мне навредила!
Помешала даже любви…
Что бы мог подарить я милой?—
Был беднее, чем соловьи.
Мало в жизни искусство значит,
Обесценен позорно стих.
Да, богатые тоже плачут—
Мне бы, бедному, слёзы их!

О честности

В России, дескать, вор на воре!
Порой воруют, но не все:
В мазуте ватник на заборе
Почти полгода провисел!

Никто не тронул, не прельстился,
Добро чужое не унёс!
Когда хозяин объявился—
Все были тронуты до слёз.

Он на помойку ватник снёс.

Отчаянье *(шутка)*

Вот опять уставилась в окошко…
Может быть, ты ждёшь кого, скажи?
Ты и впрямь как мартовская кошка.
Как с тобой такою можно жить?

Как мне жаль, что я не сразу понял:
Для тебя и трёпки не страшны.
Кошки за собой вины не помнят—
Просто чувства нет у них вины!

Постоянство

С каким завидным постоянством,
С младых ногтей и до сих пор,
Всегда поддерживаю пьянство:
За откровенный разговор,
За час гусарского веселья!
(Как пьяный Дельвиг на пиру.)
Но всё ужаснее похмелье
Переношу я поутру.
И лишь одно мне сердце греет:
Что, как бы ни менялся быт,
Стихи, как голос, не стареют,
И пьяный Дельвиг не забыт!

Любви волненье

Любви волненье, не умерь
Свои возвышенные взлёты,
Где исчезают все заботы,
Где жизнь всегда сильней, чем смерть!

Любви волненье, может быть,
Ко мне уж больше не вернётся,
Но, раз возникнув, остаётся—
Его уже не позабыть!

Любви волнение! Моря—
И те слабее с их цунами…
Любви волнение, будь с нами—
И чудеса, и жизнь творя!

* * *

Людмиле М.

Снова я к тебе вернулся—
Чёрт меня принёс!
Вот калачиком свернулся
Перед дверью пёс.
Я вернулся в раз который?—
И не сосчитать…
Пёс ворчит—
Твой верный сторож!—
Только я не тать.
Я пришёл, чтоб не расстаться,
Веря в чудеса…
Пусть они тебе приснятся—
На крыльце два пса!

Игорь Селезнёв

Река и радость

● ● ●

Весна. Как будто руки жмут,
В горах сплелись ручьями склоны.
По ним подснежники, как гномы,
В волшебную страну идут.

И только тронется река,
Рыбак и лодка—неразлучны!
Меж ними музыка беззвучно
Согреет сердце моряка.

И только лишь черкнёт звездой,
Как уже люди загадали
Свои желания, и в дали
Им будет ближе, чем домой.

Жизнь выскользнула изо льда,
И ей понадобится счастье
Везде, но в наибольшей части—
Вблизи вишнёвого куста.

● ● ●

Не передумаешь луну…
Как своё сердце не поднимешь.
Одна соломинка во рту,
Немного сна—и ты остынешь.

Остынут реи, тополя,
Твоя одежда и тетрадка,—
Твои вопросы отболят,
Пройдёт загадка.

Но ты проснись наутро и
Не говори об этом людям—
Об этой смерти, и они
В другой ночи тебя разбудят.

Одна вторая

Как в сад, слетаются весной
К ученику в тетрадку птицы.
Он слышит их, а не страницы
Со строгой красной полосой.

Он видит их, и запятая,
Вонзаясь ласточкой в простор,
Туда уводит разговор
О том, что есть одна вторая.

● ● ●

На этом свете тишина
Колышется с травой в июле.
На этом свете у окна
Всё происходит перед бурей!

Летят за лепестком шмели,
Играет воздух шелкопрядом,
Река холодная шумит,
Река и радость.

● ● ●

Ничего на свете нет!
Один Бог, склонившись,
Собирает людям Свет
Из цветущей вишни.

Ничего на свете нет,
Но я не жалею:
Я такой же белый снег,
Лёгкий сон аллеи.

Я родился из воды,
И сестра мне—капля
Дождевая, крови, тьмы,
Жизни и спектакля.

● ● ●

Льют дожди. И тихо жизнь
Выбирает путь.
Как холодные ножи—
Травы. И блеснуть

Ничего не стоит им
Ночью у огня.
Я задумался о них:
Нет ли там меня?!

Капли стукали в окно
Глухо, мотыльком.
Отпотевшее стекло
Согревало дом.

Словно провинился мир,
Опустив глаза:
С каждой ветки, рук, перил
Падала слеза!

Валерий Скобло

Там, за Вьюном

● ● ●

В тот год событья шли в таком избытке,
Что к лету труд мне стал совсем не мил.
Бывало, подходил к своей калитке
И… забывал, зачем я подходил.

Ленился я—и летние досуги
Провёл в тиши, косою не звеня.
Признаюсь, что прелестные подруги
В гостях бывали редко у меня.

Такою мыслью жизнь была согрета:
Полоть и сеять—что мне за нужда?
Хозяйственная деятельность Фета,
Сказать по правде, крайне мне чужда.

Пошли дожди, и стало вдруг ненастно,
Настал сентябрь, и кончилось тепло.
И понял я, что лето не напрасно
И не случайно у меня прошло.

● ● ●

Не верь… Ты не верить попробуй
Словам этим тихим в ночи…
Кто твой собеседник особый,
К тебе протянувший лучи

Доверья, поддержки, участья
Сквозь мрак, непроглядную тьму?
Как не задохнуться от счастья?
И как же не верить ему?

Не бойся… А как же без дрожи
Внимать этим тихим речам?
И если не он, тогда кто же—
Защитой тебе по ночам?

И как не просить, если голос,
Обжёгший, как пламя и лёд,
Твердит, что на землю и волос
Без воли его не падёт?

…Навстречу обещанной казни—
Огнём, и водой, и мечом—
Без веры, надежды, боязни
Шагну, не прося ни о чём.

● ● ●

Я всё меньше и меньше пишу
Этим днём, этим августом, летом…
Я всё больше на ладан дышу.
Только кто и узнает об этом?

Я всё чаще кляну этот мир,
Пусть другими он будет воспетым.
Мне всё ближе небесный эфир.
Только кто и узнает об этом?

Мне не кажется сложным полёт
В этом воздухе, солнцем нагретом…
Речь не только о птицах идёт.
Только кто и узнает об этом?

В этом грешном порыве… святом…
Надышался я мраком и светом,
И вернусь в этот мир и потом…
Только кто и узнает об этом?

● ● ●

Сосед на время завершил
Свои газонные забавы.
Косилку одолели травы,
Она лишилась всяких сил.

На землю пала тишина,
Защебетали враз пичуги,
Молчавшие досель в испуге—
Косилка точно им вредна.

Пока сосед чинил мотор,
Кузнечик отыскал подругу.
Шла жизнь по правильному кругу—
Скажу прогрессу не в укор.

О, сколько пользы и вреда
От электрической косилки!
А если в голове опилки,
То не в косилке здесь беда.

В конце концов, сосед… мотор—
Какие пустяки, однако…
Я ждал таинственного знака…
И жду его и до сих пор.

• • •

Нету внятных причин для любви—
Всё так зыбко здесь, шатко, непрочно…
Хоть одну, например, назови—
Ни одной не назвать, это точно.

Красота? Пальцем в небо. А ум?..
Всех красивых и умных прогнала…
Физик нам бы сказал: белый шум,
Совершенно не вижу сигнала.

Как ей в душу проник, как пророс
Этот явный пижон и бездельник?
Не ответить на этот вопрос—
Все ответы идут «мимо денег».

Ну а сам ты умнее?.. И чем?
У тебя разве нечто иное?
Нету в ней ничего… ну совсем…
А сжимается сердце дурное.

• • •

Я не выспался, рано лёг,
Ночью вздрогнул, проснулся, встал.
Где-то там, внутри—уголёк…
Как расплавленный жжёт металл.

Отвечает каждый из нас
За себя… Мне не стать другим.
Каждый пусть себя не предаст…
И стоящего рядом с ним,

И стоящего рядом с тем,
Кто нам близок, кто дорог, мил…
Я запутался, я совсем
Рассужденьем вас утомил.

Получается—сколько их,
За кого нам держать ответ…
Не отмеришь—от сих до сих,
И чужих в этом мире—нет.

Там, за Вьюном…

Там, за Вьюном, шагу сделать нельзя без опаски:
Доты, болота и каски… пробитые каски.
Чёрный поваленный лес… никуда не ведущие тропы,
Гильзы, траншеи, воронки, заплывшие мохом окопы.
Выкинь ты свой навигатор: какая там, к чёрту, наука?
Шаг не туда—и с концами, без вскрика, проклятья и звука.
Изредка—танк со снесённою начисто башней…
Но не прошедшей войны, не Второй мировой, не вчерашней.
Сосны кривые—не сосны, а так—закорючки…
Ноги бы ты поберёг от насквозь проржавевшей «колючки».
Этот район где-то там… будто напрочь списали в потери:
Ни грибников, ни лесничих, ни птиц… ну какие там звери?
Нет запрещающих знаков, и мне не встречалась охрана,
Но и скелетов не видел… что, в общем, действительно странно.
Страх?.. нет, пожалуй, не то—будто ждёшь обречённо ареста.
Коротко если сказать, то тоскливое… гиблое место.
Зона, как в «Сталкере»?.. Это, пожалуй, другое…
Здесь не встречаются даже совсем уж крутые изгои.
Впрочем, зайти туда можно… но—не углубляясь… по краю.
Общий итог? Как сказать… Не словами… нет, честно—не знаю.
Если поблизости селятся—быстро в графу «Погорельцы»…
Господи, что ты несёшь? Ну какие там, на фиг, «пришельцы»?
Не подходи ты с привычной, из фэнтези взятою меркой…
«Неодолимым» болото назвали, и я не спешил бы с проверкой.

Наталья Ахпашева

Подкидыш во времени этом

Однажды

Месяц смотрел в тишину переулка.
Чьи-то шаги—торопливо и гулко.
Мутным пятном—одинокий фонарь.
Кто-то споткнулся.—Попробуй ударь!

Кто-то был самый нетрезвый и смелый.
Кто-то руками взмахнул неумело.
Кто-то один встал напротив троих.
Били ногами, пока не затих.

Кто-то остался лежать в переулке—
не повезло на вечерней прогулке.
Кто-то чувствительный будет потом
мучиться долго больным животом.

● ● ●

Сыт-здоров, но извёлся до смерти
на полатях в родимой избе.
Выйду в поле высвистывать ветер
и заделье искать по себе.

Мать встревожится: «Дитятко, что ты?!»
«Что ты, дурень?!»—нахмурится брат,
ненадолго от вечной работы
отнимая внимательный взгляд.

Растворятся ворота резные.
Канет небо в колодезный сруб.
Помолясь на просторы степные,
засвищу через выбитый зуб.

Отзовутся поля-окоёмы.
Затрещат вековые дубы.
Разразятся вселенские громы
над коньком одинокой избы.

Перекрестится мать дорогая.
Злой зарницы блеснёт остриё.
И вздохнёт брат, труды прерывая:
«Наш-то дурень опять за своё…»

Рано

Слабое сердце—милость Господня,
чтобы наверно. Но не сегодня.
Срок отмеряю, знаю, недолгий,
но поперёк невеликия долги.
Есть мне кого журить и жалеть,
ради кого несть и терпеть.

● ● ●

Старый поэт областного значения—
скромный масштаб для маститого гения.
Всё же не спился и жив.
Не отвергая возможность спасения,
курит умеренней, а в воскресение
пиво берёт на разлив.

Не обучился надёжной профессии,
не наварился на хитрой концессии,
в партию власти не зван,
и оттого без особой депрессии
месяц от пенсии тянет до пенсии,
муз и чернил ветеран.

На виртуальных бомондах не чатится,
автором в толстых журналах не значится.
Всё-таки на юбилей
пред меценатами не заартачится—
выпустит новую книжечку. Значится,
мир не без добрых людей.

В библиотеке села отдалённого
глянет со стенда, ему посвящённого,
на юбиляра в упор
фото юнца, никому не знакомого,
злого, уверенного, одарённого:
—Выполнен ли договор?

Что же, случается: вечер свободен, а
горних миров органола настроена,
и свой бесхитростный стих,
слово за словом, стараясь, выводит он—
всё же читает вся малая родина,
не понимая других…

Парадокс

Мы говорим не то, что думаем,
творя отважно ложь искусную.
Но, говоря не то, что думаем,
мы думаем не то, что чувствуем.

Проблема

В ответ на слова иные
могу и взглядом убить.
Люди такие злые—
как их трудно любить…

Закрывая глаза

— Как на сердце щемит… Или мы не встретимся снова?
Просто время пришло крылья душе выпускать.
Высоко-высоко отзвенит прощальное слово,
но не спеши моё имя, как сон, забывать.
Где-нибудь там, и представить где — невозможно,
где меня нарекут именем странно чужим,
даже вечному мне будет сладко — светить осторожно,
проплывая в твоих сновиденьях мотыльком золотым.
Закрываю глаза — в бесконечной тону круговерти.
Я дождусь тебя обязательно на другом берегу.
Я-то знаю, что нет впереди ни разлуки, ни смерти,
но бессильную руку твою всё никак отпустить не могу.

«Летучий голландец»

Ливень и ветер. И где-то на линии снова
закоротило-замкнуло. Начало второго.
Та ещё выдалась ночь. На балконе в трусах
ситцевых старых стоишь и таращишься в темень.
Неустрашимо взрезает пространство форштевень,
то есть балкон. На твоих девяти этажах —
ни огонька, ни звонка, ни движенья, ни блика.
Ты ж на балконе застыл, как бескрылая Ника,
в ситцевых старых трусах — на носу корабля.
Мой флибустьер, ты напрасно со мной разругался,
в ночь штормовую без верного юнги остался.
Некому будет будить на рассвете: «Земля!»
Ветер внизу тополиные ветки ломает.
Город такую грозу и не припоминает.
Льёт, выбивая один за другим фидера.
Может, ремонтники, вымокнув, забастовали,
и до рассвета дождёшься ты света едва ли,
и холодильник не станет урчать — до утра.
Я же боюсь, что вернусь разве только во вторник.
Отсалютует метлой разговорчивый дворник:
— Что потеряла, красавица, в наших краях?
Ежели дом номер пять, так он с якоря снялся
на выходных. Ох и крут капитан оказался:
шпагу из ножен, сам в ситцевых старых трусах…

● ● ●

Сначала, двери открыв,
молчком привыкала — одна.
Последняя, на разрыв,
не задребезжала струна,
натянутая в душе.
Вошла в этот дом пустой
наследницею — уже.
Но даже сама с собой,
пусть целому миру лгу
и зеркалу на стене,
а вслух читать не могу
твои стихи — обо мне.

● ● ●

Неотвратимо сбываются сны —
нет в том ни воли моей, ни вины,
но неизбежно всплывают со дна
новых ночей — за волною волна…

Вспыхнет вопрос — и погаснет ответ.
Радости мне во всеведенье нет.
Чтоб ни свершилось на этой земле —
катится мир по кривой колее.

Вещие очи открою во мглу
и ничего изменить не могу.
Из-под ресниц поглядит пустота.
Скорбным молчаньем замкну́ты уста.

И, узнавая улыбку твою,
в гулких глубинах души утаю,
что про тебя примерещилось мне
ночью минувшей во сне.

● ● ●

Но слышит ухо дударя…
Алексей Ивантер

Ты подкидыш во времени этом
без надежды вернуться туда,
где нездешним и родственным светом
неизвестная светит звезда.
Ты не знаешь, зачем, ощущая
меж ключицами впадинкой страх,
вся твоя ино-странность густая
истекает в протяжных стихах.
По какому простору тоскуешь,
о какой заповедной глуши —
как отчаянно в дудочку дуешь,
вызывая миров миражи
невозможных. И, в гневе не чая,
что простится когда-то-нибудь
мира этого явленность злая
и твоя в этом времени суть,
горьким горлом навзрыд надрываясь,
на другом от Вселенной краю
отзываюсь и вновь отзываюсь
на треклятую дудку твою.

Вечный двигатель

Нету мне ни отдыха, ни сна.
Нету ни покрышки и ни дна.
И прохладно — рыбой золотой
с этой терпеливостью тупой
плавниками слабыми качать,
чтоб эфир межзвёздный колебать.
Нету мне ни отдыха, ни сна…

Марина Эшли

Родионов

Надо же. Я не помню его имени-отчества. А вот фамилию запомнила хорошо: Родионов. Почему-то всех выдающихся учителей мы называли между собой по фамилиям. Обычных — по именам. Противным прилепляли клички.

Родионова нельзя было не заметить. Не понимаю, почему я не встречала его в школе раньше. Наверное, потому, что он преподавал математику старшеклассникам. А они обитали на верхнем этаже школы, не в классных комнатах, а ходили по «кабинетам». Мы, мелкие, появлялись там разве что во время дежурства по школе. Было такое мероприятие, когда дежурный класс после уроков целую неделю убирал школу. Это, конечно, не самая приятная сторона дежурства. Но была и другая. Дежурные во время перемен, в парадной форме, с красными повязками на рукавах, важно стояли на своих постах. Всё это время они пользовались неограниченной властью приструнивать не в меру разгулявшихся. И, что там скрывать, активно злоупотребляли ею — к удовольствию обеих сторон.

Самым почётным местом для дежурства считалась Центральная лестница. Её доверяли исключительно активистам и отличникам. Ещё бы — она предназначалась только для учителей и гостей школы. Простые смертные бегали по боковым лестницам. Иногда они баловались и прорывались на Центральную. Дежурные их вылавливали и изгоняли. Что и говорить, и достойное, и весёлое занятие — стоять здесь на страже.

В тот день, когда я впервые увидела Родионова, мне хотелось дочитать «Сборник приключений и фантастики» в тихом, спокойном месте. Как раз наш класс дежурил. И я напросилась на самый верхний этаж Центральной лестницы: старшеклассники ведут себя солидно и хлопот не доставляют.

Отрываю глаза от книжки — на площадке этажа, опершись о перила, стоит высокий грузный лысый старик. И — о Боже! Он курит! Внутри школы! Да ещё в её святая святых — на Центральной лестнице!

В накрахмаленном, тщательно отутюженном белом фартуке поднималась ко мне по лестнице наша главная активистка Лена. Она методично обходила школу со своим разграфлённым блокнотом наперевес. Проверяла наличие дежурных на местах и порядка в коридорах. Лена увидела старика с сигаретой и шепнула мне многозначительно: «Родионов!» Добавила с сожалением, что бывают исключения из правил: «Даже Щука не запрещает ему *это* безобразие».

Она поставила аккуратную галочку напротив моей фамилии в блокноте и отправилась дальше. А я во все глаза смотрела на старика. Так, значит, вот он, Родионов, тот самый столп, на котором зиждется математический статус нашей школы. Надо же: Щука, наша директриса, тощая двухметровая угроза мира, известная своей борьбой за дисциплину, позволяет ему такое.

Надо заметить, что больше всего Щука прославилась своими попытками искоренить курение на территории школы. Мало того, что она проверяла все задворки и закутки на школьном дворе, так она ещё устраивала облавы в мужском туалете, вылавливая нарушителей и там. Причём как учеников, так и педсостав. Даже в туалете, даже взрослым людям курить было строго запрещено. (В те времена курение было делом обычным, и неистовая борьба Щуки выглядела самоуправством, однако возражать ей никто не смел — просто прятались.)

У меня выпала книжка. Я её подняла. С обложки светили мне звёзды неизвестной галактики, а под ними по воле художника шли динозавры. О! Вот он на кого похож, этот лучший учитель Вселенной. На динозаврище. Как я буду у него учиться через пару лет? Он же противный, свирепый ящер!

Родионов скользнул по мне равнодушным взглядом, швырнул окурок в урну возле кабинета завуча и, тяжело ступая, ушёл.

А ведь именно такой динозавр подходит нашей школе! Он просто её часть. В первом классе мне Школа казалась неким живым таинственным существом. Конечно, я уже выросла и понимала, что здание не может быть одушевлённым, потому что всё вокруг материально, после смерти — пустота, а электрон познаваем, как и атом. Но Школа существовала давно, так давно, что вообразить было невозможно, — лет сто, а может, даже двести. До революции она называлась женской гимназией. Почему-то никто никогда не рассказывал, что было в школе во время этой самой революции или, скажем, войны. Но наверняка что-нибудь необычное, под стать самому зданию, основательному,

немного неуклюжему, с громадными окнами и тяжеловесными дверьми. Оно пряталось от мира за кронами вековых деревьев. Вздыхало о чём-то в пустоте коридоров во время уроков. Честное слово, вздыхало! Если прислушаться, то можно было уловить эти звуки. Но для этого надо было ухитриться попасть в коридор во время урока, что в нашей школе было делом непростым. Не разрешали выходить даже в туалет.

На переменах эхом раздавался в здании гул не только наших голосов, а чьих-то ещё—вероятно, тех, кто учился здесь раньше. Понятное дело, что их классные дамы не отличались от теперешних. Те же высоченные каблуки-шпильки, те же взбитые причёски, яркие губы. Но ученицы… Какими они были? О чём мечтали? Что обсуждали? Сколько же тайн хранит в себе это таинственное существо, о котором, кроме меня, никто больше и не догадывается.

Гм, если Школа хранит тайны, то я знаю *где!!!* Я побежала за активисткой.

«Лена! Лена! Поставь меня дежурить к чердаку!» Она посмотрела на меня как на дурочку. Кто же в своём уме откажется от почётного места на Центральной лестнице и попросится в отстойник для хулиганов? К чердаку отправляли тех, кто слишком зарвался в установлении Порядка, самых драчунов. С глаз долой. Их там даже забывали проверять. Они этим пользовались и вообще сбегали с дежурства.

Меня от расспросов спасла книжка. Я не просто слыла известным книгочеем—я пересказывала прочитанное по дороге домой попутчикам, чем сильно скрашивала нашу долгую автобусную поездку от школы до дома. Лена как раз была из нашей компании. Она кивнула. Я помчалась обратно—скорее обдумать План. А Лена мне в спину всё-таки прокричала, что читать на посту нельзя…

План был прост, нужно только набраться смелости его осуществить. В первые несколько дней следующего дежурства по школе я рисковать не стала. Оценивала обстановку. Самое главное, я ждала урока истории или географии в расписании. Желательно—после Большой перемены.

К моей нескрываемой радости, меня поставили дежурить в паре с тихой-претихой девочкой Светой. С самого первого класса учителя считали своим долгом поднять её с места и отчеканивали, что Бога нет, а то бы Гагарин Его увидел. Что только необразованные, тёмные люди могут верить в такую чушь. Что верующие на своих службах приносят детей в жертву. Вот, пожалуйста, в «АиФ» написано, что опять сектанты зарезали ножом ребёнка с добровольного согласия верующей матери. Прогрессивное человечество во главе с Коммунистической партией решительно борется с подобным варварством!

Делали учителя это потому, что Света из семьи баптистов. Её нужно было срочно спасать от мракобесия. Конечно, спасать, вон она какая тихая, глаза боится поднять и вечно сжимается в комочек при разговорах, как будто её кто-нибудь собирается ударить. Запугана, хотя, наверное, зря. Она уже слишком большая, чтоб родители принесли её в жертву… Странно, как это получилось, что необразованные мракобесы отдали ребёнка в самую лучшую физматшколу города, которая была даже не в их районе. Света жила то ли в Холодной Балке, то ли аж на Рудыче.

Однако, в отличие от классных хулиганов, она не запрёт меня на чердаке ради смеха, а то ведь с тех станется закрыть дверь и уйти.

Я опередила дежурных по классу и в самом начале большой двадцатиминутной перемены постучалась в учительскую. Историчка бы сообразила, что слишком уж рановато я беру карту перед уроком. Но старенькая географичка Варвара, не моргнув глазом, сунула мне, умнице, отличнице и примерной девочке, три карты! Это было дополнительным плюсом для моей затеи. Одна карта по истории выглядела бы подозрительно. Я спустилась в каморку технички под Центральной лестницей. Ага! Вот где прогуливают и дежурство, и уроки наши двоечники. Сидят, играют в дурака с сыном технички.

«Чего тебе?»—недовольно поинтересовалась она у меня.

«Можно ключ от чердака?»

Сейчас спросит, зачем он мне, а врать я не умею, тут моя экспедиция раскроется, и меня, может, даже выгонят из школы.

Я смутилась, покраснела и дёрнулась к выходу.

«Оставь, я их сама потом отнесу!»—кивнула техничка на рулоны карт в моих руках.

Я пару раз видела, как на чердак убирали старые карты. Собственно, в этом план по выуживанию ключа и заключался: изобразить без лишних слов, что мне поручили отнести вышедшие из употребления карты на чердак. Почти получилось. Но не отдавать же их. Я замотала головой и развернулась уходить, пока меня не разоблачили.

«На!»—сунула мне техничка ключ.

Я, не веря своей удаче, на ватных ногах вышла из каморки. Карты проскальзывали в мокрых ладошках.

На посту Светка вытаращила на меня свои круглые глаза и прошептала с укором: «Ты почему опаздываешь на дежурство?»

«Так,—перебила я её.—Держи карты, головой за них отвечаешь!»

Вернулась с полдороги.

«Светик, у меня есть дело на чердаке».

Глаза у неё стали ещё круглее.

«Если вдруг кто-нибудь туда пойдёт, крикни мне».

Гм, такая вряд ли крикнет.

«И отопри, если меня там закроют»,—вздохнула я.

Она приоткрыла рот, но возражать не стала.

От нетерпения, смешанного со страхом, у меня дрожали пальцы. И ключ не хотел проворачиваться в амбарном замке. Наконец что-то щёлкнуло, и замок провис на дужке. Я пожалела, что не взяла фонарик. Увлеклась планом по раздобыванию ключа и не подумала о фонарике. Я зашла вовнутрь. Сейчас я была бы умнее и не оставила бы амбарный замок на дверях, прихватила бы с собой. Впрочем, сейчас меня мало интересуют школьные чердаки.

В начальных классах про чердак рассказывали леденящие душу сказки с привидениями. В классах постарше их сменили истории о запертых, зарезанных, спрятанных живьём, но всё равно умерших или убитых тем или иным изощрённым способом детях. Враки, конечно. Ну, может, и прятался тут кто. Я лично рассчитывала найти сундуки с полуистлевшими книгами и документами.

Чердак оказался пыльным и неожиданно светлым. С окнами, правда, не такими громадными, как по всей школе, и очень грязными, но всё же пропускавшими свет. Ничего особенного. Скучные старые географические карты, даже исторических не нашлось…

«Зззззз! Ззззззз!»—раздался звук металла, пилящего человеческую кость. А потом стон. Всё-таки мертвяки кого-то тут мучают и даже убивают.

«Ааа!»—с воплем вылетела я из чердака и помчалась по ступенькам на лестничную площадку.

«Бах!»—врезалась во что-то большое и мягкое.

Громадный живот. Чья-то ладонь опустилась мне на голову и легонько оттолкнула от живота. Я подняла глаза: Родионов! Я чуть не сшибла с ног Родионова!

Он пожевал губами, глядя куда-то мимо меня, и сказал рокочущим голосом: «Ничего. Бывает». И пошёл дальше.

Не, он не похож на динозавра. Он—Голова в Тронном зале Гудвина из «Изумрудного города». Точь-в-точь как на иллюстрациях Владимирского из детской, зачитанной до дыр книжки. Лысая голова, вращающая глазами. Я рассмеялась.

Ошалевшая Светка хлопала ресницами. У неё в глазах застыл миллион вопросов. Про чердак, разумеется. Но спросила она только: «Почему учитель тебя не наказал?»

«Ззз! Зззззз!»

Оказывается, это звук с улицы. Мы подбежали к окну. На наших глазах, немного постанывая, обрушилось на землю массивное дерево. Зачем-то на заднем дворе школы пилили наши старые деревья.

В течение года их спилили все до единого. Деревья, обхватить стволы которых можно было только вдвоём, а то и втроём. Школа без них выглядела нелепо обнажённой. Клумбы перед ней засадили розами. Областной город получил в прошлом году звание города миллиона роз. Тут-то все шахтёрские города и начали наводнять розами по примеру областного. Росли они довольно чахло. А на школьной клумбе между жалкими кустами торчали громадные пни. Их так и не смогли выкорчевать.

Скоро для вылазок по школе у меня появился приятель, даже больше—друг. Расскажу по порядку. Моя мама всегда на шаг опережала моду. Ладно бы сама, но она взялась за меня. И отвела в парикмахерскую. Я вполне свыклась со своими вечными бантами в косичках, а тут меня обкорнали почти налысо. В Европе так уже ходили, даже, может, и в Москве. Но не в нашем городе и тем более школе. Главный насмешник класса Генка тут же окрестил меня Тифозной. Я страдала. В школе пыталась виду не подавать, не вспылить и ни в коем случае не отозваться на обидное прозвище. А дома рыдала в подушку.

Однако вышло, что из ситуации можно было извлечь выгоду: я обнаружила, что незнакомые взрослые принимают меня за мальчика. И ноги сами понесли меня в секцию дзюдо, куда в те времена девочек не принимали. Понятно, что если меня не вычислят сразу, то всё накроется, когда тренер потребует справку о состоянии здоровья и характеристику из школы. Без документов больше недели-двух походить не удастся. Но хоть одним глазком взгляну, что из себя представляют эти самые единоборства.

Зашла в зал и испугалась: что же я делаю? Поздно! Появился тренер и спросил, как меня зовут, из какой я школы. Сказал, что робеть не надо, парень. Я промямлила, что зовут меня… Андреем, и растерялась окончательно. Тренер допытывался про школу. «Привет!—хлопнул меня по плечу веснушчатый мальчишка и повернулся к тренеру.—Этот из моей школы». Узнал. Прокололась? «Пошли со мной в пару, тёзка»,—засмеялся он.

Конечно, я попросила Андрюху никому не говорить. Но кто ж удержится? Завтра вся школа будет ухохатываться над моей выходкой. Меня задразнят. Жизни мне в этой школе больше не будет! Однако Андрюха молчал, как партизан.

На дзюдо я продержалась от силы недели две. И не потому, что не было справки. Андрюха, кстати, предлагал мне «достать» бланк и её «нарисовать». Ему я сказала полуправду: мол, уже надо приносить кимоно, а мне негде тайно переодеваться. Полная правда состояла в том, что мне было тяжело. Но не признаваться же в этом? Я нашла секцию каратэ, куда неожиданно решили набрать и девочек. Позже перетянула за собой Андрюху.

По неписаным школьным законам, он был мне самым неподходящим другом: мальчишка, да ещё на два класса моложе меня. Однако мало того, что этот парень всегда держал язык за зубами,—он

понимал меня с полуслова. Стоило заикнуться: «А что может быть за дверью возле мастерских?»— как Андрюха «заимствовал» ключ. Он был завсегдатаем картёжных посиделок у технички, с его нагловатым и весёлым характером для него проблемы замков не существовало.

Только ничего интересного в школе не оказалось. Мы, заготовив себе хорошее алиби, с фонариком облазили все таинственные кладовки и подсобки. Андрюха даже повторил мой подвиг—в одиночку обследовал ещё раз чердак. Пусто. Хотя я, честно говоря, не знаю, какие такие особенные сокровища мы рассчитывали найти.

То ли мы утолили жажду приключений, то ли уже полагалось вести себя посолидней, особенно мне—как-никак пошла в восьмой класс, но мы с Андрюхой переключились на другие исследования. Раскручивали до последнего винтика все механизмы, что попадались под руку. У меня дома пострадали телефон, радио и калькулятор. Телефон пришлось выкинуть и поменять проводку к нему; мама ругалась целый месяц, пока не купила с большими трудностями новый аппарат. Дефицит же. По поводу радио никто не грустил. А калькулятор было жалко. Редкая вещь по тем временам.

На математике в школе я скучала. Родионов восьмые классы не взял. Хорошо, что двоюродная сестра подарила мне подшивку журнала «Квант». Из книжки «Математическая смекалка» я вроде выросла. Ничего, уж в девятом, в математическом, у меня будет хороший учитель.

Зато мне вдруг понравилась ненавистная до того физика. Вместо вечно убегающей на совещания Щуки физику стала вести Аэлита. Гроза всей школы, беспощадная, безжалостная физичка оказалась очень толковой учительницей. Она разжёвывала материал и натаскивала на стандартные решения. Но понять и запомнить можно было, только если не бояться её злобных окриков и язвительных замечаний. Весь класс цепенел в страхе от одного её нахмуренного вида. И никто ничего не соображал. Получилось так, что все её объяснения доходили только до нас с Генкой.

Сидим мы с Андрюхой, курочим тот самый калькулятор. Как раз вынули жидкокристаллический дисплей и начали подавать на него разное напряжение. И я не без гордости похвасталась, что хожу в лучших учениках у самой Аэлиты. «Да ну,—изумился Андрюха,—у неё нет любимчиков. Но смотри не продавай ей меня в случае чего». Я не поняла. Он рассмеялся и пояснил. Ничего себе! А я и не догадывалась, что он её сын. Он же, как все, называл её за глаза Аэлитой, не Аллой Михайловной. Забавно. Его маму многие терпеть не могли за несговорчивый характер, а он ухитрялся быть в хороших отношениях чуть ли не со всей школой.

Ближе к концу года всезнающий Андрюха сообщил мне, что Родионов доучивает выпускной класс и уходит на пенсию. А матклассы отдают Татьяне. Говорят, что она ничего. Не Родионов, конечно, но… ничего.

Я огорчилась. Как же так? Получается, идти в девятый математический смысла нет. Уроков математики будет в два раза больше, но скучных и нудных, как и сейчас. В физклассе это время заполнят физикой. Аэлиты я не боюсь. Только кто ж пойдёт в физкласс? Престижно считается учиться в матклассе. Отличников обещали зачислить туда без экзаменов. И туда же пойдут дети городской элиты.

На уроке я критически оглядела одноклассников. Знакомые поднадоевшие лица. А вот в физкласс придут новенькие. Из других школ. Подвинутые на физике, способные сдать экзамен Аэлите и наверняка не такие зазнайки и снобы, как мои теперешние одноклассники. Пойти в физкласс—это как начать новую жизнь.

«Ты чё лыбишься?»—спросил Генка и ткнул меня локтем в бок. Мы с ним сидели за одной партой. «Я напишу заявление в физкласс»,—прошептала я ему. «Но это же не со всеми вместе…—удивился он.—А что! Это будет весело. Я с тобой!» Уже не одна, не пропаду!

На перемене зашли к Щуке в кабинет. Оба на хорошем счету. Щука подписала наши бумажки не глядя и протянула руку: «Поздравляю с зачислением в матласс». Надо было видеть её лицо, когда Генка её поправил: «В физкласс». Можно подумать, что мы замыслили самоубийства. Хотя удвоенные уроки у Аэлиты для многих так и выглядели.

В матласс народу перебрали. А в физкласс случился недобор. В результате его объединили с простым. Из старой школы в нём оказалось ещё несколько человек из параллели. Все остальные—новенькие. В основном мальчишки. Каждый чем-то интересен, каждый—особенный. Замечательные одноклассники.

Но они все ещё не видели толком Аэлиту. Она влетела на первый урок в своём обычном плохом настроении. Злобно обвела глазами присутствующих и сообщила, что она про нас всех думает. А думала она своей любимой поговоркой: «Дуракам закон не писан!» Она явно была не в духе, потому что отчеканила её до конца: «Если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так!» Старый класс задрожал бы от ужаса, предчувствуя экзекуции, придирки и двойки. А тут блондин в мелких кудряшках хохотнул: «Не п-п-писан…» Он заикался, очень сильно, но, казалось, сам не обращал на это внимания. На удивление, Генка, который цеплялся и к физическим недостаткам, его не поддразнивал, хотя уже всем успел приклеить клички.

Виталик (так звали кучерявого) порозовел от смеха. В общем, забавная же поговорка. Класс грохнул. Аэлита улыбнулась обычной человеческой

улыбкой и абсолютно нормально начала урок. Хотя не обошлось без шпилек. «Тяни сильнее»,—с таким озабоченным видом посоветовала она девочке у доски, что опять сначала хохотнул Виталик, а за ним и весь класс.

Дело в том, что старшеклассницы все до единой как будто соревновались, у кого короче форма. У доски им приходилось одной рукой писать мелом, а второй—тянуть книзу подол.

Щука и с этим безобразием активно боролась. Она устраивала облавы и на переменах, и на уроках. И если запрещённые кофты и серёжки можно было успеть снять, пока класс медленно поднимался поприветствовать вошедшую директрису, то форму не скроешь. И в дневниках у девочек красовались призывы к родителям и двойки за поведение.

А я попросила маму пошить мне форму подлиннее. Если возможно, то до щиколоток. В городе миди ещё не носили, но в мире моды это был последний писк. Мама подвоха не поняла и с радостью заказала переделать мне форму в ультрамодное платье.

Щуку моя длинная форма заводила гораздо сильнее, чем мини остальных старшеклассниц. «Ты знаешь на кого похожа? На… на… на… гимназистку!»—выговаривала она ненавистное ей слово. А вся школа дружно смеялась, когда в коридоре Щука указывала застывшим девочкам: «Удлинить, тебе тоже удлинить, удлинить, удлинить». И вдруг: «Укоротить!!! Сколько раз тебе говорить, что у нас не институт благородных девиц, а советская школа?»

Терпение Щуки лопнуло. Во время очередной облавы все нарушители порядка отделались замечаниями в дневники. А меня прямо с урока Щука отправила к завучу. Класс испуганно охнул. Завуч был одним из тех немногих людей в школе, от которых трепетала сама Щука. Но она охотно отправляла ему на расправу тех, с кем не справлялась сама. Прозвище у него было—Животное. За то, что он отчитывал провинившихся: «Ну что ты, животное какое, что так себя ведёшь?» Вроде ничего особенного он не делал, а почему-то после его выговоров презрительным тоном даже самые отъявленные хулиганы ходили притихшими и старались ему на глаза не попадаться.

Я его помнила, он вёл в начальных классах рисование. Высокий, с львиной гривой волос, пожилой мужчина, довольно насмешливо на всех поглядывающий.

Я зашла к нему в кабинет, а он что-то искал в сейфе и не обернулся. Я выпалила, что меня послала Щу… то есть Марина Ивановна, по поводу формы. «Ну что ты, животное какое, чтобы так ходить? Удлини форму!»—он даже не оторвался от своего сейфа. Зря я хихикнула. А то можно было бы доложить Щуке, что Николай Андреевич велел удлинить форму ещё. И при этом не соврать. Вот хохма была бы. Но завуч обернулся, оглядел меня и усмехнулся. «Видишь на столе расписание? Садись и пиши, раз ты тут». На Т-образном столе лежали склеенные ватманы.

Ну если он думает, что это наказание… Но на всякий случай посопротивлялась: «У меня почерк как у курицы лапой!» Завуч посмотрел на меня и пожал плечами: «Значит, пиши печатными буквами». И я, вздохнув, принялась заполнять для десяти классов, у которых было две-три параллели, на шесть дней недели по шесть-семь уроков плюс факультативы, громадную бумажную простыню-таблицу.

Пока я, закусив язык, разборчиво выводила названия уроков, завуч тоже не бездельничал. Подписав какие-то документы, он и перед собой положил лист ватмана. Надо же, я обычно мучилась, рисуя и раскрашивая крупные буквы заголовков стенгазет, а он их просто писал специальными, забавного вида, широкими перьями. «Что?—насмешливо поинтересовался завуч.—Плакатных перьев никогда не видела?» Я кивнула и поинтересовалась, где их можно купить. Он удивлённо поднял брови. Я рассказала про стенгазеты. «Так ты рисуешь?»—он улыбнулся. «Немножко».

«А как ты думаешь, что это за техника?»—вдруг показал он на картинку в рамке на стене кабинета. «Репродукция этой, как её… графики». Я посмотрела на перья и предположила ещё и рисунок пером. «Нет. Знаешь, что такое литография, офорт?» Он прочитал мне интереснейшую лекцию об этих самых офортах. «А вот это,—заключил он, тыкая в сторону картинки,—не репродукция, это настоящий офорт».—«Что, до сих пор делают формы и оттиски с них?»—не поверила я. «Делают. Но конкретно этот офорт—свежий оттиск со старинной формы… девятнадцатого века». По-моему, он наслаждался моим изумлением. Рассказал, что известный украинский поэт Тарас Шевченко делал великолепные офорты. Но сам завуч больше ценил шевченковские акварели. Как, я не знаю, что Шевченко—мастер акварели? Тут же была снята с верхней полки шкафа толстая книга с репродукциями, и я уже любовалась «Цыганкой-гадалкой». Завуч поулыбался моему замечанию, что обычно листву рисуют пятнами, а тут прорисован каждый листик. Да ещё так, что сквозь зелень просвечивает солнце. Он захлопнул книгу.

«Ну вот,—заметила я,—а у нас в городе нет никакого искусства, вообще ничего нет». «Да ну,—засмеялся завуч и опять показал на картинку,—форма для этого офорта находится в частной коллекции в нашем городе. Гм, да ты была в городском музее?»—«Была! Отец водил меня на выставку рисунков Нади Рушевой».—«А ты знаешь, что там есть картины Рериха?» Вообще-то я не знала, кто, собственно, такой этот Рерих.

Прозвенел звонок. С сожалением я сказала, что мне пора на физику. Аэлита не любит пропусков.

«Приходи завтра. На любом уроке. Закончишь расписание». Завуч улыбался. Крикнул мне вдогонку: «Я ей скажу, чтоб отстала».—«Кому?»—я уже забыла, почему здесь оказалась. «Щуке»,—усмехнулся он. Я понадеялась, что он не догадывается, какое у него самого прозвище.

Дома я расспросила отца про Рериха. Он тоже удивился, что у нас в городе есть такая диковинка. Я сходила в музей. И правда, ранний Рерих. Он расписывал церкви в наших краях. В эскизах уже проглядывали яркие краски, знакомые всем, а на картинах была серовато-жёлтая, слегка печальная Русь. Это было не похоже ни на кого другого, в том числе на него позднего.

Я зачастила в кабинет к завучу. Андрюха недоумевал. Ему, видимо, так часто доставалось от завуча, что он и представить не мог, как по доброй воле можно торчать часами в такой компании. А меня хлебом не корми, так интересно было послушать про мир искусства. Хотя мне приходилось при этом что-нибудь писать, заполнять—одним расписанием дело не ограничилось.

Ничего особо интересного в тот год больше не произошло. Разве что я поняла, куда я всё-таки хочу поступать. Совершенно случайно увидела объявление о физико-математической олимпиаде от какого-то МФТИ. Потащила туда за компанию ещё несколько своих одноклассников, чтоб не было страшно в одиночку. Страшно не было. Олимпиаду я написала даже на больший балл, чем Вошик—лучший физик и математик класса. «Вошика» приклеил ему Генка за то, что он любил вздохнуть над тетрадкой с несделанным домашним заданием по литературе: «Всё в жизни вшивота». Рассказ о вузе после олимпиады поразил. Место выглядело просто заповедником. Захотелось учиться именно там.

Мама, конечно, была в шоке. Она видела меня студенткой мединститута. После продолжительных уговоров на семейном совете я согласилась готовиться и в мединститут, и в МФТИ. И пообещала, что после того, как не поступлю в МФТИ, буду сдавать экзамены в мединститут. Я перешла в десятый класс, и мне наняли репетитора по физике ради мединститута и, так уж и быть, по математике. Родионова!

Как и полагалось динозавру, Родионов жил в одном из массивных сталинских домов на площади Победы. Громоздкое, неуклюжее снаружи здание оказалось довольно приятным внутри—не то что наши панельные коробочки. Я, робея, поднялась на третий этаж и нажала на кнопку звонка. «Проходи, деточка»,—ласково приветствовала меня кругленькая улыбчивая пожилая женщина в фартуке. Из кухни вкусно пахло.

Учеников, кроме меня, было ещё трое, включая моего одноклассника Виталика. Мы с ним обрадованно переглянулись. Родионов сидел за большим обеденным полированным столом, который по такому случаю был накрыт, чтобы мы его не поцарапали своими ручками. Погрызывая мундштук, Родионов излагал теорию чисел. Натуральные, рациональные… Это, хотя и подзабылось, звучало для меня нудновато. Я б предпочла решать задачки. В середине занятия Родионов, тяжело ступая, пошёл покурить в туалет. Мы зашептались. Слишком обстановка была какой-то торжественной для разговоров в голос. Виталик, оказывается, собирался в танковое училище, остальные—в технические вузы.

Родионов вернулся и продолжил. От него веяло невозмутимым спокойствием и уверенностью. Его невозможно было втянуть в спор или сбить с мысли каверзным вопросом. Я, конечно, попыталась. Но он не рассердился, коротко ответил и вернул нас к теме. Обращался он к нам по-старомодному на «вы».

На обратном пути (а мне с Виталиком было по дороге) мы быстро обсудили, как нам повезло попасть к Родионову, и перешли к болтовне обо всём на свете.

«П-посоветуй,—попросил Виталик,—не знаю, что с-сказать д-другу. Он, как и я, п-перешёл в новую школу, а ему нравится одна девушка из с-старой».

У меня просто сердце замерло: мне ещё никогда в жизни не доверяли таких важных историй.

«Она д-даже не д-догадывается, а у него нет п-предлога к ней п-подойти. И времени». Виталик покрылся румянцем, выговаривая такую длинную речь.

Я горячо позавидовала незнакомой девушке. Везёт же некоторым, такая романтическая история! Когда же в меня, наконец, кто-нибудь влюбится?

«Ну т-так что?»—выжидательно смотрел на меня Виталик.

Я вздохнула и стала выяснять детали в поисках благовидного для влюблённого парня предлога появиться в поле зрения своей возлюбленной.

А как он ездит в школу? На автобусе, как и мы. А она? Пешком, потому что ей всего две остановки, а автобусы битком набиты по утрам. Гм. Так почему б ему не подкараулить её и не ходить эти две остановки вместе? Даже можно сделать вид, что это не специально, а ради транспорта—старая школа Виталика находилась на перекрёстке, автобусов там останавливалось куда больше, чем на остальных остановках, было легче уехать оттуда дальше.

Глаза у Виталика засверкали: «Я т-так и з-знал, что т-ты что-нибудь придумаешь! Т-только никому ни слова!»

Ну конечно, я никому не скажу, тем более что я даже не знаю того парня…

К физику по фамилии Русик я шла с большой неохотой. Ну чему он может научить новому, если

сама Аэлита сказала моей маме, что мне не нужен репетитор по физике? И жил этот Русик в противном районе плохо освещённых хрущоб. И гаражи у него во дворе разрисованы хулиганами. Я вчиталась в одну надпись над смешной собачкой: «Жучка булку не доела. Неохота. Надоело!» Это явно доморощенный дворовый поэт постарался. Официальные поэты писали правильные рифмы: «Хлеба к обеду в меру бери. Хлеб—драгоценность, им не сори».

В тесной квартирке физика толпилось человек десять учеников. Я ринулась к книжным полкам. Сколько книг! Какая необычная подборка! Кроме обыкновенной художественной классики—математика, физика, психология, философия. Энциклопедию «Britannica» и журнал «National Geographic» до этого я никогда в глаза не видела. В Советском Союзе они не продавались. Оказывается, были люди, которые тратили в зарубежных поездках несчастные поменянные двадцать долларов на книжки, а не на джинсы. Увы, я плохо понимала английские слова. А на книги и журналы, как пояснил мне потом Русик, он ухитрился подписаться в командировке, когда полгода преподавал в Африке, и случилось чудо—ему перевели подписку в Советский Союз.

Русик весело поблёскивал глазами, улыбался и давал нам задачки одна позаковыристей другой. При прощании Русик разделил нас на две группы. Одна—будущие студенты-медики, вторая—мы с парнем из маткласса моей школы, который собирался поступать в МИФИ.

Физик оказался потрясающе интересным человеком. Он знал всё на свете, и не просто знал—он живо интересовался всем на свете, а это немножко другое. Его в своё время учили сосланные в наши края опальные московские профессора. Не только физике. И он тоже делился со своими учениками своим взглядом на жизнь, своим подходом к науке. Он говорил: «Главное—уметь задать вопрос. Не надо принимать ничего на веру, даже самое очевидное. Всегда спрашивай, почему это так. Люди, которые задались вопросами над вещами, вроде очевидными для всех, и сделали самые выдающиеся открытия».

Русик подпитывал каждое моё любопытство стопкой книг из своей библиотеки. Стоило заинтересоваться, скажем, многомерностью, так он тут же подсовывал почитать Мартина Гарднера—американского математика и популяризатора науки. Показал слайды картин Сальвадора Дали. Я очень гордилась, что мне, в отличие от других, Русик разрешает брать свои драгоценные книги домой.

Русик не был похож ни на одного из известных мне взрослых. А я на ура воспринимала даже самые сумасшедшие его идеи. И с готовностью помогала их воплощать. Для начала мы остались после уроков (он преподавал в моей же школе в девятых классах) и склеили из плексигласа пирамиду, чтобы проверить все те небылицы, что писали о «золотом сечении». Свежей мумии фараона или чашки Петри с бактериями у нас не было, но старое ржавое лезвие нашлось. Не заострилось оно в «золотом сечении»!

Если честно, то я надеялась, что лезвие заострится. Ну должно же существовать в мире что-то необыкновенное и ещё не изученное. Очень хотелось увидеть своими глазами что-нибудь чудесное и потом измерить это.

В тот день, когда мы окончательно решили, что опыт не удался, вернее, дал отрицательный результат, домой я вернулась расстроенная. А там меня ждала ещё одна неприятная новость. Звонил Родионов с сообщением, что его кладут в больницу. Я перезвонила. Родионов густым своим голосом спокойно сказал, что ложится в хирургию, наверное, надолго, на месяц. Посоветовал мне не прекращать заниматься, решать и решать задачи из сборника Сканави и варианты вступительных билетов. А когда он вернётся, мы наверстаем теорию. Трубку взяла его жена и прерывающимся голосом сказала, что мне лучше поискать себе нового репетитора. Мне показалось, что она сейчас заплачет.

А потом стало известно, что случилось с Родионовым. Гангрена. Срочно нужна ампутация ноги. Новость была такой ужасной, что о ней говорили не вслух, а вполголоса. «Заядлый курильщик». «Диабет».

В школе меня отозвал к окну Виталик: «Что б-будешь делать?» Я пожала плечами: «Ждать».— «Ты что, не п-понимаешь, что его п-продержат очень долго, даже п-при благополучном исходе?» Мама Виталика работала врачом—правда, не в том отделении, куда положили Родионова.

«Я п-перейду заниматься к Т-татьяне»,—сказал Виталик.

Я молчала.

«Сходим после уроков, навестим его?»—неожиданно предложил Виталик.

Мы шли вдоль каштановой аллеи. Мягкое солнце бабьего лета светило сквозь позолоченные кроны. Под ногами валялись треснувшие «ёжики» с орехами внутри. Я еле удержалась, чтоб не начать их собирать. Так просто, без цели набрать их в карманы пальто и портфель. На крыльце «бурсы» (шахтёрское ПТУ № 9) стояли «бурсаки», курили, кричали что-то грубое и весёлое одновременно. Виталик тоже принялся рассказывать что-то весёлое, похохатывая. Даже не верилось, что в такой солнечной жизни бывают серьёзные несчастья.

В отделении хирургии мы спросили у медсестры, в какой палате Родионов, и затоптались в нерешительности. Сильно пахло больницей. Стены, грубо выкрашенные бледно-голубой масляной краской, навевали уныние. К холодильнику у поста

подходили пациенты в одинаковых застиранных синих халатах и полосатых штанах. Какой-то дядечка вынул из пасти холодильника банку с чем-то вроде супа, спросил, к кому мы, и взялся проводить, расспрашивая по дороге о погоде. Он толкнул дверь, в палате все замолчали и уставились на нас. Я поискала глазами Родионова.

Укрытый белой простынёй до подбородка, он большой глыбой лежал на кровати и бессмысленно рассматривал потолок. Ещё больше, чем когда-либо, напомнил мне Голову в Тронном зале Изумрудного города.

«Учитель, к вам пришли ученики!» Слова дядечки из-за тишины прозвучали слишком уж торжественно. Родионов перевёл на нас глаза, лицо постепенно оживилось, губы зашевелились. Но он ничего не сказал. Виталик нашёлся первым, бойко заговорил о школе.

«Больше решайте»,—наконец услышали мы Родионова и дружно закивали. Засобирались уходить. «Я не знаю, когда меня выпишут. Обратитесь к другому репетитору»,—прозвучало нам вслед.

У меня комок застрял в горле, а потом прорвало: «Я подожду! Буду решать Сканави и ждать вас!» Виталик дёрнул меня за руку.

У дверей я обернулась. «Голова» с тоской рассматривала потолок. Дома я рассказала маме, что навещала Родионова и хочу дождаться, пока его выпишут. «А что, его уже прооперировали?»—участливо спросила она. Я не знала. Я побоялась рассматривать простыню, не отводила глаз от его лица.

Жизнь шла своим чередом: в школе началась «Зарница». Русик накопал статей про биокруг и загорелся его смастерить. Я тоже. Штука простая, якобы подтверждающая наличие биополя. Биополя! Родионова всё ещё держали в больнице. Звонить его жене я стеснялась.

Как-то ко мне подошёл Виталик и опять позвал заниматься к Татьяне. Мол, компания там собралась интересная, сама Татьяна не против, если я присоединюсь. И ребята зовут. Я отказалась.

Потом сама Татьяна встретила меня в коридоре и предложила перейти к ней. Я молча потрясла головой. Татьяна посмотрела на меня своими проницательными голубыми глазами, внятно сказала: «Родионов в больнице. Никто не знает, когда он поправится. Давай я тебя подготовлю». Подождала. Пожала плечами и отстала от меня.

Школа играла в «Зарницу». Ежегодное мероприятие. Целый месяц каждый класс назывался отрядом, назначались командиры и комиссары. Все ходили в зелёных рубашках и галстуках, что для девочек было разнообразием после надоевшей школьной формы. Только вот отдавать приказы, рапортовать, маршировать нам в десятом классе казалось несолидно. К апофеозу «Зарницы», её кульминации—смотру строя и песни—надо было выбрать песню и пройти с нею в спортзале перед комиссией, состоящей из Щуки, комсорга школы и военрука. Подавляющее большинство классов не заморачивалось и пело «Белая армия, чёрный барон».

Наш класс собрался обсудить песню. Вместо того чтоб быстренько одобрить «Барона», готовящего царский трон, в то время как Красная армия всех сильней, мы начали дружно возмущаться. «Почему мы, как первоклашки, должны участвовать в этом балагане?»—«Мало того, что целый месяц играем в войнушку, так ещё и оставайся после уроков, репетируй!»—«Нам что, делать больше нечего?»

«А что, если спеть что-нибудь, гм, нескучное?»—предложил Генка.

Мысль поняли, стали наперебой предлагать варианты. Смеялись. Оглянулись на Виталика—командира отряда, но он хохотал больше всех над задумкой.

Никогда ещё ни один класс так старательно не оттачивал строевое мастерство, как мы в том году.

Перед смотром ко мне домой заглянул Андрюха. Рассказал, сияя: «Только никому! Щука нагрянула с облавой в туалет, всех засекла, а меня обнюхивает, карманы велела вывернуть—ничего! Доказательств нету!» Да, принюхивающаяся Щука—это зрелище. «И что ты сделал с сигаретой?»—поинтересовалась я. «Заранее подпорол эмблему на рукаве школьной формы и сунул туда окурок». Мне не хотелось оставаться в долгу. Я похвасталась, что́ наш класс готовит на смотр строя и песни. Андрюха ахнул. Его геройство померкло в его глазах. Он забормотал, что какая жалость—не его класс додумался до такого. «Но как же Виталик? Ему военрук такую характеристику в танковое училище накатает после этого—мало не покажется!»

Виталик отмахивался от предостережений—уж очень нравилась идея. В назначенный день мы построились в спортзале. Рассчитались по номерам, перестроились в колонну, выполнили все равнения и повороты, чеканя шаг, строем прошли мимо комиссии. Военрук сиял. В дверь спортзала просунул голову Андрюха, потом пара его друзей.

«П-песню запе-вай!»—гаркнул Виталик.

И мы грянули «Хромого короля», жизнерадостного, но совершенно не подходящего для такого мероприятия:

> Железный шлем, деревянный костыль,
> Король с войны возвращался домой.
> Солдаты пели, глотая пыль,
> И пел с ними вместе король хромой.

Я краем глаза видела, как сползла довольная улыбка со Щукиной физиономии, как вытаращился военрук, как поперхнулась от приглушённого смеха комсорг школы.

Троянский бархат, немурский шёлк
На башне ждала королева, и вот
Платком она машет, завидев полк…

После этого затянул соло Генка, имитируя женский голос:

Она смеётся, она поёт…

Допеть нам не дали. И домаршировать.

Андрюха умчался рассказывать школе новость.

Нас ругали за аполитичность. Припомнили заодно сбор макулатуры в прошлом месяце, когда наш класс по документам сдал бумаги больше, чем вся школа, вместе взятая, включая наш класс. Генка предложил брать потихоньку из общей кучи связки с макулатурой и сдавать их ещё раз и ещё раз. Их честно взвешивали. И записывали. Но когда перемеряли всю кучу, то долго не могли понять, как такое произошло. Вычислили наш класс, просуммировав сданное по фамилиям каждого класса. И вычислили самого Генку, который «сдал» самое нереальное количество макулатуры. Щука требовала, чтоб его исключили из комсомола. Комсорг школы не стала ей напоминать, что он единственный не комсомолец в школе. Он не вступал «принципиально». Но отдуваться приходилось за это всему классу: мы говорили комсоргу школы, что Генка не готов, он недостоин, мы его не рекомендуем. И она на время закрывала глаза на подобное безобразие.

В смотре строя и песни нам дали последнее место. «Зарница» закончилась. От Родионова не было никаких известий. Я сама не знала, почему я так упорствовала. Но я его упрямо ждала.

Русик смастерил биокруг. Очень простое устройство: кольцо из полоски бумаги с бумажной перемычкой по диаметру. Оно осторожно надевается на стоящую вертикально иглу так, чтобы находилось в равновесии. Как только к этой конструкции подносишь ладони, кольцо начинает вращаться. У меня оно крутилось в одну сторону, у Русика в другую. У его жены вообще начинало в одну, замедлялось и меняло направление на противоположное, что объяснялось, согласно статьям, которые перевёл Русик, нашими разными биополями.

Мы наигрались, пришло время задуматься. «Гм,— Русик то приближал руки к биокругу, то удалял до полной его остановки.— Ну и почему это не может вызываться тепловыми эффектами? Как будем их исключать?» К моей гордости, мысль о вакуумном колоколе пришла к нам в головы одновременно.

На следующий день в школе я просто сгорала от нетерпения. Как же долго иногда тянутся уроки. Наконец мы встретились в школьной лаборантской кабинета физики и провели долгожданный эксперимент. Первый, контрольный,— без колокола. Круг вертелся, и по-разному. Под колоколом, сколько я ни прижимала ладони к стеклянной поверхности, биокруг не шелохнулся. У Русика тоже. Без колокола он завертелся опять.

«Какой вывод?» — усмехнулся Русик.

«Биополя в стекле или вакууме не распространяются!» — мне не хотелось смириться с мыслью, что биополей вообще не существует. Ну что ж он смеётся, неужели он сам не расстроился?

Наш класс, наверное, простили за попытку срыва важного политического мероприятия «Зарница». А может, дали шанс исправиться. Поскольку именно нам поручили выделить из своих рядов двух комсомольцев для проведения новогодних утренников в школе. С кандидатурой Деда Мороза решилось всё быстро. Кто, как не Пашка — самый красивый, самый высокий, самый обаятельный блондин нашей школы? Снегурочка? Класс обернулся, прозвучала моя фамилия. У меня сердце чуть не выпрыгнуло из груди. С Пашкой! Вдвоём! Столько времени вместе! Да это же просто мечта любой девушки нашей школы. Ох уж эта моя манера за грубостью скрывать смущение. «С Пашкой? Да ни за что!» — выпалила я. Тут же вызвалась претендентка на роль Снегурочки. Она сама попросилась. Увы, никто не стал меня уговаривать. Перед физкультурой в раздевалке девчонки посмеивались надо мной: «Как же ты такую возможность упустила?» «Снегурочка» смотрела гордо. «Очень мне надо!» — я гордо вздёрнула нос, тщательно маскируя досаду.

На зимних каникулах от Родионова известий всё ещё не было. В первый день школьных занятий ко мне подошёл Вошик. Мы с ним в последнее время незаметно для себя подружились. Началось всё с обсуждения олимпиадных задач. Потом стали делиться книгами, которые читали. Я ему вручала «Чайку» Ричарда Баха или «Степного волка» Гессе со словами: «Обязательно прочти!» — а он мне Жоржа Амаду и тоже требовал обязательного прочтения и обсуждения. Я его сводила в городской музей. А он мне подарил набор открыток с репродукциями Рериха. Так и не признался, где достал.

Вошик потоптался и сообщил, что занимается математикой с Лисовским. Я знала, кто это такой. Бывала в прошлом году у него в школе в его математическом кружке. Хороший математик, но не Родионов. Считался одним из лучших в городе. Вошик довольно решительно заявил мне, что я сегодня иду с ним к Лисовскому. Никаких возражений слушать не стал. Он, мол, ему про меня всё рассказал, Лисовский предлагает позаниматься со мной, всего лишь пока Родионов отсутствует. Вошик сыпал доводами. «Тебе понравится, мне ж нравится. А если нет, то никто не заставляет». Потом перешёл на умоляющий тон. «Попробуй». И я согласилась. Попробовать.

Кроме Вошика, у Лисовского сидели ещё два ученика. Уж не знаю, что им наплёл про меня Вошик, но парни уставились на меня с нескрываемым интересом. Симпатичные кареглазые брюнеты. Я растерялась. А тут ещё и Лисовский начал меня обихаживать, объяснял, как он ценит Учителя. Именно так он называл Родионова. Как рад помочь, поработав с его ученицей во время болезни Учителя. Я знала, что я умею краснеть. Но уши горели огнём так сильно у меня первый раз в жизни. Я плюхнулась на стул и закрылась тетрадкой. Не помню, показала ли я чудеса математической смекалки, боюсь, что нет—задачки мы решали не просто сложные, а изощрённые, из вступительных мехмата МГУ. Вошик кивал мне ободряюще, кивал. И вдруг улыбнулся… с нежностью. Какие уж тут задачки!

Вошик увязался меня провожать. Я думала, что он что-нибудь скажет, а он молчал. Так молча и ехали на задней площадке полупустого троллейбуса. Вошик отказался зайти в гости и убежал. А я проворочалась полночи. Мне не понравился Лисовский. Он, конечно, умный. Но он сначала посадит в лужу, покажет своё превосходство. А зачем? Что он сам умеет решать задачи, и так понятно: у него гораздо больше опыта, чем у нас. Потому мы и пришли к нему учиться. И теории он практически не даёт. Только натаскивает на решения. Я не хочу с ним заниматься! Но как же… Вошик? Ходить к Лисовскому значит, что Вошик будет провожать каждый раз, я в этом уверена.

Когда мама увидела Вошика первый раз, она сказала мне: «Смотри не влюбись». Я тогда страшно удивилась. Во-первых, как можно влюбиться в парня с такой смешной наружностью, что не взглянешь без улыбки? Во-вторых, как она может такое предполагать, когда он только что довёл её до белого каления своими рассуждениями? Она вздумала что-то говорить о том, что мы молоды, у нас всё впереди, все дороги открыты, и мы должны приложить усилия для достижения своего счастья. Стандартные такие, взрослые слова. А Вошик передёрнул плечами: мол, познать Вселенную—это счастье. Но сделать это можно без всяких усилий и даже без желания. Вот села ему на городском ставке́ божья коровка на руку и долго не улетала. Он получил в маленькой букашке всю Вселенную и насладился счастьем даром. Даром! Мама тогда просто захлебнулась в безуспешных возражениях.

Вошик быстро стал любимцем всего класса. Если он отсутствовал, то уроки казались невыносимо скучными. А учителя, даже если он им и не нравился, признавали в нём «яркую индивидуальность». Хотя один раз чуть не выгнали из школы. За игру на скрипке на крыше жилого дома и последующий привод в милицию, которую вызвали соседи. Почему-то именно моя мама из всего родительского комитета отправилась на педсовет его защищать. И отстояла его право продолжать учёбу в нашей школе, несмотря на то, что на педсовете он даже прощения толком не попросил, не пообещал исправиться.

Может, я действительно влюбилась? Мне с ним интересно. Впервые мне всё равно, как парень выглядит внешне. Только к Лисовскому я больше не пошла.

Наверное, наши Снегурочка с Дедом Морозом имели грандиозный успех. Иначе непонятно, почему очередное мероприятие опять поручили нашему классу. Организацию ежегодного вечера встречи выпускников.

Мы сами с нетерпением ждали выпуска, уже предвкушая настоящую жизнь. А тут надо развлечь тех, кто давно самостоятелен. Напомнить о школе и любимых учителях. Но при этом не надоесть, дать пообщаться. Мы неожиданно загорелись этим проектом—идеи сыпались как из ведра. Их было столько, что с лихвой хватило ещё на несколько вечеринок, театральных постановок и викторин уже после очень удачного вечера встречи выпускников. Нас сплотила возможность вслух со сцены шутить, как нам тогда казалось, на грани дозволенного в том обществе.

Одноклассники открывались с неожиданных сторон. Антошка, до вечера встречи ничем вроде бы не выдающийся парень, оказался поэтом и музыкантом. Стихи, как и полагается юному дарованию, он писал тоскливые, глубокомысленные до полной потери смысла. Но каким потрясающим актёром он был! Мы наглядно увидели, что значит перевоплощение. Считалось, что после блистательных Юрского и Миронова других Остапов Бендеров быть не может. Но мы задохнулись от восторга, увидев Антохиного Остапа. С жуликоватыми, а не игривыми движениями и жестоким тяжёлым взглядом настоящего преступника.

В конце зимы позвонил Родионов и вырвал меня из кипящих театральных страстей нашего класса. «Следующее занятие, как всегда, в понедельник»,—будничным тоном сообщил он.

Дверь открыла жена Родионова, радостно улыбаясь всеми своими морщинками. Заботливо помогла мне снять пальто, найти тапочки и потопала на кухню. Оттуда вкусно пахло.

Родионов возвышался на своём обычном месте. Нисколько не изменился. Может, чуть бледнее обычного. Ну и одна штанина была заколота, а рядом стояли костыли. Он ими не воспользовался, ни разу не встал. Учеников больше не было. Ни одного.

«Так, на чём мы остановились?» Родионов пожевал губами и продолжил ровно с того места, где закончил почти полгода назад. Через пять минут я чуть не взвыла. Зануда! Динозаврище непрошибаемый! И это его я ждала, чтоб сидеть сейчас и давиться совершенно простыми и до безобразия

скучными графическими решениями систем неравенств? Впрочем, он поймал меня на неаккуратной записи и покачал головой. Посмотрел те задачки из Сканави, которые вызвали у меня трудности, подчеркнул ошибки и оставил решение за мной. Не знаю, бросил ли он курить. Время от времени он грыз пустой мундштук.

По дороге домой я возмущалась про себя, что он растолковывает то, что я и так знаю,—очевидные и лёгкие вещи—и не даёт того, что мне надо для поступления. Я мысленно негодовала, но в следующий раз опять пришла на занятие.

А Русик на очередном уроке подозрительно сиял. Понятное дело, никакая физика мне в голову не лезла. Видно же, что у него новость. Но он честно промучил меня многозначительным видом положенный для урока час и только потом начал рассказывать: «Есть такая организация по изучению аномальных явлений—Общество биоэнергетики имени Попова. Они устраивают свою первую конференцию». Выдержал паузу. «У нас в городе!» Рот у меня открылся. Но это было ещё не всё. Русик протянул мне пригласительный билет. На моё имя! Я задохнулась от восторга и благодарности и долго не могла ничего сказать. Произведённый на меня эффект явно превзошёл все его ожидания.

Я открыла программку. Я сплю? Или чудо имеет место быть? Названия докладов звучали умопомрачительно интересно. Вошик просто сдохнет от зависти! А на конференции Русик обязательно задаст какой-нибудь каверзный вопрос и посадит приезжих профессоров в лужу. А может, это буду я: «Профессор, а вы пробовали повторить этот опыт под вакуумным колоколом?»

Русик вернул меня на землю: «Я очень прошу держать это в секрете. Конференция согласована с властями, но поповцы просят её не афишировать. Только для своих».

По дороге домой я высчитывала, сколько дней осталось до мая, то есть до заветной даты. Интересно, почему выбран именно наш город? Хотя у нас даже Высоцкий выступал, когда был в опале. А почему общество имени Попова? Кстати, кто такой Попов? Физик, который изобрёл радио, или другой? Русик же ничего толком не рассказал.

Родионов по математике нисколько не ускорился и ничего не опускал. Монотонным голосом под мои зевки диктовал мне определение предела последовательности. «Математика,—он дописал мне пропущенный значок в тетрадку,—небрежности не терпит. Вашу запись никто не прочитает верно, даже вы сами». Я тихо возненавидела пределы. По крайней мере, мне так тогда казалось.

Утренние поездки в школу уже не были унылыми, как зимой. Солнце! Приятно смотреть из окна автобуса на улыбающиеся весне лица прохожих. Однажды еду и вижу на улице ну очень серьёзную, не в пример другим, пару. Он несёт два портфеля, свой и Её. И, видимо, говорят они о чём-то важном. Виталик не хохотал, как обычно. Вот девушка взяла портфель и повернула в сторону бывшей школы Виталика. А он бросился догонять автобус. Жалко, что он бежал не оборачиваясь, а то увидел бы, как Она остановилась и смотрит ему вслед.

Так вот кто этот таинственный приятель! Сам Виталик. И он воспользовался моим советом. Судя по всему, удачно. А может, это просто весна…

На занятиях у Родионова стало поинтереснее. Я честно аккуратнейшим образом заполнила таблички для построения графиков простеньких функций, и динозаврище смилостивился и соизволил перейти к сложным. При одном взгляде на которые становилось страшно от их запутанности, что мне нравилось. Казалось, Родионов не замечал, что из учеников у него осталась я одна. Я не знала, доволен ли он мной. Но я просто чувствовала, как он доволен процессом преподавания математики.

Антошка пришёл в школу возмущённый, размахивая вырезкой из вчерашней «Комсомольской правды»: «Вы это читали?» В газете напечатали огромнейшую разгромную статью по поводу группы «Машина времени» и Макаревича. «Рагу из синей птицы». Всю биологию Антошка сочинял с нашей помощью письмо в редакцию с опровержением. По классу гуляли записки с поправками вроде: «Добавь ещё про Марка Бернеса в качестве аргумента». На уроке истории письмо было согласовано и переписано начисто. После уроков мы остались и дружно всем классом подписали. Антошка побежал на почту отправлять.

В газете публиковали злопыхателей, согласных со статьёй, а нам даже не ответили. Подписка на «Комсомольскую правду» для комсомольцев была строго обязательна. Антошка не смог её аннулировать, как ни пытался. Сказал нам, что перестал открывать газету, выбрасывал сразу, не читая, в мусор.

Конференция биоэнергетиков не состоялась. Власти её всё-таки запретили. Мне удалось вытянуть подробности из расстроенного Русика: вроде нескольких докладчиков арестовали в поездах по дороге в наш город. Надо же, а газета «Труд» в это время печатала статью за статьёй про домового-барабашку, который донимал двух студенток. Учёные высказывали свои мнения. И ничего. Жалко, что так редко печатают подобное, все ж взахлёб читают. «Для того и печатают, чтоб отвлечь народ от колбасной демонстрации или завала людей в шахте»,—буркнул Русик. Про гибель сотен шахтёров никогда ничего не писали, верно. В городе, конечно, знали. Но официально этого как бы не было.

«А что такое колбасная демонстрация?» Русик, похоже, пожалел, что начал такую тему. Перевёл разговор. Отшутился, прощаясь, что он бы

с удовольствием потыкал в барабашку или нло вольтметром, так он никаких летающих тарелок и прочего никогда не видел.

Я, огорчённая, пришла домой. Отнекивалась от мамы, обеспокоенной, что я заболела, но оказалось, я и вправду заболела. Весной-то. Пропустила неделю школы. Первый урок в тот день, когда я вернулась, начался замечательно: Пашка—Дед Мороз вслух при всех бурно обрадовался моему появлению, а вместо ненавистной биологии была замена—любимая литература. И я даже получила пятёрку за «Жди меня» Симонова, что со мной редко случалось: если мне удавалось запомнить наизусть стих, то рассказать с выражением не получалось никогда.

На физике мы решали задачи. Аэлита поинтересовалась своим язвительным тоном, не расскажу ли я теорию, которую пропустила, или я не готова. Ну конечно, я выучила по учебнику, ничего сложного, магнитная индукция. «А правило левой руки?»—напомнила в конце Аэлита. Гм, это я читала невнимательно, не понимая, зачем и так очевидные вещи объяснять буквально на пальцах. Ну что там сложного? Сейчас представим. Ладонь, векторы. «Нет,—отчеканила Аэлита,—если положить левую руку на проводник так, чтобы четыре пальца указывали направление тока, а линии магнитной индукции входили в ладонь, то отогнутый большой палец укажет направление силы, действующей на проводник». И совершенно неожиданно для меня добавила: «Садись, единица!»

Русик давно предупреждал, что Аэлита узнала о наших занятиях и ей это не нравится. Он не раз сидел на педсовете за ней и видел, с каким пристрастием Аэлита проверяет именно мои контрольные. Но мести я не ожидала. Я глазам своим не верила, когда она поставила оценку в журнал и затем в мой дневник. Расписалась размашисто и со звонком, не глядя в мою сторону, вышла из класса. Я машинально встала и вместе со всеми побрела в кабинет литературы. Какая несправедливость! Пускай в учебнике другая привязка к ладони, но векторы в векторном произведении я расположила друг относительно друга верно. А главное, я ответила всё остальное…

Не успела русичка начать следующую тему, как в класс вошла комиссия из гороно. Русичка побледнела. Обычно о комиссиях предупреждали заранее, и их ждали, к ним готовились. Русичка обвела нас взглядом, пока дамы из гороно рассаживались на задних партах. Ну конечно, мы ж непредсказуемы, особенно Генка с Вошиком. Русичка откашлялась и… начала предыдущую тему. Мы её уже проходили утром. «Внеклассное чтение. Стихи о Великой Отечественной войне». Она задавала вопросы, которые мы уже слышали и на которые отвечали урок назад. Класс с изумлением следил за её действиями, похихикивая, когда она пропускала кого-то, кто на предыдущем уроке ответил плохо. Неумолимо приближалась моя очередь. Вот бы она меня не спросила! Меня душила обида за единицу. У меня по физике до того дня даже троек никогда не было. Как жить дальше с таким пятном?

Русичка вызвала меня. «Жди меня,—начала я,—и я вернусь, только очень жди, жди, когда наводят грусть…» У меня закапали слёзы. Мне тоже было грустно. Ещё как. Я пыталась их сдержать, но с каждым словом слёз становилось всё больше и больше. «Просто ты умела ждать, как никто другой»,—выговорила я шёпотом, села и тихонько заплакала. Получила ещё одну пятёрку, но мне было всё равно. Единица жгла мне душу.

Прозвенел звонок. Комиссия из гороно выражала русичке восторги по поводу невероятной подготовленности класса к уроку, а также её педагогическому таланту пробудить у современной молодёжи такие чувства искреннего сопереживания тому времени. «Особенно восхитила проникновенность, с которой девочка читала Симонова. С каким же чувством звучали строки! Со слезами!» Дама сама размазывала слёзы по лицу и обернулась подойти ко мне. Русичка быстренько вывела комиссию в коридор и вернулась. Она наклонилась ко мне и спросила с тревогой: «Зайка, что случилось?» Я обиженно зарыдала, закрыв лицо руками, а сзади кто-то со смешком пошутил по поводу единицы. «Ничего,—сказала русичка, она же была ещё и нашей классной,—не переживай так, разберёмся с Аллой Михайловной. Знаешь что? Иди домой. Я тебя отпускаю». Повернулась к классу и громко поблагодарила за понимание и поддержку. А я побрела вон из школы.

Меня догнал Виталик. Как всегда, румяный и улыбающийся. Вот мне его ещё только не хватало! И так ухмыляющиеся злорадные морды кругом. Радуются чужой беде. «Не п-переживай! Аэлита п-параллельному классу часто единицы с-ставит. Знаешь п-почему?—он хохотнул.—П-потому что их легко переправить на четвёрку! Вот увидишь! Ребята говорят, чтоб ты не расстраивалась из-за чепухи».

Русик вечером сказал мне, что с математической точки зрения я права. Видя, что меня это не утешило, протянул зелёный томик. Какой-то Гурджиев. Он его сам ещё не успел прочитать, только на днях купил на «чёрном» рынке. Томик дурманяще пах свежей типографской краской. Чтение и правда отвлекло, хотя гурджиевсие поиски истины мне были не близки, но зато это были поиски, а не топтание на месте. Поиски и встречи с интересными людьми. Жизнь! А Аэлита как ни в чём не бывало исправила мне единицу на четвёрку на следующий день, вызвав к доске решать задачу.

Все с нетерпением ожидали, когда же нам отдадут наши паспарту с фотографиями выпуска.

Девочки волновались. Дело было не в том, красиво ли мы получились. Мы хотели поскорее убедиться, что зря боимся, что мы не вышли на фото глупо и смешно. Нас угораздило поддаться на удочку ребят: они попросили нас сфотографироваться непременно в школьной форме и обязательно с бантами. В форме, которая нам так надоела, и с бантами, которые непонятно где брать, мы их сто лет не носили, мы ведь уже взрослые! Мы согласились совсем не потому, что нам понравился аргумент мальчишек, что это будет последняя фотография в форме, последняя память о школе и детстве. И не потому, что они делегировали уговаривать нас обаятельного Пашку и красноречивого Генку. А потому, что они обратили на нас внимание! Мы же были уверены, что ребята нас не замечают. А оказывается—замечают. Но как же глупо сниматься в форме и с бантами в семнадцать лет! Наше ответное требование—никакой скучной синей или коричневой школьной формы у них! Только взрослые костюмы и галстуки. В фотоателье все смущались и хихикали. И как у нас, девочек, на всех было всего два банта, которые прикалывали друг дружке по очереди перед фотосессией, так и у них было всего несколько взрослых модных дорогих галстуков.

И вот эти паспарту с фотографиями должны были принести. Моя мама отпросилась на час с работы, а от класса пошёл Пашка. Понятно, что когда он вернулся, прогибаясь под тяжестью толстой пачки дерматиновых папок, то ни о каком уроке речи уже быть не могло. Мы расхватали паспарту, а ещё каждый получил конверт со своими фотографиями.

Слева в папке—напутственные слова Щуки с подписью и гербовыми печатями, справа—медальоны с нашими и учительскими фото. Ничего страшного. Только хотелось бы нам выглядеть повзрослее. С фото глядели такие серьёзные, но слишком детские лица. Не надо было соглашаться на банты. Хотя костюмы и галстуки не сделали наших мальчишек солиднее.

Класс зашуршал конвертами. Кто-то предложил меняться фотографиями на память. «Не беспокойся, твоя фотка у меня есть»,—закричал мне Пашка, нагло размахивая… моей фотографией. Я перебрала свои. Ну так и есть, одна—Пашкина. Убью дома маму за такое самоуправство! Мне уже тянули карточки на обмен. Издалека заорал мне Антошка: «Меняемся?» Ну конечно, разве я упущу возможность получить изображение будущей рок-звезды?

Когда подошёл Вошик, у меня не осталось ни одной моей фотографии. «Жалко,—сказал он.—Держи мою просто так. На память».

«Всё, у меня больше нет»,—сообщил очереди желающих. Фотографий нам дали всего шесть. Обидно, что так мало.

«Ну что ж,—сухо подытожил Родионов на последнем занятии,—практически все основные понятия алгебры мы с вами разобрали. Геометрию, к сожалению, не успели, но это не суть важно. Желаю успешно сдать экзамены. До свидания». Лицо динозавра ничего не выражало, разве что некоторое недовольство, что мы прошли не все, а только «практически все» понятия алгебры. Я распрощалась—в основном с его женой.

Долгожданный выпускной! Почему-то родители и даже учителя волновались. К нам заехала домой русичка что-то забрать и отвезти к предстоящему мероприятию. У них с мамой в последние дни была ещё одна головная боль—спешный приём Генки в комсомол. Он неожиданно решил поступать в военно-политическое училище, сообщил классу, что только военные—настоящие патриоты и могут влиять на режим в стране, переворотами, например. Перевороты переворотами, но для впу нужна была комсомольская характеристика.

Русичка увидела меня в платье, ахнула и заплакала. Я оглянулась—мама тоже вытирала слёзы. С ума они, что ли, сошли—так реагировать? Или я была права, и платье—дурацкое и идиотского цвета? Они уверили меня, что платье отличное, припудрили носы. И мы отправились на бал.

Выпускной прошёл замечательно. Не считая того, что со мной танцевали все, кроме Пашки. Он ни разу не подошёл, всё его внимание досталось девушке из параллели. А Вошик сказал мне, что платье красивое и особенно хороши цветы в волосах. Мне идут. Лучше б он не напоминал.

Я переживала по поводу платья. Всё время ворчала на бедную портниху. На генеральной примерке я критиковала и придиралась к каждой вытачке. «Скажи спасибо. Эта девушка делала тебе цветы. Вот она, пришла узнать, нравится ли тебе её работа». Я оглянулась: низенькая девушка, да ещё и с горбом, смотрела на меня с восторгом, как на принцессу. Я так растерялась, что не смогла ничего сказать. Понадеялась, что мама поблагодарит. Или я потом. Вошик мне невольно напомнил. В разгар веселья мне вдруг стало непереносимо стыдно. И ведь не исправишь. Как говорят, поезд ушёл. Надо всё делать вовремя…

Мы собирались выпить в полночь шампанское и положить в бутылку наши письма к нам же, но взрослым. Закопать бутылку в потайном месте, чтобы выкопать ровно через двадцать лет и посмотреть, исполнилось ли то, что мы задумали. Я удивлялась: зачем? И так ясно, что всё сбудется. «Ничего ты не понимаешь,—говорили мне.—Ты только представь, какой прикол: ты через два десятилетия уже забудешь, что написала, открываешь и читаешь послание к самой себе из прошлого». Я, как ни старалась, так и не смогла вообразить себя через двадцать лет—это даже старше, чем моя мама сейчас.

Я не написала письмо, забыла про него. И ничего не передала, чтоб вложили в бутылку. В распитии шампанского я не участвовала—спешила на самолёт: экзамены в МФТИ начинались через день, на месяц раньше, чем в других вузах страны.

Всю дорогу в самолёте я размышляла, кто что мог написать и где закопали «клад». На школьном стадионе у тира, в парке у каруселей или в посадке на ставкé? Мы же никак не могли выбрать место понадёжнее.

Одной из последних задач, что мы решали с Русиком, была задача на вычисление радиуса радуги. Я тогда подумала, что красиво в теории, но в действительности радуга—это кусок дуги. И вдруг на подлёте к Москве в иллюминаторе под нами засверкала радуга-круг, как в задаче. Мне очень хотелось верить, что это знак. Хорошая примета. Но я упорно гнала такие мысли, чтоб не сглазить.

Таксист притормозил у административного корпуса МФТИ, подмигнул мне, испуганной: «Дождь—хорошая примета. Всё получится, дочка». И я под ливнем поспешила в корпус—заполнять документы. Думала, что зря таксист сказал это вслух. Ну ведь сглазит же моё поступление.

Таксист был прав. Дождь—хорошая примета. После двух сложных письменных экзаменов по физике и математике следующими шли два устных.

На физике я вытащила билет с одним словом: «Работа». Гм, можно написать одну формулу, а можно… Я тщательно расписала на трёх листах всё, что упоминала Аэлита на уроках из всех разделов физики, так или иначе касающееся работы. Преподаватель сказал: «Да уж. По теории вопросов нет. Давайте решать задачи». Все эти прыгающие по льду шайбы мы с Русиком разбирали. Я справилась.

На устной математике в билете все три вопроса оказались задачами. Две из них—на построение графиков. А потом экзаменатор мучил геометрическими головоломками, но мне это нравилось. Я так обнаглела оттого, что он не мог меня поймать, что даже спросила, почему в билетах нет теории. Он наморщил лоб: «Что ж там у вас в школе проходят по программе? О! Вспомнил! Теорема о трёх перпендикулярах!» Детский сад, а не теория.

Вошик приехал сюда же, но на день позже, и попал во второй поток. Он не добрал баллов. Расстроенный, что не поступил, он сдал документы первому же «ловцу душ». Под МФТИ стояли рекрутёры из других вузов, звали не поступивших к себе без экзаменов. Вошик уехал учиться куда-то в Сибирь.

Когда нас через три дня после занятий послали в колхоз на «картошку», которая оказалась морковкой, мне пригодилось умение мастерить биокруг. Мы скучали вечерами, знакомы ещё не были, стеснялись. Тут-то я и предложила «проверить биополя». Будущие учёные сначала предположили сквозняк, тщательно закрыли двери. Быстро догадались до тепловых полей, чуть не сожгли круг спичками, ставили у тёплой батареи. И познакомились в процессе экспериментов.

Только на физтехе (так между собой называют свой институт студенты МФТИ), на лекциях по матанализу, я поняла, что мне дал Родионов. Он не запугивал математикой, как это делал Лисовский. И не учил фокусам. Он не относился к математике, по примеру многих учителей, как к сокровенному знанию. Родионов своим изложением внушал, что алгебра—это всего лишь язык, который придумали люди для удобства. Язык специфический, им нельзя овладеть, начав учить с конца или середины. Но правила его логичны, понятны и красивы. Мне было тяжело на лекциях по физике, которая сильно отличалась от школьной. А на матанализе—легко и просто, хотя я и отставала по знаниям тех же интегралов от выпускников более крутых матшкол. Лектор говорил знакомым мне, благодаря Родионову, языком. Я не боялась, была уверена, что разберусь. Потому что я знала основы, «азбуку».

Я очень скучала по одноклассникам. Одна хорошая вещь в расставаниях—письма. Мне писали. Я строчила ответы. Потихоньку поток писем ослабел. Только Генка, Вошик и Пашка продолжали делиться со мной удачами и горестями, а я с ними.

На зимние каникулы мы все слетелись домой. Я раньше всех, в МФТИ сессия заканчивалась на неделю раньше, чем у остальных. Ко мне тут же примчался в гости Андрюха. Не дал мне ничего рассказать, засыпал школьными новостями. «Тёзка! Мы вас переплюнули! Мы отмаршировали на «Зарнице» под «Yellow Submarine!» Ты представляешь, что было со Щукой?—захлёбывался он от восторга.—Нам всем выговоры вкатили в личные дела за использование вражеской песни!—Андрюха радостно засмеялся.—Щука обещает в характеристики написать. Как думаешь, забудет за два года?»—«Полтора, уже полтора тебе осталось»,—вздохнула я, но согласилась, что, конечно же, забудет.

«А знаешь, какой класс готовит в этом году вечер встречи выпускников?» Я догадалась—уж очень сияли у него глаза. «Нет, не десятый, а наш девятый. В выпускном у нас такие зануды. Они разве могут организовать что хорошее? Только один отстой. Но ты не представляешь, что вас ждёт, чего мы там вам только не приготовили!» Я его тормошила, пытаясь выведать, удастся ли нам уйти из школы живыми, но Андрюха не раскололся: «Увидишь!»

За окном валил снег. Я вслух пожалела, что мы уже выросли, особенно я, а то ведь можно было бы на санках покататься. Мои детские ржавеют на балконе. Жалко, что детство уже закончилось. «Это кто тут вырос? Ты, что ли? Тоже мне взрослая. Пошли!»—рассмеялся Андрюха. Недолго думая, он достал старые, и правда изрядно ржавые

санки,—зачем мама их только хранила?—открутил спинку, и мы пошли на горку. Опробовали все трамплины, все спуски с холмов вокруг замёрзшего ставка́. Санки не выдержали такого издевательства—полозья разъехались.

Приехавшие одноклассники, не дожидаясь вечера встречи, назначили «стрелку» на площади Победы у городского фонтана. Зимой, конечно же, никакого фонтана не было. Его накрывали деревянными щитами и ставили сверху, к радости детворы, фигуры снеговиков и почему-то Волка с Зайцем из «Ну, погоди». Вокруг фонтана катали на паровозике. Но всем больше нравилось лазить по снеговикам и особенно по Волку, поэтому у тех всегда были обломаны носы-морковки, а у Волка когти на лапах.

Я завезла Русику книжку русского философа-библиотекаря Фёдорова, которую он никак не мог достать ни на одном «чёрном» книжном рынке области. Я знала, что Русик её ищет, и купила ему с рук по случаю в Москве. Жалко, что в последний день перед отъездом,—не успела прочитать, только полистала. Сама я была под впечатлением «Писем Баламута» Льюиса, которые ходили по Москве в самиздатовских ксерокопиях. Русик скептически относился к христианству, если речь шла о религии, а не о философии. Сам он для себя открыл Кастанеду. Я б с ним с удовольствием поспорила, но боялась опоздать. Распрощалась и побежала на площадь.

Ну вот. Из знакомых лиц—только серая морда Волка, я его помнила с детства. Наших никого. Не успела я улыбнуться Волку в розовых трусах, лапы которого, протянутые к Зайцу, занесло снегом, как мне навстречу открыл объятия Пашка. Мы затараторили, пытаясь рассказать друг другу сразу всё. «Мне там так хреново бывает. Спасибо, что пишешь». Пашка учился в мореходке, среди парней из морских династий. Но он очень хотел плавать, просто бредил морем. Мы с ним решили, что больше никто не придёт, и направились в сторону «Снежинки»—кафе-мороженого. Я не успела сказать Пашке, что мне, провинциалке, там, в Москве, в техническом вузе, среди выпускников столичных матшкол и специнтернатов, не легче—нас догнали, закружили, затормошили подошедшие ребята, с ними и Генка, и Виталик. Вошика не было, он ещё ехал поездами из своей Сибири, обещал успеть на вечер встречи. Хорошо бы Вошик не опоздал. Уж если за дело взялся Андрюха, то это нельзя пропустить!

Решили постоять ещё немного—вдруг не все, кто собирался, пришли. А уж потом пойдём в «Снежинку», есть мороженое и пить кофе. Я им хвастала, что «у нас в Москве» пьют горячий шоколад (пила я его всего раз, но это не имело значения). Мне не верили, говорили, что то было какао, и дразнили «москвичкой».

Виталик потоптался и предложил мне: «Давай, пока все ждут, Родионова навестим. Он же тут в двух шагах».

По дороге к учителю рассказывал про своё танковое училище. Старшие курсанты уже все женаты. «Т-ты представляешь, если у к-кого родится дочка, то п-папашку в речку окунают. Т-традиция». Он хохотнул, открыл дверь подъезда и оглянулся на меня: «Я, наверное, летом женюсь. Что думаешь?» А что я могла думать? Это же здорово, когда любят друг друга настолько, что не оглядываются на все эти взрослые отговорки: «Вы ещё молодые, сначала доучитесь, станьте на ноги». Я улыбнулась и сделала страшные глаза: «А что, если дочка родится?» Он захохотал: «Я воды не б-боюсь. Т-только смотри, это секрет. Ни-ко-му!» Я кивнула.

Мы поднимались по знакомой лестнице на третий этаж, и мне только сейчас пришло в голову, как же Родионов, тучный, с ампутированной ногой, здесь передвигается. Не может же он целыми днями сидеть дома.

Жена Родионова открыла дверь и радостно всплеснула руками. Засуетилась в поисках тапочек. Как всегда, из кухни пахло вкусностями. Родионов возвышался на неизменном своём месте, стол был накрыт для занятий. Родионов не обрадовался нам и не удивился. Выслушал сбивчивые рассказы. Поинтересовался экзаменационными задачами. Да мы их уже забыли за полгода. Одну, что далась мне непросто, я нарисовала на листке. Две точки на призме, найти угол. «Красивая задача.—Родионов погрыз мундштук.—Решается в одну строчку векторно». Задачу, да ещё и векторно, решили всего несколько человек из потока. Я не догадалась. Но я решила её в лоб, делая построения, опуская перпендикуляры и тому подобное. Два листа вычислений, но ответ я получила. Я рассказала.

«Упрямства вам всегда было не занимать»,—вроде даже одобрительно заметил Родионов. Это похвала, что ли? Вот только упрямой я себя не считала.

Затрезвонил дверной звонок. В коридоре смеялись и спорили весёлые голосочки, но в комнату ученики Родионова зашли притихшими. Кто-то смотрел с испугом, кто-то с нетерпением. Совсем салажата зелёные. Родионов тут же потерял к нам с Виталиком интерес, он попросту нас больше не видел. Зашуршал конспектом, постучал мундштуком по столу. К Учителю пришли его ученики. Мы ему были не нужны.

В прихожей жена Родионова подала мне пальто и шинель Виталику. И вдруг порывисто обняла меня, прижала к себе, наклонила голову и поцеловала в макушку. «Спасибо тебе, деточка. Ну иди. С Богом».

Я не поняла, за что это она меня благодарит. Мысли мои были там, на площади, где нас заждались наши одноклассники. Я распахнула дверь

и побежала вниз по ступенькам. За мной с трудом поспевал Виталик. Нас ждали в кафе, уже заказали мороженое, все ж знали, кто что любит. Я глотала подтаявший пломбир с клубничным сиропом, слушала Пашкины объяснения, как надо ориентироваться в море по звёздам, смеялась вместе со всеми историям Генки, переживала, приедет ли Вошик. И было мне весело. И казалось, что так будет всегда. Молодость. Дружба. Мы никогда не расстанемся, не забудем друг друга.

Прошло больше полувека с той встречи в кафе. Родионова я больше в своей жизни не видела. Остальные тоже потихоньку растерялись в пространстве и времени.

Литературное Красноярье ∴ ДиН юмор

Борис Аверьянов

Не пропадём!

Одеяло

Что такое одеяло,
Знают все до одного.
Только знают очень мало
О возможностях его.

Я сейчас вам очень кратко
Попытаюсь объяснить,
Почему его для брака,
В общем, нечем заменить.

Вещь полезная, не скрою
(Даже жалко отдавать):
Ведь и летом, и зимою
Можно спать под ним и спать.

Члены вытянув устало,
Не заботясь ни о чём,
Можно думать неустанно
О житье-бытье своём.

Это может быть спасенье
От холодных батарей.
Это путь для примиренья
И рождения детей.

Это где-то даже символ
Единения семьи,
Под которым можно силы
Восстанавливать свои.

Так что вы его храните,
Нежно, трепетно любя,
И по жизни не тяните
Одеяло на себя!

Чай

Дань традиции старинной
Я хочу преподнести.
У неё сценарий длинный —
Можно весь не соблюсти.

Провожая и встречая,
Мы привыкли говорить:
— Не испить ли, скажем, чаю?
— Отчего же не испить?

С коньяком или с лимоном,
С кренделями и без них,
И с вареньем, и с батоном,
Можно с сахаром одним.

Можно с квашеной капустой
И с солёным огурцом,
И вообще с любой закуской,
С винегретом, с холодцом.

Это чайное общенье
Может всех нас породнить.
Разговоры, угощенья:
— Вам налить? — А вам налить?

Ну а после — расставанье.
— Завтра вы к нам.
— Будем.
— Ждём.
— До свиданья.
— До свиданья.
Был бы чай — не пропадём!

Владимир Замышляев

Литературные персоны грата

О книге А. Астраханцева «Портреты. Красноярск, XX век», 2-е изд.

Явление портрета (с «лица необщим выраженьем») широко представлено в изобразительном искусстве, в литературе, в энциклопедиях. И всякий портрет (даже автопортрет) — это художественный образ, иное, нежели фотопортрет или портретный набросок, сделанный художником с натурщика в мастерской. Есть трудности, возникающие при создании литературного портрета писателем по его личным воспоминаниям. В этом случае применяется метод припоминания, воссоздания общего впечатления и деталей, особенно бытовых. Наиболее известный жанр из этого разряда — мемуары, наиболее спорные по верности изображения. В. Набоков в рассказе «Превратности времён» приводит высказывание своего персонажа: «Артур Фриман сказал о мемуаристах, что это люди, у которых слишком скудное воображение, чтобы писать романы, и слишком дурная память, чтобы писать правду. В этих сумерках самовыражения приходится плавать и мне». Слишком спорное утверждение и самого В. Набокова, и его персонажа. Что тогда сказать про И. Бунина, оставившего воспоминания о многих писателях, его современниках? Неужели Бунин лгал про А. Чехова, Л. Толстого, М. Волошина и других персон его писаний? Конечно, субъективизм неизбежен, но разве нельзя отличить ложь от правды? В том-то и кроется наш читательский (или литературоведческий) интерес к тому же Бунину, что слово писателя о писателе или художнике необыкновенно ценно, пусть оно и субъективно, и даже с преувеличениями в каких-то оценках или даже с мировоззренческими разногласиями. «Дух лица» в историческом восприятии всегда неоднозначен и выражен не в арифметических величинах.

Откровенно говоря, я испытал некоторые затруднения, прочитав книгу писателя Александра Астраханцева «Портреты. Красноярск, XX век»: к какому жанру отнести это сочинение? В предисловии к «Портретам» автор заявляет, что это «сборник документальных портретных очерков о тех, кого я хорошо знал (или, как мне кажется, хорошо знал), с которыми мне посчастливилось общаться или даже дружить, причём многие из них уже ушли из жизни, так что эти очерки получились воспоминаниями». И далее он добавляет: «единственная и исчерпывающая ценность всяких воспоминаний об известных людях — максимальная правдивость (с субъективной, авторской точки зрения, разумеется), потому что память об этих людях принадлежит не только родственникам, но и истории, пусть в данном случае это всего лишь история города или края. При всей любви или, по крайней мере, глубоком уважении к героям моих воспоминаний, именно этой цели, правдивости, я добивался в первую очередь, когда писал эти воспоминания». Очень красноречивое признание. Александр Астраханцев называет свою книгу «документальными очерками» (!) и «воспоминаниями», намеренно «предельно достоверными». И предупреждает, что он не согласен с некоторыми «родственниками» изображённых героев очерков, которым хотелось бы видеть своих родственных «знаменитостей» людьми без «недостатков». Писатель абсолютно прав. «Лицом к лицу лица не увидать» — это о «родственниках» книжных героев. И, как правило, «родственники» сильны в бытовых изображениях членов семьи и слабы даже в понимании того, с кем вместе или рядом живут. Ещё философ Гегель говорил, что жена не может признать в нём гения, потому что каждый день видит его «голым». Жёны даже частенько соревнуются с великими мужьями в силе ума, чтобы быть «наравне» или даже выше. И жена Льва Толстого Софья Андреевна говорила, что её муж капризный эгоист, как все гении.

Таким вот оригинальным способом я поддерживаю Александра Астраханцева, но это отнюдь не мужской союз «против женщин». С писателями могут спорить и мужчины — родственники знаменитых родителей, братьев и сестёр. Вопрос тут в сложности соединения «документального» и «воспоминаний». Эти моменты есть и в бунинских портретных характеристиках известных ему писателей. Есть его нелицеприятные высказывания о Чехове и др. Надо всё воспринимать как должное — с учётом времени и непростых человеческих отношений. Кстати, писатель А. Астраханцев ссылается на И. Бунина и других мемуаристов, готовясь к написанию своих «Портретов».

Нам кажется, что автору удалось соединить «документальный очерк» и «воспоминания» в целостное литературно-художественное исследование жизни и деятельности хорошо известных ему людей. И когда речь заходит о «правде жизни», то «чистота жанра» или дефиниций (как в науке) не столь уж и важны. Сама жизнь интереснее любых дефиниций. И «литературный блеск», по мнению Б. Пастернака, не должен её, жизнь, заслонять.

Среди портретов XX века, изображённых А. Астраханцевым, есть лица разного «рода и племени»: писатели, художники, партийные функционеры, учёные, хозяйственные и общественные деятели, книжные коллекционеры. С некоторыми из них я лично общался или что-то знал о них при их жизни, поэтому могу сравнивать написанное автором «Портретов» со своими впечатлениями и оценками. Конечно, в первую очередь у читателей вызывают интерес персоны общезначимые, прославленные и во мнении «народном» спорные. О В. П. Астафьеве написано уже много, и будут ещё писать, вспоминать... Мнение А. Астраханцева о нём ценно тем, что писатель пытается распознать другого писателя, причём без уничижения перед «памятником» и без лести ему при жизни и после его смерти. Мы знакомимся с профессиональными суждениями, с глубокими размышлениями о противоречиях творческой личности, когда литературные художества и непосредственный характер её в поступках взаимосвязаны, но не есть их зеркальное отражение. Это известная бесспорная истина в понимании искусства и литературы. Но «чёрный человек», как это привиделось Сергею Есенину, всегда глядит из зеркала на своё подобие. Напоминает «чёрный человек» зеркальному творцу о тайнах в нём, скрытых не только от публики, но даже и от самого себя.

А. Астраханцев выбрал при изображении В. П. Астафьева метод обнаружения нескольких «личин» в одной личности, пытаясь раскрыть явное и неявное в «портрете», пользуясь при этом и личным общением с «живым классиком», и обдумыванием его целостного литературного творчества. Один факт выбрасывания В. П. Астафьевым с балкона своей квартиры пачки с денежными купюрами под ноги шофёру с просьбой привезти коньяку, рассыпавшаяся пачка, полетевшие по ветру денежные бумажки, крик писателя: «Не собирай, сейчас другую пачку сброшу!»... Да ведь это из разряда «знай наших», «гуляй, Россия», «не в деньгах счастье»! Можно сказать, что А. Астраханцеву повезло на такой случай, раскрывающий характер русского человека особенно ярко. Русская «личина» всегда двойственна: то голодает, то гуляет и поёт «в радости и в горе», как отмечал Н. М. Карамзин. Сорили деньгами купцы, сорят «новые русские».

Были у В. П. Астафьева в жизни и другие резкие выбросы в поступках. Не следует забывать, что его детдомовское детство наложило сильный отпечаток на его характер и писательство. Он всё время «задирал» и близких людей, и сотоварищей по перу, и всю страну, и даже весь мир, послав ему проклятье в предсмертном завещании.

Нельзя не согласиться с А. Астраханцевым в изображении всех «личин» В. П. Астафьева: написано жёстко, выпукло и верно. Подчёркнута его феноменальная память (известно, что он не пользовался записными книжками), мастерство устной речи и письменного литературного текста, способность, как у Цицерона, произносить обжигающие публику открытые (без оглядки на кого-либо) выступления «на любые темы». Он не был скромным и застенчивым, как многие писатели, которые хороши в книгах, но невыразительны словом на публике. Астафьевское Слово с лобного места я сам слышал и даже приглашал его для выступления «перед трудящимися». И за столом с яствами можно было слушать его, раскрыв рот. Великий он был рассказчик во всех ипостасях. И писатель А. Астраханцев даёт ему свою замечательную художественную характеристику. Вообще вопрос о допустимости или запрете на матерные выражения из уст писателя — весьма спорный. Есть свидетельства современников Л. Н. Толстого о том, что граф-писатель употреблял в устном общении крепкие народные словечки, не смущаясь присутствием лиц дворянского образованного сословия. В наши дни ставятся спектакли и поются с эстрады песни с площадными матерными выражениями. Мера их употребления зависит от выбора культурных идеалов и от понимания общественной свободы. Граф Л. Н. Толстой своеобразно «крестьянствовал»: и землю пахал, и матерился, и крестьянок любил. В. П. Астафьев никогда от народа не уходил и под него не подлаживался, потому что он сам был плотью и духом народной жизни. Черты аристократизма, манеры хотя бы внешнего приличия для него неестественны. Он, как и М. Горький, имел свои «народные университеты» и мог бы сказать: «Мы академиев не кончали»,— а литературные курсы в зрелом возрасте не в счёт — это не классическое образование. Писатели с изначально высоким образованием и думают, и пишут по-другому, в отличие от Горького и Астафьева, литературные герои которых, в основном, грубоваты и выведены из «низов», находятся «на дне». Примером для подражания («сделать бы жизнь с кого») в общественном бытии они не являются. О нравственных императивах в творчестве любого писателя — разговор отдельный.

И всё же я бы согласился с А. Астраханцевым в том, что воздержание от дурного устного слова лучше, чем нарочитое и повальное увлечение

им, что возвращает нас к языческим временам, отринутым более высокой поздней культурой. Вспомнилось выражение Василия Розанова: «Если женщина свистит—Богородица плачет». Женский свист, как и все порочные слова (мужские и женские), противопоказан верующему человеку. В божественных Заветах нет сквернословия. Писатель А. Астраханцев заметил это противоречие в натуре В. П. Астафьева и не одобрил.

Наиболее значимым в портретном облике В. П. Астафьева, в понимании А. Астраханцева, в толковании писателя писателем, кажется рассуждение о «лирическом герое» в астафьевских повествованиях. Чтобы избежать некоторых неточностей в этом вопросе, процитируем автора «Портретов»:

«Самые авторитетные философы и психологи отмечают, что психоанализ собственной души даётся человеку необычайно трудно, и познать человеку самого себя до самых тёмных глубин практически невозможно: душа бешено этому сопротивляется, прячась и притворяясь, не желая обнажаться, в том числе и перед внутренним зрением, так что увиденный собственный образ даже у талантливого писателя получается или лучше, или хуже, чем истинный,—но не адекватным. Чаще всего—лучше, приукрашенней: неприятные черты характера притушёвываются, а хорошие, наоборот, высвечиваются. В общем, происходит идеализация и романтизация героя.

У Астафьева он, этот собственный образ, получился не просто хорошим—он получился прекрасным: с горячим любвеобильным сердцем, обнимающим собою весь мир, берущим на себя все его беды и страдания, с совестливой, чуткой и доброй душой, с горячим неприятием всего жестокого, глупого, тупого и нелепого в человеке и в жизни вообще, с внимательным, острым глазом и тонким слухом, улавливающим «дольней лозы прозябанье», и рассказывающий о своём «я» при прямом обращении к читателю с предельной открытостью, искренностью и доверительностью. Причём автор нежно любит этого своего героя, находит для него самые прекрасные, самые добрые слова: его тексты—это признание в любви и сочувствии к нему, и одновременно при этом—страстные бескомпромиссные отповеди всему враждебному его герою. И автор заражает читателя своей неуёмной, мучительной, беззаветной любовью к своему герою».

Сама по себе эта цитата (вынужденно длинная для нашей аргументации)—свидетельство не только литературных способностей А. Астраханцева, но и его философско-эстетического познания и открытой психологической рефлексии, что не часто встречается среди писателей. Философия у них не в подругах. Религия, философия и литература—не прямые антагонисты, однако соперницы и по сей день. Кто их связует в самом себе, тот ближе всех к Богу.

Согласимся с А. Астраханцевым в том, что «лирический герой» и всё написанное В. П. Астафьевым—это он сам, собственной персоной, не отчуждённый от судьбы детдомовца, окопного солдата и великого писателя, а воссоздавший мир именно через эти жизненные ипостаси. Литературоведы приводят классический пример из творчества Г. Флобера, сказавшего о своём романе: «Мадам Бовари—это я». Но у Астафьева более глубокое родство со своим «лирическим героем». Между ними нет пропасти—ни политической, ни сословно-социальной, ни языковой, ни образовательной («образованщина» иногда убивает стихийный талант). Самое последовательное, неустранимое качество В. П. Астафьева и его художественного героя—это бесстрашие, мужество быть самим собой, желание «всё сущее—увековечить, безличное—вочеловечить» (А. Блок). Он не изменял на протяжении всей жизни своего отношения к ней, не отрекался от укоренённого верования в совесть, в правду, в справедливость. Именно эту самоубеждённость в Астафьеве подчёркивает А. Астраханцев: «это образ человека огромной духовной мощи и творческой энергии… воля к победе и бесконечное трудолюбие», «чувство ответственности за своё писательство».

Писательское мужество усматривает А. Астраханцев и в романе В. П. Астафьева «Прокляты и убиты», самом спорном произведении, расколовшем всех писателей-фронтовиков и общество российское на две «группы», не согласные между собой в оценке романа. Самый страшный и поучительный вывод из этого романа, его вселенский смысл: нет никакого смысла в любой войне, когда люди убивают друг друга тысячами и миллионами, в таком количестве, что до сих пор не могут всех похоронить с должными воинскими почестями и христианскими молебнами. Ужас всечеловеческой бойни должен отвратить людей от неё. И русский человек скорей пойдёт на перемирие, чем на продолжение войны. Святой долг человека—защищать свою семью, землю, Отечество, побеждать врагов, посягнувших на эти святыни. Но в нас не должна оставаться вековечная злоба к побеждённым врагам. Трудное нравственное испытание…

Быть может, роман «Прокляты и убиты» надо воспринимать как доказательство от противного—«войной убить войну». Солдат Виктор Астафьев, насмотревшись на ужасы боёв и трупы убитых, лет пять после войны, как он сам говорил, равнодушно смотрел на похороны даже близких людей, настолько притуплено было отношение к смерти человека. Потом отболел, но не забыл ничего, и всколыхнулось в цепкой памяти уже знаменитого

писателя Виктора Петровича Астафьева то чудовищное, что до времени лежало в подсознании.

Да, роман мрачен, тяжело его читать — не все даже отваживаются «на читку».

И писатель А. Астраханцев спрашивает: «имеет ли право художественное произведение быть таким мрачным, беспросветно-тяжким — или это уже не художественное произведение, не роман, не реквием в их обычном понятии, а что-то другое, чему я пока не найду названия?» А может, и не надо искать каких-то названий применительно к искусству и литературе? Никакая критика, никакие комментарии их не заменяют и не объясняют. Состоялось апокалипсическое явление в мировой литературе — роман «Прокляты и убиты». Апокалипсис предписан в библейских текстах, и все евангельские притчи не кажутся радужными и оптимистичными: они предупреждают о Страшном суде, о конце света, которого ждали люди с вожделением в декабре 2012 года. Пугать людей легче, чем радовать их. Только дети несут в себе не катастрофическое представление о мире; а возраст ломает всех и готовит к смерти.

Очерк-исследование А. Астраханцева о В. П. Астафьеве в книге «Портреты» можно назвать заглавным и программным. После него читатель эстетически подготовлен к восприятию и других очерков, принимая манеру изложения скорее как художественно-исследовательскую, нежели документальную по воспоминаниям, хотя и эти факты (с биографиями и бытом персон грата) книгу насыщают.

Чтобы завершить, выразить впечатление от представленных портретов писателей в книге, выскажусь о З. Я. Яхнине, поэте и прозаике, и о прозаике Э. И. Русакове. Зорий Яхнин приехал в Красноярск из Москвы, начинал свою деятельность в роли культпросветработника, заведовал методическим отделом краевого управления культуры. Этот отдел находился в бывшем конюшенном помещении во дворе музея-усадьбы В. И. Сурикова. В восьмидесятые годы этот отдел сократили, а его директор З. Я. Яхнин уволился из него ещё за двадцать лет до этого. Первую книжку (брошюру) он написал как журналист-методист об одном сельском клубе, положив первые страницы в летопись клубного дела в крае. Художественная литература, поэзия увлекли молодого «клубника» — он стал незаурядным поэтом, войдя в обойму «шестидесятников» вместе с Вячеславом Назаровым, Романом Солнцевым, Аидой Фёдоровой и др. Красноярское книжное издательство активно печатало их поэтические сборники.

Очерк А. Астраханцева о Зории Яхнине правдив и, я бы сказал, душевно прочувствован. Прозаик бережно отнёсся к личности поэта, в чём-то его пожалел, но никак не унизил, подчеркнув расхождения во взглядах на «политику и поэзию». Зная З. Я. Яхнина, хочу заметить, что общественным политиком он никогда не был — скорее, фрондировал, поругивал власть и отстаивал «свободу самовыражения», а цензуру и редакторов называл даже «надзирателями», накладывая на это слово тюремную тень. Неожиданное его полевение и присоединение к стану КПСС после 1991 года — вынужденное. Он заметался в одиночестве, не принятый лидерами перестроечных реформ, не способный завладеть умами и сердцами аудитории, которая так резко поменяла фаворитов в политике и в литературе. Расхождение его с В. П. Астафьевым и Р. Х. Солнцевым, о чём справедливо пишет А. Астраханцев, связано и с уязвлённым самолюбием, и с национальным вопросом, осложнённым перепиской Астафьева с историком Н. Эйдельманом. Поначалу З. Я. Яхнин дневал и ночевал, как говорится, в квартире В. П. Астафьева, а потом отношения круто повернулись на отстранение друг от друга. Любовь и дружба и среди писателей своеобразны несхожестью творчества и взглядов на мир. Мне кажется, что в последние годы жизни В. П. Астафьева охладело отношение к нему и со стороны Р. Солнцева. Но не будем тут заглубляться «на личное дело каждого из них».

Обратим внимание на факт «загулов», бывавших в жизни З. Яхнина, отнюдь не тихого поэта. А. Астраханцев ничего не преувеличил в отношении поэта и сказал о «зелёном змии» правду. Кому-то не понравились эти замечания прозаика о поэте. Но лучше бы не полемизировать о питии, ведь никто ещё не встречал на грешной земле трезвенника-писателя. Алкоголь — спутник и в мире искусства. К сожалению, он сгубил многие таланты. Потребность в алкоголе (а нынче и в наркотиках) у деятелей литературы и искусства — не физическая, а духовно-психическая: от непомерной тяжести переживаний, труда, когда порой мозг воспалён от перенапряжения и творец срывается «во всемирный запой». Эти строчки выстрадал Александр Блок и завершил стихотворение антимещанским заявлением: «Пускай я умру под забором, как пёс, пусть жизнь меня в землю втоптала, — я верю: то бог меня снегом занёс, то вьюга меня целовала!» Писатели и художники пьют, но среди них нет алкоголиков. Писательская воля сильней «зелёного змия». И В. П. Астафьев однажды признался, что без бутылки не написал ни одной книги. Может быть, преувеличивал, но «человек — мера всех вещей», и писатель тоже. Мы не поём хвалу хомо спиритус, но и ханжества не приемлем. И не надо упрекать А. Астраханцева за правду, сказанную сочувственно о поэте З. Я. Яхнине. Поэт остаётся в истории красноярской, сибирской литературы, а следовательно, и в России.

Про писателя Э. И. Русакова я ничего не скажу по причине общения с ним на расстоянии. Он талантливый писатель, никто в этом не сомневается.

И всё то хорошее, что сказал о соработнике по литературному цеху А. Астраханцев, достойно и читательской поддержки. Многая лета этому замечательному рассказчику с «чертами азиата», по выражению поэта Анатолия Третьякова.

Следующие персоны грата в собрании портретов — художники А. Поздеев и В. Капелько, известные в мире искусства Красноярска и России. С этими художниками я лично не общался, в их мастерских не был, но видел их не раз на собраниях художников, на персональных и коллективных выставках. Скажу только, что я имел непосредственное отношение к организации и открытию персональной выставки А. Поздеева в 1975 году в художественной галерее на правобережье Красноярска. Я работал в краевом партийном комитете, в отделе культуры, и курировал творческие союзы. Б. В. Гуськов, заведовавший отделом культуры, и я вместе с художественным советом Красноярского отделения СХ РСФСР и с краевым управлением культуры просматривали экспозицию этой выставки перед её открытием. Так было принято в те времена: предварительная «сдача» и спектаклей в театрах, и художественных выставок, и «наглядной агитации» перед праздниками. Откровенно скажу, что больше сомнений в отношении некоторых картин А. Поздеева было у членов художественного совета, чем у Б. В. Гуськова и у меня. Кажется, две или три работы из предложенных на выставку «не прошли».

А. Астраханцев верно описал и скопление публики на открытии выставки А. Поздеева, и её обсуждение, и отсутствие самого художника на «дискуссии». Время прошло, страсти улеглись, цензуры не стало. И творчество Андрея Поздеева стало общепризнанным оригинальным явлением в мире изобразительного искусства, хотя единодушия в оценках нет до сих пор. Но бесспорного «одобрямс» в искусстве вообще быть не должно, и в истории его никогда не было. Каждая эпоха в искусстве рождает новые стили и направления. Бывает и так, что всеобщая эйфория со временем гаснет: «король-то голый», — и люди удивляются сами себе: из-за чего копья ломали?

Литературные портреты художников А. Поздеева и В. Капелько в изображении А. Астраханцева удивляют необыкновенно глубоким проникновением в их психологию, в муки творчества, в нестандартность их житейского поведения, в драматизм и даже в трагизм судеб художников. Любовь к ним со стороны публики приходит всегда с опозданием: «Как больно знать, что дома, на Руси, поэтов очень любят… после смерти» (А. Ферапонтов). Немало примеров того, как художники умирают в нищете, а потом за их произведениями охотятся коллекционеры и платят на аукционах огромные деньги. Одним словом, искусство — большой риск для творцов его, и не случайно говорят о выдающихся мастерах: «талант Божьей милостью».

Поражает не только литературное качество в «оформлении» портретов художников писателем А. Астраханцевым, но и высокая степень искусствоведческого исследования, хотя уже в самом начале книги автор оговорился, что он не литературовед и не искусствовед. Это как раз такой случай, когда отрицание «не» доказывает обратное: наш повышенный интерес к слову писателя о художниках. Всё-таки родство душ в муках творчества, да ещё и дружеская близость в личных отношениях обеспечивают драгоценный сплав субъективного и общего в достоверной картине портретных изысканий.

Мы бы даже особо, со знаком качества и восхищения, выделили «Шедевр» А. Астраханцева — о художнике В. Капелько. То ли это рассказ, то ли эссе, то ли монолог-изречение на очень высоком духовном подъёме. Поистине, «Шедевр» (памяти художника В. Капелько) можно назвать шедевром памяти самого писателя. И спасибо ему за такие художнические откровения и литературные достижения. Что-то мы не заметили пока, чтобы нечто подобное о художниках было написано кем-то другим в Красноярске.

Назвав очерк А. Астраханцева о В. П. Астафьеве «заглавным» в книге, мы, по прочтении очерков о художниках, можем сказать, что они «вровень» с первым по мастерству изображения и по глубине постижения сути творчества в литературе и в изобразительном искусстве.

Книга «Портреты» содержит также очерки о писателе Н. И. Мамине (сегодня мало тех, кто его помнит и знает), о крупных учёных Г. Ф. Игнатьеве и В. А. Головине. Учёные (многогранный физик и аграрник, зоотехник) — фигуры колоритные, увлечённые не только наукой, но и философией, литературой, живописью, практики и теоретики своего профессионального призвания, с потерями и обретениями личного статуса в советском обществе. В очерках о них А. Астраханцев ищет вместе с ними «идеал интеллигентного русского человека». Конечно, они под усреднённый социологический тип интеллигента не подходят, выламываясь из традиционного портрета «за рамки», как на одном из живописных портретов А. Поздеева. И. Г. Игнатьев, и В. Головин могли бы сказать о себе: «мы не интеллигенты, мы же имеем профессию, нам есть чем заниматься». Но А. Астраханцев прав, выводя их на стезю «интеллигентности», потому что они преодолевают в себе «узких специалистов» и выходят в широкий мир культуры, искусства, фантазируют, мечтают, пытаются преобразовывать общественную жизнь, создавать и внедрять «пандеролёты» для путешествий в будущее. А это и есть большой дух русского интеллигента — творить вместе со всем

человечеством («поэт в России больше, чем поэт», что как бы стало аксиомой).

Вот что пишет об учёном В. А. Головине в очерке о нём А. Астраханцев: «Передо мной—настоящий, без подделки, русский интеллигент, т. е. человек образованный, накопивший в себе достойный уровень культуры, всю жизнь несущий на себе крест духовного подвижничества (всегда уважаемого на Руси и несущего на себе ореол святости), и при этом—человек скромный, обаятельный, имеющий обострённое чувство собственного достоинства и непримиримый ко всяческой подлости и предательству». Примерно так же характеризовал тип русского человека Дмитрий Лихачёв, авторитетный исследователь русской культуры и национальной интеллигенции.

Обращаемся к читателям и говорим: прочтите очерки о Г. Ф. Игнатьеве и В. А. Головине—и вы заразитесь подвижническим примером названных учёных, русских интеллигентов до мозга костей. Россия для них не падчерица, не «эта страна», а мать родная.

Собрание «Портретов» А. Астраханцева привлекает внимание и тем, что в нём представлены очерки о народных самородках. Это предприимчивые люди, «чудаки», «дворовые философы», «поэты-спортсмены». Среди них и человек, прозванный в кругу друзей Бормотой, и Анатолий Ферапонтов с кличкой «Седой» (в сообществе спортсменов-скалолазов на красноярских «Столбах»), и фермер Андреич из деревни Таловка; колоритна фигура врача и одновременно—крупного коллекционера книжных собраний, библиофила, «короля» И. М. Кузнецова. Они не столь широко известны в современном обществе Красноярска, но без этих личностей культура на берегах Енисея во второй половине XX века выглядела бы не столь богатой на разнообразие типов талантливых людей. И литературно нарисованы они А. Астраханцевым живо, с душевно приподнятым отношением к ним и к их непростым жизненным перипетиям.

Отдельно хочется оценить очерки о правозащитнике Н. А. Клепачёве и об О. С. Шенине. По роду занятий это далёкие друг от друга люди. Первый—инженер-строитель, второй—значимый партийный функционер. Но жизнь в условиях перестройки сталкивала их в общей реформе «ускорения и гласности». Правда, А. Астраханцев обрисовал О. С. Шенина только в роли главного инженера стройуправления треста «Красноярскалюминстрой». Но наивысшие достижения О. С. Шенина—это должности первого секретаря Красноярского крайкома КПСС и секретаря ЦК КПСС. Об этой его работе А. Астраханцев только упоминает как о фактах биографии «героя», а судить о ней не берётся. О. С. Шенин «прославился» ещё и тем, что был членом ГКЧП во время событий в августе 1991 года. Я некоторое время работал под руководством О. С. Шенина в краевом партийном комитете и мог бы высказаться о нём со своих позиций, но в данном случае это не требуется, ибо я веду речь не о себе, а об очерках А. Астраханцева и о заметках его об О. С. Шенине в период их совместной работы в молодости. Писатель пожелал, помимо профессиональной оценки, как «строитель о строителе», рассказать «об одной нехорошей его черте—или дурной привычке?—которая вызывала у меня невольное чувство брезгливости. Хотя во всех прочих отношениях это был человек, в общем-то, симпатичный». А «нехорошей чертой» О. С. Шенина, оказывается, были «любовные похождения», случай с беременностью одной женщины от него. И можно бы этот случай не рассматривать с повышенным вниманием, ибо «с кем не бывает», кто может первым бросить камень в женщину-грешницу или в мужчину-грешника, посчитав себя абсолютно безгрешным. Библейский сюжет на эту тему всем хорошо известен. Тогда надо вспомнить и о внебрачной дочери В. П. Астафьева, взявшей его фамилию и пишущей свои литературные сочинения как Астафьева. Боже, сколько внебрачных детей у писателей и художников в истории мирового художества! А у глав государств, у полководцев, даже у священнослужителей? Вон как ведёт себя «любвеобильный» Сильвио Берлускони в Италии!

Стоит ли писателю так избирательно зацикливаться в данном случае на О. С. Шенине, тем более что грех-то его совершён в роли «влюблённого инженера», а не секретаря ЦК КПСС, хотя и на «том уровне» у партийных функционеров много чего было.

Нам кажется необоснованным отождествление А. Астраханцевым «сластолюбия» и «властолюбия». Любовь, флирт, секс—не партийная «черта», а общечеловеческая. Конечно, прав А. Астраханцев, считая, что тот, кто проповедует высокую мораль, сам должен её блюсти и подавать положительный пример. Писатель пошёл по традиции сложившихся стереотипов в критике партийных функционеров в период перестройки и особенно усиленно после неё. А стереотип такой: «партийно-советский» человек по определению не может быть «хорошим». Если в советской литературе «партийного героя» возводили в превосходную степень, то в современной литературе низвели до полного ничтожества. И то, и другое относится к феноменальным заблуждениям. Если человеческое никому не чуждо, то как можно вынести за пределы этого суждения члена какой-либо партии? Посмотрите-ка на нынешних «партейцев»! На олигархов типа Михаила Прохорова! Его «пляжную историю» тоже сладострастно раздули из политических французских соображений. Одним словом, политика и любовь—или вещи

несовместные (при радикальных оценках), или в их связи нет ничего сверхъестественного. Лучше придерживаться последнего и не возводить «властного человека» в культ святости, а потом его же развенчивать. Это опрометчиво по убеждениям, хоть политическим, хоть моральным.

Инженера-строителя Н. А. Клепачёва прозвали правозащитником, сделали героем перестройки, от которой сам герой потом отрёкся и стал не менее резко, чем до 1991 года, критиковать нынешнюю власть. Он — пример народного правдолюбца, борца за справедливость, за честную работу, против всякого подлога в её оценках, против безнравственного расточительства природных и хозяйственных ресурсов. Он «рыцарь без страха и упрёка»! Его общественно-политическая деятельность послужила толчком и для многих газетных и журнальных статей о перестройке, принадлежавших разным журналистам, и для написания Р. Х. Солнцевым пьесы «Торможение в небесах», поставленной в театре Ленсовета Игорем Горбачёвым и показанной на гастролях в Красноярске. Мы видели этот спектакль и не раз общались с Р. Х. Солнцевым, поэтом, прозаиком, драматургом. Но речь не о нём, хотя в жизни всё связано, как и дружба драматурга с прообразом героя пьесы, и «политическая драчка» О. С. Шенина с Н. А. Клепачёвым. Я был свидетелем того, как у правозащитника отбирали партийный билет члена компартии на заседании бюро Красноярского крайкома КПСС, что было, конечно, нарушением Устава этой партии. Исключение из её рядов должно начинаться, если это происходит, с решения первичной партийной организации, в которой состоит исключаемый человек. Но разговор на заседании партийного бюро был крутой и горячий: первый секретарь крайкома О. С. Шенин воскликнул: «Партийный билет на стол!» Он был не прав; тут мы не покривим душой и встаём на сторону правозащитника. Не сложились отношения у Н. А. Клепачёва и с губернатором А. И. Лебедем. Вера в справедливость новой власти оказалась иллюзией, а Н. А. Клепачёв — из разряда «ванька-встанька», герой из народа и персонаж его высоконравственных сказок. Власть не любит правды, а правдолюбцы не любят её — по справедливости.

Хорошо написал А. Астраханцев о правозащитнике Н. А. Клепачёве. Уравновесив спорное общественное мнение о нём, автор поставил его в число свободолюбивых сибиряков-красноярцев.

В книге «Портреты. Красноярск, XX век» есть ещё и приложения: стихи В. Капелько, А. Алексашина, А. Ферапонтова, прозаические миниатюры Г. Игнатьева и два дополнительных очерка самого А. Астраханцева. Литературные достоинства этих сочинений не вызывают сомнений и обогащают характеристики незаурядных личностей в воспоминаниях А. Астраханцева.

С полным литературным основанием и в духе «исторической правды» о второй половине XX века «Портреты» Александра Астраханцева следует отнести к числу заметных (и пока редких) художественных произведений. Он сочетает в себе писательское мастерство с актуальной публицистикой «о времени и о себе», с мемуарной традицией, не исключающей приемлемой субъективности, с исследовательским эстетическим проникновением в «дух и букву» литературного и живописного творчества, в психологию лиц (персон) разных профессий и разного поведения. Язык, стиль изложения отражают имеющееся в писателе наследие от образования и профессии строителя в начальный, трудовой период его жизни. Архитектурная стройность и строгость языка, отсутствие сентиментальности, «интеллигентского масла» и «зауми» в очерках послужили тому, что книга писателя встаёт в ряд «художественно-документальных», отразивших идеи, вкус и цвет советской эпохи, ценность которой не сводится к «мифам коммунизма» и «социалистического реализма». В предисловии к «Портретам» писатель отмечает: «Несмотря на постоянные трудности того времени, люди жили пусть не всегда счастливой, а иногда и вовсе драматической, но — полнокровной и насыщенной событиями жизнью». И это наша российская правда! И за это писателю А. Астраханцеву большое общественное спасибо.

Виктор Куллэ

Не с теми, кто в теме…

● ● ●

Бросив вызов Творцу, быть собой устаёшь,
ибо люди — лишь твой матерьял.
Храм, что ты сотворил, ни на что не похож.
Но кураж состязанья пропал.

Сколько хочешь башкою о стенку стучи,
но в итоге влюбляешься сам
в эти души, калёные, как кирпичи,
из которых воздвигнется храм.

● ● ●

Промёрзший тамбур, изморозь на стёклах,
попутчик жизнерадостно дымит.
При долгом пребывании с людьми
в одном объёме — устаёшь настолько,

что радует казённая постель,
и ты в оцепенении стеклянном
всерьёз интересуешься стоп-краном,
не помня, есть ли у поездки цель.

● ● ●

Пусть критики тратят бесценное время
на спор: кто продвинутей в форме,
кто — в теме.

Поэт же в любом приключившемся споре
не с теми, кто в теме —
а с теми, кто в горе.

● ● ●

Покидают птицы тебя, страна.
Улетают в зенит.
Перетянутая струна
в опустевшем небе звенит.

После переходит в басовый хрип,
превращается в белый шум.
Голосами тех, кто в небе погиб,
не согреться тебе. Лишь ум

продолжает метаться и тщетно врать,
вороватый выход ища
в том, что самозваных поэтов рать
что-то вымучит сообща.

● ● ●

Кто из считающих лекарством смех,
из ржущих в нашем пошлом шапито,
из скептиков, агностиков, из всех,
из самых ярых атеистов кто

хотя бы раз не представлял визит
в мир мёртвых, скрытый где-то за стеной?
Чуть приоткрыл — и в щёлочку сквозит,
как будто кличет голос неземной.

Прослушайте же мой простой прикол
с печальным выражением лица.
Здесь дверцу не захлопнешь. Здесь прокол.
Он будет расширяться. До конца.

Несебр

Д. Н.

Город у моря: чайки, колокола.
Гогот матросов на тему «дала / не дала».
Жареной рыбы — только что из воды —
запахи. Как хорошо было быть молодым!

Вроде бы всё понарошку, вроде бы нам
и невдомёк, что время уже ням-ням
оптом и в розницу всех нас, таких дурных.
Чайки плачут о чём-то, но впрямь не до них.

Колоколов перекличка вторит волнам.
Похороны или свадьба? — пожалуй, нам
по барабану: жизнь ещё без конца.
Мы за спиной у матери и отца.

Комплексов нетути, и рефлексий нема.
Здесь ведь такое дело: сойти с ума
можно потом, особо в блокнот строча.
Речь холодна покамест. Жизнь горяча.

Всё, как всегда, окажется наоборот.
Речи горячий песок засыпает рот
в Обетованной, где даже камни седы.
Небо зияет отсутствием той звезды.

Речь горячей с годами, да сам остыл.
Мёртвым молчать, а живым — сколько хватит сил —
чайкой кричать, в бесполезный колокол бить,
вечно страшась предстоящего «может быть».

● ● ●

Глаза сияют, хвост трубой,
сарказм неизлечим.
Скажи мне просто: что с тобой?
А впрочем, помолчим.

Пусть всё как в зеркале кривом
теперь — но ты же не
поймёшь: прощаться с волшебством
пристойней в тишине.

● ● ●

Это ну уж никак не спорт,
и тем более — не игра.
Механизм до смешного прост
и сперва пойдёт на ура.

А потом отступает спесь —
присмиревший перед письмом
насовсем одинок. Как песнь.
Только сверху ревнивый присмотр.

Станешь страшен, станешь смешон.
Но за то, что в чаду острот
не смошенничал, — твой стишок
это тело перерастёт.

● ● ●

Со временем каждый заплатит
за то, что он в жизни любил.
Боюсь, капитала не хватит —
скупец ничего не скопил.

При нынешней жизни нелепо,
когда легковесна мошна.
Откуда при взгляде на небо
такая тоска и вина?

● ● ●

Опять вы про любовь и кровь?..
Нет выше идеала,
чем рядом их поставить вновь,
чтоб рифма заиграла.

Пернатый парный звук лови —
и не уйдёт сноровка.
В основу принципа любви
положена рифмовка.

● ● ●

В покойном Советском Союзе
нам нравилось ползать на пузе.
Пусть недоставало отваги —
зато было вдосталь бумаги.

А нынче мы сказочно прытки,
продвинуты в смысле потех.
Отваги хватает в избытке.
Бумаги не хватит на всех.

Золотой Век

Насильничали, резали
и лгали — но зато
мы беспрестанно грезили
о Веке Золотом.

Знать, на земле Утопию
не сотворить без скотства.
Господь простит подобию
с оригиналом сходство.

Сергей Тенятников

Я был за горизонтом

Стихи о Святой Земле

Каро

I.

круг, квадрат, угол места. дверь
отличается от двери лишь вы—и
входящими в неё людьми или зверьми.
в киоске под покосившейся вывеской «tabakoff»
предлагается набор для смертного террориста:
гильзы, порох, зажигательные
коктейли и далее по прайс-листу.
из-под прилавка оседлый монголо-татар
торгует массовым оружием,
меняет ядерные грибы и нервный яд
на орлов, закованных в клетки монет.
толпа, бесцветная, словно воздух,
штурмует банки, магазины, поездааа,
стены, башенки, арки, крыши, не—и
жилые дома. архитектурное разно—и
безобразие. очередная антитеррористическая
операция заканчивается массовым дтп.
тучи накрывают страну, т.ч. её не видно
на политической карте лесов и полей.
самолёт приземляется в иностранном гнезде
аэропорта. пассажиры, словно кукушата,
вылупляются из алюминиевого яйца и
не просят от стюардессы любви.

II.

время раскатано тонким слоем, словно пицца,
помещённая в пространство печи.
в этом сиамском мире,
где только мыло не боится грязных рук,
где дверь вспоминает себя при повороте ключа,
где душа прячется под зонтом от дождя.
рыба, хлебнувшая моря, уже никогда
не выйдет динозавром на маслянистую сушу.
в рыбьем аду нет огня и сетей,
в рыбьем аду нет воздуха и кораблей.
черти красные, зелёные, синие шипят
на рыбу: *schön!*
рыба дышит в окно аквариума,
стекло не запотевает.

III.

толпа слепа, как фемида, и потому права.
исламское время года кончается,
осыпается мозаика деревьев.
каллиграфия воды. словно автомобильный
дворник перелистывает страницы
священного писания. на алюминиевом небе
кружится журавлиная стрелка компаса.
так птицы летят на юг, мухи на север.
так палец, набирая номер, замирает над о-ём,
будто боясь причинить боль абоненту.
так любовь не нуждается в памятнике,
в отличие от ненависти.

IV.

после нас не потоп, а морская слеза
пресмыкающегося. средневековье пейзажа
не раздражает глаз, впрочем, радует ещё
меньше. мама, заплётшая в косу днк,
оставила нам в наследство детский страх
вечности. голос выдирает из мяса слова,
ушные раковины поют о невидимом океане
над горизонтом, о том, что всякая боль—
запёкшаяся точка в янтаре ногтя. жизнь есть
вычитание предмета из самого себя,
удлинение
тени за счёт тела. быть со временем на ты
оказывается сложнее, чем сказать: пошёл на.

V.

мозг опять не успел созреть за лето.
я думаю, значит… этот мир ещё существует.
пьяный, как упавшая обезьяна, греется
в свете фонаря. асфальт чернеет от осадков.
святая земля не та, где донор пролил
свою кровь—не за семью или родину, а за
незнакомца в джинсовой куртке, две тысячи
лет назад, где солдаты кричат: ка-ла-ша,
где царствует демократ, как башенный кран
над домами.
святая земля уплывает из-под ног,
космонавт дышит в окно,
стекло не запотевает.

Меланхолия

кораблик утонул.
самолётик разбился.
ветер говорит всуе.
вечная память тем,
кто дошёл до луны и
вернулся обратно.
я был за горизонтом—
в берлине. я видел её.
голова нефертити
не спасла мир от
египетских казней.
и меня учили, что
коммунизм сильнее,
что демократия лучше,
чем…

пустота. осень. месяцы
становятся длиннее.
мысль так тяжела, что её
не должно было быть
ни в одном из трёх миров.
но, проживая в первом из,
я не стал ни лучше, ни хуже, чем…
герой—не я, современник
потенциального терроризма,
постмодернизма, вуайеризма и…
(уж мне бы заткнуться
чем говорить политкорректности.)
частица света летит
быстрее, чем пуля,
несмотря на законы военного времени.

Александрия

воздух заполняет всё,
глотку полководца и сердце
летописца в равной мере.
куда ни взгляни, проявляются памятники
архитектуры, или, проще говоря,
фоссилии бедных эпох.
но когда танк из достопримечательности
превращается в средство передвижения,
тут уже не до античности.
ночь приходит, видишь такое,
что и днём не приснится—или
с возрастом слов становится меньше,
или вправду боги рассудок постепенно отнимают.
когда мы станем ретро, скорее всего,
над нашими наркотиками
будут смеяться даже дети,
так как у каждой вещи есть
не столько обратная сторона,
сколько последствия.
что там горит на восточном побережье?..
александрийский маяк или, быть может,
библиотека?

Варвара Юшманова

Оберег

улов

в рыбьих глазах русалок густые дали,
плакательные соли и корабли.
у моряка на мостике две медали.
греют его признание и шабли.

время и соль потёрли его, поели.
но, свой рассудок опытом подперев,
он бесподобен в море или в постели,
в покере, а в сражениях просто лев.

слава о нём несётся в раскате грома,
тянутся сказы длинные, словно нить.
каждой русалке имя его знакомо,
каждая жаждет к себе его заманить.

путают волосы, ветры, сгоняют тучи,
поодиночке колдуют и заодно,
тащат в свои пучины корабль летучий,
но лишь матросики прыгают к ним на дно.

зов сладострастный тонет в промозглой бездне,
но равнодушен взгляд моряка и прост.
есть посильнее чары, чем эти песни.
холоден и беспомощен рыбий хвост.

нет в нём коленок, чашечек и вначале
розовой кожи бёдер, прямых углов.
женщина длинноногая на причале—
самый желанный и самый земной улов.

Снимок

я постригла волосы коротко,
и в противоположном окне вагона
я похожа на моего молодого отца
с фотографии тысяча девятьсот восемьдесят первого.
он тогда был моложе, чем я сейчас,
и счастливее.
рядом с ним не сидела в трясущемся поезде девушка,
в голове которой играют хаотично барабаны;
не стоял рядом с ним мужик,
чихающий в свой смартфон.
в руках моего отца был шлем танкиста,
рядом на корточках товарищ,
и сзади высокая трава.

Молчание

Иные собеседники пусты:
Для них сознанье—голые кусты,
Их сновиденья сухи и помяты.

А мне в окне погнутая луна
Являет вдруг купание слона
И ветер, полный хризантем и мяты.

Не поделиться с ними вздохом вод
И поцелуем жгучим, словно йод,
Укусом чайника, вскипевшего от злости,

Своей печалью, свёрнутой в клубок,
Слезами крыш, распутностью дорог
И тиканьем, как будто жизнь идёт со стуком трости.

Молчит земля, дождем иссечена,
И солнце цвета лёгкого вина
Разочарованно глядится в лужу.

Молчит вода, обнявши южный склон,
И, в ней застигнутый, молчит мой слон,
И я молчу, не в силах показать слепому душу.

● ● ●

На Земле нет места тебе.
Купола, отражая небо
Цветом поля, полного хлеба,
Перешёптываются в синеве.
На Земле нет места тебе.
В потемневшей ночной листве
Фиолетовые трещины дуба
Дышат в чащу лесную грубо,
Отдавая свой вдох траве.
На Земле нет места тебе.
Одинокие тихие крыши
Соревнуются: кто же выше?—
Улыбаясь самим себе.
Волны с ветром в своей борьбе
Беспокойно целуют сушу,
Но в твоих глазах злая стужа,
Ты отдал всё тепло судьбе,
И теперь ты заложишь душу.
На Земле нет места тебе.

Снова кажется, будто жизнь бьёт тебя под дых:
Мол, влюбляешься в примитивных и молодых.
А тебе б такую, чтоб как глоток воды,
Чтобы без возврата.

Но судьба твоя не решена пока.
Ты идёшь в приют унылого кабака
И берёшь глоток любимого коньяка
И разврата.

Ночь длинна. Ты расслаблен, и где-то в два
Ты встаёшь, держась на ногах едва,
И идёшь: дорога твоя крива,
А судьба превратна.

Силуэт рождается впереди.
Он повсюду сразу—не обойти.
Словно чёрт стоит на твоём пути,
И нельзя обратно.

Ты храбришься, даже как будто зол,
Поднимаешь руку, кричишь: «Пошёл!»
Но внезапно чувствуешь злой укол
И немного холод.

Вой. Мигалка. Белые потолки.
Сон и смерть. Электрические толчки.
Ночь. Палата. Грязные мужики.
Пульс—как молот.

Да, озноб будет бить тебя, словно плеть.
Новой крови в тело вольют на треть,
Но она будет в жилах кипеть и петь
Так влюблённо.

Утром солнце тронет твою постель—
Уже летнее, даже за пять недель.
Как всегда, послышится скрип петель,
И войдёт Алёна.

Шаг спокойно-смелый. Халат—как снег.
На груди таинственный оберег,
И она, в отличие от коллег,
Смотрит нежно.

Льёт в стакан из чайника кипяток.
Ты всё видишь: вот же он, мой глоток!..
И тонометр, твой измеряя ток,
Врёт, конечно.

К лету раны бледнеют и не болят,
Солнце жжётся, пенятся тополя,
Мягким пухом окутана вся земля
И больница.

В это место заходят и смерть, и боль.
Может выбрать жизнь поворот любой.
Но тебе уготовано здесь судьбой
Исцелиться.

Алтайская принцесса[1]

Ты спишь. Молчит земля Укока,
Храня тебя от суеты.
Под слоем каменной воды
Ты холодна и одинока,

В нежнейшем шёлке и в тоске.
Заклятья на твоей руке

Плечо венчают и запястье.
На что способна эта вязь?
Быть может, символы, роясь,
Хранят твоё былое счастье,

А может, смерть, а может, крах,
И вечный хлад, и вечный страх.

Поднять тебя, оставить ложе
Без сердцевины, без зерна
Решился кто-то. Ты верна
Своей земле осталась всё же:

Темна она или чиста—
Молчат, молчат твои уста.

Могильщик вынул равнодушно
И ум, и сердце. Злой обряд.
Прибрал последний твой наряд,
Простился так, как было нужно.

Спустя века, ослабив твердь,
Тебя назад отпустит смерть.

Твой дух, качнувший плоскогорье,
Неужто чёрен?! Что тогда?
Прольётся мёртвая вода,
И будет мрак, и будет горе?..

Но ты молчишь. Ни вздох, ни стон.
Скажи, скажи, о чём твой сон?

1. Алтайская принцесса (принцесса Укока)—мумия женщины, найденная в ходе раскопок новосибирскими учёными на территории плоскогорья Укок (Республика Алтай) в 1993 году. Одно из самых важных открытий археологии XX века. В гробу из цельного куска дерева, засыпанная колотым льдом, находилась женщина, умершая примерно в 25-летнем возрасте. Сегодня ей 2,5 тысячи лет.

Александр Орлов

Нескучный сад

● ● ●

Надежды на тебя я возлагал,
Ты становилась ближе и родней.
Заснул вдали Хамовнический вал,
В ночи сияют маковки церквей,

До Новодевичьего нужно мне дойти…
Окутан лунной дымкой монастырь.
Но только ты, пожалуйста, учти:
Я исходил задумчивую ширь,

Тебя искал, сомненьям вопреки,
Тебя затворник Илий мне предрёк.
Ведь где-то в ломких линиях руки
Я вечно счастлив, я не одинок.

Нескучный сад

Упиться изгойством так хочется мне,
Уйти ото всех, восседать на скамье,
Там, в дебрях ветвистого парка,
Где бродит печально овчарка,
Где солнца наряд—золотая парча,
Где ветер шумит языком толмача,
Где сладостным запахом душит имбирь,
Где сердце псалмами поёт мне псалтырь,
Где тёмная ночь—прозорливый чернец,
Где тайны скрывает Нескучный дворец.

● ● ●

Мгновенья, что извечно виноваты,
Растерзаны, как персы или джаты.
И в дымке серебристые бугры
Сверкают, как сокровища Агры.

И вьюга в омертвелой пегой шкуре
Расскажет о моголах и Бабуре,
И тень косая на тропе лежит,
Как воин кареглазый—тимурид.

Луна читает, сидя на сосне,
«Бабур-наме» и тянется ко мне.
И с ней восстал поэт и падишах
В Нескучном парке,
в сахарных песках.

Московский кочевник

Четвёртый десяток давно мне пошёл,
Бежит моё время, хоть плачь, хоть кричи.
По маме на четверть я хитрый могол,
По крови я родственник хана Джучи.

Киргизы, башкиры не платят оброк,
Оставлено царство, не снится Байкал,
И только в душе моей—древний Восток,
На тысячу лет я, увы, опоздал.

Я так же, как пращур, кочую в ночи,
На Ленинском мой коммуналый улус,
И племя моё—это вы, москвичи,
Наш прежний родитель—Советский Союз.

Корыстных наложниц распущен гарем.
Пощусь, причащаюсь, стал крёстным отцом.
Конину и сало я с радостью ем,
Пью чай из пиа́лы, люблю с чабрецом.

Из белого волка пошит малахай,
Люблю многолюдный весенний Арбат.
Столица—навеки мой избранный рай,
В Москве обитает степной азиат.

● ● ●

Размашисто, смело и щедро
Касанием пряного ветра
Прошёл за июнем июль.
И в зеркале вод Иссык-Куль—
Матфея священные мощи
И взгляд Тамерлана солощий,
Минувшего смолкшее эхо,
Вселенская свежая веха,
Подводного мира раскопки
И день утопающий робкий,
Соломенный отблеск луча,
Проезжая грусть москвича,
Прощанье суннита-киргиза,
Открытая к Господу виза,
Гора, у которой всех ждёт
Задумчивых туч хоровод.

* * *

Запах осени влажен и едок
От горящей листвы и дождей,
И попросит она напоследок:
«Ты меня не бросай, пожалей».

Я тебя не бросал и не брошу,
Круглый год на душе листопад,
И небесно-сермяжную ношу
Рваных туч я таскать только рад,

Я с тобой распрощаться не вправе,
Я всем сердцем тебя полюбил.
Век застыл на Калужской заставе
В серой дымке небесных кадил.

* * *

Вот солнца вечернего сколы
Пронзают червлёную тьму,
В закате скрывается холод,
И день превратился в золу.

Я чувствую скорость эпохи,
Живу в круговом полусне,
Ищу в кольцевой суматохе,
В дремучей людской толкотне.

И в жадной циничной рутине,
В боязни вселенской нашёл
Утром в ольховой лощине
Солнца вечернего скол.

Валентин Берестов

Круговая порука

* * *

В извечной смене поколений судьбой гордиться мы должны.
Мы—современники сражений дотоль неслыханной войны.
И хоть удел наш—боль разлуки, хоть нами кинут край родной,
Хотя гнетут нас бремя скуки и серость жизни тыловой,
Хоть больно в лицах измождённых найти глубокие следы
Голодных дней, ночей бессонных, забот вседневных и нужды,
Хоть тяжело однообразье железных дней перенести
И возмущаемся мы грязью, повсюду вставшей на пути:
Тем духом мелкого расчёта, трусливой жаждой барыша,
Когда под маской патриота скрывают рыло торгаша,
Когда на складах, в ресторане вор верховодит над вором
И в государственном кармане свободно шарит, как в своём,
Когда с досадой, даже злобой пришедших с просьбою помочь
Администратор твердолобый привычным жестом гонит прочь,
Когда, себе готовя смену, калечат матери детей
Привычкой к торгу, и обмену, и суете очередей,—
Хоть нас гнетёт необходимость, но всё мы вынести должны.
Пора понять неповторимость, величье грозное войны.
Неповторимы наши муки, и испытанья, и нужда.
И, вспоминая, скажут внуки: «Зачем не жили мы тогда?»
А мы пройдём, хоть путь наш труден, терпя, страдая и борясь,
Сквозь серый дождь тоскливых буден, сквозь голод, холод, скорбь и грязь.

* * *

Круговая порука берёз,
И пронзительный отблеск небес,
И нависший под тяжестью гнёзд
Лиловатый, отчётливый лес.

Елена Тимченко

С детьми согласна!

Записки учителя информатики

В наше время дети приходят в школу уже умелыми пользователями компьютеров и других электронных гаджетов. А в нулевых (2000-х) годах было не совсем понятно, чему и как учить первоклассников на уроках информатики. Да и компьютеры не у всех дома были. В это чудное время мне пришлось немного поработать учителем информатики в начальной школе. Я хочу поделиться с читателями записками тех времён и тёплым чувством, которое вызывают у меня дети благословенного начального школьного возраста.

один мальчик, одна девочка

Дети отвечают на вопрос: «Что такое информатика, как вы думаете?»

Одна юная леди ответила: «Вот если очень хорошо знаешь компьютер, то можно даже бухгалтером стать». И округлила глаза.

Один очень умненький мальчик выразился так: «Информатика — это весь электронный мир». Ну очень поэтично.

Один пухлый круглолицый мальчик весь урок горестно вздыхал и пыхтел: «Ох, нет, мне, наверное, не купят такие учебники, точно не купят, наверняка не купят». — «Нет, ну почему ты, Коля, такой пессимист?» — «Да вокруг нас магазинов нет». — «А ты что, в тундре живёшь или всё-таки в городе?» Смешной какой.

добрые дети

Сегодня на обед в школьной столовой подавали рыбный суп. Все дети на уроке дружно «благоухали» рыбой. Сидели красные, взъерошенные, набегавшиеся — видела в окно, как они играли в снежки во дворе. Я случайно коснулась мальчика своей ледяной рукой (в моём классе ужасно холодно), и он вздрогнул. Смущённо стала оправдываться, что вот, мол, у меня руки холодные, так как в классе холодно. И тут они все потянули ко мне свои тёплые ладошки, чтобы согреть мои руки. Это было трогательно до слёз.

умные дети

Вчера второклассники раскололи как орех предложенную им для обсуждения китайскую мудрость: «Даже поход в тысячу миль начинается с первого шага».

Я попросила их приложить её к нашей ситуации (приступаем к изучению информатики). Что только я не услышала! И «от простого к сложному», и о развитии, и что сложные вещи знать будем, а простые упустим…

техника безопасности

Первоклассники. Администрация велела мне провести с детьми инструктаж по технике безопасности, и чтобы в специальной тетрадочке дети расписались напротив своей фамилии. А они ведь писать-то ещё как следуют не умеют! Один мальчонка мелкий, в очочках — вылитый Гарри Поттер, — подходит и мне на ушко шепчет: «Е. В., я букву «ч» писать не умею». Его фамилия Павлучев. А мальчик по фамилии Кузнецов расписался: «Кузнецоф». Водка «Смирнофф», сигареты «Давыдофф»…

мышка

В мышку вцепляются насмерть, не оторвёшь. Надо что-нибудь показать — не отколупнёшь их от этой мышки.

аноним

Сегодня баловались на компьютере с программкой «WinPopup». Учились отправлять сообщения по сети. С ужасными ошибками дети отправляют следующие послания:

Я хочу стабой дружить.

Ты мой гирой.

Е. В. я вас люблю и хочу с вами дружить.

Е. В., Я очень рат что вы меня…

…наверное, учите. Просто сообщение так резко прерывается: видимо, ребёнка сдуло ветром, или он улетел на воздушном шарике. Или вдруг налетел ураган, или прозвенел звонок.

это бывает у…

Игра «Это бывает у…». Я называю предмет — например, иголки, — а дети должны предложить свою версию, у кого или у чего такое бывает. В основном дети говорят всё одно и то же: ёж, ёлка и т. п. Лишь один мальчик, Данила, предложил оригинальное: роза и шприц.

об оценках

Детей беспрерывно оценивают. Выжить в таком оценочном поле им помогает философский взгляд на вещи. Один мальчишка, Рустам, хорошо работал на уроке. Я велела ему принести дневник, чтобы поставить «пять». Смотрю, а в дневнике одни трояки. «Что ж ты, — говорю, — так? Тройки одни!» А он мне отвечает: «Да что-то не везёт никак».

«конурка»

Облагораживаю свою «каморку папы Карло» — лаборантскую. Здесь у меня на железной двери висит рисунок, на котором изображён очаг с кипящей похлёбкой. Один мальчуган признался мне, что ему так нравится моя «конурка», что он с удовольствием бы в ней жил.

об ученической любви

Удостоилась поцелуя одного беззубого первоклассника. Ребёнок, видимо, был настолько доволен уроком информатики, так преисполнен чувством благодарности… «Е. В., нагнитесь, я вам что-то на ушко скажу», — и чмок меня в щёку.

о дисциплине

Намедни так заорала на учеников, которые баловались ужасно, что из глаз золотые искры посыпались. Пообещала им, что если будут так баловаться — уйду в монастырь.

Ученик Сева так энергично прыгал в конце урока, что в результате с него свалились штаны (видимо, резинка была слабая). Всем было радостно.

без тебя

Ученик приходит после болезни на урок. «Я гриппом болел. Как вы тут без меня?» — «Плохо, дружок, невыносимо скучно без тебя», — отвечаю.

о нагрузке на детские организмы

В прошлом году ко мне первоклассники ходили по пятницам во второй половине дня, да ещё и в четыре часа. Самый-самый конец учебной недели. С одним учеником у меня сложился ритуал. Он подходил и задавал один и тот же вопрос: «Е. В., а сегодня пятница?» — «Пятница, Миша», — отвечаю. «А завтра выходной?» — «Выходной, Миша».

Миша удовлетворённо вздыхал и шёл играть в свою рыбку Фредди. Рука не поднималась чем-то их грузить; извините, но мы — да, играли.

«поправдешный» омоновец

Сегодня произошло забавное событие, которое внесло приятное разнообразие в нашу скучную жизнь: посреди урока сработала сигнализация, и приехала охрана. Нас попросили выйти из класса, с тем чтобы проверить датчики движения. Второклассники окружили огромного улыбчивого омоновца и… всего исщупали. Потрогали бронежилет, резиновую дубинку, наручники, повисели на нём гроздьями. Классно!

профилактика компьютерной зависимости

Еле отбилась от детей, которым подавай компьютерные игры, да покруче. Не хотят учиться. Играть — и всё тут. Задаю вопрос: «Полезно ли для ребёнка кушать только сладкое?»

«Ещё как! Классно! Здорово!» — и тому подобное.

Наконец слышу один здравый ответ: «Зубы выпадут, однако».

«Вот-вот, — цепляюсь я за этот аргумент. — Поэтому на первое блюдо для вас я приготовила алгоритм с циклом и ветвлением, на второе — совместную работу программ «Блокнот» и «Калькулятор», на десерт нарисуйте в «Paint»’е… морковку. Очень полезный продукт. И никаких возражений. Когда вождь говорит, индейцы молчат».

курица с яйцом

Во втором классе. На рисунке — яйцо, цыплёнок и курица. Расставить последовательность событий.

Большинство решило так: яйцо — цыплёнок — курица. А откуда взялось яйцо? Курица снесла. Значит, получается, сначала курица — яйцо — цыплёнок. Так как же правильно? Начинается жуткий ор, каждый отстаивает свою позицию. Откуда же всё-таки взялась самая первая курица, которая снесла яйцо, ведь яйцо без участия курицы не возникнет.

Наконец одна малышка сказала, что эту курицу Бог создал.

из сочинений

«Я хочу быть учителем по информатике, и очень сильно».

«Если бы я был учителем по информатике, я бы знал всё о компьютерах и обо всей технике».

«Я бы был добрым учителем. Я бы хорошо научил их информатике».

«Информатика очень трудный предмет, но интересный. Развивает ум детей, расширяет кругозор».

«Компьютер развивает внутренние способности. Чтобы хорошо работать на компьютере, надо знать хорошо английский язык».

«Это занятие развивает ум и энергию».

И я с детьми согласна. ◡̈

стр. 177
Аверьянов Борис Михайлович
Железногорск, 1966 г. р.

Выпускник Красноярского медицинского института. С 1990 года работает врачом в Клинической больнице № 51 города Железногорска. Стихи пишет с 1996 года.

стр. 49
Астраханцев Александр Иванович
Красноярск, 1938 г. р.

Родился в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Более двадцати лет работал в строительстве в Красноярске. Публиковался в различных журналах и сборниках («Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра» и др.). Автор девяти книг прозы. Последние книги — «Антимужчина» (Москва, «Голос-пресс», 2011), «Портреты. Красноярск, XX век» (Красноярск, «КАСС», 2011). Член Союза российских писателей. Председатель правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ. Зам. главного редактора журнала «День и ночь».

стр. 160
Ахпашева Наталья Марковна
Абакан, 1960 г. р.

Родилась в хакасском селе Аскиз. Окончила Абаканский филиал Красноярского политехнического института, Литературный институт им. А. М. Горького. Кандидат филологических наук. Работает в Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова (г. Абакан). Член Союза писателей России. Выпустила более тридцати стихотворных публикаций в сборниках и периодических изданиях, выходивших в Москве, Кемерово, Новосибирске, Красноярске, Томске, Барнауле, Кызыле, Абакане. Автор пяти поэтических книг: «Я думаю о тебе», «Солярный круг», «Тысячелетье на исходе», «Кварта», «Из памяти древней». В переводе автора дважды издавалось сказание хакасского поэта Моисея Баинова «Хан-Тонис на тёмно-сивом коне». Дипломант I международного конкурса переводов тюркской поэзии «Ак торна» (Уфа, 2011). Награждена почётным званием «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия», медалью Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса», орденом Совета старейшин хакасского народа «За благие дела».

стр. 101
Валеев Марат Хасанович
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в г. Краснотурьинске Свердловской области. Рос и учился в с. Пятерыжск на Иртыше, в целинном Казахстане, куда попал вместе с родителями ещё в дошкольном возрасте. Окончил школу, после работал бетонщиком на заводе ЖБИ, призвался в СА. Служил в стройбате (1969–1971), строил военные объекты в Пермской, Костромской, Саратовской областях. Вернулся в Казахстан, работал сварщиком в тракторной бригаде. В профессиональной журналистике с 1972 года. Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). Окончил факультет журналистики КазГУ (Алма-Ата). В 1989 году приглашён в газету «Советская Эвенкия» на севере Красноярского края. Сейчас — редактор этой газеты, но под другим названием — «Эвенкийская жизнь». Опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Член Союза российских писателей, автор нескольких сборников.

стр. 117
Вершинский Анатолий Николаевич
Раменское, 1953 г. р.

Родился в селе Семёновка Уярского района Красноярского края, в семье учителя. Окончил с отличием два института: Красноярский политехнический и Литературный имени А. М. Горького. Работал в научно-исследовательской лаборатории, в газете, служил в Советской Армии. Более тридцати лет занимается журналистской и издательской деятельностью, награждён дипломом знака отличия «Золотой фонд прессы». Член Союза писателей с 1985 года. Автор шести поэтических сборников, драмы в стихах «Восточный вопрос», книги исторических очерков «Русская Александрия. Средневековая Русь и Александр Невский». Дипломант конкурса «Лучшая книга 2008–2010».

стр. 46
Гуляева Ольга
Красноярск

Победитель красноярского регионального конкурса «Король поэтов». Автор книги стихов «Бабья песня». Публикуется в Сети — на порталах «Стихи.ру» и «Проза.ру».

Есин Сергей Николаевич

стр. 66

Москва, 1935 г. р.

Родился в Москве. В 1960 году окончил филологический факультет МГУ. Работал библиотекарем, фотографом, журналистом, лесником, артистом, главным редактором журнала «Кругозор». Первая крупная публикация — повесть «Живём только два раза» (1969), напечатанная под псевдонимом «С. Зинин» в журнале «Волга». Член СП СССР с 1979 года. В 1981 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС, и в том же году уволился с должности главного редактора литературных вещаний Всесоюзного радио, чтобы полностью посвятить себя литературному труду. С 1987 года преподаватель, в 1992–2006 годах также ректор Литературного института. Член правления (с 1994), секретарь (с 1999) Союза писателей России. Вице-президент Академии российской словесности. Заслуженный деятель искусств РФ. Почётный работник высшего образования РФ. Лауреат Международной премии им. М. А. Шолохова в области литературы и искусства.

Замышляев Владимир Иванович

стр. 178

Красноярск, 1938 г. р.

Родился в Петрозаводске. Детство провёл в Сусанинском районе Костромской области. По окончании средней школы работал на заводе, служил в армии. Окончил Ленинградский институт культуры. По окончании института приехал в Красноярск. Работал директором краевого Дома народного творчества, в краевом управлении культуры, в краевом Совете профсоюзов. В 1978–1983 годах работал директором Красноярского кн. изд-ва и зам. гл. редактора журнала «Енисей». Окончил Академию общественных наук (Москва). Кандидат философских наук. После академии находился на партийной работе, преподавал в Красноярском институте искусств. С 1991 года — в Сибирском аэрокосмическом университете им. М. Ф. Решетнёва. Автор четырёх поэтических сборников, публицистических книг «Философия выбора» и «Енисей — река свободы», соавтор более двадцати коллективных сборников, альманахов поэзии и книг публицистики. Печатался в журналах «Енисей», «Звезда», «День и ночь», «Книжное обозрение» и др. Профессор СибГАУ, заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей и Союза журналистов России, член-корр. Академии гуманитарных наук (СПб).

Кудимова Марина Владимировна

стр. 63

Москва, 1953 г. р.

Русский поэт, писатель, переводчик, публицист, общественный деятель. Родилась в Тамбове. Окончила филологический факультет Тамбовского государственного педагогического института. Первые публикации появились в 1969 году в молодёжной газете «Комсомольское знамя». Первая книга стихов, «Перечень причин», вышла в Москве в 1982 году; за ней последовали: «Чуть что», «Область», «Арысь-поле» и др. В 1990-е годы печаталась в журналах и альманахах «Апрель», «Волга», «Столица», «Континент», «Новый мир», «Знамя». Переводит поэтов Грузии и народов России. Лауреат премии им. В. Маяковского Совета министров Грузинской ССР, журналов «Новый мир», «Дети Ра», премии Союза журналистов России. Член Союза российских писателей. Член Русского ПЕН-центра. Произведения переведены на английский, грузинский, датский языки. С 2001 года председатель жюри проекта «Илья-Премия». В 2010 году за интеллектуальную эссеистику, посвящённую острым литературно-эстетическим и социальным проблемам, была удостоена премии Антона Дельвига. В настоящее время работает в еженедельнике «Литературная газета». В 2011 году, после более чем двадцатилетнего перерыва, выпустила книгу стихотворений «Черёд» и книгу малых поэм «Целый Божий день».

Куллэ Виктор Альфредович

стр. 185

Москва, 1962 г. р.

Поэт, литературовед, переводчик, сценарист. Родился в г. Кирово-Чепецк Кировской области, в семье врачей. Учился в Ленинградском институте точной механики и оптики, в 1991 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького, в нём же — аспирантуру. Кандидат филологических наук. Работал слесарем, лаборантом, зав. отделом изд-ва «Миф», гл. ред. изд-ва «Летний сад», референтом ИЧП «Ибрис», гл. ред. журнала «Литературное обозрение». Составитель сборника выпускников и студентов Литературного института «Латинский квартал» (1991), антологии «Филологическая школа» (2006). Выступил редактором-составителем сборника Иосифа Бродского «Бог сохраняет всё» (1992), комментатором «Сочинений Иосифа Бродского» в восьми томах (1996–2002). Публиковал переводы поэзии Т. Венцловы, Д. Уолкотта, Ш. Хини и др. Стихи автора переводились на английский и болгарский языки. Автор книг стихов «Палимпсест» (2001) и «Всё всерьёз» (2011). Постоянный автор журналов «Новый мир», «Звезда» и др. Создатель программ и сценариев для телеканалов «Культура» и «Первый канал». Член СП Москвы.

Ленчик Лев Ефимович

стр. 55

Чикаго, США, 1937 г. р.

Родился в Одессе. Окончил филологический факультет Саратовского университета в 1964 году. Ученик Юрия Лотмана и Зары Минц. Работал школьным учителем в деревне, журналистом в провинциальной газете, преподавателем литературы в désинститутах СССР, литконсультантом

в ТЮЗе. В 1980 году эмигрировал в США, где преподавал в Иллинойском университете, работал программистом в различных американских фирмах. Первая публикация — повесть «Трамвай мой — поле» — в журнале А. Синявского и М. Розановой «Синтаксис». Публиковался в «Антологии русской поэзии XX века», в журналах «Волга», «Слово\Word», «Новый журнал», «Встречи», «Контур», в альманахе «Побережье», в газетах «Новое русское слово», «Форвертс». «Обзор», «Моя Америка», «Русский акцент» и др. Печатался также под псевдонимами «Лев Ракитин» и «Леонид Неклич». Произведения автора переведены на французский язык.

стр. 59

Медведева Ирина Бениаминовна

Москва, 1946 г. р.

Родилась в Москве. Окончила исторический факультет МГГУ им. М. А. Шолохова. С 1969 по 2003 год работала в центральных газетах: «Социалистическая индустрия», «Рабочая трибуна», «Деловой мир», «Парламентская газета» — корреспондентом, специальным корреспондентом, обозревателем. Член Союза журналистов России. В настоящее время — редактор Центральной библиотеки №102 им. М. Ю. Лермонтова. С 2000 года — президент Фонда памяти Ильи Тюрина и учредитель Международного литературного конкурса «Илья-Премия».

стр. 34

Миронов (Лазарев) Вячеслав Николаевич

Красноярск, 1966 г. р.

Родился в г. Кемерово, в семье военнослужащего. С родителями объездил половину Советского Союза. В 1988 году окончил Кемеровское ВВКУС, в 1992-м — Высшие курсы военной контрразведки МБ РФ, в 2004-м — СибЮИ МВД РФ. В различных должностях принимал участие в некоторых вооружённых конфликтах на территории СССР и РФ. Имеет ранения, награждён орденом Мужества. Лауреат различных литературных премий. Полковник полиции в отставке. Член Союза российских писателей.

стр. 5

Мо Янь

КНР, 1955 г. р.

Настоящее имя — Гуань Мое. Родился в уезде Гаоми провинции Шаньдун. Китайский писатель, сценарист. Почётный доктор филологии Открытого университета Гонконга, приглашённый профессор Университета науки и технологий города Циндао, заместитель председателя Ассоциации писателей Китая. Лауреат Нобелевской премии по литературе (2012). С 1976 по 1997 год состоял на службе в Народно-освободительной армии Китая (НОАК), служил командиром отделения, сотрудником службы безопасности, политруком. В 1986 году окончил факультет литературы Института искусств НОАК. В 1991 году, завершив учёбу в аспирантуре Литературного института Лу Синя Пекинского педагогического университета, получил степень магистра в области литературы и искусства. Автор более десяти романов и более семидесяти коротких рассказов. За пределами Китая наиболее известен как автор повести «Красный гаолян». Творчество автора отмечено множеством высоких литературных наград Китая, в числе которых «Премия великих писателей» (1997), премия «Динцзюнь» (2003), премия Мао Дуня (2011) и др. Лауреат Нейштадтской литературной премии (США, 1998).

стр. 191

Орлов Александр Владимирович

Москва, 1975 г. р.

Родился в Москве. В 1995 году окончил ММУ №1 имени И. П. Павлова, долгое время работал по специальности «ортопед». В настоящее время оканчивает Литературный институт им. А. М. Горького, обучается в мастерской Сергея Арутюнова. Работает преподавателем истории в ГБОУ СОШ №1263. Автор стихотворной книги «Московский кочевник». Лауреат премии им. А. П. Платонова в номинации «Очерк» (2011). Публиковался в журналах: «Дети Ра», «Зинзивер», «Юность», «Переправа», в антологии военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!..» и антологии стихотворений выпускников, преподавателей и студентов Литературного института имени А. М. Горького «Поклонимся великим тем годам».

стр. 121

Переяслов Николай Владимирович

Москва, 1954 г. р.

Родился в Донбассе (Украина), работал шахтёром на донецких шахтах, геологом в Красноярском крае и Забайкалье, инструктором туризма на озере Селигер, журналистом в Тверской области, директором Самарского областного отделения Литфонда России и на других работах. Автор пятнадцати поэтических, прозаических и критико-литературоведческих книг. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Член Международной федерации журналистов, Международной ассоциации писателей и публицистов, действительный член Петровской академии наук и искусств. Секретарь Правления Союза писателей России. За участие в выездном Пленуме Союза писателей России в Чечне (2000) награждён медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества». Награждён также медалью святого Даниила Московского Русской Православной Церкви, медалью Приднестровской Молдавской Республики, наградными знаками «Честь и польза» Фонда «Меценаты столетия», медалями Георгия Жукова, Виктора Розова и другими наградами.

стр. 119

Расторгуев Андрей Петрович

Екатеринбург, 1964 г. р.

Родился в Магнитогорске. Окончил Уральский государственный университет (1986) и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (1999). Автор пяти поэтических книг и многих журнальных публикаций. Кандидат исторических наук. Лауреат Государственной премии Республики Коми, премии журнала «Урал» (2008). Председатель жюри Всероссийской литературной премии им. П. П. Бажова (2007–2010). Председатель Екатеринбургского отделения Союза писателей России.

стр. 57

Саввиных Марина Олеговна

Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике — с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), в еженедельнике «Обзор» (Чикаго), в коллективных сборниках и антологиях. Автор семи книг стихов, прозы, художественной публицистики. Первый лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева (1994). Член Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба. Член президиума Международного Союза писателей XXI века. Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Главный редактор литературного журнала «День и ночь».

стр. 157

Селезнёв Игорь Владимирович

Иркутск

Окончил филфак Иркутского педагогического университета в 1997 году. В студенческие годы печатался в литературных выпусках «Советской молодёжи». Имеет статьи о творчестве Андрея Платонова в научных сборниках Иркутского лингвистического университета (1998–2002). Преподавал в школе русский язык и литературу, что также нашло отражение в сборнике ИГПУ по методике преподавания литературы публикацией урока по творчеству Н. В. Гоголя.

стр. 158

Скобло Валерий Самуилович

Санкт-Петербург, 1947 г. р.

Окончил математико-механический факультет Ленинградского университета в 1970 году. В 1970–2007 годах работал инженером, научным сотрудником в ЦНИИ «Электроприбор». Многочисленные публикации в области прикладной математики, радиофизики, оптики. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Стихи, проза, публицистика публиковались в российских и зарубежных изданиях: «День поэзии», «Молодой Ленинград», «Нева», «Аврора», «Невский альбом», «Петербургский час пик», «Невское время» (СПб), «Арион», «Литературная газета» (Москва), «Независимая русская газета», «Колокол» (Англия), «Горизонт», «Новое русское слово», «Слово\Word» (США), «Иерусалимский журнал» (Израиль), «Крещатик» (ФРГ) и др.; в неподцензурных изданиях (1982–1983): антологии «Острова», журнале «Молчание»; стихи для детей — «Чиж и Ёж» (СПб).

стр. 187

Тенятников Сергей

Лейпциг, Германия, 1981 г. р.

Родился в Красноярске, обучался на инязе в КГПУ им. В. П. Астафьева. С 1999 году живёт в Германии. Выпускник Лейпцигского университета по специальностям «политолог», «историк», «филолог». Публиковался на русском и немецком языках в Германии.

стр. 193

Тимченко Елена Владимировна

Красноярск, 1962 г. р.

Родилась в с. Шила Сухобузимского района Красноярского края. Окончила физический факультет Красноярского государственного университета. Работала в агроуниверситете на кафедре физики в должности ассистента и младшего научного сотрудника, преподавала программирование и информационные технологии в техникуме и информатику в гимназии. Автор повести-сказки «Мерзлотка и её друзья», победившей в грантовом конкурсе «Книжное Красноярье» в 2007 году. С 2001 года стала внештатным сотрудником газеты «Городские новости», с 2004 года — главный редактор приложения «Детский район». С 2004 года ведёт в Красноярском литературном лицее творческие мастерские. Член Союза российских писателей.

стр. 155

Третьяков Анатолий Иванович

Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Минусинске. Окончил Красноярское речное училище. Служил в армии, работал судовым механиком, помощником машиниста тепловоза, литературным сотрудником в газетах. Учился на сценарном факультете ВГИКа, в Литературном институте им. А. М. Горького. Печатался во многих коллективных сборниках Москвы, Красноярска и других городов России. Автор книг стихов: «Цветы брусники», «Марьины коренья», «Птицы над водой», «День сквозь деревья», «Пора моих дождей», «Ковчег», «Галерея», «По дороге к тебе», «На ладонях моей земли», «Предзимье». Автор слов торжественной песни-гимна Красноярска и многих других песен. Лауреат Пушкинской (губернаторской) премии Красноярского края. Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России.

стр. 9 **Чагин Владимир Васильевич**
Красноярск, 1950 г. р.

Родился в Красноярском крае. Окончил отделение журналистики филфака Иркутского государственного университета. Работал в газетах, Красноярском книжном издательстве, ныне — в издательстве «Платина» (Красноярск). Печатался в газетах, журналах, сборниках. Автор-составитель книг «Красноярский библиофил» (1987), «Сто знаменитых красноярцев» (2003), «Была война… И была Победа!» (2005, Специальный приз жюри XVIII Московской международной книжной ярмарки) и др. Автор книг «Денежные знаки лагерей военнопленных и частей Чехословацкого корпуса в Сибири, Средней Азии и на Дальнем Востоке» (2009), «Главная тема краеведа Владимирова» (2012), «История Красноярска от основания до перестройки» (2012).

стр. 162 **Эшли Марина**
Канада, 1965 г. р.

Окончила Московский физико-технический институт. Работала научным сотрудником кардиологического центра РАМН в Москве. С 2001 года живёт в Канаде. Победитель нескольких литературных конкурсов. Автор повестей, вышедших отдельной книгой на украинском языке.

стр. 189 **Юшманова Варвара**
Красноярск, 1987 г. р.

Поэт, журналист. Родилась в Братске. Окончила Ульяновский государственный университет по специальности «Журналистика». Студентка Литературного института им. А. М. Горького. Публикации в журналах «Волга — XXI век» (Саратов), «День и ночь», сборниках «Братск — Пушкину», газете «Вестник» (Ульяновск).

ДиН ревю

Ирлан Хугаев
Созерцание Абакума

Красноярск: «День и ночь», 2013. — 44 с.
http://issuu.com/krasdin/docs/abakum

Рассказы Ирлана Хугаева, представленные в сборнике, объединены темой детства. Маленький человек, сталкиваясь с миром взрослых, постепенно обретает и своё место в нём, и понимание собственной несводимости к его фактам, нормам и условностям. Обретение себя в сложном процессе познания добра и зла, истинного и ложного, родственного и чуждого — вот движущая сила сюжета, который связывает отдельные произведения в единое целое.

«Я не увидел ничего нового — и в то же время всё было как будто другим в Абакуме. И то другое, неизвестное, что я сейчас в нём видел, было ближе и понятнее, чем его прежний облик. Я смотрел и видел, как исчезает, как растворяется в воздухе прежний Абакум, пока его совсем не стало. Прежний был только Абакум, армянин, сапожник, который починил мне ботинки; этот, настоящий, был призрак, загадка, вопрос, и не в последнюю очередь вопрос означал: «кем ты хочешь стать? кем ты будешь? что ждёт тебя впереди?» Я смотрел на Абакума и впервые видел время за горизонтами личного бытия. Я думал: вот, было же время, когда меня ещё не было, а Абакум был; и будет время, когда я буду, а Абакума не будет; и будет время, когда не будет ни меня, ни Абакума; и я раскаялся в том, что так легкомысленно и лукаво писал о сапожниках».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

по поэзии

Иван Клиновой

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Александр Петрушкин
Кыштым

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Евгений Степанов
Москва

Михаил Стрельцов
Красноярск

Михаил Тарковский
Бахта

Владимир Токмаков
Барнаул

Вероника Шелленберг
Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

А. М. Клешко

Заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края

Е. Г. Паздникова

Министр культуры Красноярского края

Т. Л. Савельева

Директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

Г. О. Янушкевич

Руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использована картина Ольги Лебедь «Солнце».

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН 246 304 27 49
Расчётный счёт 407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы»
в г. Красноярске.

БИК 040 407 967
Корреспондентский счёт 301 018 100 000 000 967

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru или по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а, офис «День и ночь»

Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

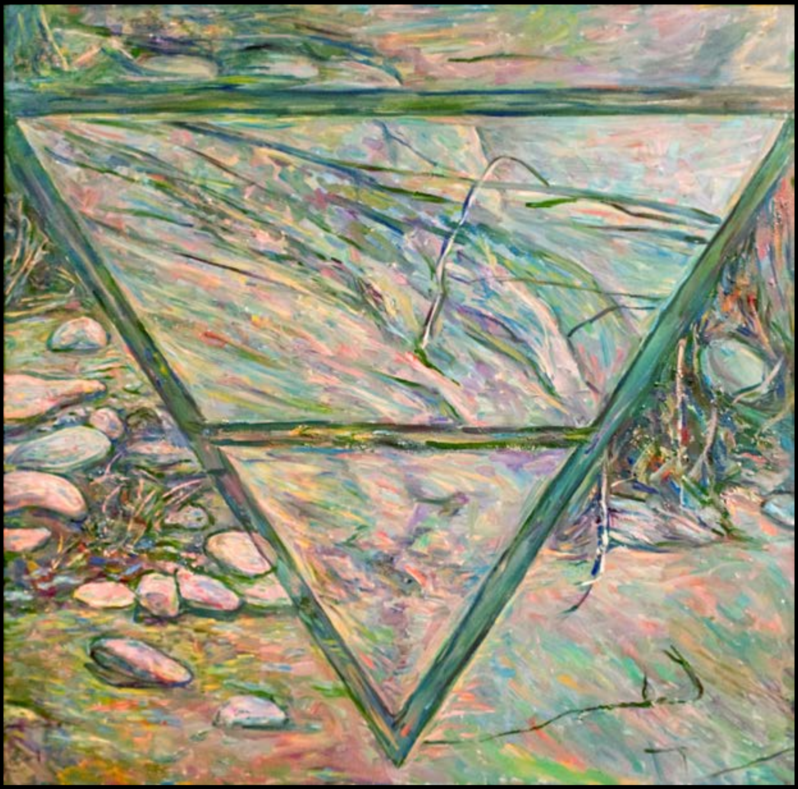
Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 10.4.2013

Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 294 15 77

Воздух
अनलिः
2012



Земля
अहि
2013

Земля
पृथ्वी
2012

Луна
चन्द्र
2013

На первой странице обложки:

Солнце
सूर्य रवि
2012

→